

ISSN 0206-8680

4

КИНОСЦЕНАРИИ

1991

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Сценарии

- 3 *Р. Кушнерович, А. Ибрагимов*
**ЧЕТЫРЕ ЛЕГЕНДЫ
ОБ ОМАРЕ ХАЙЯМЕ**
- 40 *Ю. Арабов*
ПРИСУТСТВИЕ
- 60 *Л. Петрушевская*
КУПЛЮ ТЕБЕ БАБУ
- 77 *В. Чиков*
РУССКАЯ РУЛЕТКА
- 96 *В. Сухоробрый*
КИНО В КИНО
- 116 *Е. Митько*
**ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ № 95
С «ЛИКЕРНОЙ» КАРАМЕЛЬЮ**
- 132 *Е. Козловский*
ГОЛОС АМЕРИКИ
- 158 *В. Голованов*
КЭТ ФЭНТЭЗИ
- Точка зрения**
- 161 *Г. Кнабе*
Агсапа imperii
- 167 *С. Булгаков*
**Развитие личности
как религиозная задача**
- 169 *А. Тарковский*
Один год жизни
- 179 *В. Подорога*
Знаки власти
- 192 **Наши авторы**

Главный редактор **Е. ГРИГОРЬЕВ**
Редакционная коллегия:
О. АГИШЕВ, Ю. АРАБОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ,
В. ГОЛОВАНОВ, О. ГОРБАЧЕВА, В. МАШУКОВ (зам. главного редактора),
Б. МЕТАЛЬНИКОВ, В. СОЛОВЬЕВ,
В. ТРУНИЦ, В. ЧЕРНЫХ.

Ответственный секретарь **Н. РЮРИКОВА**

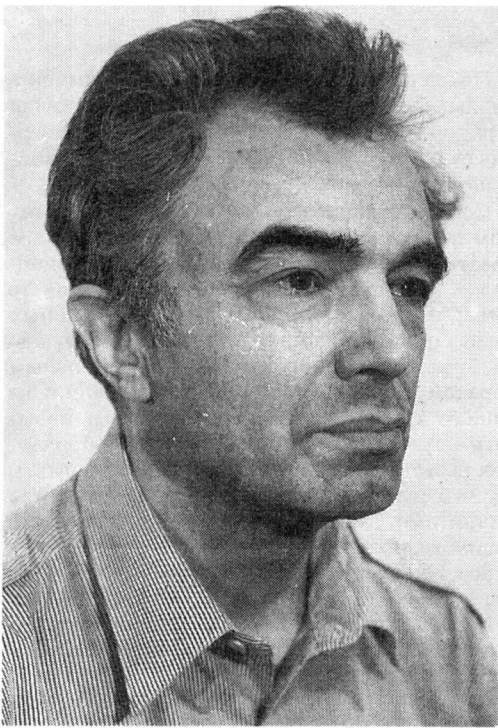
Технический редактор **Л. МАРКОВА**

Корректор **Е. ПЫЛАЕВА**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. По всем вопросам подписки и доставки журнала обращаться в местные отделения «Союзпечати». О типографском браке сообщать в Чеховский полиграфический комбинат.

Сдано в набор 22.04.91. Подписано к печати 30.05.91.
Формат 70×100¹/₁₆. Усл. печ. л. 15,6+0,32. Уч.-изд. л. 24,2.
Усл. кр.-отт. 16,24. Печать офсетная. Бумага типогр. «Сыктывкар».
Гарн. таймс. Тираж 22 720 экз. Заказ 679. Цена 2 р. 00 к.
Всесоюзное творческо-производственное объединение «Киноцентр».
123376, Москва, Дружинниковская ул., 15. Тел. 205-30-01.
Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., 12.
Телефон 299-47-74.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по печати.
142300, г. Чехов Московской области.



**Радий
КУШНЕРОВИЧ**

**Аждер
ИБРАГИМОВ**

ЧЕТЫРЕ ЛЕГЕНДЫ ОБ ОМАРЕ ХАЙЯМЕ

Когда совсем стемнело, люди остановились. С ними были носилки, на которых лежала глиняная цистерна с горным маслом — нефтью. Люди окунули в нефть свои факелы и зажгли их. Некоторые посыпали факелы солью, чтобы пламя стало цветным и торжественным. И двинулись дальше. Взошла луна, но они все равно не погасили своих огней, потому что шли для совершения серьезного дела. И поэтому шли молча. Только выпустили вперед певца с дутаром, чтобы легче им было шагать.

Голос у певца был высокий и пронзительный, и слова он выпевал отчетливо, чтобы все-все могли расслышать его песню.

«Четыре легенды, четыре сказанья спую вам нынче, — так примерно он начнет. — Четыре домысла и четыре правды об одном человеке...»

Малые тропы вливались в большую дорогу, толпа пополнялась новыми людьми и огнями.

«Четыре легенды! Четыре лица опишу и четыре обрисую фигуры...»

Все состояния и сословия шли бок о бок в той толпе, потому что дело, призвавшее их, ни для кого не признает различий. Пахари, горожане, торговцы, ремесленники, караванные погонщики... Потом, в сценарии и в фильме, нам придется встречаться с иными людьми; они будут подчас единственными в своем роде, внешностью и одеждой они предпочитают отличаться, а не быть похожими — так что колорит и аромат той дальней эпохи уже не будут, наверное, столь густы, как здесь, на т и т р а х:

**ЧЕТЫРЕ ЛЕГЕНДЫ
ОБ ОМАРЕ ХАЙЯМЕ**

Титры шли навстречу прямоугольнику цветных огней, в котором зиял прямоугольный черный провал: там, где двигались оберегаемые от огня носилки с черной цистерной.

«Четыре легенды об Омаре Хайяме!.. — еще раз провозгласит певец и сам же задаст вопрос: — Но почему четыре?»

И тогда возникнет ропот в толпе:

— Почему только четыре?

— Легендарный Омар Хайям!..

— Уже при жизни про него сложены сотни легенд!..

Или это не в толпе, а среди титров началась перемолвка? То ли наши герои, чьи славные исторические имена загораются звездными буквами на черном небе, задают такие вопросы — то ли заговорили исполнители, наши современники, чьи скромные фамилии пока еще внизу, на земле...

— Он был астроном и астролог!..

— И музыкант, и математик, и врач!..

— И государственный деятель!..

— И гуляка кабацкий!..

— И физик, и химик!..

Ночь кончалась, титры кончились, и люди остановились; они дошли до места. Их факелы высветили стену какого-то дома и каменную скамью и древнего старика, что лежал на скамье, смежив глаза.

Десятки огней приблизились к его лицу, отбросив на глинобитную стену десятки теней. Лицо было старое-старое и остановившееся, а тени были без единой морщины, живые и всякие — старые, зрелые, юные. И тени эти все множились по мере того, как люди подходили и перечисляли упорно, кем он был, тот легендарный Омар Хайям:

— А еще историк, правовец!

— И шарлатан, предсказатель погоды!..

— И любовник знаменитый!..

— Богоискатель!..

— И безбожник!

«И,— подхватит певец,— кем он только не был! И все же только четыре легенды, а не сорок. Потому что четыре его лица — это был о! Был царедворец, успешливый и ловкий,— про это первая наша легенда!..»

Факелы гасли один за другим, и тени сбегали со стены, пока их не осталось всего четыре.

«И был математик великий,— продолжит певец.— Про математика — легенда вторая! Еще он философ — это третья легенда. И четвертая — он был поэт».

Всего одна тень осталась на стене — последняя. Или самая первая?..

Толпа между тем, погасив факелы, вновь тронулась в путь: большой пестрый прямоугольник, обведенный краями дороги, и в нем малый черный прямоугольник — носилки.

А навстречу шли титры:

Посла сопредельной державы принимали в личных покоях султана, и вопрос разбирали в ряду прочих государственных дел, подчеркивая этим дружественный и как бы свойский характер переговоров.

Посла поставили на почетное место в самом прохладном углу. Перед ним на мягком престоле сидел сам султан, повелитель наиболее могущественной империи тогдашнего мира; от рождения он носил ряд пышных имен, еще присвоил себе вереницу титулов, но, увы, сейчас его вспоминают главным образом потому, что он был современником нашего героя. Поэтому и мы будем называть повелителя просто Султаном. Впрочем, это был человек деятельный, успешливый и очень неглупый. К примеру, у него хватило ума отдать всю полноту власти и сделать своим везирем (то есть первым министром) человека, который несомненно превосходил его и ученостью, и административными талантами да к тому же низкого происхождения. Его звали... Впрочем, теперь, спустя девять столетий, мы можем и его именовать не более чем Везирем: правитель при всемогущем Султане и... при Омаре Хайяме.

Итак, Султан удобно сидел на престоле, который являл собою золотой покрытый подушками стол; его мудрый Везирь стоял, расставив крепкие ноги, по правую его руку; а по левую стояли двое сыновей Султана, мы будем называть их Старший и Младший. Они были еще юноши, оба смышленные и миловидные, но уже тогда старший султан-заде был поджар, младший же, пожалуй, склонен к полноте. А по стенам жались придворные. И на всех лицах было выражение или натуральной власти, или неподдельного раболепия.

— А что касается главного спорного вопроса,— докладывал Везирь,— то мы пока не торопим нашего почтенного гостя (поклон в сторону посла). Война, конечно, не единственное решение, хотя для нас это проще, привычнее...

Это была прямая угроза. Посол ответил с достоинством:

— Мой государь уполномочил меня для мирных переговоров, только! Нарушить его предписание — вот единственное, чего я страшусь, но ничего более.

Везирь, видно, иного ответа и не ждал.

— Что ж,— сказал он,— и мир, и война стоят того, чтобы о них поразмыслить... до завтра. А пока не угодно ли гостью принять участие в кабаньей охоте? Высокий гость сможет воспользоваться нашими дальнобойными луками — если сможет: ведь они самые тугие в мире, только нашим воинам под силу

их натянуть.

Султан сказал:

— Охота — это хорошо. Но...

— Но как бы дождь не пошел! — подхватил Везирь. — Что ж, это в наших руках: я пошлю за нашим придворным ученым, господином всех математиков мира, он вычислит нам погоду, а мы...

Султан сказал:

— Ты говоришь про Омара? Разве у нас нет других ученых под рукой? Эй, Рафи! Ступай, и чтобы через час мы знали погоду на ближайшие дни.

Из толпы придворных выскочил седой Рафи, простерся ниц перед Султаном, пробормотал, заикаясь от счастья, что будет сделано, и умчался исполнять приказ. Везирь, кажется, не понял, почему была отвергнута его кандидатура, но не смутился:

— Надеюсь, почтенный Рафи предскажет нам погоду не менее солнечную...

— Погода — это хорошо, — кивнул Султан. — Но...

Везирь сказал:

— Но что касается спорного вопроса, считать ли дикого кабана свиньей и соответственно мясо его неприемлемым для правоверного, то мы ведь не слепые фанатики, как говорят наши враги, правила веры не могут у нас противоречить интересам державы, поэтому я бы послал за нашим мудрецом, царем философов — он отыщет в священных текстах необходимую нам цитату, что кабан не свинья...

Султан сказал:

— Царь философов? Опять Омар? Неужели это единственный философ при нашем дворе? Эй, Мансур!

Философ Мансур был тут как тут. Он удалился, пятась и обещая оправдать доверие. Везирь продолжал:

— А еще вот какой вопрос, повелитель. Твой младший сын (поклон Младшему) изволил нынче купить на базаре новую женщину. Он мог бы и сам доложить об этом, но повелительница, твоя супруга, пожелала говорить с тобой сама.

Султан сказал:

— Но...

Везирь ответил:

— Да, это вопрос сугубо внутренний... казалось бы! Какое он имеет отношение к вопросу о границах державы (взгляд в сторону посла) и пределах величия? Но повелительница пожелала...

Султан был заинтригован — он с одобрением глянул на своего Везира: даже государственные дела тот умел делать нескучно! И, следуя его взгляду, Султан обратил глаза на тяжелый занавес справа от себя.

— Мать моих детей, ты здесь? — обратился Султан к занавесу. — В собрании мужчин? Ты не могла подождать до вечера?

— Да, супруг мой, я здесь, — послышалось из-за занавеса. — Потому что ты же знаешь, сам молодой был: увидел, тут же купил — в долг, разумеется! — и конечно, хотел сразу ввести ее под свой кров. Но я тоже думаю о вечности, о потомстве...

За занавесом стояла крупная женщина, одетая по-домашнему, даже не накрашенная — она знала, что ей не придется показать свое лицо.

— Поэтому я приказала доставить сюда... эту покупку, чтобы ты сам мог ее... гм... оценить.

Младший царевич мрачно глядел на родителя — он был готов к конфликту. Старший успокоительно похлопывал брата по рукаву, шептал:

— Брат! Не надо сердить его, положишься на меня, брат!..

Он был старше, а может быть, и умнее.

— Оценить? — улыбнулся Султан. — А во что оценил ее купец?

Тут вперед выступил Старший и заговорил с горячностью, быть может, чуть преувеличенной:

— Да, отец, да! Этот подлец заломил неслыханную цену, хотя, известно, в это время года женщины всегда дорожают. Но клянусь тебе, отец, я бы и сам ее купил, если бы возлюбленный брат согласился ее уступить и если... бы...

Не договорив, он отступил в смущении — будто невзначай сказал лишнее. И глаз его сверкнул хитростью почти незаметной: то ли он проговорился случайно, то ли неспроста.

Отец приказал:

— Если бы — что? Договаривай!

— Ничего! Ничего такого, отец! Просто я хотел сказать, что купил бы ее, если бы у меня были такие деньги. Вот и все.

— Ах, вот как, — пробормотал отец. — У наследника престола нет таких денег, а Младший царевич считает, что у него — есть...

Но это ворчанье мог слышать только его Везирь; Султан продолжал, обращаясь к Младшему:

— Ну что ж, сынок, я, наверное, оплачу эту твою покупку. Вот только взгляну, не прокаженную ли тебе подсунили или безносную какую-нибудь, — и заплачу, скажи спасибо брату. А ему я выдам такую же сумму наличными, чтобы никого не обижать.

И обернулся к Везирию:

— Где она?

И опять, проследив его взгляд, повернулся налево, где висел другой занавес; по знаку Везира придворные поспешно его откинули. Там стояла женщина, вся в новеньком шелку и необмятой парче, и нарумянена она была очень искусно — вот только некая влага прочертила бледные борозды под ее глазами и ноздрями.

Конечно, от многоопытного султанского

глаза не скрылось, что сложена она правильно, но худа, притом скорее от природы она худая, а не только с лица спала от дальней дороги; и не слишком она молода, ей, наверное, больше пятнадцати. И к тому же она... гм...

— Фаранги? — воскликнул Султан. — Европейка, что ли?

По рядам придворных прошло шевеление, все глаза устремились на покупку. Только Везирь глядел на посла — на него новость должна была произвести особое впечатление. И правда, посол прошептал тревожно:

— Европа?.. Италия? Греция?..

Невольница не ответила. Ответил Везирь: — Нет, она не гречанка и не латинянка... на сей раз! Но... Что касается нашего спорного вопроса...

Однако для главного вопроса время еще не настало.

— Гм! — сказал Султан. — Фаранги...

Из-за правого занавеса послышался голос жены:

— Да, супруг мой! Меня это тоже смущает, ведь бывало, что и покупная рабыня становилась законной султаншей, матерью царевича.

Султан глянул на своего Младшего, вздохнул:

— Сынок, сынок, и где ты только таких выкапываешь? В прошлый раз была негрятянка — кстати, где она? Уже надоела?.. Ну пусть ты не наследник, так что вроде бы можешь себе позволить, но...

Тут младший царевич заговорил; он был юн и красив, но голос его оказался крикливым, разнузданным:

— Но что?! Денег тебе жалко — так и скажи! По-твоему, я должен покупать только дешевых женщин, которыми набиты все гаремы! А если мне нравится именно такая?

Брат пытался урезонить его, но Младший оттолкнул его руку. Однако отец не хотел склоки.

— Ну если нравится... — пожал он плечами. — Давай-ка закажем ее гороскоп — на всякий случай, только чтобы ты знал, чего от нее ждать, — и пожалуйста. Кто из наших астрономов не слишком близорукий, чтобы прямо с вечера вычислил ее судьбу?

— А что касается предсказания судьбы, — отвечал Везирь, — то Омар где-то неподалеку на строительстве нашей обсерватории, и он сумеет прочесть самые бледные звезды.

Странно все же, что многоопытный министр вновь предлагал кандидатуру, отвергнутую уже дважды. Будто напрашивался на неприятности... И напросился!

Султан сдвинул брови. Султан вздохнул. Султан поднялся.

И сразу будто потолок стал ниже — как небо перед грозой; и обширный зал сделал-

ся тесен, хотя придворные все старались ужаться, сойти на нет; и нечем дышать, потому что султанский вздох разом наполнил и опустошил этот зал. И стало ясно, кто здесь кто. Да, этот человек на престоле может быть потакающим отцом, и внимательным супругом, и благосклонным правителем. Но лишь до поры, ибо людишки забывают свое место, забываются они! И тогда приходится сказать им...

— Нет, — заговорил Султан тихо и злое, — нет, я не желаю, чтобы это был Омар, и если ты, Везирь, не научился меня понимать, то зачем, спрашивается, ты прослужил везирем двадцать лет? Или ты разучился понимать?! Да, этого Омара я сам возвысил и приблизил, как и всех вас, — но я не хочу, чтобы он стал таким, как вы. Я берегу его, не трачу по пустякам! О, я знаю, раньше или позже придворный поэт станет просто придворным, двор о в м. Будет предсказывать погоду, какую нам надо, будет видеть перст судьбы в любой нашей прихоти. Вроде вас... А ведь и вы когда-то были светилами — поэты, воины, богословы, математики! А теперь? Все, все слиняли под единым солнцем, отдали блеск моему трону, и зачем-то я еще держу вас при дворе, как собак, которые уже не служат и не подышают никак. Что ж, утешьтесь, он будет, как вы, он растражит свой огонь. Но пусть не сразу! Пусть подольше светит своим собственным, а не только отраженным светом — как вы все, ничтожные! Да, да, любой и каждый!..

Взгляд Султана не сулил добра, а когда послышалась угроза «любому и каждому», бледные придворные стали падать ниц один за другим. Военачальники неловко сгибали бронированные поясицы; философы распластывались на полу, их мягкие одежды шуршали, как листья под ветром; оба царевича, посуетившись пугливо, опустили на колени; два евнуха выскочили из углов, пригнули к земле непонятливую невольницу и сами простерлись вниз лицами; даже женщины за занавесом опустили на пол перед невидимой грозой. А главное, посол тоже склонился низко-низко — много ниже, чем было ему предписано в наказе от собственного государя.

Кажется, только Везирь не был напуган — нет, он первый упал на колени и тем надумил всех прочих, которые сперва оцепенели от раскатов султанского гнева.

Везирь же был первым, кто поднял голову. И увидел, что повелитель уже сидит на своем престоле. Не дожидаясь, когда двор встанет по местам, сказал Везирь:

— Итак, гороскоп мы поручим Мухтару или Садыку, когда они очнутся. До ночи еще время есть.

— Да,— кивнул Султан.— Что там у тебя еще?

Везирь уже опять крепко стоял на ногах; он сказал, обращаясь прямо к послу, едва оправившемуся от всеобщего ужаса:

— А что касается того вопроса, ради которого мы и пригласили нашего гостя (поклон), то нужны ли еще доводы? Да, эта рабыня не из ваших краев, и впредь, будем надеяться, ни дочери ваши, ни сестры не окажутся тоvarом в невольничьем ряду нашего городского базара. Однако все дороги нынче ведут к нам — и гостей, и военную добычу... ведут! Быть может, вам знакомо мудрое речение — его можно услышать и в среде философов, и в придорожной чайхане, и вот при дворе властелина мира...

И Везирь прочел четверостишие-рубайку. Прочел в подлиннике, то есть на языке той малой народности из отдаленной горной страны, которая заодно со своим наречием одарила весь тюркский мир также и поэтами, учеными, министрами — всей элитой; Везирь и сам был гаджиком, и по-гаджикски были сложены эти звучные стихи, которыми он сейчас славил империю сельджуков.

Цель всего творенья — мы,
В очевидном мире средоточье
всего зримого — мы!
Да, этот круг мироздания

подобен кольцу,

А в нем бесценный бриллиант, и это,
несомненно,— мы!

Однако посол, вроде бы окончательно подавленный, тут оживился.

— Но государи мои,— воскликнул он,— стих, конечно, известный, он переложен и на наш язык: «Мы цель и высшая вершина всей вселенной, мы украшение юдоли этой брэнной — коль мироздания круг есть некое кольцо, в нем, без сомнения, мы камень драгоценный», не так ли? Но разве это сказано только про вас? Это — про человека. Человек — венец творения! Толковать эти стихи иначе, значит проявить небрежение и к стиху, и к стихотворцу. Впрочем, нет пророков в своем отечестве...

Везирь усмехнулся.

— Ну прежде всего,— сказал он,— этот великий сочинитель — служащий при нашем дворе, одно из светил в том созвездии, где солнцем признан наш Султан. (Поклон.) И мы хоть сию минуту можем призвать этого мудреца сюда, чтобы он подтвердил, сам...

Везирь вопросительно поглядел на повелителя, который уже томился, искал развлечения. Султан сам подал голос.

— Омар! — тихо позвал он.

Омар!.. Имя сказано — и сразу события

завертелись в новом ритме: сразу будто кино началось.

— Омар Хайям! — повторил Везирь чуть громче.

— Омар ибн-Ибрагим Хайям Нишапури! — провозгласили двое привратников у выхода из тронного зала.

— Хайям! — воскликнули четверо глашатаев на углах дворца.

— Хайям!.. Хайям!.. Хайям!..— донеслось из приоткрывшихся ворот султанского сада.

Сторожевые на башнях городских стен воззвали на все стороны света:

— Хайям!..

И вот к северному морю, к южной пустыне, к восточным горам и к западному полю поскакали верховые, передавая зов от заставы к заставе. Так вызывали человека, который, числясь придворным, имел тем не менее высочайшее позволение находиться при особе повелителя не неотлучно, но расхаживать куда вздумается.

— Хайям!.. Хайям!..

Омар уже стоял перед Султаном, а весь подлунный мир еще искал его, звонкое эхо разносило его имя:

— Хайям-м-м!..

Омар стоял перед покрытым подушками столом, его одежды и дыхание еще хранили следы стремительного движения. У него было лицо человека желанного, которому удавалось все, что он затевал, и он жил в счастливом согласии с этой землей и небом, и людьми, и властями. Ему было двадцать шесть лет...

— Но господин мой,— говорил он Султану,— конечно, я могу определить значение этих стихов — я могу его просто вычислить! Ведь я получаю от тебя жалование не только как поэт, но и как математик. Да! Если значение первой строки мы выразим через некую величину «а», а вторую обозначим как «а²», то третья в сумме с четвертой...

— Довольно, довольно,— улыбнулся Султан,— пропади она, твоя алгебра, меня с отроческих лет тошнит от нее!

— Слушаюсь! — гибко поклонился Омар.— Я могу толковать стихи и другим способом — ну хотя бы как... астроном! Первая строка, насколько я помню, родилась под созвездием Козерога, следовательно, означает должествование, тогда как вторая, отмеченная знаком Сатурна...

Но Султан сделал строгое лицо.

— Это толкование мы тоже отменяем, а заодно астрономию, обсерваторию — все эти твои затеи. Почему? Да потому что наш Младший царевич покупает новую женщину, и не дешево, разумеется. Приходится выбирать: или обсерватория, или женщина — звезды небесные или звезда земная, не так ли?

Омар обеспокоился, хотя и понимал, что повелитель шутит.

— О, господин мой, когда обсерватория будет готова, она принесет доход, а не убыток, потому что его высочество (поклон), конечно же, будет проводить все ночи в созерцании светил, а не в постели. Он будет тратить на звезды небесные и экономить на звездах земных!

Султан улыбался благосклонно, придворные улыбались с готовностью, пылкий Младший царевич улыбался неумело, потому что шуток не любил. Омар же смотрел на женщину. Он, конечно, углядел ее сразу, как вошел, но она была бледная женщина, и он все не мог понять, что в ней привлекательного.

— А что касается стихов, то в первой строке я усматриваю... волнение желчи — это уже в качестве медика...

Везирь сказал:

— Нет, Омар. Спор наш не шуточный. Мы хотим знать: что ты имел в виду — какой народ, какую державу! — когда сочинял эти строки про центр вселенной?

Вопрос был, конечно, наводящий. Посол заметил язвительно:

— Да, вопрос серьезный. Особенно для самого поэта. С одной стороны (поклон Везиру), ждут ответа, угодного властям; с другой стороны (выпрямился), нельзя же отступить от себя самого, от поэзии, от своей Музы. Малейшая фальшь, и она не простит тебя, поэт, она покинет тебя!

Султан усмехнулся, глянул на Омара в упор.

— Прогневать свою Музу? Или — своего Султана?.. — он даже руками развел, будто и впрямь не знал, что из двух ужаснее.

Омар растерялся — впервые.

— Но, повелитель, — забормотал он, — я птица певчая, всего лишь. Да, я сочинил эти стихи, но истолковать их... Я многое могу, но...

Везирь и Султан слушали спокойно. Они опять улыбнулись (и все мгновенно улыбнулись), когда Омар приложил руку к сердцу и тут же с непосредственностью, которую только он мог себе позволить, стал отирать рукав, заляпанный свежей известкой.

Султан сказал:

— Омар поизносился на нашей службе — халат Омару!

Немедленно один из придворных накинул на Омара дорогой халат.

— Но? — напомнил Султан. — Продолжай! Он ободрил любимчика, но не освободил от ответа.

Омар поклонился низко-низко. Омар прижал обе руки к тому месту, где под новым халатом билось благодарное сердце. Омар развел руками: «У меня нет слов, чтобы

выразить мое... мою... Ну нету слов!» Омар глядел затравленно, мысли его металась: от него ждали иных слов, и немедленно. Но каких? Благодарных? Угодливых?.. Едва ли. Может быть, звонких? Или острых? Ловких? Поэтичных?.. Слыхали, все слыхали. Каких же им еще?.. Знаем: слова должны быть неслыханные!

— О повелитель! Я всего лишь поэт, математик, философ, медик и астроном — но не толкователь, увь, не начетчик. Я умею многое, но не все. Хочешь, я сейчас скажу, чем болен твой придворный цирюльник, — эй, Ахмад, у тебя начинается желтая чесотка, ее лечат примочками из простокваши. Еще я знаю дюжину разных языков, и язык вон той бледной женщины я знаю, наверное. Еще я могу извлечь квадратный или кубический корень из любого числа; этого не может никто во всем нынешнем мире. А хочешь, скажу, о чем она думает — эта женщина из чуждых стран?.. Нет, лучше я угадаю мысли нашего гостя посла. Он все думает и не может понять: почему нам, людям Востока, доставляет удовольствие бить их, тогда как им приятнее бить друг дружку, не так ли? А эта женщина... Знаешь, что думает про женщину ее хозяин Младший царевич? Ты думаешь, зачем она тебе нужна такая: никаких форм, одни линии. Не сомневайся, нужна, именно такая нужна, я могу доказать по всем наукам: только она и нужна! Я многое могу. Могу вычислить, сколько золота и серебра в твоей короне, повелитель, и мне не требуется ломать ее. Могу предсказать по звездам жизнь человека; я уже вижу, что это женщина непростой судьбы... А что касается моих стихов -- что ж, я птичка певчая...

Омар уже не стоял перед Султаном, он говорил и кружил по залу, лица царедворцев мелькали перед его глазами, кружение его становилось все стремительнее, он говорил и недоговаривал, лицо женщины возникало перед ним то и дело, будто их множество было, белых одинаковых лиц — лицо Султана, лицо женщины, лицо Младшего царевича, лицо женщины, лицо Старшего, лицо женщины, лицо посла, лицо женщины, лицо Везирия... Остановившееся лицо Везирия. Холодное лицо...

Везирь сказал:

— Не надо про стихи... пока. Составь нам гороскоп этой женщины — до полуночи, если сможешь.

— О! — сказал Омар. — Я смогу. Едва стемнеет, я вычислю путь ее звезды среди всех светил нашего небосклона.

Он стоял против женщины, перебирая языки и наречия:

— Франкский?.. Германский?.. Испанский?.. Греческий?..

Женщина вдруг спросила, сперва на своем языке:

— Лацина?.. — И пояснила тут же: — *Lingua latina.*

— О, конечно! — воскликнул Омар. — Латынь! *Dicis lingua latina!* Как я сразу не догадался. Ты читала Вергилия — *legeras Vergilium!* Когда ты родилась? *Quum nata es?* Эй, писец!..

Старик-писец поспешно вышел из толпы придворных, открывая привешенную к поясу чернильницу.

— Месёц Листопад, — сказала женщина. — *November, dies sextus.* — И вдруг добавила: — Мам на имя Мария. *Meus nomen est Maria...*

— Пиши, — сказал Омар писцу. — Ноябрь — это по-нашему месяц Обон, в шестой день. Значит, она рождена под зодиаком Скорпиона — о, удача: ее звезда взойдет сегодня одной из первых, через десять часов я буду знать ее судьбу... Десять часов! О Аллах! Целых десять часов!..

Омар круто повернулся и вдруг вышел в самый центр зала, куда падал столб солнечного света из круглого окна в потолке; стоявшие там придворные шарахнулись от него, потому что он шагал слепо, как бык на птичьем дворе.

— О Аллах милосердный, милостивый! — Он упал на колени. — Все эти десять часов я проведу в непрестанной молитве! Десять часов до первой твоей звезды, о господи! Молиться, молиться!.. Десять часов! Я грешил против тебя, я рифмовал твоё божье имя с пустотой — теперь впервые обращаюсь к тебе с мольбой: если ты есть, помоги мне!.. Эй, вы все! Молитесь вместе со мной!

И придворные, вздрогнув, как стадо от звука кнута, поспешно приняли молитвенные позы, возвели очи к голубому проему в потолке. Омар же все горячее зывал к небу:

— Просвети меня, дай мне постичь твою волю, дай прочесть указание твоих звезд, которые зажгутся через десять часов. Десять часов!.. Нет, не молитесь, не смейте: вы не верите! Я сам, я один!

Придворные опять дрогнули шкурами, будто слепень их укусил. И снова замерли, когда Омар возвысил голос:

— Да, я говорил, что это небо не стоит и плевка, но теперь я прошу вас, бессмертные звезды, откройте мне будущее этой женщины! Звезды, где же вы! Который час? Только полдень... Царевич, не жди, не сомневайся, возьми эту женщину, не отдавай ее! Тут не бывает ошибки — ведь это не ты ее выбрал, и даже не Аллах, нет! Знаешь, чей это приказ: взять ее, не уступать? Тот, кто еще не рожден, ее грядущий потомок пожелал родиться от этого

сочетания, именно этого, только этого! Неужели ты не слышишь его голос? Прислушайся. «Я хочу, — говорит он, — зачатся в этом чреве, хочу выйти из этого лона, хочу ее молоко, говорить с ее голоса. Я хочу, скорее!..» Десять часов... Он шепчет, он требует, этот новый человек, который будет лучше нас, потому что он сам выбрал, от кого ему произойти, и вот он привел свою мать за тысячу верст к своему отцу и сказал: «Я хочу! Слышишь, я хочу тебя в отцы!..» Я слышу, слышу!.. Неужели я один слышу его? А ты? А вы, все?.. Десять часов! Через десять часов звезды скажут вам то же самое — ведь и они, тела небесные, подчинены тому же закону всемирного тяготения, влечения любовного. О, я чувствую в себе эту силу, которая движет миром, — будущее рвется наружу! Десять часов? Нет, сейчас, немедленно! Ночь! Тьма ночная, приходи! Я зову! Я приказываю!.. О! Я вижу!..

Омар все откидывал голову, чтобы заглянуть поглубже в голубую дыру, и вот он уже лежит на спине, раскинув руки по яшмовым плитам, и глядит, глядит. И взор его пронизает летучий пух облаков и хрустает небесной сферы, минуя слепящую золоченую тыкву, — и еще глубже, уже до самого дна мироздания, где только мрак и блестящие во мраке.

— Вижу! — прошептал Омар. — Вижу тьму и звезды во тьме. Вечерняя звезда Ших, я приветствую тебя! О, сколько звезд! А вот и созвездие Скорпиона, и твоя звезда, о женщина, — здравствуй, наконец-то!.. Эй, вы! Ко мне! Все ко мне! Смотрите сами, смотрите же: вон ее звезда! Видите, эта женщина несет счастье и блаженство! Пиши, писец: Меркурий был в третьем градусе созвездия Скорпиона, Сатурн же был в перигелии, и Сириус, глядя на них, был в удвоении. В удвоении, вы же видите!

Да, это видели все. Он говорил — они видели. «Вижу ночь» — и провел рукой перед глазами, чтобы рассеять это свое видение или сомнение, — и все провели рукой перед глазами. Потому что свет полдня сменился ночным сумраком, да, да! Звезда Ших засияла сперва призрачно, потом все яснее в потолочном окне. А вот и молодая луна краем заглянула в окно. «Ко мне!» — и все придвинулись по его мановению, будто невольники перстня из сказок Шахерезады или будто суслики, зачарованные танцем змеи.

— Какое глубокое небо, — говорил он. — Какие яркие звезды, их пути строгие, как никогда! А судьбы, до чего же ясные судьбы! О, я вижу будущее не только ее или твое — будущее всей нашей державы я вижу. Ее мощь растет, свет ее все выше, и все новые светила в ее орбите. Я вижу... Но что это? Она закатилась! Страна моя... Что это? Что это?.. Прочь, все прочь от меня! Или вы

не видите?..

И они отшатнулись все, закрылись обеими руками, потому что он закрылся — чтобы не видеть!

Но все равно он видел. Уже не мог не видеть: Дева, и Козерог, и Скорпион, и другие созвездия вдруг представили ему и нарисовали картины будущего, всю его жизнь до самого дальнего ее конца, и жизнь эта была куда более долгой, увя, чем жизнь его державы! Возможно ли: ничтожный смертный переживет вечную империю?.. Но, кажется, все, кто был в том зале, тоже прозрели вместе с ним. А заодно и мы, зрители, для нас тоже станет зримым недалекое будущее этой империи и всех этих людей — а точнее, будущий фильм, как бы его план мы увидим сейчас вместе с Омаром. Да, уже в следующей части мы встретим и узнаем кадры из этого его предвидения, а потом и другие сцены, ракурсы будут возвращать нас к этому стремительному конспекту всей картины, который теперь разворачивался перед глазами Омара в кружении лиц и звезд. Вскоре мы обнаружим, насколько реальны эти его прозрения, но пока они покажутся нам ужасными, фантастичными...

И первым, кого он там увидел, был он сам, Омар Хайям, которым стоял перед Султаном, мучительно разинув рот, и двое придворных забывали ему в рот что-то такое, чего нельзя было ни выплюнуть, ни проглотить, и он уже давился, уже выкатил глаза...

А еще он увидел книги, гору книг, от которых исходил жаркий и высокий свет. И слова мудрости, будто расплавясь, вытекали из того огня золотыми и серебряными ручейками. И некто, взыскующий добра, припал к тому источнику, хотел подобрать золотые капли, и голос послышался: «Это принадлежит Омару Хайяму».

А потом он увидел Везира, который не стоял, а лежал, и глаза его были широко раскрыты, а борода у него была не седая, но густо-черная, и черное стекало у него из уголка рта...

А вот и сам Султан, и он тоже лежал, и лицо его светилось серебристым светом, потому что все ниже опускалась серебряная крышка саркофага...

Вот принцы, которые стояли сейчас, держась за руки, — они встанут один против другого, пригнув загривки и оскалась, как бешеные псы...

Вот в толпе придворных молодой человек с тупым взглядом — это убийца-ассасин, с его кинжала сбегает густо-черная струйка...

Вот мальчик, похожий на самого Омара. Сын?..

Вот яркий цветочный луг — цветы и лица, лица цветов и цветы, из которых прорастают

лица людей... И зияющий черный провал среди того луга — прямоугольная дыра без дна...

А вот за занавесом, который вдруг стал прозрачным, видна женщина с тяжелым лицом, властная и недобрая. А за другим занавесом...

За другим занавесом, сколько ни вглядывался, он не увидел никого — Марии не было. В его будущем ее уже не было!

— Мария! — кричал он.

Она откликнулась совсем тихо, но это был голос из его нынешнего мира, а не из того, иного:

— Вот я!..

Ее голос мгновенно рассеял мрак, и ночь вылетела в окно, и солнце засияло посреди неба, и все те же десять часов до появления первых звезд...

Придворные мотали головами, стряхивая остатки наваждения.

Посол трудно приходил в себя.

Султан отер лицо, приказал подать холодного питья.

Омар стоял перед тронном; его глаза, опять быстрые и трезвые, еще раз обежали зал, оценили обстановку. Султан, Везирь, царедворцы — все по местам. И одна женщина была не видна за тяжелым занавесом, а другая — здесь, и от нее надо отвести глаза. Надо!..

— Эй, писец!

Старик с поклоном передал ему свою запись. Омар просмотрел ее: «Меркурий в третьем градусе — так. Сатурн в перигелии — так, так. Сириус... Счастье и блаженство!..»

— Все так! — и положил запись к ногам Султана. — Счастье и блаженство. Через десять часов любой из твоих астрономов, повелитель, сможет проверить этот гороскоп — и подтвердит, что он правильный.

Да, будущее не наступило еще, а настоящее требовало смелости и осторожности, ловкости и обаяния.

— А что касается моих стихов, — сказал Омар уверенно и весело, — то я ведь певчая птичка. Но не ловчая! Толкование — это не по моей части. Впрочем...

Он выждал, когда все взгляды опять сосредоточились на нем:

— Впрочем!..

— Погоди, — сказал Султан. — Не знаю, что ты еще такое придумал, но гороскоп — хорош. «Счастье и блаженство!..» Золотое слово, золотые твои уста, Омар!.. Казначей! Наполни эти уста золотом!

Вот оно! Будущее началось! Придворный казначей с помощником совали в рот Омара золотые монеты, Омар уже давился, уже выкатил глаза, но те не жадничали, запикивали и под язык, и за щеки, и когда наконец

их — могу. Мне бы только проникнуть во дворец, а там!.. Я молод, я умен, я наизнанку вывернусь — да, там я сильнее их всех, я своего добьюсь!.. О, я все понимаю, Холик, до поры я спрячу мои клыки и когти, я выставлю ослиные уши, лишь бы меня пустили... Ну что ты там пишешь, дай прочесть твой мудрый совет...

Пока Омар писал на стене печи, Холик писал на стенке чаши — какие-то иные стихи, которые тут же впитывались в неглазурованную глину; потом усто отворил топку своей печи, сунул чашу в раскаленное жерло. Подал знак другу Омару: подожди, и тайное станет явным. И взялся за другой горшок.

— Ждать? — Омар опять заходил кругами вокруг станка.— Ждать случая? И не упустить его!.. Может, буквы уже проступили, их можно прочесть? Я верю в твои советы, усто, я жду. Верю и жду. Жду и верю...

И тут звук копыт, стремительно нарастая, прогремел и замер у самого порога мастерской. Копыта осла? Или дорогого коня?.. Кто-то грохнул в дверь — копытом, не иначе.

Да, молодой придворный из свиты Младшего царевича ловко осадил коня, так что тот вскинул задом и лягнул по двери.

— Эй! — крикнул этот веселый наездник.— Омар Хайям, ты здесь? Я принес тебе счастливую весть! Царевич зовет тебя на гаштак! Нынче. На дружескую попойку, Омар. Как стемнеет. Великая честь, Омар!..

Копыта судьбы! Еще мгновение они плясали перед порогом и умчались. Омар, ликуя, обнимал Холика.

— Как стемнеет! — восклицал он.— Ты опять прав, Холик, случай подоспел. Я знаю, они зовут меня не для доброго дела, но я вывернусь, я их всех перехитрю, она будет моя!

Усто Холик впервые забеспокоился, засуетился.

— М-м-м!.. — он даже хотел что-то сказать, но Омар не слушал.

— Бежать, спешить!.. Я умнее их всех!.. До темна уже недалеко... Не упустить... Ты прав, Холик...

Холик очень хотел что-то сказать. Он даже схватил Омара за рукав. И тогда Омар на секунду перестал торопиться.

— Все, чего я добился,— сказал он как можно отчетливее,— я добился как царедворец. Иначе нельзя в наш век. Но ты не тревожься за меня, друг: успех при дворе для меня не цель. А средство. Вот и на этот раз — мне ведь нужны от них не чины, не деньги. Мне она нужна. И я добьюсь. Успеха!

Холик бросился к печи, отворил топку, потом кинулся за рогатым ухватом, снова к печи...

Когда он достал из огня раскаленную свечу

тяжущую чашу — ту самую, что расписывал на наших глазах,— и поставил ее на земляной пол, Омара уже не было в мастерской.

— М-м-м-м!..

Холик проводил друга глазами, вздохнул безнадежно. И направился снова к своему кругу. Запустил его...

А на полу остывала чаша, и на ней проступили сперва зеленый венчик, потом желтая каемка — и вот черные буквы:

Знайся только с достойными
дружбы людьми,
С подлецами не знайся,
себя не срами!

Если подлый бальзаму
нальет тебе — вылей!

Если добрый подаст
тебе яду — прими!

А от сырого пола по горячей глине пробежала неровная трещинка; чаша издала звук тонкий и мелодичный...

Когда принарядившийся Омар спешил на гаштак, он мог заметить, что прохожие чаще, чем в иные вечера, поднимали глаза к звездам. Говорили при этом:

— Но я сам видел, сам: среди бела дня он низвел ночь на землю! Я придворный стражник, я дежурил у южных дверей — и вдруг стало темно, звезды показались в потолочном окне, я сам видел!

— Э! Чудеса! Может быть, он просто задвинул потолочный ставень?

— Да, да! Муж сестры моей жены — придворный брадобрей, и он видел своими глазами, как Омар прошел сначала по стене, потом по потолку — как муха! — и задвинул потолочный ставень. И стало темно.

— По стене? Как муха? Но этот медный ставень с трудом задвигают четверо сильных рабов. Притом стоя на крыше, а не на полке.

— А положение светил?! Видите, во-о-он та звезда — она же действительно в удвоенном отношении Сириуса и Скорпиона. Как он мог это знать заранее — десять часов тому назад?..

Гаштак получился действительно дружеский, без чинов. Молодые гости возлежали на мягком ковре вокруг достархона, на котором были фрукты и сласти. Старший царевич отдавал распоряжения трем красивым невольникам, которые разливали гостям вино; Младший, уже слегка пьяный, подпевал трем музыкантам, которые играли на рубобе, на свирели и на бубне, подрагивал шкурой и подрыгивал ножкой.

Приняв от раба очередной рог с вином, Старший сказал:

— Друзья! Пусть завтрашний день принесет нам исполнение надежд.

Он выпил — никто не видел сколько, потому что раб тут же долил рог и передал Младшему.

— Надежды сами собой не исполняются! — сказал Младший, выпивая.

— Что ж, значит, вы сами все исполните! — подхватил самый старый из гостей, возлежавший рядом. — Вы, юные и отважные!

Этого человека звали Абутахир, запомним его лицо.

— Да, мы исполним! — подхватил молодой человек, тот самый, что передал Омару приглашение на этот гаштак. — Исполним, чего бы это нам ни стоило!

— Чего бы это ни стоило ИМ — тем, которые стоят на пути наших надежд!

— На нашем пути. И не дают нам ходу!

— Да! Мы возьмем их за бороды — вот так! И!..

— И — головой о стену!..

Оправленный в серебро рог все быстрее плыл по кругу, раб попевал следом с кувшином, вино бежало непрерывно — из горла кувшина — в жерло рога — в глотку гостя...

Но вдруг остановился рог. Вино плеснуло на достархон.

Хочу упиться так,

чтоб из моей могилы,

Когда в нее сойду,

шел винный запах милый!

Чтоб вас он опьянял и

замертво валил,

Мимоидущие товарищи-кутилы!..

Это рог дошел до Омара. Кажется, неплохо сказано. И вроде бы к месту. Но никто не поддержал. И рог, едва выйдя из рук поэта, вновь устремился по кругу, разгорячая умы, развязывая языки:

— Завтрашний день! Мы ждем тебя!

— Чтобы совершить великое дело!

— А если кто посмеет нам помешать!..

— Мы их!..

— Мы их раздавим!

И опять:

Следуй верным путем

беззаботных гуляк,

Позови музыкантов,

на ложе возляг —

Чу! Кувшин зажурчал!

Помолчи и послушай,

Не болтай языком,

на вино приналяг!..

Но рог после этих слов лишь скорее обещал круг.

— То, что мы задумали, не всем по нраву, но мы все равно!..

— Свое возьмем!

— Возьмем власти!..

Омар упорно:

Не у тех, кто во прах

государство поверг,—

Лишь у пьяных душа

устремляется вверх!

Надо пить в понедельник,

во вторник, в субботу,

В воскресенье, в пятницу,

в среду, в четверг!

Но этот рог уже не мог остановиться. Он будто сам собой обегал круг, рты глотали вино и изрыгали угрозы:

— А те, кто сегодня еще у власти...

— И кто им прислуживает...

— Пусть трепещут!

Омар — свое:

Стоит царства китайского

чарка вина,

Стоит берега райского

чарка вина.

Горек вкус у налитого в

чарку рубина,

Эта горечь всей сладости

мира равна!..

— Мы их скинем!

— Свергнем!..

Омар, отчаянно:

Да пребудет со мною

любовь и вино!

Будь что будет: позор или смерть —

все равно!

Чему быть суждено —

неминуемо будет,

Но не больше того,

чему быть суждено!

Рог уже единым движением описал круг и снова к Омару:

Дай вина! Здесь не место

пустым словесам.

Поцелуй любимой — мой хлеб и

бальзам.

Губы пылкой возлюбленной —

винового цвета,

Буйство страсти подобно

ее волосам!..

На этот раз рог запнулся уже на Старшем царевиче. Он проговорил с презрением:

— Омар Хайям никак не может оторваться от чарки. Эй! Отправьте Омару на дом бурдюк такого вина — может быть, тогда он заговорит наконец о чем-нибудь ином.

Младший сказал:

— Нам пора узнать, кто с нами, а кто против нас. Вот ты, Абутахир, ты завтра с нами? Или с папашей Султаном?

Почтенный Абутахир принял рог, ответил:

— Ты должен мне столько денег, что, клянусь Аллахом, я больше дорожу твоей головой, чем ты сам: ведь ты сможешь вернуть мне долг, только если будешь жив и цел и успешлив.

Он выпил, передал рог. Его сосед сказал:
— Султан уже стар и глуп, а мы, молодые, весь мир завоюем. Я — с вами!

Рог вновь двинулся неудержимо.

— Мы переделаем весь мир!

— И мы обойдемся без этих ничтожных, которые даже в такой великий момент не умеют отрешиться от своего, от мелкого!

— Поцелуй ему дорожку славы!

— Дорожка свободы!..

— Что с него взять — поэт!

Поэт не сдержал ухмылки:

Как трудно воду провести к полям,
Как трудно волю дать и вам, и нам!
А научить добру людей свободных
Труднее, чем свободу дать рабам!..

Неосторожный ответ! Старший нахмурился:

— Омар Хайям, не думаешь ли ты нас перемудрить! Вот ты среди нас, и ты узнал наши замыслы — и ты надеешься, что мы тебя выпустим отсюда, чтобы ты побежал и донес?

Младший подхватил:

— Тебе не отговориться пустыми словами про вино, про женщин. Ты с нами — или ты против нас? Говори, мы слушаем!

Омар встал. Огляделся. И сказал:

— Вино и женщины — это не отговорки.

Пусть приведут ту женщину, твою новую невольницу, и тогда я скажу, и слово мое будет верное.

Младший глянул на брата. Тот кивнул евнуху: «Приведи!» И Омар заговорил:

— Да, я не с вами. Я против вас, да, да! У меня на то три причины. Вот первая. Я не верю в перевороты: пусть нынешний султан — плох, но разве новые будут лучше? Причина вторая. Уж если выбирать между старым отцом и молодыми отцеубийцами, то я все же предпочту отца...

Все вскочили, самые горячие или пьяные схватились за оружие. Но Омар знал, что творил, и в глазах его была скорее трезвость, чем храбрость.

— И наконец третья причина. Я могу сказать ее — теперь...

Евнух как раз ввел в собрание Марию; Омар крепко взял ее за руку и только тогда продолжил:

— Теперь — когда среди нас уже нет почтенного Абутахира!.. Вы удивлены? Да, он исчез со своего места, а вы и не заметили? О, может быть, он просто упился вином и спит где-нибудь в углу? Что вы устались на меня, лучше оглядитесь вокруг.

И все оглянулись, как по команде. Он владел собой, он владел ими.

— Увы, его не видно нигде — неужели сбежал? О, не смурьтесь, не пугайтесь — улыбнитесь: может быть, он просто облежится во дворе?

Омар улыбнулся, все заулыбались облегченно.

— Эй, раб! — приказал Омар. — Сбегай, погляди, здесь ли этот щедрый кредитор Младшего царевича?

Омар перестал улыбаться — и улыбки сползли со всех лиц. Он продолжал, отступив к стене и прикрыв женщину своей спиной.

— Так вот, я никогда не свяжусь с бездарными молокососами, которые напились перед таким делом, расхвстались, раскричались — и проглядели предателя в своей среде. А он сейчас уже перед Султаном, уже доносит ему, перечисляет вас всех, поименно!..

Вбежал бледный раб:

— Его нет! Нигде! Он сбежал!..

Будто камень небесный ударил в курятник. Белые и цветные одежды захлопали, словно крылья нелетающих птиц. В дверях мгновенный затвор, визг, ключья...

И вот нет никого. Только Омар и Мария. Разоренный достархон, опрокинутые столики с яствами. Кувшин, брошенный и треснувший и сочащийся розовым вином... Разгром и свобода!

Омар вздохнул и опустился на софу, потянул ее за собой.

— Не бойся, ничего не бойся, Мария! Ты моя, никто не сможет тебя отнять.

Он ласкал ее плечи и успокаивал, успокаивал:

— Я завоевал тебя, я тебя выиграл у них, я выиграл. Не я придумал гнусные правила этих игр — но я овладел ими. Я сумел угодить сильному мира сего — и не сделал ни единой подлости. Я получил желанную женщину — и не поступил ни каплей души или совести, не так ли? Ах, ты не понимаешь моего языка...

Между тем из султанских покоев выполз, не поднимая лица и пятясь задом, так что зад был выше лица, почтенный Абутахир. Султан проводил его остановившимся взглядом. Смятенный Везир сидел по правую его руку, а слева на том же ковре, но за занавеской сидела жена, Султанша. Она первая нарушила тяжелое молчание:

— Утешься, мой повелитель! Что делать, дети всегда бунтовали против отцов, увы...

Везир пробормотал:

— Да, да, они молоды, глупы...

Но Султан был безутешен. Везир и жена продолжали с двух сторон:

— Прости их, они еще образумятся.

— У тебя нет других наследников...

И тогда Султан горько заплакал:

— Нет! Нет наследников, нету! Увы мне! Мои дети уродились не только подлыми и неблагодарными — они еще и ничтожные, горе мне, горе! Я прощу их, что мне еще остается — но на кого оставить державу? Кто продолжит наше дело, сохранит нашу славу? Ты стар, Везир! Ты умная женщина,

но ты — женщина! Кто будет править миром после нас?.. О, почему повелители обречены на такое одиночество? Я знаю, все люди станут добычей червей после смерти — но почему я при жизни вижу только червей вокруг себя, назовите мне хоть одного, кто не червь. Назовите!..

Тут всем пришло в голову одно и то же имя. Впрочем, сразу же возникли и сомнения. Жена сказала:

— Но он еще так молод. Он стишки сочиняет...

Султан поморщился:

— Математикой занимается...

Везирь сказал:

— Это как раз пройдет. Власть, интриги, хитрость врагов и глупость друзей — тут уже не до стихов будет, не до математики. Но он беден...

А Омар говорил Марии:

— Что ж, учись нашему языку, женщина, ведь я беден, я не смогу приставить к тебе евнухов и прислужниц, ты сама будешь ходить на базар, ты будешь советоваться с соседками, на чем бы пожарить рыбу для мужа и как лечить наших детей от насморка... Конечно, Султан наградит меня за мою верность, он ведь не знает, что я рисковал шкурой ради тебя, а не ради него, — он даст мне три или даже пять тысяч динаров, но ведь я откажусь. «Мне ничего не надо, — скажу я, — отдай мне эту женщину!»

Султан сказал:

— Беден? Что ж, мы пока отдадим ему во владение Нишапур, а потом...

— Ого! — сказала жена. — Сто тысяч динаров дохода!

— Ну а как иначе? — сказал Везирь. — Царевичи должны с ним считаться.

— Да, — сказал Султан, — надо сразу провозгласить его везирем, твоим преемником. Но...

Омар говорил:

— И Султан не сможет мне отказать, потому что я не приму ничего другого. Пусть даже назначит меня начальником над всеми придворными поэтами. О, мне смешны любые титулы, звания, но чтобы отказаться от них, надо сначала их получить, не так ли?..

— Но, — сказал Султан, — вот беда: он еще не ухидившийся жеребчик. Эта женщина!.. Он никого и ничего не видит, кроме нее.

Везирь и Султанша вздохнули, сокрушаясь:

— Да, женщина!.. Конечно, и это пройдет...

— Но пока она мутит его разум, да, да!..

Султан предложил:

— Может быть, оскопить его?

— Жалко, — сказал Везирь. — Хотя многие везири были евнухами...

— Можно, — сказала женщина. — Но, может быть, просто... убрать женщину?

Султан задумался — прежде чем сказать

свое решение...

А Омар продолжал:

— Да, если я играю в их игру, то лишь для того, чтобы выиграть тебя. И я выиграл!..

Султан сказал:

— Да будет так!.. Эй, кто там есть?

Двое придворных вбежали в комнату и простерлись ниц.

— Мусá и Зульфикар! — сказал им Султан. — Возьмите пятьдесят слуг, возьмите наши золотые носилки и отправляйтесь к Омару ибн-Ибрагиму Хайяму и доставьте его сюда, оказывая ему почести как самому первому из наших придворных. Возьмите еще трубачей и барабанщиков. А женщину, которая будет при нем, надо убить. — И вздохнул Султан. — Из-за женщин у молодых одни неприятности.

— Надо, — повторил приказание тупой Муса, — убить.

— Надо при нем? — уточнил смышленный Зульфикар.

Везирь сказал:

— Ну зачем же! Когда он сядет в носилки и отбудет во дворец — вот тогда... надо. Ему ведь чудится, что она ему дороже всей славы мира.

— Надо, надо, — сказала женщина. — Ему же на пользу...

А у Омара из бесконечных повторов начали наконец складываться стихи.

— Не надо, — говорил он, — ничего не надо мне в этой жизни, кроме тебя, моя награда, мое сердце! И ты не бойся ничего, ведь я победил. Нет ни рая, ни ада, о сердце мое, и назад нет возврата, я все сделал, что надо, и... Гляди, идут! Султанские слуги. Сколько их! С музыкой! Я же говорил — победа! И назад нет возврата, о сердце мое... Привет вам, Муса и Зульфикар! Вы принесли мне слово нашего повелителя — для его верного раба нет ни рая, ни ада, а только его милость или немилость!

Муса и Зульфикар, войдя, поклонились так низко, что уже и не распрямились.

— Не смею лицезреть тебя, Омар, — сказал Муса, и почтение его было истинное.

— Мне невыносимо глядеть на тебя, — сказал Зульфикар, — как на солнце.

— Вот носилки, на них тебя доставят в покои Султана.

— Ты понял, Омар: тебе не следует идти своими ногами, тебя внесут прямо в покои.

— Назад нет возврата, — пробормотал Омар. — Кажется, меня назначили главным предсказателем. Но не надо надеяться, мое сердце!

— Внесут! — повторил Муса.

— На руках! — сказал Зульфикар.

Омар задумался на мгновение. Сказал женщине:

— И не надо бояться, мое сердце. Я победил. Теперь мне есть от чего отказываться.

У меня есть, что отдать за тебя. Мы победили!

Потом обратился к посланцам:

— Муса и Зульфикар! Я оставляю эту женщину на ваше попечение. — Он еще раз поглядел ее плечи, потому что она, видя, что он уходит, опять съезжилась от страха. — Вам виднее, какие милости приготовил мне Султан, но знайте: я их добивался только ради нее!

И, садясь в золотые носилки, сказал четверостишие уже целиком:

Нет ни рая, ни ада, о сердце мое!
И назад нет возврата, о сердце мое!
И не надо надеяться, о мое сердце,
И бояться не надо, о сердце мое!..

Стихи были хороши, все должно быть хорошо. Трубачи затрубили, барабанчики ударили в барабаны.

— Главное, не надо бояться. Жди меня, я победил. Я скоро!

Двинулись носилки. А навстречу им двинулись титры: Легенда вторая...

Шли титры, шла по дорогам молчаливая толпа — та самая, что начала свой путь еще в прологе нашего фильма. И голос певца взлетал высоко-высоко — быть может, с этой высоты мы и увидим десятки людских голов, покрытых пестрыми уборками; они похожи отсюда на движущийся цветник, и в нем все тот же темный прямоугольник — носилки...

«Завершилась первая легенда его жизни, — донесется до нас высокий голос, — началась вторая. А меж ними, конечно, годы и годы... Юноше пристало верить в любовь и счастье, но зрелому мужу — во что поверить? Вторая легенда — про человека у ч е н о г о!..»

Легенда вторая УЧЕНЫЙ

Ни в какой другой столице тогдашнего мира не мог бы собраться подобный синклит! Все племена и наречия, все веры и ереси, бороды всех цветов и носы любых конфигураций сошлись в большом зале исфаганского Дар ал-илма — Дома Науки, чтобы сообща обсудить актуальные вопросы астрологии. По стенам были развешаны новейшие схемы зодиаков и звездные таблицы, а лжавшая на полу выдубленная телячья кожа была сплошь исписана чертежами, изображавшими расположение светил, и математическими выкладками — черным угольком по желтоватому пергаменту.

— Ну разумеется: математик это делает лучше!..

Многозначительная фраза! Наверное, она уже не впервые была произнесена в этом собрании, потому что ученые мужи все одобрительно улыбнулись. Молодой маг-зоростриец, сказавший эти слова, набросал но-

вую формулу, но она лишь подтвердила точность решения — и точность афоризма.

— Да, — повторил он, пододвигая пергамент сидевшему рядом оппоненту, магистру-католику. — Решение безукоризненное!

Тот было усомнился — стер одно из буквенных обозначений, вписал другое. Но вновь зачеркнул, восстановил прежнее:

— Изящное решение!

Грек-христианин потянул к себе кожу, быстро прочитал один из чертежей. И даже вздохнул:

— Божественное!..

Кожа и уголек переходили из рук в руки, поклонники Будды или Иисуса, Заратуштры или Мухаммада, или, быть может, просто безбожники — все вынуждены были уверовать:

— Какая точность! Какое совершенство!

— Математик и это сделал лучше. Лучше любого астролога!

— Воистину, ты царь всех математиков Востока и Запада, Омар Хайям!..

Омар сидел в кругу коллег — нет, точнее, он здесь председательствовал. В свои сорок с небольшим лет он был видный мужчина, подтянутый и зрелый, серьезный к своему делу, но не к себе самому, свободный и ответственный. Секретари уже не раз подходили к нему с какими-то неотложными вопросами, и он уверенно решал их — кивком головы или тихим, но четким словом.

— Господин, твой сын, Фатх... Ты просил напомнить...

— Я помню.

И секретарь удалился. Спустя минуту подошел другой.

— Господин, это — насчет Хасана Саббоха, надо отправить с ближайшей почтой...

Омар подписал.

— Господин, — склонился к его уху третий, — учителя твоего сына здесь...

— Попроси их подождать.

При этом с интересом следил за ходом дискуссии, которая теперь завершилась всякими лестными словами, которых он достаточно насыщался в своей жизни, так что они его не занимали, а может, и не устраивали чем-то. Заговорил, не дослушав:

— Мы отвлеклись. Все присутствующие понимают, конечно, что этот наш новый метод математического анализа ценен не сам по себе, но лишь поскольку он позволяет составлять гороскопы и предсказания судьбы, не так ли? Вернемся к тому, ради чего нас здесь собрали: к нашей астрологии, к влиянию планет на п е ч е н ь, на сердце...

И Омар едва заметно улыбнулся, глянув в сторону неких двух математиков наиболее ученого вида (сегодня их называли бы «математиками в штатском»), сидевших чуть в стороне и хранивших глубокомысленное молчание.

— Впрочем, — продолжал он, — ведь мате-

матик и это делает лучше: исполнит все, что от него требуется, не забывая при этом интересы истинной науки, не правда ли?

Коллеги все поняли, но вернувшись к звездному чертежу на пергаменте, как-то замялись.

— Да, конечно, гороскопы, пророчества — это главное. Но...

— Но я лично не видел подобного расположения звезд!

— Слушай, Омар, а что если по этим твоим звездам — хотя они и правда странные! — вычислить будущее Хасана Саббоха? А?

— Но такого противостояния Венеры и Марса просто не бывает!

— Зато сама формула!..

— О, формула Омара Хайяма!..

Омар опять прервал, уже окончательно:

— Ну что касается пресловутого Хасана Саббоха, то будущее его предрешено без всяких гороскопов: он враг науки и просвещения — у него нет будущего. Что же касается этих светил, то... — Омар усмехнулся, — я надеюсь продемонстрировать вам их наглядно, с наступлением темноты. А пока, в перерыве перед следующей нашей сессией...

В перерыве Омар показывал гостям Дар ал-илм.

— А это студенты наших медресе и академий, — говорил он, проходя через читальный зал публичной библиотеки, что располагалась под одной крышей с Домом Науки. — Да, бумага предоставляется бесплатно. Всем читателям, да, да...

— Сколько же тут книг? — ахнул один из ученых, глядя на тесно заставленные полки. — А в библиотеке моего монастыря всего сотня томов... А здесь, наверное, тысячи! — Сотни тысяч, — мягко поправил Омар. — Впрочем, это не так уж много, если учесть...

Они вышли в небольшой дворик, замкнутый с трех сторон стенами книгохранилища.

— ...что в городе миллион жителей, и все правоверные должны разуместь грамоту, согласно предписаниям пророка.

И он указал на открывающуюся через ворота дворика панораму города — которая тогда вызывала у всех иноземцев ту же реакцию, какую теперь вызывала бы у нас, людей иного времени: «Не может быть!» Поэтому да будет нам позволено привести здесь — в качестве сценарной ремарки — цитату из авторитетного свидетеля, путешественника XI века, его звали Насир и Хисрау:

«Тот, кто смотрит на город издали, думает, что это горы, ибо есть дома высотой в 14 этажей, а прочие — в 7. Там есть базары и улицы, постоянно освещаемые светильниками, ибо туда не проникает дневной свет».

— Я это к тому, — продолжал Омар, — что все попытки этого фанатика Саббоха вернуть

нас во времена темноты и невежества просто смехотворны.

— А говорят, Омар, он учился с тобой в одной школе?

— Да, было... А это, обратите внимание...

Это секретарь обратил его внимание на дождавшихся в углу двора людей весьма солидного вида, одетых небогато, но тщательно.

— Знакомьтесь, коллеги: это учителя нашей новой школы, математической. Да, у всех нас — дети, которых мы творим не как математики, увы, но как господь бог, то есть с огрехами, недоделками. Я тоже принял участие в этом акте творения, у меня сын, его зовут Фатх, и конечно же, учителя пришли жаловаться на него... Я сейчас, я догоню!

И, пропустив экскурсию в следующий блок, стал смиренно выслушивать учительские нарекания, как всегда справедливые...

— А это, коллеги...

Он уже вел коллег по весьма обширному помещению, построенному без каких бы то ни было признаков роскоши или экономии. Ученые мужи, не скрывая зависти, глядели на изобилие всяческих приборов, на медные реторты и перегонные кубы, на скелеты животных и препарированные растения, на огнедышащие и отдыхающие печи. Словом, знакомая нам по средневековым гравюрам «лаборатория алхимика», с той лишь разницей, что рассчитана она была не на затворника-одиночку, а на десятки сотрудников. Это были люди разных возрастов и рангов, и каждый был занят чем-то своим, но все они работали на какую-то единую идею, носителем которой был, несомненно, Омар. Когда он вошел, всем потребовалась его консультация или одобрение или хотя бы просто взгляд. И он успевал все это. И все это сейчас служило той мысли, которую он, Омар, развивал иноземным коллегам убежденно и убедительно:

— Наша земля — накануне невиданного поворота, на пороге новой цивилизации. Города и армия, торговля и ремесла, само стремление сегодняшних людей жить удобнее, разумнее — все ждет и требует новых знаний, новых машин, новых видов... как сказал бы наш греческий коллега, э н е р г и и.

При этом вел экскурсию от одной диковинки к другой.

— Вот, — говорил он, — известная детская игрушка. Но мы надеемся приспособить ее для дела.

Гости с изумлением рассматривали подогреваемую жаровней реторту, из которой вырывалась струя пара и била в лопасти миниатюрной турбинки — стариннейшая забава, которой развлекались еще дети фараонов; здесь, однако, она имела еще и привод на два крохотных каменных жернова.

— Пока что она мелет только рисовую пудру, но в недалеком будущем, быть может... А этот скромный порошок, — он взял шепотку какого-то черного порошка, посыпал им раскаленную жаровню, и пламя с треском поднялось и опало, — если им начинить железный кувшин и запалить с помощью фитиля...

— О! Ведь это можно применить против того же Саббоха!

— Мы слышали, он захватил какой-то неприступный замок...

— И рассылает оттуда своих ассасинов!

— И сам Султан не может с ним справиться — это правда?

— У нас в Европе убийц теперь только так и называют: «ассасины»...

Омар ответил сухо:

— М-да. Мы тоже пока не придумали, для чего, кроме как для убийства, годится этот порошок. А что касается ассасинов, то... самое надежное средство против невежд и фанатиков — просвещение, не так ли?.. А это нам доставили из Китая. Там с помощью подобных досок печатают сладкий хлеб для царского стола, делают тиснение на коже. Но нельзя ли подобным образом печатать книги, а?.. А это — странная штука, мне ее уступил один бродячий фокусник. Если залить ее крепким уксусом, то в этой банке оживают какие-то еще не понятные нам силы...

Он подвел гостей к столу, где стоял небольшой металлический сосуд, в котором с помощью асфальтовой пробки был закреплен медный стержень. Кованые проволоочки, припаянные к краям сосуда и стержня, при соединении искрились и потрескивали...

Когда спустя почти тысячу лет подобный сосуд — ныне экспонат иракского музея! — раскопали археологи, все специалисты сошлись во мнении: это — электрический элемент. Электролитом могла служить уксусная кислота; возможное применение — в обиходе лекаря, факира, золотильщика.

— А это, — и Омар достал из обтянутого зеленой кожей сундучка несколько разной толщины кружочков, выточенных из прозрачного хрустала, — исправляет некоторые недостатки в человеческой природе.

Ученые по очереди рассматривали сквозь те л и н з ы табличку, которую искусный каллиграф исписал столь мелкими письменами, что их едва можно было различить. Но хрустальные чечевицы увеличивали каждую букву втрое и впятеро.

— О! Великое открытие! Величайшее!

— Благословен этот день и этот час, когда мы узнали о нем!

— Омар, ты великий ученый!..

Омар откликнулся мрачно:

— Это открытие сделал еще за сто лет до меня один мой соотечественник. Его зва-

ли... — он глянул на скупавших математиков-соглядатаев, понизил голос, — Абуали Хайсам. Его приговорили к смерти — за то, что он дерзнул исправить некоторые недостатки... в работе нашего творца. Его имя запрещено упоминать вслух. Его открытия, — и Омар собрал линзы, запер их в сундук, — не существуют. До поры!.. Так что этот день и час не столь уж благословенны.

— До поры? Держать в тайне от людей такое!..

— До какой поры?

Это был нелегкий вопрос. Омар ответил уклончиво:

— Как знать, доживем ли мы до той поры? Но, может быть, и завтра, как знать?

Имеющие уши да слышат! Похоже, у него был некий конкретный план, который включал, наверное, не только выжидание, но и действия... Однако математики не желали понимать.

— А может быть, и через сто лет? Или через тысячу?!

— Кто не знает истину, на том нет греха — но как знает и таит ее от людей!..

— Я слышал здесь у вас арабскую поговорку: некто посеял «завтра», а оно не взшло!

Коллеги теперь стояли все против него и глядели кто с осуждением, а кто с насмешкой. Омар молчал, злоба в нем закипала.

— Вот как? — он нетерпеливо сорвал замок с другого сундука, достал бронзовую астролябию. — Значит, самое трудное — познать истину, не так ли? А уж открыть ее людям — это может любой, да? Что ж, тогда полюбуемся вот этим! — И стал выкрикивать как базарный зазывала. — А вот, почтенные, подходите, недорого отдам, отдам за даром! Модель мироздания! Правда, но совсем привычная модель, в ней, видите ли, Солнце — в центре вселенной, да, да! А Земля вертится вокруг, так уж получается! Ага, вы не удивляетесь! Еще бы, разве для вас это новости! Вы, мудрый коллега из Индии, наверняка знаете труды вашего земляка Ариабхаты, он жил всего за пятьсот лет до вас, и он учил: в центре вовсе не Земля, а Солнце! А вы, пылкий наследник греческих философов, слышали про это еще со времен Аристотеля. А вы, собрат из Вавилонии, знаете это уже две тысячи лет. И столько же лет молчите. Мы все знаем — и молчим!.. И вот я спрашиваю вас, коллеги-математики, кому подарить эту модель, а заодно и честь открытия? Ну, кто первый обнаружит такую гипотезу?.. Молчите?.. Но ведь в ней истина! В ней, а не в священных писаниях!.. Вы отрекаетесь, математики? Не в первый раз! И боюсь, не в последний. Сколько же еще вы намерены молчать? Еще сто лет? Или сколько?.. Что ж, как математик или как астролог — все едино! — могу предсказать: кого-то еще по-

На стене сквозь увеличивающий кристалл четко читались два слова: АБУАЛИ ХАЙ-САМ.

— Ну что ж,— принял решение Везирь,— я сниму запрет с этого имени. Оно будет сказано, вслух. Так что даже Хасан Саббох услышит. Да, как только эти стекла будут готовы...

Омар победной поступью вышел из дворца Везира и сказал ожидавшему секретарю:

— Жалко, что мой Фатх еще так молод. Сможет ли он сейчас оценить, какую победу одержал его отец — для науки, для людей?

— Но господин,— сказал секретарь,— ты заблудился: сейчас у тебя... вечерняя сессия.

Омар огорчился:

— Ну что за жизни! Должен я хоть раз в неделю повидать собственного сына!

— Ты не видел его с новолуния, господин.

— Тем паче. Не желаю более откладывать — поэтому... сейчас же... то есть сегодня... я приеду к нему... ночевать. И прямо с утра мы с ним...

Неофициальная сессия удалась на славу. В личной резиденции Омара собрались только посвященные, и беседа сразу пошла про науку, ее судьбы.

— Но Омар, это так важно! Увеличивающие стекла!

— Половина человечества поклонится тебе в ноги.

— Если ты обнародуешь это открытие!..

Коллеги, видно, успели столковаться по дороге и теперь насадили сообщца. Но Омар только усмехнулся. Он ввел гостей на кровлю своего дома, где у него был разбит прелестный маленький сад.

— А тут у меня,— пояснил он, как бы не слыша, про что речь,— извольте, райский сад. Да, действующая модель райского сада, в точности как описано в коране. Это реки красного и белого вина, отведайте, прошу вас, а это...

Коллеги отведали, одобрили — но настаивали на своем:

— Поразительно!.. Но Омар, ведь ты нынче отступился не просто от каких-то стекол — от научной истины!

— Подумай, Омар: сегодня ты обнародуешь эти стекла — завтра можно говорить и о новом мироздании!

— О, Солнце в центре вселенной! Мир сразу завертится по-иному!

Омар слушал, кивал, но говорил наперекор:

— А это источник, текущий молоком и медом...

— О, и правда — мед... Но Омар, тебе так много дано, цари не смеют спорить с тобой. Ты должен был давно это сделать.

— Если по совести, то еще вчера, год, десять лет назад!

— Тогда сегодня этот Саббох просто не возник бы.

Омар отшучивался:

— А это, взгляните, питьевые фонтаны — у Аллаха они сделаны из чистого золота, мне, математику, это показалось вульгарным...

— Омар, выжидание — опасная вещь: представь, завтра сгорит твоя лаборатория!..

— Омар, ты просто не имеешь права скрывать от людей!..

Но Омар знал свои права, знал, что он прав.

— А там, как видите, гурии, вполне божественные. Неверующие могут сами убедиться...

Нам с гуриями рай сулят
на свете том,
И реки, полные пурпуровым вином.
Красавиц и вина бежать
на свете этом
Разумно ль, если к ним мы
все равно придем?..

А из ветвей неслись соловьиные трели, а из-за стволов доносились музыка, кто-то настраивал лютню, пробовал флейту, и слышались голоса, нежные, женские...

— Нет, Омар, тебе придется нам ответить!

— Признаюсь,— отвечал Омар,— в этом раю только одно не соответствует божьим предписаниям: библиотека. Не знаю, как господу богу, но математику без нее рай — не рай.

Они прошли в библиотеку. Всего две или три сотни томов и футляров со свитками, но все переплетены и украшены щедро — серебряные уголки, золотые застёжки! — потому что философу жалко тратиться на самого себя, но не на любимых. А во внутренних покоях уже ждал достархон, уставленный отборными яствами, тонким питьем.

— Омар, если ты что-то знаешь, то скажи! Омар сказал, но стихами:

Подлость мира узнав,
горевать погоди,
Бьется сердце — нет,
бьется надежда в груди!
Не горюй о минувшем,
что было — то сплыло,
Не горюй о грядущем —
оно впереди!..

И Омар пожалел наконец своих гостей:

— Друзья! Я просто не могу сказать вам всего, что знаю. Поверьте!.. Но я согласен: от нас сегодня зависит многое — не только эти стекла, но и судьба науки, судьбы мира, да, да! От того, насколько решительно и осторожно, насколько разумно мы поступим сегодня. Но, я полагаю, математик это сделает лучше.

И проголодавшиеся математики стали

рассаживаться за достархон. И сменили гнев на милость — сменили тему:

— Кстати, насчет того уравнения, Омар?

— И насчет немислимого противостояния светил?

— Ты обещал показать их. Наглядно.

Омар шепнул секретарю:

— Скоро, скоро можно будет брать Фатха на такие сборища — большой парень, пятнадцать лет.

— Шестнадцать, — сказал секретарь, — недавно исполнилось.

— Тем более. А что касается этих светил... Что ж, открою вам секрет всех моих гороскопов. Эй, Салима!

Юная гурия по имени Салима вбежала в комнату, встала перед Омаром. Он повернул ее спиной к гостям.

— Вот, — сказал он, — то самое таинственное созвездие!

И под общий смех указал на звездочки-родинки, украшавшие обнаженное прелестное плечо.

— Клянусь вам, коллеги, когда от меня требуют звездных гаданий, я изучаю только этот небосклон.

И тут же выпроводил веселую гурию в сад, потому что беседа еще не иссякла. И была музыка, и были шутки, и было отличное вино, разбавляемое с математической точностью, так что оно лишь веселило сердца, но не туманило умы. И гурии, слегка надув чувственные губки, ждали, когда же ученые мужи обратят на них свое просвещенное внимание. Впрочем, девушки были спокойны, одна из них правильно заметила:

— Математик и это делает лучше!..

Уже светало, когда он добрался наконец до дома, где жил его сын Фатх. Омар стоял над постелью спящего сына, он хотел бы умилиться — но у парня уже пробивались усы вокруг размягченного сном рта, и ноги его торчали из-под покрыва — здоровенные ножищи, быть может, не вполне тщательно мытые перед сном. И под мышками уже произросло...

Омар шепнул старику-прислужнику:

— У мальчика вкус еще не развит, модничает он, конечно, но...

Это относилось к разбросанным сыновьям одежкам, сплошь цветным, рискованным. Да еще к каким-то побрякушкам на цепочках, перстням со стеклышками...

— Но это, конечно, возрастное, это пройдет. Ведь вся атмосфера, в которой он растет, вся система воспитания... — И зевнул. — Что ж, от ночи остался еще кусок, имеет смысл поспать...

Старик сказал:

— Господин. Тут приходили. От госпожи Фирюзы. Она говорит, только ты можешь ее исцелить.

— Гм... Но если она действительно заболела... Фатх все равно спит... Я ведь там не задержусь. Так что пусть подойдет прямо туда, как проснется. Мне ведь там делать нечего, только осматриваю, выслушаю...

Но Омар там задержался.

Неужели таков наш постыдный удел — Быть рабами своих вожделеющих тел? Да, еще ни один из живущих на свете Вожделений своих утолить не сумел!..

Эти стихи он напевал — то ли в осуждение себе, то ли в оправдание? — выходя из того дома; чья-то рука с крашеными ногтями и с краской, положенной между пальцами, отчего эти пальцы казались еще нежнее, дотронулась на прощание до его затылка. И только на пороге он вспомнил, что назначил здесь свидание сыну — вон его спина! Сын ждал его за дверьми в обществе каких-то приятелей, коротая время не то картами, не то нардами. И беседой. Которой Омар не услышал, к сожалению. Потому что поскорее отступил назад, в дом, пока сын не обернулся.

— Ну видел я этого Саббоха, ну и что? — говорил Фатх. — Что он — зверь с рогами, чтобы его бояться? Тоже, между прочим, ж и з н е л ю б и!..

Нет, не мог Омар сейчас показаться сыну! И вот так уж получилось, что шейх Омар ибн-Ибрагим Абу-л-Фатх Хайям Нишапури, глава научного ведомства империи, член государственного дивана, ученый с мировым именем, — вынужден был покинуть тот дом через окно!.. Кому-то, оставшемуся за окном, он сказал:

— Скажите Фатху, что я уже ушел. Давно, до его прихода. Так что увидимся позже. У меня сегодня дела, делал..

На ближней площади, где была стоянка прокатных ишаков и других верховых животных, Омар взял по самой высокой таксе резвого конька — ему было некогда. И кажется, кто-то из владельцев этого транспорта, проводив взглядом Омара (а может быть, один из ишаков, сытый и незаморенный, проводив коня глазами?), сказал другому:

— Лошади вечно куда-то спешат!

И тот, тоже философичный человек (или такой же гладкий ишак, подняв голову от кормушки, полной прекрасными арбузными корками), качнул ушами:

— Глупые!..

Омар спешил по делам. Но возле городской мечети ему пришлось задержаться. Толпа запрудила улицу, все теснилось к дверям, старались хотя бы заглянуть внутрь. Только нищие и убогие, выстроившиеся, как обычно,

на всех подходах к святому дому, не сходили с мест — чтобы не потерять их.

— Что там?

Омар бросил монетку какому-то старику, неподдельно понурому и хворому, ибо он даже не сумел поймать лепту на лету.

— Чудо, о шейх Омар! — нищий, конечно, узнал его. — Заколдованный принц! Молится в мечети! Ведьма превратила его в обезьяну. Но все равно видно, что истинный принц. Пойди погляди, шейх Омар.

Омар, конечно, не пошел. Только поморщился на столь концентрированную, бьющую в нос людскую глупость. И еще вздохнул просвещенный шейх — но это уже оглянувшись на бесчисленных калек и попрошайек, жуликоватых и бесхитростных, но, конечно же, равно несчастных...

Дела, дела!..

Первым делом — в лабораторию. За сутки там накопилось множество проблем, интересных и всяких. От ювелиров привезли новенькую, еще не ношеную султанскую диадему — необходимо проверить, из чистого ли она золота. Ее как раз взвешивали на изобретенных Омаром водяных весах; Омар проследил, подписал свідетельство.

— Тут без подделки.

Стекловары только что выпустили массу из печи.

— Нет, Омар, ты хочешь невозможного: белое прозрачное стекло — такого не бывает!

— Не было. Но будет.

Шлифовщики уже трудились над очками для Везира.

— Делайте сразу еще десяток, сотню — не пропадет.

Возле электрической батареи его встретил возмущенный сотрудник:

— Это разве позолота, Омар? Это жульничество! Погляди, слой тоньше паутины.

— Но это же не для продажи. Это — чтобы не ржавело.

Паровая машинка шипела и плевала паром.

Китайские печати дали первый оттиск.

Гелиоцентрическая астролябия была извлечена из-под замка...

— Ты бы отдохнул, господин. Поспал бы!

, Некто мудрый шепнул задремавшему

мне:

«Просыпайся, счастливым не станешь
во сне,

Брось ты это занятие, подобное

смерти,

После смерти, Хайям, отоспишься

вполне!..»

В астрологическом кабинете младшие сотрудники составляли гороскоп для какого-то вельможи. Омар глянул, поморщился:

— Оставьте, я сам. О его будущем лучше

гадать не по звездам, а по его ослиным ушам.

Секретарь ввел запыхавшегося нарочно — чиновника из духовного ведомства:

— Досточтимый господин, доказательство истины! Там, в кафедральной мечети... Какой-то проходимец... или праведник... Привел обезьяну... А может, и правда принц? Неслыханное дело: этот принц... эта обезьяна... молится Аллаху! По всем правилам, господин! Весь город только и говорит!.. Мы просим тебя определить истину: обезьяна ли это? Или вдруг действительно...

Толпа расступилась, пропуская в мечеть Омара, чиновника, нескольких математиков из лаборатории.

— Омар Хайям!..

— Шейх Омар!..

Глазам ученых предстало зрелище, которое известный ал-Джаубари описал столь живо — в сущности сценарно! — что мы не станем здесь его перелагать, а попросту процитируем:

«Я видел одного странника, который научил обезьяну кланяться, перебирая четки, ковырять в зубах и плакать. В пятницу он послал в мечеть чисто одетого индийского раба, который разостлал близ молитвенной ниши роскошный молитвенный коврик. В четвертом часу к мечети подъехала сама обезьяна верхом на муле, в раззолоченном седле, в сопровождении трех пышно одетых рабов и приветливо поклонилась присутствующим. Каждому, кто спрашивал о ней, отвечали следующее: «Это сын такого-то царя, одного из могущественных царей Индии. Но он околдован». В мечети обезьяна молилась, вынимала из-за пояса платок, ковыряла в зубах. Тем временем поднялся старший раб, поклонился людям и сказал: «Клянусь Аллахом, друзья мои, не было в свое время никого более прекрасного и более богобоязненного, чем эта обезьяна, которую вы видите перед собой. Однако его заколдовала его жена, а отец, стыдясь сына, прогнал его прочь. За 100 тысяч динаров эта женщина обещала снять с него заклятие, но пока у него лишь 10 тысяч. Так пожалейте же этого юношу, у которого нет ни племени, ни родины, которого принудили сменить свой облик вот на этот». Когда раб произносил эти слова, обезьяна прикрывала лицо платком и горько плакала. Тут таяли сердца, и каждый давал ему, за что Аллах подарил им радость...»

Перед склонившейся в намазе обезьяной росла гряда меди и серебра, а вот и золотой звякнул, и конечно же, охотнее всех давали самые бедные. Омар увидел, как нищий старик — тот самый, которого он одарил этим утром, теперь подал обезьяне щедрую милостыню. И отдавать ему было радостнее, чем получать самому. Еще Омар с любопытством наблюдал за обезьяньим поведением — как

гладко говорит, мошенник, как картинно стирает руку!..

Омар достал из пояса золотой динар, пошел к поводырю:

— Это для тебя!

— Не могу принять, — приложил тот руку к сердцу. — Я только раб этого высокогородного царевича!

И поклонился обезьяне, которая тут же приосанилась и так гордо откинула голову, что толпа притихла почтительно. Омар, однако, настаивал:

— Это — тебе. За то, что ты так ловко выдрессировал эту глупую обезьяну.

— Правверные! — горестно возопил поводырь. — Мне не верят. Но неужели вы столь глупы, чтобы не отличить обезьяну от благородного юноши? Разве может обезьяна понимать человеческую речь?! Глядите, она подтвердит каждое мое слово. Это царевич! — Обезьяна тут же подтвердила: кивнула головой. — Может быть, вы думаете, что она обучена словам, но не понимает их смысла? Хорошо, подскажите сами любые подходящие слова — она подтвердит лишь те, что будут правильны. «Принци!» «Царский сын!»

Обезьяна и впрямь кивала очень убедительно, била себя в грудь.

— Знатный юноша! — подсказали из толпы.

— Отпрыск царского рода!..

Поводырь повторял эти слова, обезьяна кивала усердно.

— Обезьяна! — выкрикнул кто-то сзади. — Животное!..

Поводырь от ужаса даже закрыл себе лицо, но повторил:

— Обезьяна!

На это обезьяна гневно замотала головой, будто силась произнести: «Неправда!» И вновь заплакала в платок.

Омар поглядел на толпу, усмехнулся невесело.

— Люди! — заговорил он со вздохом. — Ну почему вы такие неразумные? Это всего лишь дрессированная обезьяна. Правда, хорошо дрессированная: она слушается не слов, но знаков. Смотрите: это — обезьяна! — При этом он приложил руку к сердцу, как только что делал поводырь, и обезьяна невольно царственно откинула голову. — Смотрите, сейчас она сама подтвердит, что она — всего лишь животное... Лесная тварь... Дрессированная мартышка...

Говоря это, Омар кланялся обезьяне, указывая на нее рукой — повторял каждый из жестов поводыря, и обезьяна, увы, подтверждала каждое слово. А когда Омар произнес: «Царевич» — и притом стыдливо закрыл себе лицо, обезьяна замотала головой: «Неправда!»

Омар прошел сквозь хмурую толпу. Бросив

динар поводырю. И еще один — тому старику...

Дела, дела!.. И среди прочих дел великого ученого — еще одно; быть может, Омар так и делал его между прочим: диктовал секретарю известный свой трактат «О бытии и должествовании».

Этот секретарь встретил Омара еще на пороге лаборатории с важным письмом:

— От Верховного судьи, господин. Он спрашивает, признаешь ли ты бытие бога. То есть, попросту, есть бог или его нет.

— Так прямо и спрашивает?

— Да. Надо... ответить.

— Придется... Ну что ж, пиши. «О Мухаммад сын Абдаррахима отец Насра, единственный и достославный и...» Как там его еще?

— Достославный и совершенный, — принялся писать секретарь.

— «Да продолжит Аллах твое существование, — продолжал Омар, — и да отвратит тебя от зла...» Если уж Аллах его не отвратит, то кто же еще?... Написал? «Твои знания обильнее знаний всех моих сверстников. Поэтому ты знаешь, что вопрос бытия бога... относится к таким вопросам... которые решить и доказать невозможно...»

— Так и писать: «невозможно»?

— Именно. И не забудь вписать мои титулы.

— Все?

— Полностью! Шейх Омар Хайям сын Ибрагима отец Фатха, «духовный вождь», «досточтимый господин», «доказательство истины», «просвещенный», «выдающийся»...

— «Оплот веры» — писать?

— Пиши... пожалуй. «Великий философ и ученый»... Что там еще?

— «Господин всех мудрецов», — писал секретарь, — «высокий», «славный», «небесный». Все-все писать? «Царь философов Востока и Запада»...

— Пиши, не смущайся: «Этот мой трактат есть луч, исходящий от моего престола царя философов, это — всезапопляющий чистый свет мудрости...» Написал? И так: «Решение и доказательство данного вопроса невозможно». Пиши, пиши!..

И к концу прочих дел трактат тоже был закончен и отослан. К слову: все приведенные обращения и титулы — еще одна цитата в нашем сценарии...

Но вот Омар один, в своем кабинете. Рабочая его комната, святая святых. Голые стены, гладкий потолок, простой пол. Стопка чистой бумаги, тростниковый калам, бездонный омут в глиняной чернильнице. И кажется, все суэты дня для того и лежали на его пути, чтобы сквозь них, по ним прошагать в это уединение, и все дела лишь для то-

го, чтобы он, Омар Хайям, преодолевая их, завелся бы от их мгновенных сопротивлений для какой-то главной работы — подобно тому как шестерня метательного орудия, щелкая по стопору, скручивает канаты и собирает в них мощь для дальнбойного удара.

Омар что-то быстро писал, и все звуки его трудового дня, сами по себе прозаические и негармоничные, теперь, слагаясь и накладываясь, стекались музыкой в его уши — электрические разряды, шипение пара, мерные ритмы шлифовального круга, голоса людей. А из-под его пара выбегали буквы, формулы, и вот им уже не уместиться на белом листе, и они, уже не черные, но цветные, растекаются по белым стенам, по полу, по потолку, заполняя комнату зримыми образами его дневных трудов и забот. Огненное стекло, голубые искры, солнечные лучи в шлифованном хрустале, звездная россыпь алгебраических значков и параллельные, что пересекаются где-то в космических дальях, прозрачный пар и призрачные лица. И сквозь все — прекрасный мальчик по имени Фатх, улыбочивый и одухотворенный, земной и возвышенный...

И стук в дверь. Омар оторвался с трудом.

— Извини, господин. Но тут опять... срочное.

— Ничего. Я, пожалуй, закончил. Я завершил!

При этом запер исписанные листы в сундук. Ключ завязал в пояс.

— Теория параллельных? — спросил секретарь. — Которые все же пересекаются?

— Не только!

Омар глядел куда-то поверх секретарской головы, и вообще выше голов он глядел сейчас. Впрочем, этот молодой человек внушал ему доверие, и Омар пояснил:

То не моя вина, что наложить
печать

Я должен на мою заветную
тетрадь...

Секретарь dokonчил тихо:

Я знаю чернь ученую, людскую
сволочь,

Чтоб тайн моих пред ней
не разглашать!..

Омар подписал срочную бумагу.

— До поры, разумеется. Но вот увидишь... Все увидят!

И это не было хвастовство. Это была скромность великого человека, который, конечно же, знал цену себе и своему слову.

— Теперь к сыну, господин?

— Да, разумеется.

Устало откинувшись в крытых носилках, ехал он по городу. К сыну, к сыну!.. А вот и мечеть — странно, толпа еще не разошлась.

Омар остановил носилки, чуть отодвинул занавесь. Ага, и жулик с обезьяной еще здесь; он сидел на земле и горько плакал, и горе его было неподдельное.

— Пять лет учил я эту обезьяну, я не женился, я отдал тысячу динаров, чтобы одеть ее, как принца. А седло, а эти рабы — вы же знаете, правоверные, почем нынче индийские рабы! И вот в первый же день этот ваш подлый Омар Хайям!..

И обезьяна глядела хозяйина по руке — сама, без подсказки! — утешала его, как могла. Впрочем, не только обезьяна его пожалела.

— Слушай! А ты ступай в Багдад, там столько дураков, они тебе поверят.

— Или в Самарканд, там только дураки и живут.

— И там нет шейха Омара!

Поводырь мгновенно приободрился, наглец:

— Но у меня нет на дороге! Я еще не расплатился за седло — а без золотого седла кто поверит, что это царевич? Вы разве поверили бы?.. О, бедный я, бедный! Лучше бы он сразу убил меня, этот ваш гнусный Омар Хайям!

И Омар услышал, как опять зазвенели медяки и дирхемы. Но еще он услышал и такое:

— Ты уж не обижайся на него, на нашего Омара.

— Ученый — что с него взять? Ни во что не верит.

— Аллах наказал его безверием.

— Все знает — ничему не радуется.

— А вот я все же не верю, что это простая обезьяна. Вы только поглядите, поглядите!.. Ну, может, это и не царский сын, но...

— Но сын нашего судьи, хо-хо!..

— Или сын ученого, ха-ха-ха!..

Омар задвинул занавеску, носилки тронулись.

— Направо! — приказал Омар. — Нет, к сыну — потом. Сначала... к другу.

Омар сидел в гончарной усто Холика и говорил, чуть нервничая:

— Зачем я пришел, Холик? Сам не знаю. Нет, знаю: какое-то предчувствие... Старый мир обречен, новый уже идет на смену. Все эти дрессированные принцы, хитрые обезьяны, убийцы-ассасины — они же смешны перед новыми машинами и перед новыми людьми — перед учеными! Наука — вот что перевернет землю!.. Ты слышишь, усто?

Холик слушал со вниманием. Не отрываясь от своей работы — крутил босыми ногами гончарный круг, а из-под рук его, перемазанных глиной, вытекало высокое горло нового кувшина. Удивительное дело: столько лет миновало, а он нисколько не переменялся, этот усто! Широко в кости, низко подпоясан,

приземист на ногах, и голова велика; лоб ясен, ибо не собран в морщины, нос крупен, потому что глаза глубокие, рот несуетный. И была в его лице тишина, и было спокойствие.

Омар же говорил, говорил, и слова его были обнадеживающие вроде бы:

— Да! Я предчувствую, я чувю: новая земля, города совсем новые... Но главное, конечно, новые люди...

А ведь в этом доме уже и дети подросли — вот чья-то трепаная кукла брошена в углу, вот игрушечный лук...

— Смотри, Холик, вот он, твой мир, хо-хо!..

Омар, пока говорил, зажег масляный светильник и поставил его на пол — перед рядами кувшинов и кумганов, которые Холик слепил за день. Разгорающийся огонек отбрасывал на стену мастерской огромные и все растущие тени — подобные большому городу, нет, целому миру! Вот пиала величиной с бассейн, вот кувшин ростом с минарет, вот перевернутые горшки — купола и крыши... Неужели это все — только скромная глиняная утварь, случайно оказавшаяся перед косым светом? А что за гора высится над всем этим горшечным городом? Просто куча сырой глины, что лежит в углу мастерской.

А еще на той стене — больше города и больше горы! — мелькали босые ступни, ступни колосса, вращающие гигантский гончарный круг; это был всего лишь горшечник Холик — но тень его казалась непомерной, а гончарный круг подобен кругу вселенной, вращаемой голыми пятками божественного гончара.

Омар и не замечал, как мала, незначительна собственная его фигура на фоне тех теней.

— Да, ты мастер! — говорил Омар. — Ты бог! Ты крутишь этот мир, ты слепил его своими руками — крути, лепи, божественный усто, недолго тебе осталось. Твой мир устарел, слишком он нелогичный, неразумный. Признай, им правят обезьяны или ассасины. Нет, новый мир будет иной, нерукотворный. У м с т в е н н ы й, да, да! Математик это сделает лучше!..

И тут величественные тени на стене замерли — пятки вселенского усто прекратили свой размеренный ход. Остановился гончарный круг — остановился круг мироздания.

Даже звезды в дверном проеме мастерской перестали мигать.

— Что же ты замер, усто? Знаю, ты хочешь сказать: «Бог — не математика, бог — это любовь», да? Что ж, неплохой бог — для обезьян. Нет уж, наука и разум — вот мои боги!.. Ну что еще ты хочешь сказать?

И немой усто сказал — вернее, написал: раскатал на ладони глиняную лепешку и выдал на ней заостренной палочкой, кото-

рой наводил ободки на горшках: «КАК ТВОЙ СЫН ФАТХ?»

Примолкший Омар держал в руках эту глиняную табличку. А на стене тени вновь пришли в движение: мягкий и мощный толчок голой пяткой — и тронулся круг. Вторая стопа взлетела и опустилась — круг завертелся вовсю. Пятерня творца потянулась к вершине горы — рука мастера захватила ком сырой глины...

Омар вышел из мастерской. Хотел было сесть в носилки, но передумал.

— Отправляйтесь к моему сыну Фатху, — сказал он. — И привезите его ко мне. Я буду у себя... в бане. Хорошая мысль: приятное с полезным. Я доберусь сам.

Это была личная его баня, построенная по описаниям одного невольника из совсем дальних и северных стран. И не мраморная, как у всей столичной знати, но сплошь деревянная.

Раздевшись и препоясав чресла непрменной для мусульманина повязкой, он с пристрастием огладил себя руками: красивое, ухоженное и, пожалуй, еще не растренированное тело сорокатрехлетнего холостяка. Улыбнулся: приятно повидать сына... и себя показать. Достал из сундучка еще одну повязку.

— Это для Фатха.

И шагнул в облако душистого пара.

В бане его ждали Султан и Везирь. Султан сказал:

— Ах, как жалко, что я не могу всегда мыться в этой твоей замечательной бане, Омар. Увы, султанская моя судьба приговорила меня пользоваться роскошной, официальной, х о л д н о й государевой баней. Но к делу, к делу!

Везирь сказал:

— Омар, нужно, чтобы ты съездил в Аламут.

Султан кивнул:

— Да. К Хасану Саббоху.

Наступило молчание. Жаркий благодатный пот струился по лицу Султана, пот стекал по седой груди Везиря.

Пот, проступивший на лбу Омара, разом вспикел и высох.

Омар сказал:

— Я прикажу принести воды со льдом. Но Везирь покачал головой. Султан указал на скамью рядом с собой, сказал:

— Понимаешь, сейчас есть возможность двинуть всей армией на Византию, и одним ударом!..

— Но для этого, — сказал Везирь, — надо сперва помириться с Саббохом.

— Временно, конечно. А уж потом, после... Тоже одним ударом!..

Омар сел. Встал. Взял ковш воды, плеснул на раскаленные камни... Нужно было дать вы-

ход своему беспокойству. Хотя он был польщен, пожалуй.

— Но почему я? Я все-таки не посол, не министр...

Султан усмехнулся:

— Ну... математик это сделает не хуже. Я мог бы послать любого министра — Саббох с ним и разговаривать не станет.

— А со мной?.. — задумался Омар; но сам понял: с ним станет разговаривать, и не только Хасан Саббох. — М-да!..

— Любого из сыновей, — продолжал Султан, — но...

— Саббох возьмет его в заложники, — сказал Везирь, — а то и убьет.

— А меня? — задался вопросом Омар. — Н-нет, пожалуй.

Султан даже рассмеялся:

— Тебя?! Саббох не дурак. Тебя даже я не захочу обидеть... без особой надобности.

И Везирь улыбнулся:

— Омар Хайям, любимчик народный, все-ленский баловень!

Опять правда. И опять лестная.

— Но ведь Саббох не станет мириться просто так...

Они не дали ему договорить:

— Разумеется! Мы готовы уступить...

— Временно, разумеется!..

Омар еще пытался дать себе отвод:

— Но я же ничего в этом не смыслю: что можно уступить, а что жалко... для вас. Кстати, как твои глаза?

— Да, — кивнул Везирь, — с этими стеклами нам придется немного обождать. Нам с тобой. А уж потом я тебе обещаю!..

— А иначе — я не обещаю! — усмехнулся Султан.

— А торговаться с ним, это уже не твоя забота, Омар. Мы пошлем с тобою какого-нибудь министра. Эй, Мухтар!..

Министр Мухтар был тут как тут, и тяжело ему пришлось в жаркой северной бане, да при полном параде, да не разгибая спины в поклоне. Но он был выносливый министр, потел с готовностью.

— Ты, Омар, только начни эти переговоры. А уж Мухтар, он не продешевит. Ступай пока, Мухтар.

Мухтар попятился. Сообщил:

— Там... какой-то юноша, Омар.

Омар наивно ухватился за такую возможность:

— А! Это мой Фатх. Я обещал ему, что проведу с ним... эту неделю. Это мой сын.

— Я сказал ему, что ты занят, Омар. Чтобы в другой раз...

— Да, — вздохнул Везирь, — только бы он согласился разговаривать, этот Саббох.

Тут Омар все же возмущился.

— Но я-то, я — с какой стати я должен разговаривать с этим... С этим невежественным, тупым, темным... Я ведь не друг Хасану

Саббоху и никогда этого не скрывал.

Везирь улыбнулся.

— Разумеется. Но ты — математик. А математик сделает. Всё.

Султан кивнул:

— Что надо!..

Во главе посольского каравана Омар пошел к воротам Аламута, большого замка среди неприступных гор. Погонщики были одеты с подобающей роскошью, сбруя лошадей и верблюдов была украшена чеканными бляхами, министр Мухтар весь сверкал и блистал, и борода его была в золотой пудре, под Омаром плясал красавец-скаун из султанской конюшни, а стремяна и уздечка были из султанской сокровищницы. Сам Омар, впрочем, позволил себе небрежные одежды, белые и простые — ведь он в сущности не посол, а математик, не так ли?..

Люди Саббоха (вот любопытно: сплошь очень молодые люди, свежие, сытые, но все будто на одно лицо) встретили посольство у подъемного моста. Один из них выступил вперед, заговорил, чуть запинаясь; наверное, он, как не слишком блестящий школяр, прилежно вы зубрил слова этого своего урока, а уж постичь связующий их смысл он и не мечтал.

— О досточтимый Омар Хайям, доказательство истины, ученый, мудрый и прочее — титулы твои все будут сказаны в должное время. Старец горы согласен тебя принять, чтобы...

Мухтар не сдержал ухмылки: дело началось успешнее, чем можно было предполагать.

— ...чтобы иметь с тобой разговор, перед началом коего ты окажешь Старцу подобающее Ему почтение, а именно...

Омар кивнул Мухтару, чтобы запоминать ритуал, по-видимому, предстоит необременительный, но мелочный. Мухтар изготовил бумагу и калам, открыл походную чернильницу.

— ...а именно: ты поцелуешь прах перед Его дверью, ты не переступишь, но переползешь Его порог и, облобызав Его туфлю, ты не поднимешь глаза от земли, пока Он не позовет тебя. Это все.

Мухтар, бледный, как мука, застыл в седле, только борода шевелилась. Омар тоже оторопел сперва, но потом рассмеялся от души:

— А если мы не принимаем эти условия?

Ассасин ждал такого вопроса:

— Вы вправе вернуться восвояси.

Тут Мухтар чуть пришел в себя:

— Ну а если... если мы... чуть-чуть ошибемся... то есть не соблюдем?..

Юноша сказал заученно:

— Вы будете убиты на месте.

Мухтар сразу успокоился:

— Нет. Мы не уполномочены этого принять — мы возвращаемся.

Но тут Омар перестал веселиться. Зловредный азарт в нем пробудился — или служебное рвение?

— Да. Мы принимаем. Я сам согласился говорить с Саббохом — я исполню все!

Мухтар, захлебываясь слезами, шептал, умолял:

— Омар, остановись!.. Ты не уполномочен! Ты — посол Его Величества!.. Что ты делаешь?! Султан казнит нас за такое унижение. Омар!..

Но Омар, не то чрезмерно спокойный, не то сверхъяростный, уже дал шпоры коню, уже отворились ворота замка...

И вот стоит Омар Хайям перед тем порогом. Он должен будет пройти к нему сквозь серый строй ассасинов, под их обнаженными мечами — то есть изрядно преклонив свою умную голову, которую он на сей раз украсил высоченным золотым тюрбаном да еще с каким-то бунчуком из цветных перышек. И каково будет ему ползти на брюхе в этом халате из негнушейся парчи? А драгоценный пояс, весь в каких-то бряцающих висюльках...

Зревели карнаи, слогоголосые военные трубы. Громыкнул барабан. Лязгнули, перекрестясь, мечи. Омар пошел...

Нет, он не придумал никакой уловки. Как обещано, он простерся перед дверью. Исправно переполз через порог. В глубине зала сидел в кресле приятель Хасан Саббох — не имело смысла подниматься на ноги, чтобы потом вновь падать для лобзания уже выставленной туфли; Омар преодолел дистанцию на четвереньках. Звучный поцелуй...

Старец горы был ровесник Омару, но не ровня, конечно. Куда солиднее он был, важнее! А как одет! К примеру, та самая туфля, вся в самоцветах, как в прыщах, и подкованная золотом, была к тому же заметно стоптана, ибо это была не парадная какая-нибудь туфля, но каждодневная!

Сверху вниз глядел Хасан Саббох на затылок однокашника. Заговорил наконец:

— О достойный господин всех мудрецов, духовный вождь, доказательство истины, царь философов Востока и Запада, просвещенный, выдающийся, небесный, великий! Встань!

Притом слова «господин», «царь» были произнесены с особым вкусом...

Омар, однако, не шевельнулся. Не слышал, что ли?.. Молчание воцарилось в зале.

Саббох повторил громче:

— Господин всех мудрецов, доказательство истины, славный, великий философ и ученый Омар Хайям — встань!.. Встань же!

Да уж не помер ли он?.. Саббох пошевелил туфлей, и тогда Омар, все еще не поднимая головы, чуть повернул ее, так что ухо его легло на пол, а один глаз уставился на

Хасана. И проговорил углом рта:

— А кто же тут этот просвещенный и духовный и!.. — как ты говоришь? — ученый? Да, я встретил одного такого — там, перед дверью. Да, да, кажется, его звали Омар Хайям. Но сам посуди, Хасан: разве стал бы мудрец, которого ты сейчас звал, целовать чью-то ногу? О нет, перед тобой всего лишь ничтожный раб, которого один властелин послал к другому.

Хасан вскочил:

— Нет! Я знаю тебя — ты Омар Хайям! Омар опять упал вниз лицом.

— Увы! Я — низкий раб, я не узнаю себя!

— Я не давал согласия говорить с каким-то рабом! Я желаю беседовать с великим Омаром Хайямом. Встань!

Омар вновь глянул на Саббоха в пол-лица.

— Но ты же знаешь, Хасан: нельзя и съестть яйцо, и высидеть цыпленка. Или математик Омар Хайям будет стоять перед тобой во весь рост, или безмянный раб будет лежать перед тобой во прахе. Или — или.

Хасан был в ярости, он растоптал бы этого своего однокашника, но... Вокруг стояли его ассасины и слушали, дружно разинув рты, и глядели, хлопая, как по команде, одинаковыми глазами.

Хасан вздохнул и выдохнул. Подал знак рукой:

— Назад! Заново! Я буду говорить с Омаром Хайямом!..

И вот Омар снова перед закрытой дверью, перед строем людей с неразличимыми лицами. Он еще раз пройдет тот же путь, но уже по-иному. Долой пышный тюрбан, золотой халат! В свободных своих одеждах из отбеленной шерсти шел «великий», «славный», «небесный» — одним словом, математик! Шел к двери, за которой его ждал один из властителей мира сего, всего лишь. Шел, и мечи высоко поднимались над победной его головой, чтобы не задеть ее.

Саббох, изображая благоволение и широту натуры, встал ему навстречу.

— О досточтимый шейх Омар сын Ибрагима отец Фатха, доказательство истины, просвещенный, выдающийся!..

Но Омар, уже хозяин положения, не дослушал:

— Здравствуй, Хасан. Сколько же мы не виделись? Ты, я гляжу, не слишком-то переменялся — по сути.

Хасан, смиряя злобу, отвечал тоже простеки:

— А ты, я вижу, и впрямь... ученый стал. Как твоя жизнь? Как дети? Сын у тебя, я слышал. Тоже, наверное, математик, да?.. Что ж, пойдем, поговорим.

Омар чуть встревожился: при чем тут сын? Ответил четко:

— Сын — прекрасно. Еще не ученый, естественно. Но учится. А ты как живешь?

Нет, тревога была напрасной: Хасан помянул сына просто так, без умысла.

— Вот,— сказал Хасан.— И я все время говорю: учитесь, дети мои, учитесь!.. Пойдем, поглядишь.

Наставительные слова были обращены к молодым людям, которые действительно выглядели не слишком... просвещенными, что ли. Омар попытался разглядеть их и не смог: неразличимые, безразличные — чудовищное количество близнецов-недоносков!..

— ...поглядишь, как я живу. Хотя тебя разве чем удивишь!

Они вышли в сад. К ним присоединился Мухтар-министр с покрытой платком клеткой, в которой пара почтовых голубей.

Омар огляделся. Сад ему сразу чем-то не понравился. Чем же? Отменный был сад, он привел в восторг известного венецианского купца Марко Поло, который тоже его посетил и так описал его, а заодно и хозяина — Старца горь:

«Развел он отличный сад в долине меж двух гор: такого и не видано было. Были там самые лучшие на свете плоды. Провел он там каналы; в одних было вино, в других молоко, в третьих мед и в иных вода. Самые красивые на свете жены и девы были тут. Сад этот,— говорил старец своим людям,— есть рай. Развел он его точно таким, как Мухаммад описывал сарацинам рай: кто в рай попадет, у того будет столько красивых жен, сколько пожелает, и найдет там реки вина и молока, меду и воды. Приказывал старец вводить в этот рай юношей; сперва их напоят, сонными берут и вводят в сад. Проснется юноша и увидит все то, что я вам описывал, поистине уверует, что находится в раю, а жены и девы весь день с ним: играют, поют, забавляют его, всякое его желание выполняют. И не вышел бы оттуда по своей воле. Захочет Старец убить кого-нибудь, приказывает он напоить столько юношей, сколько пожелает; проснутся юноши во дворце, изумляются, но не радуются, оттого что израя по своей воле никогда бы не вышли. Готовы они после этого на смерть, лишь бы снова попасть в рай...»

Омар глядел на все эти прелести, и все веселее ему становилось. Да, несомненно: свой гигантский рай однокашник Хасан попросту слизал с маленькой модели Омара — и до чего же пошлая, вульгарная получилась копия!..

— Слушай,— интересовался Омар,— а как ты поднимаешь жидкости? Рабы качают, вручную?

— Ну зачем же! У меня насосы. Опять же по твоим чертежам. Мне их поставил один... наш общий знакомый. Как думаешь — кто?

Но Омару это было не любопытно:

— Ну украл — ну и что? Я уже новые придумал.

Хасан, однако, продолжал бахвалиться:

— А вот отведай, Омар, тебе понравится.

Омар отведал, но ему не понравилось.

— Я это вино... разбавляю, Хасан.

— Ну а мы,— и выпил,— предпочитаем вот так!.. А вон гурии, похожи?

Две толстые гурии, хихикнув, выглянули из-за кустов.

— Высокогрудые,— кивнул Омар.— Но... низколобые.

— Ну мы ведь не ученые. Мы любим, что бы — берешь в руки, чувствуешь вес!

— Ясно...

Хасан все больше злился. Его рай производил впечатление разве что на Мухтара — тот шупал, отвеदывал, ахал всю дорогу.

— Что же тебе ясно, друг Омар?

— Ясно, чего ты потребуешь от папаши Султана. Золото, земля... Эй, Мухтар! Обсуди с Хасаном условия договора. Это ты получишь, Хасан, сколько угодно.

— Чужое — не жалко?

— Да, Хасан, не мое. Моего тебе не урасть и не присвоить. В твоём раю не хватает только одного, Хасан, но без этого, извини, незавидный он, твой рай.

— Для математика?

— Для человека! Для будущего, во всяком случае.

Хасан вникал старательно:

— Будущий? Это, к примеру, сын?

Омар сказал:

— В твоём раю, Хасан, нет библиотек и. Уразумел?

Хасан уразумел наконец.

— Ладно... Эй, Мухтар! Пиши депешу: «Переговоры начались».

Мухтар уже поспешно писал указанные слова на крохотном свитке, привязал к красной голубиной лапке...

— А ты, Омар,— сказал Хасан,— может, погуляешь, пока мы тут... торгуемся. Вон там, слышишь, поют — не узнаешь? Там ты увидишь такое, чего не видал. Во всяком случае, да в но... не видался.

И, проведив красным глазом улетающего голубя и уходящего Омара, проговорил:

— Так что же я могу нынче урвать, а? Чтобы пожирнее. Золота? Не надо.

— Совсем? — тихо возликовал Мухтар.

— Власть? С меня хватит... пока. Зёмли, владения? Нет!..

Омар между тем шел на голоса. Песню он узнал, конечно, но голос?..

Тучам солнца высокого не потушить,
Горю сердца веселого не сокрушить —
Для чего нам к какой-то там цели
спешить?

Будем пить и в свое удовольствие
жить!..

За розовыми кустами на зеленом ковре лужайки в компании горланящих юнцов со

с этим музыкальным гробом поспешил в кухню. Где на пыльной кошке был расстелен давно не стиранный достархон с весьма скромной и кое-как приготовленной трапезой.

— Не обижаясь на ее причуды...— пел Омар.

— Вот,— сказала Гульнисо,— я начала экономить. Как ты велел.

Омар уселся, ящик поставил поближе к себе.

— Гм!..— сказал он, приподнимая крышку с глиняной посуды.

— Чечевица,— сказала Гульнисо,— а что?! Купил бы себе жену-китайку за пять динаров, они все готовить умеют. А меня этому не учили.

Омар, должно быть, слышал подобное уже не раз и не хотел продолжения — хотя ящик и на это откликнулся мелодичным рокотом.

— Чечевица,— попробовал он объяснить,— коричневая, она выглядит аппетитнее, если класть ее не в глиняный горшок, понимаешь? А во что-нибудь белое. Или зеленое... А с чего это... экономить?

Гульнисо, однако, не ответила на вопрос, она дала ответ на его поучение:

— А нечего было покупать жену в Веселом квартале. Я певица, я четыре сотни стоила.

— Стоила, стоила! — поспешно согласился Омар с ее словами и еще охотнее с их эхом из ящика.— Так с чего это ты... вдруг?

— Просто так.— Она выбрала персик, укусила его белыми зубками за румяную щечку.— Ну не просто. Очень ты умный, Омар, ты все равно уже догадался. Да, мне нужны деньги, тридцать динаров. Я присмотрела одну... попку.

— Ско-о-олько?!

Она ринулась в наступление:

— Ну Омар, ведь все равно ты дашь! Поворчишь, поскрипишь — и уступишь. Но дело в том...

— Нет! — твердо сказал Омар.— У нас нет таких денег.

При этом клонился ухом к ящику. «Трен-нь!» — красиво сказал ящик: это она выплюнула косточку, и косточка упала рядом.

— Но ты же получишь деньги. Хотя бы за этот новый трактат — по музыке, что ли?

Стоп! Из ящика впервые послышался какой-то неверный звук. Омар сказал:

— Не вздумай кому-нибудь сболтнуть. Это самый опасный из моих трактатов, самая крамола!

Она была разочарована. Но от своего не отступилась:

— Жаль. Дело в том, что платить надо сегодня, а то вещь уйдет... Я-то думала, это про музыку.

Омар даже испугался:

— Молчи, кому сказано! В том-то и дело, что про музыку! Про мир, про свободу, про всеобщую гармонию — про музыку, понимаешь? Музыка — она ведь не терпит фальши, коварства, насилия! Музыка — враг всякого вранья...

— И понимать не желаю! — возмутилась она.— Это только ты умеешь, философ: музыка, от которой ни денег, ни радости. А мне вот надо тридцать динаров. Завтра ты, конечно, дашь, но пойми: вещь привозная, купец тоже нездешний, даже не знает, невежда, кто такой Омар Хайям. Я ему говорю: «Деньги завтра, я жена Омара Хайяма», а он...

Омар слушал не ее, он слушал свой ящик — пока тот вновь не издал резкий скрип. Будто по уху ударил.

— Как ты посмела!..— Омар даже замахнулся на нее.— Злоупотреблять моим именем! Я тебя... прибыю!

Она окрысилась:

— Не прибудешь! При твоей-то жадности — бить то, за что заплатил четыреста динаров, ха-ха!..

Но ящик и эти уже совсем склочные интонации переработал в чистейшую музыку. Омар опустил руку.

— Омара Хайяма потому и уважают, что он ни у кого ничего не просит. Но стоит случиться нужде, ни одна собака его не вспомнит, вот увидишь!.. Нет у нас тридцати динаров.

Она молчала. И ящик молчал. Тогда Омар напел свою незаконченную рубайю — и это было ошибкой с его стороны.

Я красоты приемлю самовластье,
К ее ногам всегда готов
припасть я,
Не обижаясь на ее причуды,
Ведь все, что от нее исходит,—
счастье!..

— Ах счастье! — взвилась она.— Ах не обижаясь,— а денег не даешь! Я певица, я не стряпуха! Я...

И она с такой яростьюхватила огрызком персика по блюду, что блюдо треснуло. «Цзиннннн!» — пропел ящик, и Омар даже зажмурился блаженно, столь прекрасен был звук.

— Я четыреста динаров стоила!..

Она вскинулась, как кошка, она схватила с полки самый большой горшок — и черепки запрыгали по полу. И россыпь великолепнейших аккордов услышал Омар. Он тоже вскочил — с неожиданной легкостью.

— Музыка! — закричал он.— Да здравствует музыка!

Она было замерла, увидев содеянное, но он приободрил ее, подстрекнул, раздражил:

— Денег нет, нет, нет! А музыка есть, есть, есть!..

Жалобно звякнула об стену тонкая китайская пиала — радостная грянула музыка. Да, такая это была боевая и счастливая музыка, что нельзя было не заплясать, никак нельзя!

Она била посуду, Омар хохотал во все горло. Плясали черепки, плясал Омар...

Но вдруг опять фальшивая нота — неверное слово:

— А вот возьму и расскажу! Про этот твой трактат.

Скверный скрежет из ящика, музыка оборвалась.

— Этого ты не сделаешь.

Он не испугался — она испугалась. И отступилась — впрочем, только от слов, но не от действий. Вновь загремели кувшины и миски, музыка грянула с новой силой. Но вот она нацелилась горшком по его ящику — но один его взгляд, и посудина мирно разбилась об дверь; все же он здесь был большой, а она маленькая.

Но вот ни чашки больше, ни плошки, и тогда она вцепилась в его седую голову — она бы и ее расколотила сейчас. О, какая была бы музыка — череп на черепки!..

— Музыка! — счастливым голосом орал Омар. — Моя музыка!..

И он схватил ее, свою музыку, на руки, он ее закружил, он прижал ее к своей груди. А ее пальцы, яростные и злобные, сделались яростными и нежными, ногти вобрались, только подушечки пальцев сжимали его и не отпускали...

Струны лука вздрагивали под ветерком поцелуев, ящик откликнулся тихими синкопами...

И вдруг самый гнусный звук из того же ящика.

Гульнисо не услышала, но Омар дрогнул, оглянулся. На пороге стоял Старший султанзаде. Кажется, он уже давно был тут и немало успел сказать.

— ...Так вот, Омар, решайся! — закончил он. — Пять тысяч динаров, служба нетрудная. Ну а когда победим, когда отрубим с божьей помощью голову нашему драгоценному братцу, то и больше будет. — И уже с порога. — Жду твоего согласия, до завтра!..

И был он уже немолод, этот царевич, которого Омар звал еще юношей, коварство и жестокость иссушили его плоть, обесцветили губы, заострили хрящи его носа и ушей.

Омар помрачнел:

Если есть у тебя для жилья закуток
В наше подлое время — и хлеба
кусоч...

Копыта прогремели за стеной — в ящике замер последний гнусный звук! — гость и его свита скрылись во тьме.

— Если ты никому не слуга, не хозяин... — продолжал Омар.

А Гульнисо уже металась по дому, одевалась стремительно, ноги в туфли, покрывало на лицо...

— Пять тысяч! Мы богаты, Омар! Эх, надо было задаток спросить, хоть тридцать динаров, ха-ха-ха! Но у тебя же найдется, я знаю. Давай! Я еще успею!

Омар же опять внимал каким-то чистым и высоким созвучиям: ладонь к уху, отрешенная улыбка на губах...

— Денег нет. И не будет. Но если есть у тебя для жилья закуток...

— Как?! — она не хотела верить. — Ты откажешь — мне? Или... ему? Омар, ты рехнулся, а вдруг он завтра станет султаном. Да он тебя со света сживет!

Если ты никому не слуга,
не хозяин,
Счастлив ты и поистине духом
высок!..

Но опять Омар поморщился — ящик вновь резанул его фальшивой нотой: Младший царевич стоял в дверях. Он был краток:

— Омар, я все знаю. Сколько тебе предложил этот ублодок, мой брат? Пять, десять тысяч? Я даю вдвое. А когда я сяду на престол, а его посажу на кол, ты будешь моим везирем, понял? Завтра — война. До завтра, Омар!

И ушел, скрипнув ящиком. За те же годы этот царевич раздался, оплыл на огне злобы, глаза у него были красные, а рот мокрый.

Гульнисо, когда он вошел, спрятала лицо от чужого мужчины на груди у мужа, и теперь, все еще обнимая его, сказала:

— Омар, мой милый, как стучит у тебя сердце, иди ко мне, не огорчайся, иди ко мне и не думай про эти пять тысяч, и про десять, и даже про мои тридцать динаров не думай, ладно уж, милый, иди ко мне, завтра, мой мудрец, ты выберешь из двух зол менее злое, из двух зол более выгодное ты выберешь, мой философ, иди ко мне!..

В голосе ее была нежность, была любовь.

И струны вновь затрепетали под порывами поцелуев, и ящик заиграл, и Омар согласился:

— Да. Ты можешь взять тридцать динаров. Там, у меня в поясе. Возьми, ты еще успеешь... взять.

Недолго она колебалась: вещь уйдет, а Омар — куда он денется...

Ящик проводил ее счастливым аккордом.

Ящик все еще продолжал звенеть, когда Омар бережно держа его в руках, вошел с ним в мастерскую друга Холика.

И опять он не переменялся, этот усто. Впрочем, трудовой народ тем известен: едва из младенчества — сразу в работу, в зрелость, да так и остаются, пока сами себя кормят, без возраста. И, как всегда, он рабо-

тал — крутил свой круг; Омар же, как обычно, стал излагать свои тревоги и радости — стал играть с тенями кувшинов и кумганов.

Кувшины, обожженные и звонкие, он клал набок — чтобы их жерла ловили и возвращали звук. И чтобы зазвучали их тени. Да, да, именно бесплотные тени составили тот оркестр, что заиграл сейчас под руками философа и под руками мастера. Усто Холик, кажется, подыгрывал: то сминал, то пластал податливую глину, и плоская тень, идущая по кругу, меняла свою фигуру — задавала ритм и тон. Вот выставился глиняный буторок на кругу, малый вырост, который не мог ни обо что задеть, — но его четкая тень набежала на прозрачную тень кумганной ручки. «Трен-н-нь...»

Будто перышком по упругому бамбуковому язычку. А на следующем обороте уже: «Трен-брен-н-нь...»

Он будто музыку лепил, этот мастер! С каждым новым оборотом его гончарная шарманка задевала какие-то новые струны; сперва щипком, и тогда струна звенела, а потом штрихами, и струны пели, как под смычком. А вот духовые включились — это Омар, перемещая кувшины, велел им то рассеивать звуки, то собирать их в некий фокус, а малые миски и пиалы он задвигал как сурдины в широкие кувшинные горла и глушил их чересчур трубные голоса...

И тут вновь случилось с Омаром то, что было уже однажды — когда он вдруг увидел звезды на полуденном небе и пред-увидел грядущие людские дела и судьбы. Только теперь он предугадал еще неслыханные созвучия, сумел расслышать музыку будущего.

Вот божественная арабская аль-ут дала начало европейской лютне, сладостный напев восточной флейты породил голоса всех деревянных и медных духовых. вот будто ветер с индийских гор, пройдя по тугой хвое ливанских кедров, загудел баховской фугой, а вот некий музыкант перебежал пальцами с обнаженных струн древней арфы на мануал клавиатура рояля, и вот уже угадывается страстный Бетховен, а следом философичный Шостакович, и всенародная «Марсельеза», и международное «Вставай, проклятым заклейменный!». Но тут же услышал Омар — не мог не услышать! — и вечно пошлые галопы, гремучие марши, равно пригодные и для надвигающихся орд хромого Тимура, и для недалеких крестоносных варваров, и для наследников их гнусной славы, которые спустя столетия, вот так же дробя сапогами, двинутся на завоевание мира, но встреч им уже звучит «Война народная...». А следом прослышал Омар совсем новые созвучия, атональные, битовые. И наконец еще никем доселе неслыханная гармония вселенского братства и мира и согласия...

А когда отзвучало это все, сказал Омар,

ставя кувшины по местам:

— Беда, друг, беда: я постиг закон музыки, закон человеческой гармонии — разве я смогу теперь его нарушить? Хитрить, фальшивить не могу больше — беда! И выбирать из двух зол не могу. Мне остается одно — уйти...

Он подозвал всех малых детей этого дома, которые выглядывали из дверей и углов, он разломал свой музыкальный ящик и раздал его весь — каждому по кусочку дерева или металла.

— Да, бросить все и уйти — чтобы музыка не ушла от меня...

И даже малая щепочка или кривой гвоздь продолжали чисто звучать в невинных руках.

— Уйти от моей любви, от последней моей!..

Когда Омар вернулся домой, Гульнисо уже ждала его, слышался ее ликующий голос:

Когда песню любви запоем соловьи,
Выпей сам и подругу вином напои...

На Омара же совсем иной стих нашел — печальный, безнадежный:

Ах, когда б я хозяин судьбы
своей стал,
Я б судьбу свою заново
перелистал!..

Впрочем, стих не вполне складывался: «б судьбу» — это, конечно, не звучит. Не то что у нее:

Видишь, роза раскрылась
в любовном томленьи —
Утоли, о влюбленный,
желанья свои!

Наперекор ему она еще повысила голос. Но Омар тоже настаивал на своей печали:

Я б судьбу свою заново перелистал
И страницы все черные перечеркнул!..

Она прервала его бесцеремонно:

— Все равно, Омар, ты меня не перепоешь, как я захочу, так будет. Всегда!

И показала свою попку. Это был бозубанд — плоская коробочка-талисман, золотая или серебряная; в нее кладут бумажку со стихом из корана или с именем святого и носят на груди.

— Сколько? — сказал Омар.

Он приоткрыл узенькую крышку, достал полоску пергамента.

— Тридцать... — сказала она, — пять... с половиной...

— Пятьдесят, — сказал Омар; хотел было развернуть пергамент, но не стал. — Но за тридцать пять ты сможешь его продать... в случае нужды. Если б я властелином судьбы своей стал, я бы всю ее заново...

Она пожала плечами:

— Какая еще нужда? Все говорят, что Старший царевич станет султаном. Впрочем, тебе виднее, кого выбрать.

И запела — те самые стихи, которые у него не выпевались никак. Притом с ходу все переиначила, переводя слова из мужского рода в женский, мудрость из старческой в юную, а музыку из минора в мажор. Вот так примерно:

Ах, когда я хозяйкой судьбы своей стала

Бы!

Я судьбу свою заново перелистала

Бы!

Я страницы все черные перечеркнула

Бы!

Я от радости небо рукою достала

Бы!

И Омар засмеялся, покоренный, настолько это ему показалось лучше, чем у него самого. Искуснее! Он обнял ее, поцеловал сперва в лоб, потом в поющие губы хотел поцеловать. Но она бы все играла! Развязала свой пояс, стала с ним приплясывать, подергивая его за хвост, так что поясок вдруг поднял голову, будто змея перед закликателем, стал извиваться и танцевать и наконец пожелал завязаться узлом. Хотя Омар очень мешал ей работать.

— Пусты,— приговаривала она.— Нет, пусты. Нет, завяжу. Узлом, мой милый, узлом! Я же умела — пока ты не купил меня... За четыреста динаров... Этому меня учили!..

Когда она заснула у него на руке, он тихонько открыл бозубанд, извлек крохотный свиток, прочел. И тоже закрыл глаза, умиротворенный. Там было написано коряво, подтеками: «ОМАР». А рядом лежал поясок, завязанный в узел.

И музыка была вокруг них, колыбельная над брачным ложем.

Они проснулись от того, что странный шум примешался к этой музыке...

— Омар!.. Что это?..

И первым делом нашарила бозубанд, зажала в кулачок новую свою игрушку — совсем еще маленькая женщина! Омар же, пробудившись, поскорее отер смятое сном лицо, по возможности расправил морщины — не любил, чтобы она, посвежевшая и расцветшая после сна, видела его утреннее лицо.

С улицы доносился неясный и мощный гул — будто море накатывалось на стены их дома. Когда они выглянули за порог, то увидели: вся их улица запружена огромной толпой; люди стояли, переминаясь с ноги на ногу, переговаривались негромко.

— Шейх Омар!..

— Омар Хайям!..

Волна голосов сразу поднялась, нахлынула. Неужели они все пришли к нему? Дожи-

дались его пробуждения?

Белобородый старик с черными руками ремесленника выступил вперед; Омар было приложил ладонь к уху, но толпа разом стихла.

— Шейх Омар, мы слышали, что ты решил уйти. В паломничество. К святым местам. Правда ли это?

Гульнисо, прятаясь за спиной мужа, тут высочила вперед, чтобы заглянуть ему в глаза:

— Омар, куда? Это правда, Омар?

Омар ответил — людям и ей:

— Да. Я уйду. Оставляю всех, кого люблю. Чтобы музыка осталась со мной.

Тогда старик протянул руку, тут же из толпы выбежали его сыновья или подмастерья и вложили в ту руку связку тувель и сандалий — три дюжины пар самой разной обуви.

— Вот,— сказал старик,— прими. Дорога твоя далека. Мы из кожевенного цеха.

И, положив свой дар к ногам Омара, отошел. Его место занял другой старик, державший в поводу ишака, навьюченного множеством глиняной посуды.

— Это от нас,— сказал он, сгружая поклажу на землю,— от гончаров. Для воды. Для вина, для масла. А в этой фляге вода всегда остается прохладной!..

— А мы медники. Глиняная фляга может разбиться в пути, а вот эта... Или эта...

— А мы, кхе-кхе, менялы. Да, да, ростовщики и менялы, и мы не хотим быть хуже других, шейх Омар. Это — золото, деньги, кхе-кхе, уж чем богаты, кхе-кхе...

— А вот штаны, шейх Омар, прими, не откажи!..

— А это халаты. Выбери хоть один, пожалуйста!..

Музыка нарастала, чистая и добрая, курган добра рос перед Омаром. Но, конечно, он не мог взять ничего этого.

— Я не могу,— говорил он растерянно.— Я уйду. Мне ничего не надо...

— Но, может быть, ты выберешь, шейх Омар?

— Хоть что-нибудь!..

И Омар выбрал. Когда гора всякой всячины выросла выше дома, а толпа отступила, он увидел маленькую палатку-хайму, поставленную прямо посреди дороги.

— О шейх Омар,— сказал хозяин палатки,— твой отец тоже был хайям, палаточный мастер — так неужели ты не возьмешь эту хайму?

Омар кивнул: да, это я возьму.

И он вошел в палатку. Махнул рукой своей Гульнисо. И всем-всем, кого любил и кого оставлял. И будто оттолкнулся той рукой от людского берега. И белая хайма поплыла-поплыла по мягкой дороге, по миру, по го-

родам и весям. Вот она уже у края возделанного поля...

А вот посреди каменной пустыни...

Вот под стеною незнакомого города...

И повсюду люди узнавали эту поначалу златоверхую, а потом уже линейную хайму, приносили кто завернутую в лепешку еду, кто рог с питьем, и еще — каждый свою музыку. Вот немолодой крестьянин — от него исходил басовый рокот струн, будто его толстые жилы еще гудели от натужной работы...

В женщине, что пришла с двумя детьми, бубен бил в ритме сердца...

В мальчике пела глупая воинственная труба, девочка пела звонким голосом...

А еще, как подобает отшельнику, Омар привечал зверей и птиц, и они, с нехитрыми своими мелодиями, стекались к его хайме — потому что здесь была тишина и была музыка.

Хотя мир вокруг все громче скрежетал войной, злобой, братоубийством. Сухие зарницы озаряли горизонт, над селениямиплыли кровавые дымы, вода в арыках была черна и густа, расплодившиеся стервятники закрывали небо...

И вот однажды два войска сошлись при долине, столь зеленой и прекрасной и поросшей по весне тюльпанами и маками, что, кажется, она самим Аллахом была предназначена для побоища. Но день был на исходе, и не имело смысла начинать дело, если некогда довести его до конца. Поэтому оба воинства разбили лагеря на двух противостоящих пригорках, чтобы с утра со свежими силами, с именем единого милосердного и справедливого на устах, во имя чести, мести, доблести...

И в одном из лагерей кузнец раздул свой походный горн; знаменитый в той армии батыр просил мастера чуть подправить его меч, рабочее его орудие.

— Самый кончик, — говорил боец, — заточить и зашлифовать.

— Как зеркало! — сказал кузнец.

— О! — сказал заказчик. — Но только кончик. А весь клинок — наоборот: чтобы вороненый был.

— Вороненый? — удивился кузнец. — Закалить в масле? Черный, что ли? Но...

— О! — сказал боец. — Это же не для красоты, это для работы.

— Но, — пояснил кузнец, — вороненое железо плохо идет в тело. Шлифованное идет, а вороненое — оно не идет.

— О! — сказал воин. — Пусть. Потому что, бывает, так загонишь клинок, что потом тащишь его, тащишь. За это время успел бы еще двоих проткнуть. А вороненый — ткнул вот на столько, и достаточно.

А в другом стане два таких же мастера с меньшим вкусом и понятием обсуждали тонкости того же дела.

— Это точно, — говорил один, — если рубить с хаком, то глубже разрубишь, гораздо. Вот так: х-х-х-хак!..

— А я, — возразил другой, — предпочитаю с криком, с воплем: а-а-а-а-а!.. Ужасно, да? В прошлый раз, жаль, голоса не хватило, а то я того врага надвое развалил бы!..

И вот ночь перед боем, и конечно, обоим армиям привиделся один и тот же сон, как они бьют, режут, гонят, и слышались им трубы победы и барабаны славы.

Но едва самые ранние из воителей поднялись, чтобы помочиться в сторону врага, они увидели в рассветной дымке посреди вождельного бранного поля... белую хайму. Ту самую!

Рты, разинутые для первых ругательств, затворились беззвучно; задохнулись карнаи, приготовившиеся огласить округу воинственным ревом; колотушки тихонько опустили на ослиную кожу котлов-литавр. Оба царевича, толстый и тощий, выскочили из своих шелковых шатров, заорали что-то грозное — но было сказано обоим:

— Тссс! Шейх Омар!..

— Отдыхает!..

Омар сварил себе кашу на маленьком костре, зачерпнул воды из родничка и унес все это в палатку — окинув спокойным взглядом цветущую долину, и ясный небосклон, и оба военных лагеря, над которыми сейчас поднимались мирные дымки.

Он помешивал в котелке и слушал музыку утра, когда вдруг раздались два скрежета — высокий и низкий! — и с двух сторон к палатке подошли оба главных врага, толстый и тощий. Они смерили друг друга ненавидящими взглядами, они обменялись взаимными оскорблениями — но шепотом, на ушко, потому что Омар выглянул наружу. И один вытащил из ножен кинжал, а другой — кривой нож, и оба бросили оружие на землю.

И вот они стоят один против другого, пригнув загривки под пологом палатки и осклабясь, как бешенные псы, — именно такими Омар предвидел их, когда они, еще юные принцы, стояли, держась за руки, возле отцовского трона.

Омар, конечно, пригласил их разделить с ним трапезу, они, разумеется, отказались от его каши. Они что-то заговорили, заговорили, но Омар, отвыкший от вранья, слышал только рык и шипение, сквозь которые вдруг прорывались общепонятные, но невыносимо фальшивые слова:

— Честь!.. Обида!.. Справедливость!..

Омар попробовал заглушить все это музыкой — любой, хотя бы той, что была у него под рукою. А под рукою был котелок с кашей да кумган для омовений. Если слегка постукивать по этим предметам то пальцами,

то ногтями... Да, можно извлечь кое-какую нехитрую музыку.

— Слышите? — вежливо спросил Омар, постукивая то ногтями, то пальцами.

Но им было не до музыки:

— Власть!.. Месты!..

— Честь!.. Власть!..

Омару надоело это, и он сказал:

— Чего вы хотите от меня?

Тут оба зверя заговорили человеческими голосами.

— Уйди! — умолял один.

— С этого поля! — заклинал другой.

— Дай нам сразиться!

— Позволь!..

Омар сказал:

— Я всего лишь паломник, богомолец.

Я не умею позволять или запрещать.

Царевичи даже рассмеялись, оба:

— Пока ты тут, ни один воин не осмелится повысить голос, нарушить тишину.

— А не то что убивать...

Омар сказал:

— Вот и хорошо. Помиритесь.

В ответ они опять заскрежетали на каком-то нечеловечьем диалекте, лишь отдельные слова звучали по-людски:

— Уйди! Деньги! Золото! Что угодно! Только уйди!..

Этого никакая музыкальная посуда не могла перекрыть. Омар выкрикнул:

— Нет! Не уйду! Ни за что! Нет, нет, нет, нет, нет!..

Они умолкли. Поднялись. И общая их ненависть к нему была сильнее, чем ненависть взаимная.

— Ну и мы не уйдем,— сказал толстый.— С этого поля.

— Ты первый уйдешь,— сказал тощий.

— Съешь всю кашу — и уйдешь. И тогда мы начнем!

— Тут же! Немедля! На этом самом месте!

И вышли. Не отрывая друг от дружки подозрительных взглядов, подобрали свое оружие...

Омар же вздохнул и принялся за остывшую еду. При этом напрягал слух, чтобы вновь, по осколкам, собрать свою музыку. Но тут в хайму втиснулись новые гости. Это были священнослужители из обоих лагерей. В отличие от военачальников оба смиряли гордыню плоти и были не в золоте и не в шелку, но один в рубище, а другой во властянице. Но и они принялись спорить и прекратиться:

— С нами бог!

— Бог за нами!..

Омар опять постарался отключиться от этой скверной музыки — стал искать свою. Ага, есть: кувшин с водой и ковшик с водой — то есть кувшин с музыкой и ковшик с музыкой! Счел своим долгом поделиться открытием с гостями — вдруг услышат все-таки:

— Музыка! Музыка везде, неужели не слышите? Вот кувшин с водой — кувшин, полный музыки. Вода не поет, пока не течет, но вот я зачерпнул ее ковшом — я музыку зачерпнул. И вот полилась — вода или музыка?..

При этом он лил воду то кругами, то змейкой, то поднимая, то опуская ковш — музыка падающей воды, как можно ее не услышать?..

Но они не услышали.

— Наша война священна!

— Пусть бог убьет меня на этом месте, если!..

А Омар уже играл на водяной струе, как на струне: он делал ее тоньше и звонче или толще и басовитей, он мог ущипнуть ее или приглушить. Увы, священнослужители были глухи ко всему этому.

Омар сказал:

— Объявите мир. Ведь вы одной веры.

Тут их пронзительные голоса стали слышны:

— Ни один бог в мире не запретил войну!

— Уйди, Омар! Во имя бога, какого угодно!..

Омар сказал:

— Нет.

Потом Омар сидел возле хаймы и мыл котелок в ручейке, что бежал посреди поля. А на берегах ручейка сидели воины, по трое от каждого стана. Все до зубов увешанные ножами, колчанами и прочими пустыми чехлами от оружия, которое было свалено в две большие кучи. И тот боец, что воронил меч, толковал рассудительно:

— Ну хорошо, Омар, ты не уважил наших владык — мы и сами не слишком их любим. Ты не поверил священнослужителям — что ж, и мы не всегда им верим. Значит, ты веришь в народ, да, шейх Омар?..

Омар же рассматривал полено, которое у него было припасено для следующего костра; на торце полена отчетливо читались годовые кольца...

— Так вот, мы и есть народ, не так ли?

Омар согласился:

— Так.

При этом он всматривался — нет, будто вслушивался в те годовые кольца, клонился к ним ухом... Солдаты мешали ему слушать. Тот, что предпочитал рубить с хаком, сказал:

— Но мы тоже хотим драться. Мы, народ!

— Это голос народа, шейх Омар: уйди!

Омар вздохнул безнадежно:

— Но почему? Вы одной крови, одной веры, вы говорите на одном языке. Вы могли бы услышать одну музыку — если бы не дрались.

Тут все шестеро заговорили одновременно:

— Они убили моего отца!..

— Наша честь!..

— Твой отец убил моего брата!..

— Мы отомстим!..

Омар все же попытался им внушить:

— Даже в этом мертвом полене — слышите? — музыка. Вот годовые кольца, дерево наращивало их, пока росло, оно запоминало музыку полдня и полночи, весны и осени — слышите?

— Они сожгли мой дом!..

— Мы победим!..

— Еще твой дед украл у моего дяди!..

Лязганье зубов и железа вместо человеческих голосов...

Омар между тем вынул из воротника халата иглу — обычную бронзовую швейную иголку — и приставил ее к краю полена. Потом снял с себя пояс, накинуд его петлей на полено, и когда потянул за конец, полено стало раскручиваться — и музыка дерева, записанная в изгибах каждого годового кольца, стала колебаниями передаваться в иглу, в пальцы, в душу... Омар услышал, как весело прорастало то деревце, как весенние птицы свистели в его ветвях, как листья барабанили под дождем, как гудели зимние ветры в его голой кроне. Это была очень конкретная музыка — музыка полена дров.

— Нет! — сказал Омар. — Пусть я буду один против всех. Против владык, против бога и против народа. Я не уйду. Пока жив.

И вот стояли один против другого два воинства, а меж них стояла вылинявшая и кое-где дырявая хайма. И каждый новый день оба стана начинали со взаимных угроз и поношений, но при том рты разевали безмолвно и мечами о щиты отнюдь не бряцали — чтобы не потревожить шейха Омара. Который вот уже сколько дней не выходил на свет. И, расходясь к своим кострам и кибиткам, откуда слышались голоса женщин и детей (потому что обозы уже подтянулись), воины толковали об одном и том же, так что слово, брошенное в одном лагере, получало отклик в другом:

— Уже четыре дня он ничего не ел...

— О! Еще день-другой — и не выдержит.

— Уйдет. И тогда повоюем!

— А вдруг — умрет? Прямо здесь?

— Что ты! Что ты! Не видать нам тогда удачи!

— Надо, чтобы он ушел.

— А не умер!..

Омар лежал в своей хайме и сквозь ее прорехи смотрел в небо. Нос у него заострился, запавшие глаза слезились, и он никак не мог разобрать, что это там на небе: луна или солнце?

— Который час?

Мгновенно десяток голосов поспешили с ответом:

— Скоро полдень.

— А ты еще не ел.

— Уже неделю ты ничего не ел!..

Омар сказал:

— Ага. Значит, это солнце.

Вокруг хаймы, разделенные лишь тоненьким ручейком, сидели воины враждебных армий, и у каждого руки были полны всякой снедью.

— Может быть, тебе не хочется хлеба, шейх Омар, — так вот тебе немного сыра: это коровий сыр, это овечий!..

— Может быть, ты не хочешь нашего хлеба! Да, мы солдаты, мы свой хлеб отбираем силой — но вот тебе покупной хлеб.

— Я сама покупала его, шейх Омар, за деньги!

Этот женский голос Омар узнал:

— Как твой ребенок, женщина?

— Лучше, шейх Омар, но... Он здесь, со мной.

— Покажи.

Женщина протянула руки в палатку, и на руках был голый младенец. Омар сожмурился, чтобы согнать влагу, застилавшую глаза.

— Да, — сказал он, — это уже не опасно. Эти язвочки помажь медом. Завтра принеси его опять.

— Но ты бы поел чего-нибудь... сегодня.

Омар сказал:

— Идите. Все. Скоро начнется дождь. С грозой.

Люди с недоумением глянули в ясное небо. Переглянулись... Омар не видел этого, но все равно пояснил:

— Я слышу... музыку!..

Он снова чуть взбудоражился, ему так хотелось, чтобы люди тоже слышали его музыку.

— Да как же вы не слышите?! — сердился он. — Небо и земля — будто две деки огромного инструмента, грозовая музыка сгущается между ними, сейчас она прогремит, прольется!..

Люди в неловкости отворачивались друг от друга. Но тут кто-то поднял голову... О! Еще минуту назад этого облачка не было на небосклоне, а теперь оно росло, надвигалось... Все бросились к кибиткам.

А в своей хайме Омар слушал дробь дождя по полотну, потом опять выглянуло солнце... Или это уже луна?.. Да, солнце и луна чередой сменяли друг дружку, дни бежали все быстрее, и каждый день люди приходили с одной мольбой. «Прими! — слышалось ему отовсюду. — Уступи!..» Но в этих добрых голосах он не мог не расслышать призыв вражды и упорства и потому не мог принять их подношений. И вот уже вокруг палатки воздвигся крепостной вал из хлебных лепешек, гроздьев винограда, сыров, овощей, птичьих яиц, сосудов с молоком, маслом, медом...

— Шейх Омар, уже десять дней ты не ел!

- Омар, уступи!
- Уже две недели, Омар!
- Двадцать дней, шейх Омар!..

Но Омару солнце и луна уже светили одновременно, и музыку он слышал нечеловеческую, неземную. Он слабел, а музыка росла. Он угасал, а музыка возгоралась. Он умирал, зато жила музыка.

— Музыка!.. — шептал он. — Две звезды, два звука мчатся навстречу друг другу. Столкнулись, слились — о, какая музыка, неземная, космическая! Луна и солнце вращаются под эту музыку! И планеты... И...

И тут он, кажется, умер. Потому что музыка небесных сфер оборвалась и рассыпалась. И голос призвал его:

— Омар!..

Голос был уверенный, хозяйский — ангельский что ли?

— Ома-а-ар!..

И пожалуй, плебейский чуть-чуть: ангел господеhn тянул гласные на манер базарной торговли.

— Ну Омар!..

На пороге, откинув полог палатки, стояла Гульнисо.

— Да,— сказала она.— Это я. Я! Не веришь? Проверь, пощупай: я!

Он пощупал. У него еще хватило сил, чтобы пощупать и удостовериться: она, во плоти! И заплакал тогда Омар Хайям:

— Не уходи! Не уходи от меня, я скоро умру, ты закроешь мне глаза, не уходи, я недолго протяну, еще три или четыре дня, и ты закроешь мне глаза, не уходи!..

А она глядела его руки, она хотела было поцеловать его — но решила сперва умыть.

— Никуда я не уйду, не бойся, и ты не умрешь никогда, это я тебе говорю — я! — а ты меня знаешь, Омар, как я сказала, так и будет, вот сейчас умоемся, потом поедем куда-нибудь, и не умрем, и будем жить...

Она проворно развязала пояс, достала оттуда гребень, флакон с какими-то благовониями. Смочила водою платок, sprыснула из флакона. Приговаривая при этом:

— Эх ты, фи-лософ! Придумал: умереть, доказать! Ты что же, и правда решил мир переделать, да? Войну отменить? Всерьез?

— Я умру, я скоро, не уходи...

— Я не уйду, а ты не умрешь — договорилась? Ведь ты не царевичам уступишь — ты уступишь мне.

А сама уже расчесывала с неподдельной лаской его отросшие и свалывшиеся волосы. Но Омар усмехнулся недобро:

— Сколькo тебе заплатил Старший царевич — чтобы ты меня уговорила? Или который из них тебя купил?

Она протирала ему, как маленькому, глаза и уши. Отвечала спокойной:

— Оба меня купили, в складчину. Сговорилась — вызвали и доставили.

— И за сколько же? За четыреста динаров?

Она даже рассмеялась:

— Омар, я теперь знаменитая певица. Тысячи полторы я с них получу, да еще воины звали меня спеть, и те и другие,— тоже не бесплатно.

Омар поднес ладонь к уху.

— Странно,— сказал он,— от тебя всегда чистая музыка. Ты никогда не фальшивишь.

Она кивнула уверенно:

— Вот! Я и говорю — уступишь. Ты и раньше мне уступал, а теперь подавно: ты стал старше, слабее, а я, наоборот, красивее, правда? Ах!.. Ох!..

Это она ахнула, когда стала перестилать ему постель и хотела приподнять его чуть-чуть... И сперва даже не поверила: она подняла его без труда — такой он был легкий и.

— Омар, Омар, что они с тобой сделали? Но ведь ты и вправду умрешь! Ты двадцать дней не ел? Ничего?!

— Три недели. Двадцать один день.

— Значит, ты всерьез? Ты, что же, хочешь отменить войну?

— Хочу.

— И ты надеешься, да?

— Нет. Но все равно... Я умру. Я должен. Она не желала этого понимать:

— Люди воевали и будут воевать. Не на этом поле, так на другом, но нынче, так завтра. Или твоя смерть что-нибудь изменит в этом мире? Чего ради?

— Может быть, ради какой-то высшей правды...

Она притихла впервые. Заговорила в истинном недоумении:

— Но ведь ты сам говорил: «Чем за общее счастье без толку страдать, лучше счастье кому-нибудь близкому дать». Говорил? Вот и дай, хотя бы мне. Неужели какая-то правда дороже, чем я, живой человек? Мне нужно, чтобы ты жил. А кому нужно, чтобы ты умер? Богу? Людям? Кому?!

Омар ответил тихо:

— Не знаю. Может быть, и никому. Разве только — мне. Но ведь есть нечто выше нас. Бог? Или просто — совесть? А может быть... музыка?.. Слышишь?

Послышался высокий звук — немзыкальный, но и не фальшивый: писк младенца что ли? Гульнисо поднялась.

— Да,— сказала она.— Это мой. Скоро два года, как ты ушел,— я замужем, у меня ребенок, а что? Сейчас вернусь — сперва его покормлю, а потом тебя.

Она вышла. Возле хаймы была свалена ее поклажа, паслись ишачок и верблюд. Служанка распеленала ребенка и подмывала его в ручье.

А по сторонам ручья сидели оба султан-

что ты — прав. Я тоже хочу быть правой. И я хочу быть с тобой.

— Нет, нет! Ты женщина, ты мать, ты живой человек — тебе нельзя умирать. Одна твоя жизнь выше всей моей правоты!

— Я решила. А ведь ты знаешь: если я решила...

— Нет, нет, нет, нет!.. Ну хочешь, я тоже... буду жить. Вот смотри: я ем! Только бы ты жила!..

Он и впрямь нашарил в темноте лепешку, попробовал отломить кусок. Но тут — последний взрыв ее темперамента:

— Нет! Не смей! Мы умрем! Раз я сказала, значит, так и будет!..

Она вспрыгнула на ноги, в ярости стала она выкидывать и выпихивать из палатки все съестное.

Но вдруг сникла. Снова легла, сложила руки на груди.

— А впрочем, ты — ешь. Я же говорила, что ты уступишь. И ты закроешь мне глаза. Потому что я не уступлю. Это тоже я тебе говорю!..

Омар за голову схватился:

— Но кому это надо? Люди все равно не перестанут лгать, убивать. Не на этом поле, так на другом, не нынче, так завтра. Чего ради?!

Она ответила тихо:

— Может быть, ради тебя, мой Омар. Или ради твоей музыки. Я ведь тоже услышу музыку... перед смертью? А?.. Слышишь?

Музыка, тихая и мирная, подошла к их хайме справа и слева. Потому что рассвет наступил, и стало видно: оба лагеря уже свернули шатры, снялись со своих мест. Войска расходились, на сей раз без боя.

Несколько солдат подошли к хайме справа и слева. Они кивали друг другу, как положено давним знакомым, они даже не стали сбрасывать оружие, когда сошлись и смешались возле ручейка.

Они сказали:

— Шейх Омар, мы уходим.

— Мы не будем воевать... на этом поле.

— Это поле — за тобой, Омар.

— Мы просим тебя: не умирай!..

Они глядели во все глаза, как Омар протянул руку. Оторвал кисть винограда. Положил в рот одну ягоду.

Наверное, ему трудно было глотать, потому что мужчины тоже сглотнули натужно. И пошли прочь.

Навстречу им шли титры...

Легенда четвертая ПОЭТ...

Люди с черными носилками, что начали свой путь вместе с началом нашего фильма, теперь, кажется, приближались к цели. Их дорога шла через цветущие пастбища, воз-

деланные поля, и вот уже показались сады и предместья большого города.

«Итак, вы услышали четыре легенды об Омаре Хайяме! — возвестит певец. — Четыре сказания я вам поведал, четыре...»

И конечно, кто-то из толпы, возведя глаза к еще не погасшему последнему титру и подсчитывая в уме, сколько чего было услышано, промолвит озадаченно:

— Четвертую легенду мы разве уже слышали?..

А на их пути — яркий цветочный луг под садовой стеной, через которую грушевые и абрикосовые деревья перекинули свои ветви и роняли лепестки цветов. И с этой стены было видно, как пестрая толпа с черными носилками втекала в пестроту луга, а под белой стеной стал заметен другой черный прямоугольник, соразмерный первому, но неподвижный.

— Про поэта — не будет разве?..

И певец откликнется с печальной насмешкой, отвечая, быть может, также недоумению кого-то из зрителей:

— Ну если ты не слышал поэта, то кого же ты слышал?! Про поэта все сказано!..

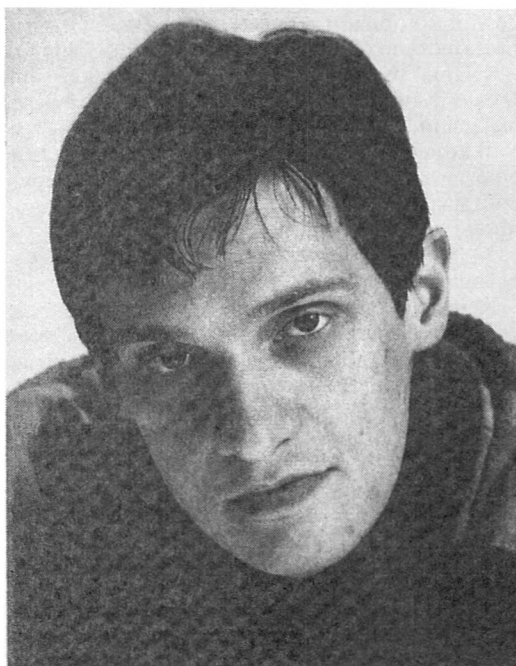
А погребальная процессия с черными носилками уже подходила к черной могиле. Да, эти люди все шли и шли, чтобы исполнить последнюю волю Хайяма и похоронить его в родном Нишапуре, «в таком месте, где всегда в дни весеннего равноденствия свежий ветер будет осыпать цветы плодовых ветвей». И песня была вместо надгробного слова, она закончится примерно так:

«Царедворец то ли был, то ли не был — а поэт был. Ученый? Да, его открытия удивят мир... когда их заново откроют другие. Но поэт открывать не придется. Философ — он не осуществил своих мечтаний, что мог он поделать со своим веком? Но поэт смог все, что хотел, поэт — на все века!..»

Люди встали; но теперь двинулся цветочный луг. Будто цветы пошли куда-то пестрой толпой — цветы и лица. Лица цветов и цветы, из которых прорастают лица людей. Белые, красные, желтые, черные — все цвета и народы заполнили экран, и все новая музыка их встречала, та, которую Хайям сумел расслышать еще в свои давние времена. И вот уже цветастый тот луг запестрел неподвижными уборами и прическами — цветы-лица наших современников появились на том лугу. И новые города под неслышанным небом, в котором немислимые прямокрылые птицы...

И завершающий титр КОНЕЦ ФИЛЬМА уже погас, а ПОЭТ светился еще...

1973 г.



**Юрий
АРАБОВ**

ПРИСУТСТВИЕ

Мы ремонтировали кирпичную пятиэтажку, построенную в хрущевские времена, но еще до знаменитых «хрущоб»-панелей. То есть в ней вполне можно было жить: потолки около трех метров, санузел раздельный, собственная котельная... Если бы не эта отвратительная куча угля, валявшаяся с незапамятных дней во дворе, и не этот ужасающий красный цвет кирпичей, то я бы, возможно, променял свою халупу на квартиру в подобном доме. Тогда бы я, правда, не назывался домовладельцем и лишился бы своей черемухи, которую каждый май хоть и обламывала леоновская шпана, но запах ее непостижимым образом оставался висеть в воздухе.

Я начал о красном цвете кирпичей... Чтобы покончить с этой темой, скажу, что Россия с самого моего раннего детства ассоциировалась с этими самыми кирпичами. Это были детские впечатления, помните, грязно-зеленые вагоны с туберкулезным надрывом тянет паровоз с товарищем Лениным на носу, и вы наблюдаете станции, полустанки, на каждом из которых — красный кирпичный заводик с запутавшимися, как ленты, ржавыми подъездными путями. И везде — жара, комары и безлюдье.

Было начало первого, когда Витюша хрипло приказал мне отправляться за кефиром. Сегодня была моя очередь. Работали мы в общей сложности чуть больше двух часов, но день выдался ленивый и жаркий. Я занимался тем, что закрашивал матерные надписи, сделанные какими-то подонками по нашей

же свежей краске, наложенной в подъезде два дня назад. Работа эта, конечно, не бей лежачего, однако у меня уже успела к тому времени разболеться голова, и я был не прочь проветриться.

Захватив авоську и коллективную смятую трещку, я вышел во двор, обогнул черный шлак, валявшийся у двери в котельную, и отправился в «Гастроном». С некоторых пор мне нравилось выглядеть оборванцем. Я нарочито не зашивал штаны, в которых работал, а ширинку прихватывал английской булавкой. Потому что я люмпен, товарищи депутаты, хоть и имею иногда приличные деньги даже по нашим оглоедским временам, но кто родился на помойке, тот на помойке и подохнет, так я думаю.

Я уже дошел до «Гастронома», в котором единственном на весь сельхоз еще водился кефир, как мое внимание привлекла следующая почти провинциальная по своему духу картина. Какая-то дворняга перебежала проспекта прямо под колесами машин. Шансы ее сохранить свою недорогую собачью жизнь были, надо сказать, невысоки. Хотя по своей натуре не переносу душераздирающих сцен, я все же остановился и, словно чеховский обыватель, стал наблюдать, что будет дальше. Визжали тормоза, обезумевшие московские частники показывали чудеса ловкости, огибая сумасшедшую дворнягу на своих «кадиллаках» и «мустангах». Она же, добежав до середины шоссе, начала истошно лаять на проносящийся мимо нее транспорт. «Беги же, идиотка!» — хотелось крикнуть ей в сердцах,

но она все равно бы не услышала. Наконец, словно почувствовав зеленый свет перехода, она ринулась вперед и в несколько прыжков преодолела открывшееся перед ней пространство.

Инцидент был исчерпан. Можно было штурмовать «Гастроном», но что-то странное вдруг коснулось моей души. Знаете, когда надеваешь только что купленную рубашку и что-то вдруг кольнет шею — оказывается, ты не вынул последнюю булавку... Предчувствие какой-то тоски или болезни. В общем, я не нашел ничего лучше, как отправиться за этой собакой куда глаза глядят.

Перешел на другую сторону. Собака сидела около трамвайных путей и выгрызала что-то из лапы. Подняла на меня глаза. Я сглотнул, как если бы на меня посмотрел давно забытый мною человек. На секунду между нами образовалась прерывистая линия, некий пунктир... Но тут же изломался, как молния. Она встала и не оглядываясь побежала к скверу. Я быстрыми шагами пошел вслед за ней, тяжело решая бессмысленный в сущности вопрос, сука она или кобель.

Это был скверик с грязно-зеленой листвой, где я прогуливал еще среднюю школу, с алкашихами и неграми самого дешевого пошиба, что приходили сюда из близлежащего общежития коротать свою черную и загубленную во время учебы жизнь. Здесь я сам во времена застойного безденежья собирал пустые бутылки, пока не вознесся на вершины строительного мастерства; эту скульптуру с названием «Люди мира в борьбе за мир» я буду вспоминать на смертном одре: кореец с пустым рукавом, американец с протезом вместо ноги и русский с откинутыми назад гипсовыми волосами несут ребенка, по-видимому, мертвого. Откуда этот ребенок взялся, черт его знает. Может, его выкинула из чрева учащаяся стройтехникума, зачуа от того же корейца. Может, ребенок и не жил никогда и, судя по счастливому лицу, был этим фактом не раздосадован... Короче, моя собака, подняв заднюю лапу, помочилась на корейца и побежала дальше.

Я ускорил шаг, почувствовав, что если буду так вот плестись, то, пожалуй, упусти ее из виду. Нам предстоял неприятный участок дороги — пятачок у станции метро. Там вечно чем-то торговали, а теперь еще настроили кооперативных палаток, возле которых толкался смущенный народ. И мои опасения оправдались: собака, нырнув в толпу, как в воду канула. На секунду мне показалось, что ее хвост мелькнул у самых дверей метро. Но не могла же она, черт побери, забежать на станцию! Впрочем, от таких собак можно всего ожидать, смею вас уверить.

Я остановился около разменных автоматов, тупо соображая, что же мне делать дальше.

Вернувшись на стройку через два часа, я понял, что рабочий день, слава Богу, кончился. Мне ничего не оставалось делать, как идти домой.

Я жил в приличном месте недалеко от железнодорожной платформы «Яуза» у самого начала Лосиноостровского парка. Здесь раньше было село, в котором во времена моего детства пекли пироги, а во времена моей юности нещадно сносили непонравившиеся кому-то домики. Собственно говоря, моя тека являлась чуть ли не единственным аборигеном, отстоявшим свою недвижимость от посягательств неистовых вассарионов. И жить бы поживать ее беспутному племяннику в индивидуальной лачуге, как на тебе, в заповедник пожаловал премьер-министр товарищ Рыжков и приказал своим сатрапам срочно позеленеть. А это означало мое выселение с территории государственного заповедника, потому что «зеленые», получив государственную поддержку, становятся опаснее белых и красных вместе взятых.

В общем, я перешел в неполюженном месте железнодорожные пути и, пугая в кустах неопытных любовников, добрел наконец до своего законного пристанища.

Вечерело. Одурающе цвела и пахла черемуха. Соловьи давились восторгом на каждой ветке. Толкнув калитку, я с удовлетворением отметил, что меня в очередной раз не обокрали. Было все то же: широкий двор, умудрившийся уже к маю зарости сорняками, старый запущенный колодец с давно испорченной водой, покосившийся дом. Приличному мастеровому, наверное, несприятало жить в таком доме, но у меня нет желания делать только для себя, ибо, в принципе, я могу жить и на вокзале.

В колодце что-то подозрительно урчало и булькало, будто чайник начинал закипать. Я открыл крышку и заглянул в деревянное нутро колодца. В тине и зелени, сквозь которую проступали обломки тазов и битой посуды, сидел, по-видимому, лягушачий царь и диктовал анонимному писарю свои лягушачьи законы. Бросив в него камень, чтоб не очень зазнавался, я закрыл крышку, отпер замок на двери и вошел в свои хоромы. Не зажигая света, повалился на диван.

Боже мой, как я устал! Бессмысленный, бездарно прожитый день! Еще эта собака проклятая... В мае вообще хочется заснуть навсегда.

Зазвонил телефон. Я вздрогнул и схватил трубку.

— Елену Георгиевну пригласите, пожалуйста.

Я молчал. За окнами была настоящая темень. Это значило, что я заснул, а идиотский звонок разбудил меня.

— Елену Георгиевну, — снова повторили в трубке.

— Тут таких нет. Куда вы звоните?

— Это АИ-один-восемьдесят девять?..

— Какое там АИ? — закричал я. — Вы что, с ума сошли?

В трубке раздалась короткая гудки. Я бросил ее на рычаг, пытаюсь разобраться в том, что же разозлило меня. Ну да, дурацкое АИ. Я наконец-то вспомнил. Это было давно, в пятидесятых или в шестидесятых, когда на телефонном диске значились цифры алфавита: АИ-1 было то же самое, что сейчас сто восемьдесят один. Старый замшелый звонок вроде моего колодца...

Я накрыл телефон подушкой, перевернулся на другой бок и, не раздеваясь, решил продолжить сон. Но когда услышал над ухом зудящего комара, понял, что в ближайшее время не засну.

Против комаров, зудящих над тобой по сентябрь, есть только три средства. Первое — собственная добровольная гибель, скажем, от неисправного нагревательного прибора. Второе — засасывание комара в нутро пылесоса, этому меня научили в одной добропорядочной семье, глава которой большую часть своей жизни прожил в Петербурге. И третье средство: окуривание пространства вьетнамскими сигаретами, от запаха которых не то что комары, но даже американцы ушли из Сайгона. Но я не курил, пылесоса у меня не было, а жить еще хотелось. Поэтому я избрал четвертое средство: вышел из дома и, повесив на дверь замок, пошел куда глаза глядят, в ночь.

Первые десять минут своей прогулки я думал о том, куда в Москве подевались майские жуки, ведь их было навалом, и скрипели они крыльями, когда посадишь их в спичечный коробок, подобно раскручивающейся резинке.

Во вторые десять минут наступило оцепение и забытие. Я вышел к железнодорожной платформе. Оказалось, что около нее стоит вместо электрички какой-то поезд дальнего следования. Недовольный проводник позевывал на вагонной площадке, отворив дверь.

— Чего встали-то? — спросил я.

— Да зеленого не дают, козлы, — сказал проводник.

Я поглядел на семафор. Неожиданное решение вдруг закатилось мне в башку, будто камешек с высоты сорвался, чтобы повлечь за собой целую горную лавину.

— Какая у вас первая остановка? — заинтересовался я, сообразив, что завтра суббота.

— Ярославль, через пять часов.

— Идет. Сколько?

— Червонец, — и он добавил, как пионер: — по госрасценке.

Я шагнул в тамбур и полез во внутренний карман пиджака. Там у меня обычно лежал

паспорт и мелкие деньги. С паспортом я не расставался еще с андроповских времен, когда граждан вылавливали на улицах в дневные часы и начинали стыдить, словно двоечников. Дал этому жлобу десятку. Он тут же вручил мне комплект белья.

— Разбудишь за пять минут до приезда. Я выспаться хочу, — предупредил я.

Если вы думаете, что я часто совершаю столь необдуманные поступки, то вы глубоко не правы.

Я приехал в Ярославль в начале седьмого и забыл, куда я приехал. В поезде я заснул, причем заснул крепко, вышел на платформу, продолжая спать, и, когда увидел здание вокзала а-ля рус с длинным шпилем, то почему-то решил, что меня подвезли на трамвае к гостинице «Украина». Оставалось узнать, как проехал трамвай к этой самой гостинице.

Но надо было просыпаться, несмотря на то что жизнь есть сон. Внутренняя невесомость, застрявшая в ребрах, как пузырь, норовила унести меня к облакам. Я вышел на привокзальную площадь. Желтые лучи солнца освещали обычную каменную поляну, не слишком грязную, с двумя кооперативными такси, караулившими своих жертв. Дюжина пассажиров, сбежавших с московского поезда, однако, не спешила осчастливить частный сектор, а выстроилась в привычную очередь, ожидая несуществующего, быть может, автобуса.

Я подошел к частнику, одетому в провинциальную варенку. Спросил хрипло и по возможности мужественно:

— Слушай, начальник, у вас здесь река какая-нибудь есть?

— Волга, — хмыкнул он.

— Отвезешь?

— Пятерка, — сказал он.

Я не был до этого в Ярославле, но провинцию знал и чувствовал. Вся наша провинция делится на два лагеря: первый — это где проезд до любой точки города стоит трешку. Второй же лагерь... Ну да, я попал сейчас в этот второй и был от этого не особо счастлив.

— Не дам, — отрезал я. — Что я, Волги твоей не видел? Я в твоей Волге налимов ловил вот таких...

Он смерил меня пронзительным взглядом, почему-то прикрыв левый глаз. Забрался в свой «жигуль» и хлопнул дверью. Про налимов я соврал. Я вообще когда думаю про рыбу, то мне сразу представляется почему-то налима, а еще — загадочная рыба шелишпер.

Сохраняя чувство собственного достоинства, я медленно пошел через площадь. Машин почти не было. Вытертые, как джинсы, голуби клевали что-то в небольшом скверике и оставляли за собой голубоватую бахрому.

Внезапно раздался визг тормозов. Какой-

то сумасшедший грузовик промчался в метре от меня. Заложив немислимый вираж, он описал дугу на привокзальной площади, и из кузова вывалилась здоровенная труба. Очередь на автобусной остановке начала возмущенно переговариваться. Грузовик пропал из виду, оставив после себя смутное воспоминание о номере, выведенном на борту. Больше происшествий на вокзальной площади не случилось, и я ступил на почти безлюдные улицы Ярославля.

Магазины по случаю утра были еще закрыты. Желудок мой начал смутно беспокоиться и переживать о том, что в этом городе может не найтись места, где можно было бы удовлетворить его скромные притязания. Мимо с московским гулом проплыл троллейбус. Тогда, чтобы уничтожить противную аналогию, делающую мою поездку совершенно бессмысленной, я свернул с главной улицы и через несколько кварталов вышел на другую, успокоительную для моих нервов. Она была почти деревенской, с цветущими яблонями и истерикой петуха.

Водонапорные колонки с вечно капающими носами торчали из-под земли, как гаечные ключи. Я нажал рычаг одной из них и умыл свое щетинистое лицо. Ледяная вода заставила меня окончательно проснуться и оглядеть местность внимательным глазом.

Напротив меня возвышался черный деревянный дом, двухэтажный, накренившийся одним боком, словно корабль съезжает со стропил в воду. Он был в лесах, по которым ходили мои братья ремонтники. Дом был явно купеческим, на взгляд, второй половины девятнадцатого века. Простоял уже сто лет, подумалось мне, и еще сто лет простоит, только фундамент надобно поднять, а так можно хоть сейчас покупать. Одному в таком доме и заблудиться легко, тут, наверное, и подвал есть. А если дом занесен в Красную книгу? Значит, власть отберет, как только ты его отремонтируешь. Ну да, власть отберет. Вот и живи в нем, как на вулкане. Я ужасно расчувствовался, будто в самом деле решил уже покупать этот дом. Это у меня болезнь есть такая — дома торговать. Хотя зачем мне второй дом?

Я подошел к моим коллегам и обратился к ним просто:

— Привет, соколики. Вы чего в такую рань за работу взялись? Или исполком сверхурочные платит?

Надо признаться, что моя московская фамильярность едва ли произвела на них впечатление. Только один, косо глянув через плечо, ссидил:

— А чтобы солнышко не припекало.

— И это в субботу? Меня ни за какие коврижки в субботу вкалывать не заставишь.

Ответом мне была полная тишина, прерываемая лишь стрекотом далекого мотоцик-

ла. Разговора не получалось, и можно было идти дальше. Я и хотел уже было свалить, к черту, но меня вдруг привлекла комната на первом этаже. Комната как комната, ничего особенного. Большой платяной шкаф с зеркалом посередине, в котором отразилась моя заспанная физиономия. Железная кровать с такими, знаете ли, блестящими шариками на спинках, они еще отвинчиваются, эти шарики, я в детстве разбивал ими шеренгу оловянных солдатиков. Былшо взбитые подушки. А на стене висит деревяшка с выжженной на ней Царевной-Лебедью, ужасно аляповатая, под стать кремовым лебедям, которых продают на наших базарах одноногие умельцы. И опять, как в случае с собакой, кольнуло меня что-то, видно, снова попалась булавка в уже натянутой на тело сорочке.

— Послушайте, ребята,— сказал я рабочим,— наверное, в таком-то домине и подвалы есть, ведь так?

— Ну? — выговорил один из мужиков, недоумевающая, отчего я еще здесь.

— Я и говорю, что там подвалы,— продолжил я.— Ведь купцам надо было хранить где-то свою мануфактуру, товары разные... Это же явно купеческий дом.

Они молчали, пораженные моей общительностью.

— Я предлагаю в подвале сделать комнаты. Фундамент у таких домов должен быть глубоким и теплым. То есть летом в этих комнатах можно вполне жить...

Что-то оборвалось в воздухе, какая-то невидимая струна, и я понял, что меня сейчас начнут бить.

— Шел бы ты отсюда, парень, не доводил бы нас до греха,— сказал один из них, по-видимому бригадир.

— Да вы что, мужики? Я же этот... архитектор из Осташкова.

Не люблю я нигде говорить, что из Москвы. Стыдно мне.

— Из Осташкова, значит? Это где же такой Осташков?

— В Тверской губернии, вот где.

Желваки заиграли на обугленных скулах бригадира.

— Нет такого города,— глухо сказал он,— никогда и не было.

— Это тебя нет, а Осташков есть,— окрысился я.

Обидно мне стало за Осташков, за осташей, которые в нем осташествуют. Бригадир после этих слов расстегнул на штанах армейский ремень и начал медленно спускаться с лесов. Я понял, что шутки кончились. Бросив последний взгляд на выжженную в деревяшке Царевну-Лебедь, я быстро подался вперед.

Пробежав половину квартала, оглянулся. Мужик по-прежнему стоял на тротуаре, напряженно всматриваясь вдаль.

— И Торжок ест! — прокричал я ему, сложив руки трубой.

Он в бессилии погрозил мне ремнем. Ведь стал бы пряжкой бить, подумалось мне, бляхой своей начищенной, по лицу бы бил, по голове, раскровянил бы мне правую бровь и пришлось бы отмываться у колонки.

Странно, но к испугу примешивалось удовлетворение. Природа этого удовлетворения была мне совершенно неизвестна, но что-то шептало мне, что миссия моя в этом городе выполнена и что надобно уезжать. Как будто я в кармане плаща, снятого с чужих плеч, нащупал пятак.

Я вышел на шоссе и начал голосовать. В голове моей возник тяжелый МАЗ с жаркой кабиной и бензином, пахнущим копченой колбасой. Я не ошибся. Видение мое материализовалось через несколько минут с поразительной точностью.

— Мне в Москву надо, — прокричал я шоферу, стараясь перекрыть звук работающего мотора.

— Я до Александрова.

— Ну давай в Александров. Там электричкой доберусь.

— Анекдоты знаешь?

— Знаю. Про Горбачева и Лукьянова.

— Садись.

Я забрался в кабину и провалился в омут обратной дороги. Пятак, который я отыскал в чужом плаще, упал за подкладку.

Часам к шести вечера я оказался в родной столице. Отупению моему не было предела. Я превратился в деревяшку и мечтал о том, чтоб какой-нибудь топор раскроил мой череп пополам.

Первой моей мыслью было поехать на Язу и забыть кошмарным сном. Но из-за вечной своей разорванности я вопреки желанию не нашел ничего лучше, как отправиться к рыжей Гале.

Рыжая Галя работала сторожихой в том самом месте, которое не минуешь ни один из паломников в нашу славную столицу, и принадлежала к разряду смешных женщин. Для меня все женщины на свете делятся на два типа: женщины смешные и женщины-вамп. За женщинами-вампами нужно ухаживать, добиваться, дарить дорогие вещи, говорить ласковые слова, сносить с их стороны оскорбления, может быть, даже побои, ну и, конечно, спать с ними. Со смешными женщинами ничего этого делать не надо. Не надо спать, а если и спишь, то не следует беспокоиться за свое целомудрие. Вещи они дарят тебе сами. С ними можно говорить до глубокой ночи о всяких пустяках и засыпать у них на коленях. Если бы они могли накормить тебя своей грудью, они бы накормили. В общем, я не знаю ничего лучше смешной женщины. Одна

лишь беда — с ними невозможно завести семью, потому что одним смехом сыт не будешь.

Я доехал на метро до «Площади Ногина», вышел из вагона и переждал, пока народ пройдет к эскалатору. Затем, озираясь, как последний шпион, перепрыгнул через металлическую дверь, преграждающую вход в тоннель. По узенькой платформе шириной примерно в три ступени я прошел над самыми рельсами и толкнул небольшую дверцу, дохлившую мне почти до пояса. Согнувшись, влез в трубу и в полной темноте начал на четвереньках продвигаться вперед. За спиной раздался стук подъезжающего поезда. А вдруг я вылез не у Гали, а скажем, в Мавзолее В. И. Ленина или из серпа скульптуры «Рабочий и колхозница» и тут же, потеряв равновесие от неожиданности, упаду в гранитный пруд, в котором вечно нет воды? Но я прогнал от себя эти нескромные мысли и ускорил свой муравьиный шаг.

Нет, я вылез там, где надо. Передо мною был длинный тоннель с желобом посередине, по которому, наверное, в рабочие дни возили контейнеры с разным барахлом. Я открыл знакомую дверь в стене... Кипящий чайник, дощатый стол с надорванным пакетом молока. Круглая спина в телогрейке а-ля Солженицын...

— Здравствуйте, Галина Семеновна, роса моей истерзанной души!

— Ну заходи, заходи, свет моих очей, — поднялась она мне навстречу. — Только роса-то уже вся просохла.

— А кто же это ее просушил?

— А вот солнышко вышло и просушило, — сказала она хитро.

Была она на голову выше меня и стояла, как снеговик, круглая и подбоченясь.

— Я ваше солнышко, Галина Семеновна, — напомнил я ей, — а если вы нашли себе другое, то я землю могильную жрать буду.

— Там же черви, — сказала она.

— Черви, Галина Семеновна. Еще какие черви, жирные, белые, накушавшиеся органики.

— Черви, — согласилась она.

Вытащила из кармана замусоленную колоду карт, разложила их на столе веером и тут же начала собирать пары.

— Ну и что черви говорят? — поинтересовался я.

— Все правильно, — сказала Галина, удостоверясь. — Я выхожу замуж.

— Не за меня ли? — мерзко усмехнулся я.

Собственно, в ее новости не было ничего ошеломляющего. Я, естественно, не имел на нее никаких видов, но все-таки стало чуть-чуть не по себе. Боялся я потерять последнего друга.

— Вот еще, — надула она свои и без того

толстые губы,— охота мне выходить замуж за такого эгоцентрика.

Я плюхнулся на диван и как-то против своей воли развратно расставил ноги.

— Ну и кто же он?

— Золотой человек, — пробормотала Галина Семеновна задумчиво.— А ты лысеешь.

— Где? — я схватился за голову.

Это была болезненная для меня тема. Уже три года, как волосы мои стали интенсивно лезть, и хоть для посторонних сие было не так уж заметно, но залысины на моей голове увеличивались нещадно.

— Это из-за тонких стенок черепа,— объяснил я.— У меня мозг тяжелый. Своим весом он давит на череп, от этого и волос лезет.

— У тебя что, голова болит? — спросила она вдруг участливо.

Только одна женщина на всей земле могла угадать это, Галя, моя Галя.

Она подошла сзади, наложила руки на мою голову и начала массировать виски, потом затылок... Мне сразу же захотелось спать.

— Я сварю тебе настойку из голубиногo помета,— раздался сверху низкий голос.— Помажешь голову, и корни волос укрепятся.

Я представил себе лужу голубиногo помета, и мне стало нехорошо.

— Не надо. Может, я хочу быть лысым.

— Ты что-нибудь ел сегодня?

Я мотнул головой. Потом отстранился от ее разлапистых рук.

— Все. Уже легче.

Она поставила передо мной стакан, налила в него бурого чая и сунула бутерброд с котлетой. Я отпил из стакана... Чай явственно отдавал металлом, который, в свою очередь, напомнил отчего-то запах на новых станциях метро. Я совсем недавно узнал, так пахнет раствор, которым пропитывают шпалы, чтобы они не горели. Мне подумалось, что этим чаем можно также что-нибудь пропитать.

— Я схожу с ума,— сказал я Гале между прочим.

— Ну да? — сразу заинтересовалась она.— Расскажи.

— Видения. Бессонница.

— Видения какого рода?

— Чувствительного,— попытался объяснить я.— Видения тяги, например.

— Не понимаю.

— У тебя такого не бывает, что начинает тянуть к какому-то постороннему предмету? Например, к какому-нибудь столбу или деревяшке. А на деревяшке, скажем, чего-нибудь нарисовано.

— К столбу — бывает,— согласилась она.— Когда выпью с Лариской.

— Ну значит, мы понимаем друг друга. Или к животному.

— К животному — это от неудовлетворен-

ной сексуальности.

Уж кому бы говорить о сексуальности, но только не ей, дуре.

— А бессонница связана с этой тягой? — спросила Галя задумчиво.

— А черт ее знает.

Она отодвинула в сторону свои скромные яства и начала раскладывать гадание. Строго предупредила:

— Ты будешь у нас король трефовый.

— Мне все равно,— признался я.

В картах я ничего не понимаю и умею играть лишь в одну-единственную игру — пятки, некий адаптированный вариант подкидного для умственно отсталых.

— Все, Гриня,— выдохнула вдруг она.— На тебя положила глаз какая-то дама.

— Враки. Ты же знаешь, что я никого не люблю, кроме тебя.

— А при чем тут это? — она приняла мое признание как должное.— Видишь, пиковая дама тебя домогается.

— И глаз у нее, наверное, черный и выражает недоброжелательство,— зевнул я, вспоминая Пушкина.

Скучно мне стало. Если говоришь с женщиной о своих несчастьях, то она обязательно будет видеть за ними соперницу. Отчего человечество так бездарно разъединено на два пола? Отчего ты, Галя, все-таки женщина? Зря ты это.

— Пойду я. Спать хочется.

— Ложись здесь,— предложила она участливо.

— Я твоих кобелей боюсь. Потом дом сторожить надо. Знаешь, как их сейчас чистят?

— У меня кран с горячей водой гудит,— сказала Галя.— Починишь?

— Я строитель, Галина Семеновна, а не сантехник. Впрочем, ладно. Починю. Только вам это будет дорого стоить, мамаша.

— Все отдам,— выдохнула она.

Я не нашел ничего лучше, как раскланяться. Если хотите поставить точку в разговоре с дамой, то надо обязательно продлить ее каким-нибудь интимным намеком, превратить в многоточие. Только таким образом можно поддерживать отношения с женщиной, пусть и дружеские.

В любое многоточие с Галей я тем не менее не верил. Да и она, думаю, тоже.

Вышел я от нее не так, как вошел, а культурно, через черный ход, и попал прямо на улицу. Несмотря на девять часов вечера, в небе было по-прежнему светло. Май все-таки брал свое, и розоватые облака в вечернем небе были похожи на переводные картинки, с которых хотелось удалить пузыри, разгладив ногтем.

Я медленно пошел к метро. Мимо носились черные «Волги», народу на улице было

немного. Я решил пройтись до «Дзержинки», и в районе улицы 25-го Октября вдруг наткнулся на кустарно-кооперативную лавочку, хозяин которой уже собирал товар с витрины, намереваясь уходить.

Я лениво окинул взором вещи. Несколько скелетиков на нитках под общим девизом «Глазки закрывай, баю-бай», резиновая маска обезьяны, напоминающая маршала Брежнева, плакат какого-то азиата, непреклонно-холодный взгляд которого воскрешал гайдаровского Тимура, и множество красоток с раздвинутыми ногами. Внезапно прямо передо мною возник медный пятак. Он катился на меня, увеличиваясь в размерах до облаков, и его ребро в насечках мерзко скрипело.

Я увидел аляповатую дощечку с Царевной-Лебедью, точно такую же, которая встретила в Ярославле, и недовольный лавочник уже собирался прибрать ее в свой мешок.

— Погоди,— сказал я ему.— Сколько стоит?

— Десятка,— отрубил он, будто хотел, чтобы я поскорее ушел.

— Ты что, одурел? — возмущился я.— За такую-то гниль?

— Народный промысел. Ручная работа...

Царевна начала взлетать быстрее лебедя, угрожая мне тотальным одиночеством. Мне представилось, как она лежит среди красоток, а непреклонный азиат душит ее стальной леской.

Я бросил скомканный червонец, кажется, предпоследний в моем бюджете.

— Вам завернуть? — спросил он.

— Не надо. Давай же,— поторопил я.

Холодные мурашки пробежали у меня по спине. Я схватил деревяшку и быстрым шагом пошел к метро, боясь, что передумаю и возвращу лебедя назад.

Через час с небольшим в полном изнеможении я добрался до своего дома. Положив царевну ничком, я с ногами забрался на кровать и закутался в плед. Было тихо. Ходики, висевшие на стене, остановились, потому что не были заведены. Фонарь с улицы за моим забором пускал в комнату целлофановую ленту.

Мне становилось все более не по себе, и я включил свет. Где висела эта проклятая царевна? Я смотрел на ту комнату через окно, следовательно, дощечка могла быть на противоположной стене или же на левой, где-то возле ковра. А может быть, она висела прямо на ковре. Тогда как ее закрепить? Не гвоздем же ковер пробивали?

Я вскочил с кровати и начал прикладывать дощечку к противоположной стене, пытаюсь найти место, где бы она не резала глаз. Я сознательно хотел повесить ее точно так же, как она висела в той неизвестной квартире в Ярославле. Но для чего я это делал, Бог весть.

Наконец, после того, как я приложил ее к потолку, на меня снизошло просветление. Я повесил лебедя рядом с зеркалом и немножко успокоился. Я не был уверен в сто-процентной правильности своего решения, но лихорадка начала стихать.

Я потушил свет, намереваясь спать сидя, в кресле, чтобы какая-нибудь неожиданная весть не застала меня врасплох...

Около двух часов ночи раздался стук в окно. Сонное мое сердце, уже успевшее к тому времени погрузиться в забытие, упало к ногам, и меня, как катапультной, подбросило вверх. Стук в окно означал, что неожиданный гость или открыл калитку, которую я предварительно замотал на проволоку, или же махнул прямо через забор.

Решив не зажигать света, чтобы пришелец не видел моих передвижений по квартире, я вжался в угол. Стук в окно повторился.

— Чего надо? — спросил я хрипло, призвав на помощь мужество, которым не обладал.

— Откройте,— послышался оттуда чей-то слабый голос.

Я думал, как поступить. В принципе, если за мной пришли какие-нибудь веселые люди, то им ничего не стоило подпалить дом и выкурить меня из него, подобно мухе. Голосок был явно женский, такими голосками обычно наводят. Брать у меня нечего, но убить могут. Я взял в руки молоток. Пошел к входной двери... Самое главное в любой драке — это первый удар. Только в кино ублюдки дерутся полтора часа, а в жизни — до первого удара, кто нанесет, тот и победит. Значит, надо бить первым, прямо молотком по нахальному мурлу.

Открыл. На пороге стояло существо лет тринадцати.

— Ты что, обалдела?! — закричал я.

А может, пятнадцати, кто их сейчас разберет. Совершенно незнакомое существо.

— Мне холодно,— сказала она, зябко поеживаясь.

Через плечо ее была перекинута сумка из поддельной кожи.

— Калитку ломала?

— Так у тебя в заборе дыра,— произнесла она, улыбаясь.

Светлые волосы ее были завиты самым вульгарным светским образом, но лицо было чистым, так мне, во всяком случае, показалось в темноте.

— Ты одна? — спросил я.

— Ну да, разумеется,— и добавила просительно: — Мне ночевать негде.

Подумав, я отступил назад. Она прошмыгнула через порог как кошка и хлопнула дверью. Сверху упала банка из-под кофе, в которой я разводил столярный клей.

Прошмыгнув в комнату первой, она осталась посередине, озираясь. Я все-таки

включил свет. Была она худой и ледащей. Черная мини-юбка, сделанная из какой-то слюды, едва прикрывала худые бедра. Колготки были ношенные, с грубоватой штопкой в нескольких местах.

— Тебя как зовут? — спросил я, отчего-то прикинув в уме, что только одна голень ее ноги будет, пожалуй, величиной с мое туловище.

— Лизою.

— Ты что, из дома ушла, Лиза?

Она не ответила, все так же тревожно оглядываясь.

— А меня зовут... — начал я.

— А не надо, — прервала Лизонька. — Я и так все знаю.

— Что ты знаешь?!

Ничего она не знала и была, как видно, более чем наглая.

— Знаю. Зовут тебя Григорием. А отчество — Николаевич.

Она победоносно усмехнулась. Челюсть моя сделала попытку отпасть, но усилием воли я задержал ее в прежней позиции. Это был навод, явный навод. А молоток я, дурак, оставил у входной двери.

— Может, и фамилию твою сказать? — в голосе ее возник приклатненный хрип. Куражиться начала, стерва. Ну покуражись, покуражись.

— Фамилия твоя Яковлев. А родился ты... — она внимательно взглядела в мое лицо, — в тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году. Двадцать пятого октября.

— А тебя ведь не Лизою зовут, — прошептал я, стараясь перехватить у нее инициативу.

Мой выпад был похож на взмах хвостом засыпающего окуня.

— Почему не Лизою? — искренне удивилась она. — У тебя ведь начальник милиции... помнишь?

— Что?

— Шапошников его фамилия, — губы ее победоносно разъехали. За ними мелькнул ряд идеальных зубов.

Я отчего-то начал застегивать рубашку на все пуговицы. Все было верно. Что она, мысли читала? Но какие там мысли, если я совершенно забыл фамилию этого майора, а она, поди же, вытащила ее из погребца памяти.

Лизонька тем временем увидела мою Царевну-Лебедь у зеркала, подошла ближе и вдруг рассмеялась. Звонко, будто стеклянные шарика по полу рассыпались. Глянула на меня хитрящим глазом.

— А ведь она не здесь должна висеть, — сказала. — Вернее, не совсем здесь...

— А где же? Где?! Говори! — заорал я, потеряв терпение.

— Да вот. Ты только успокойся...

Сняла дощечку и перевесила ее на проти-

воположную стенку, к окну. Каким-то чудом там оказался вбитым гвоздь...

— Вот тут-то ты и прокололась, — сказал я злорадно. — Не может эта дощечка здесь висеть.

Глаза ее расширились от удивления.

— А ты подумай, — предложила она почти нежно, — если не здесь, то я не понимаю, чего ты хочешь...

— Да откуда тебе меня знать? Что ты прицепилась к этой дощечке?! Если хочевать негде, то ложись и спи, а завтра убирайся, чтоб я тебя не видел, я...

Тут голос мой осекся. Пространство вдруг стало острым и заехало ребром прямо мне в глаза, будто я напоролся на квадрат стекла. Мо г л а, черт побери, дощечка висеть там, куда ее поместила эта странная Лизонька. Я же смотрел в квартиру через окно в том далеком Ярославле. И увидел Царевну-Лебедь напротив. Но мне показалось, что о к о л о зеркала. А дощечка могла быть в самом зеркале. То есть отражаться в зеркале, вися на противоположной стене...

Я медленно двинулся к выходу.

— Ты куда? — с тревогой спросила она.

— Пройдусь. Душно что-то...

— Ты долго не ходи, — сказала Лизонька, — а то одной мне страшно.

Я буркнул что-то невыразимое. Вышел во двор. Ночь была густой и напряженной. Даже соловьев не было слышно. Фонарь одиноко и страшно светил с вышины.

Вместо колодца мне почудилось что-то черное. Дрожа всем телом, я подошел ближе. Оказалось, что на нем стоит какое-то ведро. Я не ставил на колодец никакого ведра, я вообще им не пользовался, этим колодцем, это давно уже была мусорная яма...

Ведро оказалось эмалированным. Оно доверху было наполнено чистой родниковой водой. Со злости, что рассудок уходит, я со всего маху заехал кулаком по этой воде. Она расплескалась и замочила мои штаны.

На следующий день я ставил чешский бежевый унитаз на место белого, советского. Наши работы в пятиэтажке из красного кирпича подходили к концу. Жители отдельных квартир уже начали потихоньку возвращаться в свои жилища, и Витюша, хоть был на меня зол за пятницу, когда я взял трояк, а кефир не принес, все-таки разрешил мне заняться левачком при том условии, что половину своего навару я должен был отдать лично ему.

Мозги мои за прошлую ночь свернулись в густоту, то есть я отказывался что-либо понимать и как-то оценивать последние события. Яйцо явно переварилось, и разрезат его мог лишь острый тесак.

Унитаз отличался от советского более ши-

роким основанием, и мне пришлось долбить пол. Забывшись, я выдолбил больше, чем надо, и дыру частично замазал цементом. А тут еще хозяин квартиры, круглый и бородатый, как батюшка, все время возникал за спиной и спрашивал бархатным голосом:

— Вам помочь? Вы не устали?

Наконец он все-таки добился своего. Руки мои в бессилии опустились, и я решил сделать перерыв.

— Прошу перекусить, — он пригласил меня в комнату.

Там на столе была уже запотевшая бутылка водки и рыночная зелень.

— Не пью, — буркнул я и, чтобы он отцепился, наврал: — Язва.

Не было у меня никакой язвы. Если уж пить, то только с самыми близкими людьми, с Галей например, да и то немного.

Он удрученно развел руками.

— Ну тогда чайку?

— Кофейку, — уточнил я, — и если можно, с молоком.

— Нет проблем! — и он, как мячик, выкатился на кухню.

Жизнелюб, подумалось мне, розовощекий жизнелюб, может, в самом деле — батюшка, что ему до моих горестей? Лишь бы слив работал. Да краны не гудели.

Через несколько минут он возвратился в комнату с кофейником и плеснул мне в чашку черной жижи.

— Может, что-нибудь поплотнее?

— Нет. Не хочется.

— Хорошо позавтракали?

— Я вообще не завтракал.

Будто есть не хочется только тогда, когда сыт, странные люди. Он внимательно и дружелюбно взгляделся в мое лицо.

— Вы, по-видимому, не женаты.

— А вы? — спросил я.

— Я? Конечно. Жена и две дочки, — он всплеснул руками. — Для людей моей профессии необходима почва, размеренность, знаете ли...

— Что же это за профессия? — поинтересовался я, хотя мне было глубоко наплевать.

— Психиатрия, — сказал он.

Я даже удивился. Понимал, что с пятницы очутился в определенном колесе, где события подверстываются одно к другому. Я словно находился в каком-то театре, где, особо не переживая, наблюдаю пьесу с самим собой в главной роли.

— Белые колпаки, — предположил я. — Ложки без ножей. Уборная без перегородок. Смятые кружки, и кипяток обжигает губы.

— Что вы, что вы! — он замахал на меня. — Я сам этого не переносу! Я вообще считаю, что нет больных людей, то есть здоровый образ жизни и толковые советы профессионала могут излечить любого больного.

Мне хоть и понравилось его утверждение,

но я все-таки решил поспорить:

— Вот, скажем, человеку хочется убить другого... Как это понимать?

— Как человеческое, — ответил он мне. — Желание убийства еще не говорит о какой-либо психической патологии.

— Ну а кошмары по ночам, видения?

— Во сне?

— Положим.

— Норма.

Чувствуя, что его так просто не прошибить, я выложил перед ним свой последний козырь:

— Ну а тяга, например?

Его рыжеватые брови поползли вверх. — Тяга к неодушевленным предметам, — пояснил я свою мысль. — С этим как быть?

— Какого рода тяга? Чувственная? Или, так сказать, холодного характера?

— Интуитивная. Когда кажется, что это уже было, и оттого хочется продолжить.

— Эффект deja vu, нет проблем.

У него на все не было проблем.

— Спите крепко? — вдруг поинтересовался он.

— Нет. Вообще не сплю в последнее время.

Это его зацепило, попалась рыбка на крючок, по глазам почувствовал.

— А с людьми что?

— А с людьми все то же... Недостает их материальности, — ляпнул я. — Вот гляжу на вас, и кажется, что вижу чей-то чужой сон.

— В каком смысле чужой? — насто- рожился он.

— В том смысле, что скучен. Не затрагивает он меня и не волнует.

Но он не обиделся. Лишь на голубоватые глаза набежало профессиональное облачко.

— Семьи, значит, нет?

— Нет.

— Родственники?

— И родственников тоже. Была тетка, которая меня воспитала. Но она умерла пять лет назад. Отца не знаю вообще. А мать погибла в автомобильной катастрофе, когда мне было три года.

Он выпятил губу. Видимо, мои откровения начинали попадать в какую-то специальную лузу. Наконец сделал мне одолжение:

— Я могу вас протестировать, чтобы определить степень патологии в вашем характере.

Я пожал плечами. Меня еще никто не тестировал, цемент застывал, но так неохота было возобновлять бессмысленную работу, что я согласился, вернее, не стал противоречить его устремлениям. Достав какие-то замусоленные карточки, он потасовал их, словно Галина перед пасьянсом, и сообщил:

— Это вопросы. То, что соответствует вашему «да», вы откладываете в одну кучку, а то, что «нет», соответственно, в другую.

Пораженный простотой, я углубился в чтение. Вопросы оказались самыми дурацкими. Например, хочу ли я быть душою общества и

не смущает ли меня то обстоятельство, что за спиной кто-то рассказывает про меня анекдоты. Меня это обстоятельство не смущало. Более того, если бы я захотел славы, то непременно сам бы распространял эти вот анекдоты. А вообще, вопросы я бы предпочел другие, скажем, люблю ли я неодушевленные предметы или при каких обстоятельствах мне хочется зевать.

Быстренько я накидал карточки по разным стопкам. Мой психиатр продел их железным прутом, и они начали раскачиваться на нем, как листья на ветке. Потом появились какие-то графики и диаграммы, на которых мой новый знакомый начал что-то сосредоточенно подчеркивать.

— Вот, извольте посмотреть, — и он сунул мне под нос чертеж, — эта центральная линия — норма. Зашкаливание от нее вверх — депрессия, вниз — шизофрения.

Я взгляделся в изображение. Две линии одинаково зашкаливали то вверх, то вниз.

— Это — ваш график, — сказал он самодовольно.

— Я что... одновременно и шизофреник и депрессант? — сделал я вывод.

— Это-то вроде того. Но я бы сказал менее определенно. Скорее всего, ваши ответы говорят лишь об относительной оригинальности вашего сознания по сравнению со средним арифметическим, вот и все.

— Что же мне теперь делать? — искренне посочувствовал я сам себе.

— Сходите в церковь, — сказал он. — Вы, наверное, давно не причащались.

— Я никогда не причащался...

— Вот видите, — он вздохнул настолько тяжело, что мне стало не по себе.

Я поднялся из-за стола. Молча подошел к чехословацкому унитазу.

Мне показалось, что психиатр выжидательно молчит за мою спиной.

— Я вам что-нибудь должен? — спросил я для приличия.

— Пустяки, — сказал он, — пятнадцать рублей. Но это — в счет вашей работы в туалете.

Я кивнул. Дернул ручку унитаза. В лицо мне ударил фонтан воды.

А дома был небольшой самум. Возвращаясь, я все-таки тешил себя мыслью, что Лизонька, явившаяся неожиданно, так же неожиданно и расточится. Но, подходя к родному двору, я удрученно понял, что это не так. Дверь была распахнута настежь, окна — тоже. Сама Лизонька носилась взад-вперед в голубоватом халате, едва прикрывавшем ее срамные места.

— Ты откуда его извлекла? — поинтересовался я, озирая разгром.

Антресолы были распахнуты настежь. В

коридоре валялись коробки с дырявой обувью, стопки старых журналов, пустые бутылки и разный другой хлам, который она извлекала из всех мыслимых и немыслимых углов.

— Нашла в шкафу. А что?

Я не ответил. Этого халата я вообще не помнил, однако от василькового цвета в душе засадило, будто я содрал кусочек кожи.

— Ничего, — я попробовал на ощупь материал.

Она, истолковав это движение чисто поженски, отпрыгнула в сторону и залилась смехом.

— Держи! — В мою ладонь посыпались маленькие железные шарики.

Я недоуменно посмотрел ей прямо в глаза.

— Это, наверное, от твоей железной кровати, — предположила Лизонька.

Я кивнул. Они были точно оттуда. Подошел к спинке и начал их привинчивать. Железо было блестящим и холодным.

— У тебя уборку нужно делать в противогазе, — сказала она, — столько пыли...

— Не делай.

— Нет уж. Я хочу, чтобы у тебя осталась память обо мне, когда я уйду.

Чувствовалось, что она была по нервам. Мне в самом деле стало немножко грустно оттого, что ее не будет. Но нельзя было раскисать, и я решил атаковать ее для приличия.

— Тебе сколько лет?

Она хитрюще поглядела на меня и, томно опустив ресницы, произнесла:

— Уже двадцать пять.

Я дико захохотал и схватил ее за плечи:

— Тебе четырнадцать, понимаешь?! От силы — шестнадцать, а это значит, что я гожусь тебе в отцы. А может быть, и в дедушки. И нечего мне грустить оттого, что ты уйдешь! Я не скот и не извращенец, ясно?

— Не годишься, не годишься, — тоненько, как флейта, вдруг зазвучала она. — У тебя никогда не было жены. А у меня есть сын...

— Угу, — согласился я. — И сколько же ему лет?

— Так... Несколько лет. Он спрятан далеко... На озере Рица.

— От кого спрятан?

— От родителей, чтоб не узнали, от моих родителей. За ним смотрит специальная экономка, которая возит его по озеру на прогулочной яхте.

Я кивал головой, слушая этот лепет. Было ясно, что она играет в куклы. Однако она делала это столь искренне, что казалось, вот-вот и заплачет. Что будет с тобою, милая, промелькнуло в моей голове, что сделает с тобою эта страшная мерзкая жизнь?

Вообще, если бы на Лизе оказалось мясо, то она стала бы похожа на матрешку, потому что щеки ее были розовы и широки. Мат-

решка, родит и будет матрешкой. Дал бы ей Господь...

— И ты хочешь, чтобы я усыновил твоего парнишку? — решил я ей подыграть. — Я бы с радостью, но дело в том, что я не могу жить с людьми, и нам вскоре пришлось бы развестись. Яхта отошла бы мне, а экономика — тебе...

— Ты мне не веришь? — воскликнула она. — Не веришь?! На!

Полезла в сумку и швырнула мне в нос фотографию. Я разгладил чуть смятый лист. Лиза в скромном голубом платье и белоснежном жакете стояла на лужайке, держа за руку симпатичного мальчишку с Мики-Маусом на груди. За ними чернели густые сосны, в тени которых скрывался простенький трехэтажный особняк с прямоугольной кирпичной трубой. Ветер играл лепестками роз, чувствовалась близость озера, а может быть, даже моря...

Конечно, я имел дело с заурядным фото-монтажом. Грудь поддельной Лизы была, наверное, вдвое больше оригинала, а о бедрах я уже и не говорю. За такие бедра можно отдать полжизни, если бы она у меня была. Пересняли из какого-то зарубежного журнала, например «Бурды», и клеили лицо моей Лизоньки, только клеили грубовато, так, что шею пересекала полоска удавленника.

— Ну и доходы же у тебя, судя по этому дому, — заметил я. — Где же такие деньги берут?

— В «Космосе» такие деньги берут, — выпалила она.

Я кивнул.

— Сколько же ты берешь за встречу?

— Сто, — сказала Лизонька.

— Долларов или марок?

Она запела под нос какую-то белиберду, которую поют эти откормленные барашки Жени Белоусовы, Юры Маликовы или как там... До пятидесяти лет все будут Женьками, Юрками...

— Я жрать хочу, — сказал я. — Сготовила бы чего-нибудь. Или из валютного бара принесла бы бутерброд...

Закатное солнце осветило привинченные шарики на моей кровати, и мне вновь стало не по себе.

— Картошка есть? — неуверенно спросила она.

Я вдруг ударил кулаком по железному шарiku.

— Ты что?!

Я опустил на корточки от нахлынувших чувств. Ну да, Ярославль, я же видел эту кровать в Ярославле! Что же теперь будет со всеми нами?

— Снимай! — сказал я Лизе.

Глаза ее округлились почти как в мультиках.

— Раздевайся! — разъяснил я свои

намерения.

— Мамочка! — пролепетала Лизонька. — Он псих, оказывается!

Я сделал шаг навстречу.

— Ой, не могу, спасите! — закричала она. — Дурак, дурак! — и чтоб оправдать свой всамделишный испуг, добавила: — У тебя же денег не хватит!

— Да нужна ты мне... Просто халат на тебе не тот. Не надо его. А надо... — я инстинктивно огляделся.

В ушах моих зазвучали старинные детсадовские слова «горячо-холодно».

— Вот это, — сказал я, беря в руки старое изношенное платье, которое она вытащила из шкафа, намереваясь выбросить. Черт его знает, чье платье, быть может, теткинo.

Она приложила его к своим худым плечам. Сказала, словно бросила в воду:

— Отвернись!

Я вышел в коридор, твердя про себя «горячо-холодно». Через минуту возвратился в комнату. Лиза одергивала платье на попке. Как ни странно, оно оказалось ей почти впору, только в плечах было слегка великовато.

— Ну как? — поинтересовалась она, оборачиваясь.

Я не знал как.

— Тепло...

— А по-моему, не очень... А если так? — она нагнула на себя какой-то шарф.

— Еще хуже.

Она задумалась. Смущение прошло, и необычная игра наша стала явно ее забавлять.

— А-а! — хлопнула она себя по лбу. — Я знаю! Вот оно!

Я сглотнул. Это уже было похоже на дело. Она просто повязала шарф на голову. Лицо ее после этого... как бы это поточнее выразиться, стало ужасно русским, просто до боли русским. Я не националист, во мне, как я подозреваю, вообще сидит турок. Я однажды в телевизоре увидел одного турка и ужаснулся: скулы — мои, глаза — мои, что же касается носа... Тетка моя долго потом негодовала за подобные мысли, говорила, что у меня отец — туляк, известный в прошлом на всю область мазурик, мать опять же не имеет к туркам ну ни малейшего отношения. Но я уперся и с тех пор скрывал от всех этот турецкий комплекс.

— Ведь лучше? — спросила Лизонька, вертясь передо мной.

Так вот, это щемящее русское... От боярыни Морозовой оно досталось. Эти родные лица, повязанные платками, но исчезнувшие сейчас, без них, собственно говоря, просто невозможно жить.

— Туфли, — пробормотал я, — туфли давай.

Вверх полетели крышки с коробок. Лизонька раскраснелась и вошла в азарт.

— Эти! — воскликнула она, вытаскивая какие-то плетенки.

— Ты что, с ума сошла? — застыдил я ее. — Сама не видишь, что это совсем не то?

— Вижу, — согласилась она. — Но что то?

— Не знаю, — простонал я. — Ищи.

После этого она не нашла ничего лучше, как надеть валенки с дырявыми пятками. Я отвернулся к стене, чтоб ее не расстраивать. Мое сумасшествие никак не давало ожидаемого интуицией результата.

— А теперь?...

Я повернулся к ней. Она надела туфли на высоком каблуке. В душе моей тотчас же образовалась воронка, в которую полетели города, государства, полезные ископаемые и политические деятели.

— А теперь здесь нужно все переставить! — закричал я. — Все стоит не так! Вот этот шкаф — к окну!

Мы набросились на него, как молодые львы. Моя же львица даже издала кровавый рык, от которого зазвенела в серванте пыльная посуда. Бог его знает, отчего я решил поставить вещи, как они стояли в Ярославле.

— Да не сюда, — пробормотала Лизонька. — А перпендикулярно окну...

Шкаф издал удручающий скрип.

— Зеркало?...

— Нет, зеркало пусть висит. А вот кровать поставим наоборот.

Тут я поймал себя на мысли, что кровать в Ярославле стояла, пожалуй, действительно на оборот по сравнению с моею. Но откуда Лизка-то догадалась? Просто какая-то феноменальная интуиция.

Вместе с ней мы развернули кровать на сто восемьдесят градусов и в изнеможении повалились на нее, как мешки с картошкой.

— Разве похоже? — спросил я.

Она кивнула.

Я лег у стены, пользуясь тем, что кресло в моей комнате было раздвижным. Лиза засопела сразу же, а могла бы хоть немножко повертеться, мало ли что, может, я насильник. Откуда такое доверие? Ко всем она так льнет или только к избранным? Ребенок он и есть ребенок. Еще лет пять ребенком будет, а потом сразу — пенсионеркой неопределенного возраста, которая зовется советской женщиной. Ну ты-то что не спишь, советский мужчина? Или тебя уже и за мужчину не принимают? Но мне ведь на это плевать, не сплю я из-за того, что лежу на ложе пыток, до того неудобно. В первую ночь с Лизой я лег на полу и тоже не спал, значит, дело не в месте, а в твоей проклятой башке, в мыслях, которые ты не можешь высказать, в чувствах, которые невозможно передать...

— Выходи! — раздался с улицы звонкий крик.

Я сел на своем кресле-постели и весь обрattился в слух. За окнами висела белая тьма. Крик не повторялся, видно, считали, что будет достаточно одного раза. А если бы я заснул? Что бы тогда?

Я открыл окно. В лицо ударил свежий холодный ветер. Я явственно увидел, как на моей люстре образовались капли и тут же превратились в лед, тихонько зазвенев. Натянув штаны, я выпрыгнул в окно. Передо мною открылся довольно серенький пейзаж с первым снегом. Снег был редок и лежал подобно седым бакенбардам.

Бледный ледок в мелких лужах, похожих на иллюминаторы. Вроде, рассвет, а может быть, белая ночь.

— Ты должен увидиться с нею до двенадцати, — сказали у меня за спиной. — В двенадцать она исчезнет, и встреча не состоится.

— Сам знаю, — огрызнулся я, потому что не люблю, когда галдят очевидные вещи.

Я побежал, ноги не слушались меня. Я стал хвататься за коленки руками, будто таким образом мог заставить их двигаться быстрее. Мои движения были похожи на движения марионетки, такие же беспорядочные и нематериальные. Наконец я понял, отчего получается пробуксовка. Трения не было. Ноги не касались земли и поэтому елозили в общем-то на одном и том же месте.

Тогда я нашел выход. Опустился на четвереньки, всем своим телом вдавившись в землю. И руки и ноги почувствовали твердь, будто кинолента зацепилась за зубья грейферного механизма.

Стал быстро перебирать ногами и руками. Земля поехала назад, показывая, что движение состоялось. Скоро под мою правую лапу попала рельса трамвайных путей. Я понял, что прибежал в город, в котором жила некая персoна, милостиво позволившая мне с нею встретиться до двенадцати. Я распрямылся. Окна домов искрились, как елочные игрушки. Во всем висело некое предчувствие Рождества, но без смеха, шума, вообще без звуков. Машин не было, трамваи не ходили.

Я вошел в провал подъезда. Запах гнили ударил в нос. Но почему-то лестница все время выводила меня наружу дома, а не внутрь. На такие маленькие площадочки без перил, с которых я мог бы при неосторожном движении слететь вниз. Когда я застрял на одной из них, то увидел на уровне своей груди запыленное окно. Сквозь копоть я с трудом различил какую-то дорожную бабулю, напоминающую мою покойную тетку. Она делала мне знаки, приглашая войти. «Я не могу», — хотелось крикнуть мне. Она стала беззвучно причитать, указывая на ходики, стрелки которых показывали без пяти двенадцать.

Чувствуя, что не повидаяюсь с той, ради которой я сюда прибежал, я со всего размаха ударил ногой в стекло. Окно сухо треснуло, оказавшись, по-видимому, из бумаги. Я ввалился всем корпусом в комнату и рухнул на пол. Передо мною в трехлитровой банке колыхался, как марево, гриб — во времена моего детства делали такой кислый напиток...

Это было похоже на кухню. С потолка свисало только что постиранное белье. Пар валил от плиты. Я хотел встать, но, поскользнувшись, снова грохнулся на пол. Тетка куда-то исчезла, ходики показывали без одной минуты двенадцать. Мне не сказали, куда идти, поэтому передо мною было два пути: или назад на улицу, или вперед — вон из кухни. Я бросился напролом в коридор. Это было совершенно незнакомое для меня пространство, изнутри обитое, как оказалось, красноватым бархатом. Оно было круглым, то есть коридор представлял собой мягкую замкнутую трубу, в которую выходило множество дверей. Где-то за спиной ходики пробили двенадцать. Тогда я рванул первую попавшуюся дверь.

Низкое помещение со множеством столов, расположенных, как топчаны на пляже. Некоторые пусты, на других лежат какие-то женские фигуры в беленьких платочках. В углу стоит миска, в которую навалена красная требуха. Я понимаю, это все, что осталось от ожидавшей меня персоны, потому что я опоздал. Давясь слезами и омерзением, я подползаю к этой миске и начинаю из нее хлебать, чтобы хоть как-то компенсировать таинственную невстречу. С каждым глотком тело мое разбухает, будто на дрожжах. Плоть становится легкой. Сухой ветер, неизвестно откуда взявшийся, выносит меня, словно лист, вон... Сначала в коридор, а после — через окно из дома... Город опадает, превращаясь в песок.

Я просыпаюсь и несколько минут тупо сижу на своем раздвижном кресле-кровати.

Лизонька спит, положив правую руку под щеку. В прорезе рубашки я вижу розоватую кожу, переходящую, как волна, от шеи к выпирающим ключицам. Отвожу глаза... Голова чешется, вернее, зудит, словно кожу проткнули тысячу иголок.

Пошел на кухню. Поставил кипятить воду и бросил в нее яйцо. Брызнул водою на свою физиономию. Вытерся и заглянул в кастрюлю. В ней вместо яйца находился твердый дым или белая вата. Она отвратительно отделилась от скорлупы яйца и плавала, подрагивая в пузырях. Было ясно, что скорлупа во время варки треснула и содержимое вылилось наружу.

Меня затащило. Вскрыв консервную банку с болгарским компотом, я отправился на работу.

Шел дождь с порывистым ветром, но Витюша не нашел ничего лучше, как поручить мне оттирать стекла с внешней стороны дома. Работа была почти бессмысленной, ее могли бы сделать и сами жильцы, но бригадир явно выслуживался перед подрядчиком. У них там завязались какие-то свои отношения, дом был ведомственным, и меня принуждали страдать.

Краска оттиралась с трудом и нехотя. Я начал с пятого этажа. Дождь лупил мне в спину. Леса, на которых я стоял, скрипели и прогибались. Но я не чувствовал холода. После увиденного сна мне как-то было начхать.

Наконец, покончив с пятым этажом, я стал спускаться на четвертый. Ботинки мои издавали болотистый хлюп, промокнув до основания. На четвертый этаж вела такая маленькая лесенка, наскоро сбита и прислоненная к стене. Когда я ступил на нее, она тут же поплыла куда-то вбок. Я ухватился за железный шест, он заскрипел, сорвался одним концом с креплений, и меня тут же вынесло за леса, как карусель выносит...

Подо мною было четыре этажа. Каким-то чудом я заметил, что внизу лежит большая куча песка. Постарался подтянуться. Шест от моего движения сорвался со второго крепления, и я вместе с ним полетел вниз...

Из дома выскочили ребята. Я сидел на куче песка, а рядом со мною был воткнут шест. Дождь лил как из ведра.

— В дом его несите, — распорядился Витюша хрипло. Чувствовалось, что он струхнул больше меня.

Но я уклонился от услужливых рук. Сам встал и заковылял в подъезд. Ног я не чувствовал да и всего тела тоже. Приведя в комнату, они тут же открыли бутылку водки и дали мне отпить из горла.

Выяснилось, что я довольно-таки серьезно расшиб себе задницу. Конечно, о продолжении работы не могло быть и речи, и меня милостиво отпустили. Сначала я хотел отправиться к Склифосовскому, но только представил, как мою задницу будет рассматривать какой-нибудь костолом да еще позовет медсестру для консультации, то решил поехать домой. Они вообще любят все делать скопом, гуртом. Эти коллективные изнашивания больного называются почему-то консилиумом. Со мной уже так было. Меня исследовали на предмет диэнцефального синдрома, а сами в это время говорили об интересном случае размягчения мозга, лежал этот случай в препаратурской, и я был рад, когда, оставив меня в покое, они все свалили туда глядеть на протухшие мозги.

Потирая задницу, я ввалился в дом и плюхнулся в кресло.

— Тебя что, трахнули? — довольно бесцеремонно спросила Лиза.

Она лежала на застеленной кровати, положив ногу на ногу, все в том же халатике.

— Обед стоговила? — осведомился я.

Она передернула плечами.

— На какие шиши? Ты ж мне денег не даешь.

Я не стал возражать, она была права. Достал из кармана смятую десятку и, сложив ее в квадратик, кинул в нее.

— Гриша... — сказала вдруг Лиза грудным голосом. — Гришенька...

Поднявшись, попыталась обнять за голову, но я дернулся и довольно сильно ушибся об ее подбородок.

— Ты чего? В магазин давай, в магазин! Видишь, ийти не могу?

Она не шелохнувшись стояла напротив меня. Передо мною была женщина, сильная и разъяренная. Если хотите потерять женщину навсегда, вы не должны прикасаться к ней.

— Оставь меня в покое! — заорал я.

Чувствуя, что эти слова ударили ее, словно плеткой, добавил:

— Я слишком привязался к тебе, чтобы жить с тобой.

— На! — И в мое лицо полетела какая-то красная книжечка в целлофановом чехле. Это был мой паспорт.

— Воровка... Смотрела, женат ли я?..

Она сатанински усмехнулась.

— Я подобрала его у своего окна.

— Какого окна?

— Да в Ярославле, в Ярославле! — завывала Лизонька.

Я молчал. Теперь я начал понимать все, и ее осведомленность в моей биографии, и странное подыгрывание с расстановкой мебели в доме...

— Тащилаась к нему, чтобы отдать... Ехала... А он не накормит даже... Фу ты, сволочь. Правильно мама говорит, все мужики сволочи...

Она скинула в запале халат и, оставшись почти нагишом, стала напяливать те вещи, в которых приехала, — поддельную кожаную юбочку, дрянную кофточку из вигони...

— Погоди, — сказал я. — Дело не в том, что я сволочь. Дело в кровати с железными шариками, дело...

Я хотел ей рассказать и о Царевне-Лебеди, и о том, какое странное гипнотическое действие оказала на меня ее квартира. Кажущаяся разгадка моего состояния утекала сквозь пальцы, как вода.

Некстати зазвонил телефон. Я сорвал трубку...

— Это АИ-один-восемьдесят девять? — спросил вкрадчивый голос.

— Вы уже звоните второй раз, — напомнил я. — Да, это АИ-один...

— Елену Георгиевну, будьте любезны...

— Я не знаю, кто это, — сознался я.

В трубке молчали. Сквозь щорехи и разряды помех слышался какой-то истерический смех.

— А вы что, из другого города звоните? — спросил я.

— Да, — ответили в трубке после паузы.

— Из какого?

— Из Кенигсберга.

— Лиза! — крикнул я. — Не уходи!

Ответом мне был топот ее ног в коридоре.

— Я не знаю, где это, — возвратился я в трубку.

— Калининград...

— Дайте мне ваш номер, — бухнул я.

— Зачем?

— Может быть, я смогу вам что-нибудь сообщить...

Не знаю, на что я рассчитывал...

— Двадцать два-восемьдесят пять-девять-носто шесть...

Раздались короткие гудки. Я записал продиктованный номер. В доме висела мертвая тишина.

Однако же быстро она собралась. В несколько минут, наверное, у нее опыт таких собраний. Чего ее преследовать? Благодарить, что в доме прибрала? Извиняться за то, что не обнял ни разу?

Я взглянул на ее фотографию, забытую на столе. Симпатичная миллионерша. Этакая Ника Самофракийская с головкою от Глазунова. В сердце моем защемило. Мне вдруг стало страшно, что я уже никогда не увижу мою Лизоньку.

Выскочил из дома. Конечно, если она собралась в Ярославль, то я перехвачу ее на вокзале, хоть бы... Самое худшее — если Лиза останется в этой каменной квашне, в нелюбимом мною ночном городе.

Сев на подоспевшую вовремя электричку, я уже через пятнадцать минут был на Ярославском вокзале. Сунулся в справочную — оказалось, что сейчас начинается посадка на тот самый поезд, каким я ездил несколько дней назад в злополучный город. Следующий шел только утром. Я начал метаться по перрону взад-вперед. Вот она! Только колготки новые купила и в волосы запледала нелепый бант... Нет, не она. Может быть, эта, с короткой стрижкой и синими губами, не знающая слово «люблю»?.. Может быть, это облако, брызгающее дождем, — Лизонька? Или автомат с газированной водой, недоливающий сиропа, — Елизавета?

Меня толкали носильщики и матюгали алкаши. Проводницы, сразу вычислив мои устремления, завистливо презирали меня с вагонных площадок. Пассажиры в плацкартах откупоривали бутылки с «Колокольчиком».

Лязгнула судорога, пробежавшая по телу состава. Вагоны нехотя тронулись, и я зачем-то побежал вослед. Платформа кончилась, дальше пути не было. Обдав меня масляным ветром, поезд вырвался вперед. Я не стал дожидаться, как в плохих фильмах, пока он скроется вдаль, отвернулся и пошел в здание вокзала.

Надежд на встречу я практически лишился. В зале ожиданий окинул замороченных бездомьем людей. Напротив несколько небритых азиатов резались в карты. Кто-то спал, повернувшись к народу спиной. Орала грудные дети. Усталые цыганки, имитируя хищный взгляд, искали в толпе жертву.

Я присел на деревянную лавку. Рядом со мною развалилась дородная баба, скрестив руки на выпирающем животе. Масляные глазки ее прошлись по моему лицу. На полу рядом с нею покоилась сумка с выпирающим батоном копченой колбасы.

— Что? — ответил я на ее безмолвный вопрос.

— Вот, бляха-муха, колбаску плиоблела. Я почувствовал, что она навеселе.

— Что за колбаса-то?

Она кряхтя наклонилась к сумке, достала из кожаного кармана здоровенную финку. Отрезав ломоть колбасы, сунула мне его под нос.

— Ну да, — отмахнулся я, — чего я вас объедать-то буду.

— Так и я же с тобой, вишь ты...

Плеснула мне из термоса какой-то жижи. Поднеся к носу металлический стакан, я обмаружил, что это самогон.

— Давай, — приказала она.

Я выпил. Для приличия отломил крошку колбасы. Она же, выпив, только занюхала. — Много набрала? — спросил я, переходя на «ты», трудно после выпивки быть англичанином.

— Слава Богу. Леденцов детям, ветчинки китайской.

— А мужу чего?

— А мужу — лассады.

Она открыла бумажный пакет. Там была какая-то земля с прозеленью.

— У нас-то поди достань. А здесь у клематолы плодают. Два лубля, бляха-муха.

— А муж что... мхом торгует?

— Тью... Он вообще этого не любил. Мусол, говолит, вишь ты...

Я кивнул. Сообразил, что она толкует о муже в прошедшем времени. Поинтересовался, быть может, бестактно:

— Давно муж-то умер?

— Да года четыре будет. Клановщиком был. С клана солвался, когда из кабины вылезал. Если б не умел, инвалидность бы получил, а так — слазу. Вскрытие ему сделали, оказывается, лак. Влач сказал, что все лавно бы умел, вишь ты...

— Вижу, — согласился я.

Не везет мне на встречи. Если заговоришь с посторонним человеком, то обязательно наслушаешься несмешной дичи. Вот почему я вообще не люблю говорить.

— Еще будешь? — она потянулась за термосом.

— Нет. А дети... Много детей?

— Двое. Близняшки. Муж говолит, что аболт... А я отказывалась. Надоели аболты-то...

— Много раз делала?

— Да лаз солок, — засмеялась она. Запела, хрипя:

Спи, моя ладость, усни...

Лыбки заснули в плуду...

Даже лесной мулавей

Плосится спать посколей...

— Погоди, — решил я прервать эту дикую песню. — Когда твой поезд-то?

— Да утлом.

— Хочешь, можешь переночевать у меня. Пятнадцать минут езды на электричке. Все-таки хоть немного поспишь.

Она дико посмотрела на меня. С глаз ее как будто свалилась пелена. Сказала неуверенно:

— Сейчас милицию позову, мазулик...

— Да ты что, сдурела?

— А ну пошел... Пошел отсюда! — она открыла финку. — Ишь какой... Думаешь, если пьяная, то все можно? Плилежу!

Сталь тускло блестела у меня под носом.

— Дура, — сказал я, вставая.

Когда уходил, слышал с спиной, как она шуршит своими многочисленными пакетами и свертками.

Я не пошел домой. Я не верил, что Елизавета может возвратиться ко мне этой ночью. Я пошел к Гале, и когда вступил под влажные каменные своды, то услышал, как надо мною возытаются и лают собаки.

У Гали в комнатушке было полно дыма.

— Мог бы и постучать, — сказала она недовольно. — Ты что, ушибся?

— Поскользнулся, — навал я.

Доковылял до дивана и лег на него ничком.

— Очень болит? — сердобольно спросила она.

Я пробурчал что-то невразумительное. К голове подкатывала мутная волна, хотелось спать.

— Ты чего? — пришлось встрепенуться мне, потому что почувствовал, как она закатала мне рубашку.

— Молчи, — приказала Галина Семеновна.

Взгромоздившись на меня всей тушей, она начала массировать мне спину, и лежанка угрожающе затрещала. Вот так, наверное, насилуют, подумалось мне.

— Послушай, ляля,— сказал я ей.— Тебе не кажется, что я могу потерять сексуальный контроль?

— Уж ты-то не потеряешь,— предположила Галина Семеновна.— А если потеряешь, то пожалеешь.

Я хмыкнул, тупо соображая, что она имеет в виду. Сначала прикосновения Гали доставили только боль, но потом стало как будто легче.

— Где же это тебя так угораздило?

— Арбузная корка.

— А-а... Я же говорила, что тебя сглазили! Но мы ее отведем, она своих позабудет, стерва!

— Кто это она?

— Черная дама.

Взгромоздившийся на меня слон водит по спине своим мягким хоботом, вот до чего я дошел!

— Не могу больше, хватит...

Она нехотя слезла. Кастрюля, стоявшая на электрической плитке, дымилась и булькала. Галя потянула своим коротким носом. Взяла со стола какую-то деревянную палочку с намотанной на ней, как мне показалось, черной шерстью. Опустила в раствор.

— Ужин готовишь? — высказал я предположение.

Она вытащила палочку, обтерла полотенцем и вручила мне со словами:

— Носи на груди и никогда не расставайся.

Я равнодушно оглядел амулет. Это была не шерсть, а темные волосы с едва заметной сединой. Сама же Галина была светловолосяй.

— Ты могилу, случайно, не разрывала?

— А это не твое дело. Носи и будь доволен, что я взяла на себя твой грех.

— Какой грех?

— Колдовство. Это ведь грех...— вздохнула Галина Семеновна.

Мне стало ее жалко.

— Мне не надо жертв, Галя. К тому же я крещеный и крест на мне. Забирай обратно свое веретено.

— Крест не поможет.

— Почему?

— Потому что ты не веришь. А неверующим может помочь только колдовство.

— Почему это я не верю? — окрысился я.

— Ты же не умеешь любить,— объяснила Галя с сочувствием.— А значит, не веришь.

Я не нашелся, что ей возразить. Спросил:

— Можно, я у тебя немного посплю?

— Спи,— разрешила она.

— Только не садись на меня во сне,— предупредил я.— Не люблю этого.

Галя надула губы и отвернулась. Чтобы не обижать ее, я спрятал магическое веретено в карман. Отвернулся к стене. Через

минуту почувствовал, как она набросила на меня ватник.

— Ты свою мать помнишь?

— А как же.

— Ты не боялась в детстве, что она умрет? — я закутал ватником ноги.

— С чего это? Я вообще в детстве о смерти не думала.

— А я думал. Тетка мне рассказывала, как я вставал ночью с постели и подходил на цыпочках к кровати, где лежала мать. Дыхания ее я не слышал, а только смотрел, как поднимается одеяло. А вдруг она не дышит? И только удостоверившись, засыпал снова...

Галя молчала.

— А в куклы играла? — не знаю, отчего я начал ее пытаться.

— Конечно.

— Я помню один эпизод с куклой. Она висела на елке, такая маленькая, запеленутая в одеяло. Я сорвал ее и, когда никого не было в комнате, начал топтать ногами, ощущая при этом... В общем, это было самое острое чувство, которое я испытал в жизни.

— Извращенец,— сказала Галя.— Я бы тебя отлупила за эту куклу.

— Конечно, я совершенно ее доконал. И чтобы родители не ругали, спрятал в пластин. Потом она куда-то пропала...

— А я заблудилась однажды в высотном доме. Не знала, куда идти по лестнице, вверх или вниз. Звонила во все квартиры, просила, чтобы меня вывели.

— Ну и что?

— Сжалился один старичок. Когда вел к выходу, все причитал: «Такая маленькая, а уже гуляет...»

— Бред,— прошептал я.— Мерзкий старикашка...

— А еще я любила нюхать бензин у мотоциклов. А ты?

— Конечно... Я спать хочу, Галя,— напомнил я ей, хотя сам затеял этот бессмысленный разговор.

— Ладно,— она встала и тихонько вышла из комнаты.

Подождав немного, пока она уйдет, я тоже поднялся с лежанки. Открыл железную дверь. Чутко прислушиваясь к тишине, выглянул в коридор.

Галины не было.

Тогда я вылез через окно на улицу и побрел по пустынному городу. Веретено я выбросил.

Домой возвратился под утро. Набрал 09 и спросил код Калининграда. Затем позвонил туда по номеру, который узнал накануне. К телефону долго не подходили. Наконец заспанный и испуганный голос произнес:

— Алло..

— Я от Елены Георгиевны, из Москвы. Телефон: АИ-один-восемьдесят девять.

— А-а...— протянули в трубке.

— Я вылетаю к вам сегодня. Будьте вечером дома...— и бросил трубку на телефон.

Есть такой малопрятный самолет. ТУ-134 называется. От телеги он отличается скоростью, но роднит его с телегой тряска и скрип. Я вообще не терплю отрываться от земли. Галина утверждает, что здесь таятся причины астрологического характера. То есть по гороскопу моя стихия — вода, а небо мне не полагается. Но я думаю, что это просто трусость, вот и все.

Когда я вошел в салон, то обратил внимание, что серая клеенка, которой обит самолет изнутри, отклеивается во многих местах. В частности, над моим креслом торчал вырванный клоч, будто кто-то, лишившись опоры, пытался уцепиться за потолок. Я сел и тщательно пристегнулся, то есть вложил в это немудреное действие весь запас своих творческих сил. Самолет готовился к взлету. Прямо надо мною кружилась муха. Истощенный гул моторов заглушал ее жужжание, и я, чтобы не поддаваться панике от предстоящего расставания с землей, попытался сконцентрировать все внимание на мухе.

Во вселенной есть множество различных сил, но если бы меня попросили символизировать такое качество, как, например, мировая глупость, то я выбрал бы ее, вечно небритую, в мотоциклетных очках, с полосками целлофана, выпирающего из зеленоватых боков. Муха глупа, причем глупа до иррациональности. Глупость ее заключается прежде всего в том, что она не отличает живого объекта от мертвого и с одинаковым азартом набрасывается как на кучу дерьма, так и на беззащитного человека.

Звук работающего мотора достиг объемов церковного органа. Самолет, словно прыгун в длину, дернулся и, быстро перебирая ступнями, стал разбегаться для прыжка. Меня вдавило в кресло, сердце поползло к желудку, но я продолжал думать о мухе, отгоняя страх. Я, кажется, начал понимать, каков мир с точки зрения мухи. Мир этот мертв и не имеет собственной воли. Любой из нас, даже самый розовощекий и оптимистичный, для мухи всего лишь объект для удовлетворения ее сомнительных желаний. Перспектива нашей смерти для нас — лишь будущее, для нее — уже свершившееся настоящее. Упоенная собственной гордыней, она не допускает даже мысли о том, что у нее есть соперники. И что, скажем, человек при определенных условиях сам может стать мухой. А что бы сказала она, паскуда, когда бы я, размахивая руками, также надоедливо кружился над ней? А ведь мог бы,

и жизнь сложилась бы по-другому...

Бегун, разбежавшись, направил свое вытянутое тело к другому концу вырытой ямы, но, оторвавшись от земли, задержался в воздухе и остался висеть там, потому что время остановилось. Земля резко ушла вниз, и я очутился подвешенным в небе, оставив внизу все свои потроха и желания. Муха исчезла. Может быть, ее склевал невидимый щелчок или она покончила жизнь самоубийством, обнаружив, что способностью летать обладает не только она.

Я твердил молитву «Отче наш», единственную, которую знал. Мы поднялись выше облаков. Солнце здесь оказалось столь ярким, будто в воздухе были рассыпаны миллионы кристаллов, и каждый из них отражал и усиливал свет. Самолет душераздирающе скрипел и трясся, особенно когда разворачивался или проходил через гряды облаков. Внезапно сверху на меня что-то закапало.

— Это конденсация,— шепнул покровительственно сосед, вероятно, заметив мой испуг.

Я кивнул. Смысл слова «конденсация» был недоступен моему уму, но само звучание успокаивало, давая понять, что где-то вдалеке от нас есть мудрые создатели этого самолета, заложившие конденсацию в его технические характеристики.

Звук двигателей стал тише. Сначала я подумал, что у меня заложило уши. Самолет наклонился на одну плоскость, и я с удивлением обнаружил землю у себя над головой. Затем она, резко дернувшись, ушла, как и положено, под ноги.

— Резкий маневр и изменение крейсерской скорости,— отметил сосед.

Глаза его, увеличенные очками, казалось, касаются стекла и вылезли, как у рака.

— Мы проходим грозовой фронт,— объявила бледная стюардесса, появляясь в дверях.— Просьба всем оставаться на местах и пристегнуться к креслам.

Все недовольно зашелками замками. Некоторое время полет проходил нормально, но потом сверху на меня снова закапала вода.

— Конденсация? — спросил я соседа.

Тот кивнул.

Наступила вдруг удручающая тишина, и облака под нами резко пошли на самолет волною. За спиною раздался крики...

Мы прошли облака, как щепка прошивает морской прибой.

— Какая, к черту, конденсация?! — заорал я.— Мы же сейчас расшибемся к чертовой матери!

Сосед вжался в кресло. Трясушимися руками он пытался достать из железной трубочки валидол, но таблетки рассыпались на коленях, да и сама трубочка упала на пол. Мои глаза стали закатываться под надбров-

ные дуги. Сквозь свист ветра я, казалось, различал какой-то неуловимый зов... Может быть, земля звала меня. Какой-то смех или плач, сам не знаю...

Оглушительно заработали двигатели. Невидимая леска выдернула наш самолет из омута, и он резко пошел вверх. Облака снова оказались под нами. Выяснилось, что я обнимал соседа, а на коленях моих валялись битые стекла его очков.

Трубы заводов. Железные мосты. Кирпичные дома шестидесяти лет. Широкая река. Разрушенный готический собор на зеленом полуострове. Скульптура «Материнство». Заходящее солнце в голубоватом дыму.

Я прилетел в этот город под вечер и не на том самолете, на котором вылетел из Москвы. Мы совершили вынужденную посадку на каком-то небольшом аэродроме. Промучив часа три, нас загрузили в аналогичный самолет и доставили до Калининграда без приключений. К семи часам я стоял на центральном проспекте без малейшего желания начинать то, ради чего сюда прилетел. Я кое-что слышал про этот город, поэтому первым делом спросил у проходящей молодки:

— Извините, где здесь могила философа Канта?

Она отшатнулась, брезгливо скривив губы. Наверное, с точно таким выражением лица я уворачивался в самолете от мухи.

Какая-то бабка остановилась рядом и, прислушиваясь к нашему несостоявшемуся разговору, заметила:

— Тебе, наверное, на кладбище надо.

Я махнул рукой. Не знали они философа Канта. А если бы здесь была могила Калинина, поди, знали бы. Мне тут же представилось, как Калинин и Кант ведут нескончаемый диалог через мутную реку.

Опустив в автомат душку, я позвонил по номеру, который узнал в Москве. Когда подняли трубку, сказал:

— Я от Елены Георгиевны из Москвы.

— Вы из Калининграда звоните?

— Да.

— Записывайте адрес.

Я открыл блокнот и на весу записал то, что мне диктовали. Потом сел в подоспевший автобус и медленно поехал через весь город.

Высадился на самой окраине, которая резко отличалась от центра, напоминая своими аккуратными домиками Прибалтику. Нашел улицу имени товарища Луначарского, дом номер восемь. Толкнул железную калитку. Дворик перед домом зарос сорняком, высаженная клубника хоть и цвела местами, но чувствовалось, что она с успехом превращается в траву. Лучше всего жилось оду-

ванчикам, они были чуть ли не в метр длинной и уже покрылись пухом. Взшел на крыльцо и позвонил. Открыл мне белообрый парень лет четырнадцати.

— Я из Москвы...

— Да, да. Проходите. Я только его до-
мою...

Говорил парень басом. Я не понял, кого он собирался домыывать, но виду не подал и вступил в темный коридор.

Вошли в кухню, заброшенную и захламленную.

— Посидите здесь. Я сейчас...

Ушел. Я уселся на табуретку. В раковине была навалена невымытая посуда. Таракан, сидевший на трубе, умывался своими длинными усами, как кошка лапой. В воздухе висела болезнь. Я подошел к раковине, открыл воду и начал полоскать тарелки, не знаю, что меня дернуло...

Через несколько минут парень возвратился на кухню, держа в руках таз. Я постороился.

— Зачем вы это? Я бы сам... — он вылил содержимое таза в раковину.

— Да ладно. Тебе и так нелегко...

— Я бываю здесь раз в три дня, — сказал он, — а в остальное время за дедом присматривает соседка.

— Это ты мне звонил? — меня неожиданно осенило.

— Ну да. Дед замучил. Говорит, звони и звони...

— Чего он хочет? — враждебно спросил я.

— А черт его знает.

В глазах моих зашипало. Перспектива того, что я узнаю через несколько минут нечто важное, совсем не радовала меня. Наоборот, предчувствие каких-то важных известий обычно меня расслабляет и делает нечувствительным к самим этим известиям.

— Пошли, — сказал внук.

Я поднялся... Он открыл дверь, и мы очутились в комнате, перегородженной ширмой. Сервант с пыльными рюмками и пустыми пузырьками от болгарского одеколona. Блеклый ковер с восточным рисунком. Стопка газет и журналов, наваленных у окна. Книг нет...

Прошел за ширму. Передо мною лежал желтый старик с ввалившимися щеками. Редкие усики топорщились над верхней губой, седые волосы были зачесаны назад. Лоб — в коричневых пятнах, будто об него вместо салфеток он вытирал после обеда руки.

— Дед, вот это человек из Москвы...

Он потянул старика за плечо. Тот приоткрыл мутные глаза.

— Помнишь, мы звонили ему по телефону.

Губы приоткрылись, издав неслышимый звук.

— Он очень устал после обмывания, — пояснил внук. — И ничего не слышит.

— Я слышу! — раздался вдруг каркающий голос.— Лена... Про Лену!

Я молчал.

— Что там? — спросил больной нетерпеливо.

— Нету никакой Елены Георгиевны,— сказал я.— Есть Елена Григорьевна. Вернее, была...

Он, кажется, понял, что я хотел сказать. Брови его поползли вверх. Пробормотал:

— Когда?

— Тридцать два года назад. В автомобильной катастрофе.

Наступила тишина. Где-то брехали собаки.

— Я хотел... попросить у нее прощения.

Я кивнул. Сказал, чтоб его приободрить:

— Я не знаю, что там у вас было... Но тетка рассказывала мне, что мать была добрым человеком. Так что, думаю, она вас давно уже простила...

Он заелозил, вроде бы со мной не соглашаясь. Потом успокоился. Некоторое время лежал неподвижно. И губы его начали складываться в неслышимое слово... Я пытался его разобрать. Мне показалось, что он говорит «красавица».

— Да, наверное,— согласился я.— Я ведь не помню ее. И глупость такая, не осталось даже фотографий. Мать не любила сниматься.

Старик снова затих.

— Дед говорил как-то, что она была русоволосой, только рано поседела,— сообщил внук.

Я кивнул, хотя мне становилось все неприятнее. Чего они? Того и гляди сплетничать начнут об уже истлевшем давно человеке.

— Золушка...— пробормотал вдруг дед.

Это меня доконало.

— Золушка... При чем тут Золушка? Держите при себе!..

Я, наверное, возразил слишком громко, потому что невымытые рюмки в серванте вдруг зазвенели. Этот звон воскресил в памяти звон часов. «Ты должен увидеться с ней до двенадцати»,— пришла на ум фраза из моего недавнего сна.

И меня осенило. Окружающие предметы начали терять свою материальность, по спине прошел холод, и волосы, как писали в старинных романах, поднялись дыбом.

Я открыл свою дорожную сумку. Вытащил из нее фотографию Лизоньки с телом миллионерши. Показал старику.

— Она?!

Старик, казалось, недоумевал. Но потом лицо его, к моему ужасу, просветлело.

— А где... собака? — прошептал он.

Я дернулся, потому что через меня пропустили ток.

— Не было у нее никакой собаки, что вы мелете!

— Была,— выговорил он.

— Я бы помнил, не было!

Он упрямо молчал, выпятив нижнюю губу.

— Дворняга что ли? — в отчаянии предположил я.— С рыжими подпалинами?

Он облегченно закивал головой. И здесь я, сорвавшись, понес околесицу:

— Знаю я эту собаку... Паскудная собака! Перебегает дорогу на красный свет. Небось, размазал ее какой-нибудь «МАЗ», но только я все равно не помню ее! Хоть и видел однажды...

Он утвердительно кивнул головой.

Чем бы его еще добить, подумалось мне, чем бы еще? Что, собственно говоря, осталось в моих арсеналах? Синий халат на худых плечах Лизы? Курносость Гали? Или нелепое выражение пьяной бабы на вокзале?

— Железная кровать,— сказал я,— напротив зеркало, в котором отражается окно и деревянная Царевна-Лебедь, верно?

Старик внимательно слушал. Он безмолвно бредил вместе со мной.

— И выражение... Неприличное почти, «бляха-муха»...

Перед носом моим возник желтый палец, качнувшийся, как маятник. Он явно отрицал подобное выражение.

— Ладно,— согласился я.— Пусть без этих слов... Но мне-то как после этого жить?! Мне-то как?!

— Ты успокойся,— заметил мне его внук.— Не надо шуметь.

— Называй меня на «вы»! — окрысился я.— Тоже мне, родственничек!..

До моих ушей долетел какой-то шелест. Старик, приподнявшись со своей постели, шептал что-то...

— Он говорит, что Лена не могла без тебя жить,— перевел парень.

Я бессильно погрозил им обоим кулаком. Громко хлопнул дверью...

Двери электрички открылись со звуком прохуdivшегося мяча. Платформа «Яуза» была зелена и пустынна. Я вышел из вагона и побрел домой. Я был на автопилоте, то есть не думал ни о чем и фактически ничего не чувствовал.

Знакомая березовая роща. Аляповатые скамейки, чтобы граждане не спутали этот парк с лесом. Зеленый овраг. Мутная река, в которой еще в начале шестидесятых мы ловили щук. Говорят, Хрущев хотел расширить и углубить ее русло, чтобы прогулочные катера ходили по ней от Кремля до ВДНХ, но проект посчитали слишком дорогим, и теперь река умерла, не замерзала даже в лютые морозы. Да, река умерла, но рыба в ней еще водилась. Странно...

Я толкнул свою калитку... Остановился. Из печной трубы валил дым! Я явственно разглядел в дыме осколки стекла. Вероятно, печь

раскалили докрасна, я видел даже красные искры, вырывающиеся из трубы.

Подошел ближе. Крыльцо подметено, дверь в избу открыта. Белоснежная скатерть застелена на столе. В центре — букет сирени и литровая банка молока. Я заглянул в печь. Там пеклись пироги, и снизу они уже начали краснеть. И никого кругом. Хозяйка, если она и была, оказалась невидимой. Я находился внутри Летучего Голландца, паруса надувались ветром, мачты скрипели, штурвал медленно поворачивался, выбирая правильный курс...

Я сбежал с крыльца, перепрыгнув через несколько ступенек. Пулей выскочил за околицу. Оступаясь, бросился в чащу, в овраг, куда глаза глядят.

Ночевал на вокзале. Почти не спал. Только начинал дремать, как бессмысленное объявление об очередном опоздавшем поезде прогоняло клочки сна, словно ветер разгонял белые облака.

Утром милиционер потребовал, чтобы я встал, и осмотрел мои документы.

— Ты же прописан в Москве. Чего домой не идешь?

— Иду, — сказал я.

Он возвратил мне паспорт и пообещал: — В следующий раз оштрафую!

Я кивнул, соглашаясь. Выпил в буфете разбавленной «Фанты». Поехал на работу.

Явился раньше всех. Открыл подсобку, надел комбинезон, взял кисти и краску. Поднялся на четвертый этаж. Начал красить лестничную площадку перед лифтом. Потихоньку добрался до окна.

С этой стороны дома не было лесов. Оконная рама была приоткрыта. Я увидел, что на подоконнике сидит бабочка-капустница, и прогнал ее кистью. Она медленно, нехотя

взлетела и выскользнула на улицу. Какая-то полудохлая бабочка, должно быть, уставшая, как и я...

— Выходи! — раздался с улицы звонкий голос.

Я застыл с кистью наперевес. Недавний сон начинался точно с такого же возгласа. Даже голос был похож.

— Ну выходи же! — просительно повторили снизу.

Я и вышел, перешагнув через подоконник, прислонив кисть к стене...

Вечером того же дня Галина Семеновна Тихомирова заступила на свою вахту. Служила она сторожихой в крупном московском универмаге, и в обязанности ее входило не только питье горячего чая в подсобке, но и выпускание собак на ночь. Они содержались в специальных вольерах и были голодны и нетерпеливы.

Галина Семеновна пришла в свою подсобку, разложила на столе вязание, колоду карт, батон белого хлеба и кусок сливочного масла. Включив в розетку чайник, она отправилась к своим кобелям, и через минуту подвалы огромного здания наполнились неистовым лаем.

Манекены слащаво улыбались друг другу. Дорогие меха отливали зеленью. Резиновая обувь выстроилась эскадрой, и зеленые бутылки с болгарским нектаром стояли крепостной стеной.

Мимо них неслись овчарки, обретая долгожданную свободу. Стекланные потолки были темны. До рассвета оставалось не более пяти часов.

1990 г.



Людмила
ПЕТРУШЕВСКАЯ

КУПЛЮ ТЕБЕ БАБУ

Когда смотришь в подземный переход сверху, со ступенек, перед тем как опуститься в этот кипящий котел, наметанным глазом видишь: продают пуховые шапки. Три женщины крутятся вокруг своей оси, поглядывая то на один конец, то на другой конец тоннеля: не идет ли милиция, а вокруг них — меряют, рассматривают — небольшой водоворот.

А так все в остальном мирно, течет толпа в обе стороны, все с сумками, иногда пробежит на высоких каблуках резвая, но в основном на широких подошвах шаркают.

С одной стороны тоннеля выход в свет, в широкие полки магазина № 1, с другой стороны — выход аж в два мира, где посуда и где ботинки.

Охотники с переметными сумами, усталые охотники, племена с детьми, время от поезда до поезда, неизвестность впереди и непонятно где поесть, где присесть, где даже туалет для ребенка, кустов нет, заходят во дворы с воспаленными лицами. Чужие в этих каменных джунглях.

И вот — взгляд вниз, в этот переход между тремя магазинами, а там небольшая заварушка, какое-то передвигающееся кипение.

И женщина прямо со ступеней со всеми сумками, тромбозом, пустым желудком и повышенным давлением — туда, вниз, ухнула, как с берега:

— Что у вас? Что у вас есть?

Какой-то мужчина весь дернулся навстречу, глаза зажмурились:

— У меня брат сгорел!

Пауза, сзади набегают другие, вот она, заварушка, секундная пауза. Ни ты мне ни к чему, ни я тебе ни к чему. Дело кончается двадцатью копейками, которые мужчина bestолково держит в руке.

Зовут его Лева.

Вид у него — на самой последней крайности приличия. Баланс очень тонкий, подвижный, уже участки могут на него заглядывать, еще немного — могут начать смеяться во дворе. Но он еще держится. Поведение в подземном переходе — это срыв, какой бывает у многих. Он идет с авоськой, с пустой авоськой. Сейчас он купит себе хлеба.

Другое дело дядя Саша. Он лежит у себя на диване. У него все есть. Он просыпается с видом человека, у которого все есть и он выспался после ночной смены. Он лежа закуривает.

Его жена Полина, полная, босая, сидит на довольно высокой кровати и что-то подшивает...

В комнате семейный бедлам, на столе «Зингер», на стульях все развешено. На полу нитки и лоскутки. Журчит радио.

Над тумбочкой между диваном дяди Саши и кроватью тети Поли висит большая народ-

но-комфортабельная, с Птичьего рынка, до-
рогая клетка с попугаем-неразлучником.

Это самец с голубым носом, крошка Вася,
у глаз реснички, любит себя в круглом
подвешенном специально зеркальце, целует
себя в отражение, похвастывается, тюрлюлю-
кает и между делом шепчется сам с собой:

— Ссс! Ссс! Вася крсссивый. Тюрлюлю,
свись! Свись! Поцелуй Васю, урррр. Вася
трррр красивый, тю-тю-тю, свись! Куплю тебе
бабу, свись!

Дядя Саша курит и громким голосом, ка-
ким он всегда говорит с попугаем, провозгла-
шает, хоть и без всякого выражения:

— Куплю тебе бабу!

Попугай вылетает и садится на стену.

— В воскресенье куплю. *(Это уже потише
и обращено к Полине.)*

— В воскресенье ты с ночи.

— Как раз заеду и куплю. Обещался.

— Мало мне убирать за ним полозить.

Я за Шуриком бы лучше ходила, а не могу.
Ничего не могу.

Вася делает круг.

— Видал, видал?

Дядя Саша ему:

— Куплю тебе бабу!

Попугай с ковра отвечает:

— Ть-ть-ть, свись! Вася красивый!

— Вася красивый! — гремит с дивана
дядя Саша. — Кушать хочешь?

— У него полно, я насыпала. Перед гла-
зами какие-то мошки летают. Ползаю с тряп-
кой за ним.

Но в ее голосе сама доброта. Они как
двое стариков с внуком.

— Да я сам уберу.

— Уберешь! Еще принесешь.

Идиллия, что говорит.

Лева тем временем в каком-то подъезде
сидит на окне.

Белый день, народ на работе, только ста-
рушки ползают на лифте туда-сюда, за хле-
бушкой и пакетом молока.

А одна, еще живая, пробирается пешком
вниз в халате и тапочках, подвижная, су-
хонькая. То ли за газетой, а вообще нюхом
чувствует происшествие.

— Вы к кому?

Лева в нос отвечает.

— А она не дома?

— Нет, — в нос говорит Лева. — Она дома.

— Так позвони, — советует старушка, но
Лева с места не снимается. — Позвони, позво-
ни, — спускаясь, бормочет старушка, зорко
вглядываясь в ту дверь, куда надо позво-
нить.

Лева стоит, что-то переживая.

Старушка местный дирижер всех сканда-
лов, и она случая не упустит. Она, проходя
мимо заветной запертой двери, долго, делови-

то делает три-четыре звонка. Постояла и
спускается дальше.

Лева, потупившись, стоит у окна пятнад-
цатью ступеньками выше.

За дверью плачущий голос:

— Да нету, нету его, все, иди! Я что,
десять раз буду говорить? Когда он был жив,
ты кровь из него пил! Я на бюллетене!
Я больна! Он тебя кормил, тебя брил, в ванне
купал, мало? Все мало? И каждый день,
каждый день он сюда идет! Его уже нет!
Все деньги из него вытянул? Так езжай,
у тебя своя комната. Он с тобой больше
был, чем с семьей. Из-за тебя мучился, му-
ченик! *(Замок поворачивается, дверь нара-
пашку, по дороге.)* Езжайте домой, скотина!

Дверь распахнута, никого нет.

Лева безучастно стоит у окна. Женщина
плача *(халат стеганный, на голове туго затя-
нутый шарф, нечесаная, распухшая)* идет по
лестничной площадке, наконец находит Ле-
ву далеко вверху.

— Иди. Поешь. Чаю дать? — обессилев,
спрашивает женщина. — И чемодан я собра-
ла, его вещи.

Лева, получив свое ежедневное разреше-
ние, быстро спускается вниз, входит в дверь.

Старушка-режиссер с газетой поднимается
(пешком) по лестнице. Перед закрытой
дверью на полу сидит Лева и жует. Такой
портрет в темной раме в профиль.

У ног его — чемодан.

А дядя Саша тем временем уже на Птичьем
рынке.

Он в кепке, весна, на деревьях галдят
городские свободные вороны.

Дядя Саша с непроницаемым видом в
птичьем, попугайном ряду.

Картина известная, и результат ее таков,
что дядя Саша входит в свою комнату *(сем-
надцать метров, диван и кровать вдоль длин-
ной стены, шкаф трехстворчатый поперек,
плюс большой стол, на нем раскрытый «Зин-
гер», а Полина тяжело лежит под одеялом)*.

Дядя Саша вынимает из-за пазухи своего
длиннополого старинного пальто клетушечку
с попугайхой незаметно для жены.

Поля с кровати:

— Плохо чувствую.

— Не вставай, не вставай.

— Иванова была, врач.

— Была?

— Говорит, ухудшения не заметно, про-
должайте курс лечения. Ухудшения не за-
метно!

— Иванова?

— Да. В глазах темно. Встала, в глазах
темно, соседи Иванову вызывали. До работы.

— Не вставай.

— Легла. Лекарство принять. Прибраться
надо. Сестра придет все же с уколом. Опять
желвак будет. О-ох.

— Я приберусь,— говорит дядя Саша, тихо и незаметно ставя клетушку с попугаихой на тумбочку.

— Ты приберешься,— повышает голос Полина.— За вами всеми ходить с тряпкой. Этот везде гадит. На кой он нам. Я лучше за внуком бы ходила, а не могу. Саша, я так не выдерживаю. Давай отдавай его.

— Кому? Кому?

— Ребятам отдашь, Толику с Таней. Пусть Шура играет.

Попугай страшно взволновался, выкарабкался из клетки и стал бешено летать.

— О! О! — сказала Полина.— Ты что принес? Ты это зачем тут принес? Ну все. Ну все. Как хочешь, Саша.

Она встала с постели, сделала шаг и завалилась на пол рядом с кроватью.

Дядя Саша бросился ее поднимать, но она его отодвинула рукой и, мыча, показала ему... Показала молча, уже немая, разбитая на левую половину, показала, что произошло: постучала ребром ладони справа по затылку. И снова поникла, завалилась.

Конец счастью.

Лева лежит на кровати, чистит ногти на руках. В его комнату лучше не заглядывать, он лежит во тьме, в рубашке-ковбойке и брюках. В коридоре крики, топот, обычная беготня, но Лева замер и лежит прислушивается.

Кто-то закричал, какие-то звонки в дверь.

Опять тяжелый топот, крики: «Держи! Там держи! Уронили!»

Глубокая тишина, дверь захлопнулась.

Опять завозились соседские ребята, распахнулась дверь из коридора. Лева привстал. В светлом проеме замерли маленький Игорьек на трехколесном велосипеде и побольше Сережка на запятках. Из кухни крик:

— Тихо вы, заразы! Жить не даете, паразиты! Идите есть! Кому сказано?

Дверь тихо закрывается.

Слышен какой-то треск и отчаянный вопль, переходящий в плач. Кому-то досталось.

— Ладно, ладно. Нечего. Упал, маленький. Иди, мама ннаку даст.

Лева тихо встает, подходит к окну, смотрит в окна напротив. Темно.

У дяди Саши в комнате застолье при свете дня.

Раздвинутый стол накрыт простынями, множество людей, уже пьяных, но каких-то торжественных, возвышенных, растроганных.

Маленький, головастый дядя Юра, шурин:

— Ты, Саша, завсегда... Как что... Помни.

Женщины носят уже грязную посуду, накрывают к чаю. Соседка Вера кричит в дверь:

— Идите отсюда! Кому сказано! Хулиганье такое.

— Дай им конфет,— говорит дядя Саша и набирает горсть конфет и другую горсть печенья.

Из молодых родственников один деятель в галстук говорит речь:

— Дядя Саша! Ты воспитал достойную смену, вот Толика, которого мы все тут знаем. Теперь. У тебя еще есть внук Шурик. Есть жизнь. И пусть они живут отдельно, но ты всегда, дядь Саш, рядом с ними. всегда в поддержку.

Племянник Сашка вскакивает:

— И еще, не забудь, дядь Саш, есть еще внучка Оленька!

Дядя Юра:

— Какая?

— Двоюродная! — восклицает Сашка.— Но внучка!

Деятель:

— Внук и внучка. Это много, дядя Саша. Выпьем, дядь Саш.

Все:

— Не чокаться! Не чокаться!

Деятель:

— Внук Шурик! Ему сколько?

Голоса:

— Полтора.

Сын, Толик, подает голос:

— Год и семь.

Его жена Татьяна, необыкновенная красавица, то есть накрашена и блестит:

— Год и восемь будет. Десятого апреля.

Деятель:

— Вот. Уже Александр Анатольевич!

Племянник:

— И Олечка, не забудь, дядь Саш! Ольга Александровна! Не забудь про нее! Про внучку! Она такая! Семь месяцев.

Сын Толя:

— Пап, мы пошли. Там Шурик...

Полная женщина, похожая на Полю, но красная и злая:

— Ничего с твоим Шуриком, он на бабке. Правильно? Посиди с отцом. Если мать умерла.

Сын Толя, не обращая внимания:

— В общем, папа, придешь? В воскресенье. С Шуриком погулять.

Дядя Саша, улыбаясь, кивает. Целуются, пожимают друг другу руки.

Невестка Таня поднимается, целует свекра, и молодые — полные, высокие, дружные — выходят, пробравшись среди стульев.

На них наезжает трехколесный велосипед и падает. Из комнаты дяди Саши женский крик:

— Тише вы, паразиты!

— Спать пора, спать пора,— говорит Татьяна, одеваясь.

Сестра Полины шепчет дяде Саше:

— Не сегодня, а дня через два приеду...

Приберусь.

— Да ладно, я сам,— говорит дядя Саша, виновато улыбаясь.

— Чо сам, это же ее вещи-то. Раздать надо. Пальто новое.

Пустота, все разошлись, стол уже на месте. Дядя Саша подбирает вилку, неумело тычет венником.

Что-то под шкафом, дядя Саша поддевает — на свет божий выходит черная скрюченная рука, женская перчатка.

Тетя Нюра из помощниц вносит чистую посуду, говорит:

— Дай я, дай я.

Подметает, подбирает перчатку, кладет ее в карман.

Вилку тоже кладет в карман, потом охает и кладет ее осторожно на стол.

Клетка с попугаями накрыта платком.

— Бери, бери,— говорит дядя Саша.— Иди.

Выйдя на лестницу, Нюра достает из кармана одну перчатку и меряет. Перчатка велика. Вздохнув, Нюра нажимает кнопку лифта рукой в перчатке. Рассматривает перчатку на руке, как светская дама. Видимо, у Нюры никогда еще не было кожаных перчаток.

А Лева в это время пробрался на кухню и долго стоит над тарелкой с чужим хлебом. На полу валяется огрызок. Лева его поднимает. Затем пьет прямо из-под крана и выходит.

Ребята с велосипедом шумно катят по узкому коридорчику. Звонок. Сережка бросается открывать.

В дверях милиционер, участковый.

— Вам кого? — спрашивает Сережка.

— Кого, кого,— говорит участковый и открывает дверь в комнату.

От стола поднимается крупный мужчина в майке, приветливо машет рукой. Он смотрел телевизор и пил чай.

В комнате на двенадцати метрах кровать, детская кроватка, раскладушка, стол, шкаф, телевизор, все как у людей.

— Заходи, Коля,— говорит мужчина, которого зовут Витя.

Участковый в шинели садится за стол, вынимает из планшетки бумагу и ручку.

— Ну,— спрашивает Витя,— как ребята, Коля? Забыли меня.— И Сережке: — Тебя кто просил дверь открывать? А ну идите отсюда!

Милиционер:

— Ну что, Савин, когда будем трудоустроиваться?

Дети смотрят в щелку.

— Я кому сказал? — говорит Витя и плот-

но прикрывает дверь, не сходя со стула.— Выпьешь?

— Я на работе.

— Чаю.

— Ну, когда будем трудоустроиваться?

— А. Я уже выхожу с понедельника. Кому сказал: идите на кухню. Как болеют, прямо жить не хочется. А ну!

Топот ног.

— Понедельник был два дня назад.

— Нет, со следующего.

— Это ты уже говорил, Савин. Двадцатого марта.

— Со следующего.

— С недели на неделю, да? Тянешь, значит. Будем возбуждать дело, гляди, Савин.

Витя тяжело смотрит в пол, наливаясь обидой.

— Товарищи называется. Бросили, плюнули.

— Пить надо меньше.

— Да?

Он хочет что-то сказать, но не решается. Наконец буркнул:

— А Котов?

— Что Котов? Ты за свои действия... А не кивай на Котова. Гляди, Савин.

— Был Витя, стал Савин. Спасибо.

— Ну что мы напишем?

— Да пиши. Катя работает, а эти двое на карантине. По дезинтерии. Еще десять дней. Сдавать анализы. Куда мы их денем.

— Мать из деревни вызови.

— У нее корова.

— Ей отвези.

— Заразных. У нее там еще сестра с тремя.

— И пьешь.

— Ты... А где я пью, где?

— Ладно. Это последнее предупреждение.

— Сорок пятое. Ага. Ты скажи, со мной поступили как? Вот Курилов как обошелся? Ему надо было, он меня уволил. Я кто? Уволенный из личного состава органов. За неполное соответствие. Надо же. Теперь что? Куда я пойду?

Коля молча встает, собирает бумажки.

— Квартиру обещали. С двумя малыши на двенадцати метрах как? А? Коля?

— А ты не пей.

— Во.

Савин хочет еще что-то сказать, но отворачивается очень резко. Он вообще все это время говорил как бы в сторону.

Опять звонок, опять Сережка бросается открывать.

— Куда?!! — срывается отец Савин.

Сережка уже открыл, на пороге трое мужчин с выжиданием в глазах.

— Дома? — спрашивает полный краснолицый в ушанке с палочкой. Он заглядывает в дверь и видит участкового.— Здравствуй-те, Саша дома?

— Дома, — отвечает Савин и возвращается к участковому.

Трое входят, гремя обувью, и со всей возможной деликатностью, чуть ли не на цырлах, мимо раскрытой двери Савина. Идут по коридору. Скребнутся в дверь.

Савин и участковый продолжают сидеть за столом. Участковый:

— К Петрову?

— Он не пьет, — поспешно говорит Савин.

— Пил, — возражает участковый.

— Как тетя Полина умерла, больше не пьет.

— Значит, к тебе.

Тот же гром по коридору. Сконфуженная тройца убирается, гремя подошвами. Толстяк в ушанке дает Сережке карамель:

— Никогда не пей!

А сам глядит на милиционера.

— Ну, — возвращается участковый к превранному разговору. — Когда будем трудоустроиваться, Савин?

Дядя Саша сидит за столом в майке и громко выговаривает кому-то на стене:

— Тебя зачем покупали? Ты что Васю гоняешь? Вася красивый. Поцелуй Васю!

Потом он встает и запирает дверь.

Трое стоят у подъезда и поглядывают вверх на чье-то окно.

— Кто ж его знал, что там Таракан этот сидит?

— Ладно, а что. Нельзя навесить?

— Так.

Во дворе холодно и неприятно, орут вороны, из магазина, где ботинки, хорошенькая продавщица выносит груды коробок: судя по весу, пустых. Продавщица чрезвычайно полная особа.

Трое провожают ее одобрительными взглядами, затем стучатся в какую-то обитую жестью потаенную дверь. Осторожно и деликатно входят. Тут же дверь распахивается, и все трое вылетают оттуда, как ошпаренные. Вслед им летит шапка-ушанка.

Толстый щупает внутренний карман пальто, надевает поданную ему ушанку. Тоскливо смотрит вверх, на окна Вити Савина. Оттуда же смотрит на него участковый.

Милиционер вышел на крыльцо, рассеянно, как полководец, смотрит вдаль. Трое быстро выходят из соседнего подъезда и так же быстро отчаливают вон со двора.

В комнате у дяди Саши сидят оба пацана: Сережка и Игорек. У Игорька подбородок еле виден над столом. Все трое с дядей Сашей пьют чай с блюдечек.

Савин под большой банкой варит суп на кухне, что-то туда неумеренно сыплет, потом понюхал то, что сыплет, попробовал, скривился (*это не соль, а сода*), махнул рукой и накрыл кастрюлю крышкой. Плюнул.

Попугай дерутся.

— Видал? — смущенно говорит дядя Саша. — Как она его гоняет. Вася красивый! — с укором восклицает дядя Саша. — Кашки дать?

— Бе, — говорит Сережка над тарелкой и откладывает ложку.

— Бе, — как брат, говорит Игорек.

— Ложитесь спать к такой-то матери, — говорит Витя, лезет под кровать, наливает там стакан и там же, стоя на коленях у кровати, выпивает. Потом с размаху сажает Игорька в кровать:

— Дрыхни. Мертвый час. Понял?

Валится и засыпает.

Сережка рисует за столом бой.

Дядя Саша, нацепив очки, читает «Вечерку». Там траурная рамка. Дядя Саша плачет над траурной рамкой — первый раз.

— Дядя Саша кашляет, — говорит Сережка.

Игорек, подняв бессонную голову, прислушивается.

Витя, поднявшись, сплонул, поднял с пола стакан и заставил Игорька проглотить опивки. Игорек кашляет, хватается за рот.

— Будешь у меня спать, — говорит Виктор и заваливается снова.

— Дай мне тоже лекарства, — канючит Сережка, рисуя бой.

Отец спит.

Игорек посылает на бумаге серию снарядов из танка. Дело кончается взрывом:

— Б-ба-бах!

Игорек лезет к отцу, находит в кровати пустой стакан, облизывает краешек стакана. Морщится, занюхивает рукавом.

Дядя Саша совсем скрючился на стуле, плечи его дрожат.

Оба попугая испуганно сидят рядом на жердочке. Глазки у них выпучены.

— Куплю тебе бабу, свись! — шепчет Вася.

Лева заходит в кафетерий при шикарном кафе «Шоколадница». Небольшая очередь. На высоком мраморном столике — недопитый кофе с молоком и кусок булки.

Лева встает к столику и медленно доедает и допивает.

Из дверей подсобки выходит уборщица и скрюченными руками собирает стаканы и бумажки. При этом она «шумит».

— Ты что, Степановна? — спрашивает ее женщина из-за стойки.

Степановна неразборчиво продолжает ворчать, смахивая тряпкой. На соседнем столике лежит полусъеденный бутерброд.

Лева переходит туда и методически ест.

— У меня брат умер,— невнятно говорит Лева, жуя.

— Что?!

Лева не отвечает.

Степановна, ворча, уходит в подсобку с гроздьями стаканов в пальцах.

Звонок в дверь.

Савин спит.

Игорек поднимает голову из кровати. Сережка кидается открывать.

На пороге — врач.

— Калинин здесь живет?

Сережка оглядывается на дверь и кивает.

Из своей двери показывается дядя Саша, газета и очки в руке.

— Из психдиспансера,— говорит врач.— Калинин дома?

Дядя Саша стучит в дверь. Открывает, смотрит.

— Нет его,— говорит дядя Саша.

Врач тоже посмотрела.

— А когда он бывает?

— А кто её знает,— отвечает дядя Саша.— Бывает.

— Ночует?

— Ночевать ночует.

— Передай ему, что... Вот я здесь напишу часы приема. Передайте, пожалуйста, ему. Его родственница очень беспокоится, он исчез из дома.

— Почему. Живет.

— До свидания,— говорит врач, с профессиональным интересом глядя на заплаканного, в майке и трусах, дядю Сашу.

Поворачиваясь уходить, она видит щель в двери и стоящего там на коленях на кровати довольно небритого Витю Савина. Глаза у него вытаращены, лицо красное.

«Странная какая квартирка»,— видно, думает про себя врач-психиатр. Она садится в лифт, нажимает кнопку и, с большим для себя удивлением, едет наверх. Спohватившись, останавливает лифт и едет вниз. Крутит пальцем у виска, усмехается.

Весна, совсем весна, середина апреля; дядя Саша опять торчит на Птичьем рынке, покупает корм, рассовывает пакетики по карманам.

А Лева опять сидит на пороге знакомой нам квартиры своей невестки, жены брата. Он уже не звонит, он просто сидит.

Невестка, все в том же виде, стоит по ту сторону двери и плачет.

— Я вызову психперевозку,— говорит она медленно и отчетливо.— Вы слышите? — и рывком распахивает дверь.

Никого.

Она идет, заглядывает на лестничный марш. Наверху в окне никого.

Внизу тоже.

Тогда она быстро пешком спускается.

Навстречу ей так же проворно поднимаются дозорная старушка. Обе они не глядят друг на друга.

Вздохнув, Левина невестка доходит до почтовых ящиков, нажимает кнопку лифта и с большим нетерпением ждет.

Наверху старушка увидела распахнутую дверь и остановилась как вкопанная. Подъехал лифт, и Левина невестка, несломленная, но нечесаная, в халате, проследовала в свою широко распахнутую дверь.

Лева что-то понял. Он быстро идет по городу.

Увидев едущую на полном ходу «скорую», прячется в подъезд, откуда с большими подозрениями, оглядываясь, выходит бульдог и за ним, оглядываясь так же, выходит пожилой важный пенсионер из активных.

Пенсионер заходит обратно в подъезд, оставив бульдога и часть ремешка снаружи.

Бульдог лает.

Выходит смущенный Лева.

Сзади него идет и точно так же выражает свое неодобрение пенсионер.

Лева теперь начинает бояться двух вещей: врачей и милиционеров.

Увидев «скорую», он оглядывается в поисках убежища. «Скорая» едет навстречу ему по бровке, слева витрина магазина и вдобавок приближается милицейский патруль. Лева с бледной улыбкой на устах идет навстречу своей гибели. Милиционеры идут в ногу, погруженные в разговор:

— Я не стал брать.

— Чего?

— Дорого.

Лева нарочито язвительно улыбается понимающей улыбкой, и один из милиционеров, поймав эту улыбку, удивляется.

Лева бредет по темнеющему городу, закат, еще не зажглись фонари, в парке умищаются на ночлег вороны.

Сережка и Игорек смотрят «Спокойной ночи, малыши».

Дядя Саша у Лиды, Полиной сестры.

Дядя Саша прощается с ней на пороге, уже одетый, и она ему говорит, понизив голос:

— Если что надо, приноси, я стираю. Толик отрезанный ломоть, а эта его... Вообще. Да, слушай, не хватает на «Жигули» Сашке. Выручишь? Сватья дает тысячу, я много не могу... Отдаст он не скоро, так что сколько можешь дай.

— «Жигули»?

— На участок ездить... Что у них, ничего... Лида в декретном. Сам Саша, что он получает... А жить надо сегодня, а не завтра. Так им всхолтелось, вынь да положь. Я не одобряю. Он сказал: родня поможет. Папин дом в деревне продать...

— А Люба?

— Что Люба, ее только треть... А она везде заняла. Треть твоя как наследника и треть моя. Пусть отдает деньгами.

— Неудобно.

— Неудобно, знаешь? Портки через голову... Если ты добрый, давай тогда за нее... Какой добрый... Сколько дом там стоит, знаешь?

— Люба болеет... Письмо прислала, просит помочь.

— И мне прислала. Ну как хочешь. Я свою треть получу. И продам. Хоть по суду. Как знаешь. У Любы деньги есть, как хочешь, есть.

Дядя Саша подходит к своему родному подъезду. У подъезда какой-то ободранный диван, торчит пружина, на диване бешено прыгают девочки, как на батуте. Девочки кричат:

— И! И! И! И!

Дядя Саша, улыбаясь, входит в свою квартиру, дает по конфетке Сережке и Игорьку. Жена Савина, Катя, говорит:

— Дядь Саш, ну нельзя им! А ну дайте сюда! Мало болеете, еще в больницу захотелось? Шоколадные?

— Каки шоколадные! — улыбаясь, говорит дядя Саша. — Каки шоколадные!

Он входит в свою комнату и замирает: за столом сидят Толик и Таня. На горшке сидит и как бы читает книгу Шурик. Главное: дивана дядисашиного нет. Вместо него стоит кушетка. Дядя Саша, остолбенев, видит, что и кровати нет тетиполиной, вместо нее широкий диван-кровать. Шкаф развернут поперек комнаты, там, за перегородкой, край детской кровати.

Развернувшись, дядя Саша быстро выходит, быстро спускается пешком, снимает обеих девочек с дивана.

Стоит, отдуваясь.

Потом поднимает сиденье и достает оттуда подушку, одеяло, простыни.

Волоча по мокрому асфальту, несет охапку в подъезд. Из кучки женщин за ним следят сердобольные глаза Нюры. Дядя Саша исчезает, женщины сдвигаются плотнее.

Идет обсуждение.

Сын стоит на лестнице у двери и курит. — Пап, извини... Нас теща погнала. Мы же там не прописаны. Вот. Она себе привела какого-то... Жить. Из города Тольятти. Короче, Таня ей сказала, она говорит: его про-

пишу, а вы валите отсюда. Сбесилась на старости лет, ей уже сорок пять. Пашенка на меня, говорит, бросили совсем. А он в садике вообще. С ума сошла теща.

Отец стоит, не в силах вымолвить ни слова. В руках у него постельные принадлежности.

— Мы всю свою мебель привезли, она сказала, вообще повыкидает. Хорошо, парень мой приехал помог, сосед Танин. Говорит: ничего сюда не влезает, эту рухлядь вообще выкиньте, клоповник. Отцу отдадите кушетку... Пусть он на старости лет поспит. Вот. И все мы вынесли. Кровать мамину разобрали... Матрасы там все уже сваялись, как камни, как она спала, непонятно. Отнесли в мусорник. А на диван времени уже не хватило, мой этот Дима бежал домой. У него у самого купать ребенка надо. Догадались шкаф поставить, перегородить. Пап, ну что делать, так произошло. Шурика как в детский сад возить? Думаешь, нам хочется?.. Поверь, папа, это не так.

Напряженно улыбаясь, дядя Саша кладет свою постель на кушетку и выходит в коридор.

Он раздевается, аккуратно вынимает сверточки и фунтики с кормом из карманов. Мимо в комнату проходит Толик.

Из дверей Левиной комнаты выходит врач из психдиспансера. За ней — Катя, жена Савина.

Катя провожает врача до лифта.

Катя:

— Дверь всегда раскрыта. Не ест цельными днями. У него пенсия не знаю сколько, у него по почкам. Он полгода не платит за комнату, из домоуправления его вывесили в черном списке. Из ведра поганого достанет и ест. В комнате видели что? А с ним в кухне находиться и то... с души воротит. Он же не моется! У него почки! Брат был, а теперь что-то брат давно не является.

— Брат погиб.

— А вот оно что! Вот что... А я смотрю... Он все плачет. Прямо как сумасшедший.

— У него брат погиб. Женщина, родственница приехала ко мне.

— А клопов он развел? Мы его зовем Лева-донор. Отдает свою кровь. А тут дети. Видали что, брат у него... А отчего умер?

— Сгорел как-то...

— Сгорел.. Вот оно что... Ну а что с ним теперь? Как он один? Он же...

— Да...

— Заберут его?

— Пока не знаю. Как с местами. Тоже, знаете, не он один... Старики, бывает, лежат... в клопах... Он же сам выходит... Все-таки пенсию получает...

— Да, он с детства такой... Брат говорил.

— Видите, и ходит, и как-то содержит себя.

— Может, еще оклемается?

— Вряд ли.

— Ой, ну жизнь... Ну жизнь... Идите отсюда, надоели как собаки!

Игорек:

— Ав, ав! — из щели.

— В общем, когда он появится, вы нам позвоните. Вот телефон. Желательно утром. Я все-таки хочу с ним поговорить. Прежде чем. Все-таки надо с человеком побеседовать. Лекарства, может быть. Конечно, у него депрессия. Подавленное состояние. В его положении.

— Ой, да у меня что ли не подавленное? Начать рассказывать, так... *(ее душат слезы)*. Вчетвером на двенадцати метрах. Малому четыре года, а он еще не говорит. Отстающий.

— Ничего, ничего. Я бы вам рассказала тоже, знаете... Как из дому выживают... с ребенком. Да. Вот так. Значит, звоните.

— А у меня мой не работает три месяца. Лежит и все. Дети болеют уже... с февраля. А жить на что? Мама, животик, мама, животик.

— Все, я побежала. А мне жить на что? У ребенка две операции на глазах... У меня пять операций на глазах... Злокачественная близорукость. Видите? Косит левый глаз.

— Кому говорят, идите отсюда!

— Ой, ну ладно. Помчалась. Еще десять вызовов... И похуже бывают, чем ваш этот... донор. С топорами. Он просто так... Обстоятельства...

— А кто? Кто еще? У нас в доме?

— Знаете, когда я работала в больнице, нам наша завотделением говорила: девочки, в отделении больше нормальных, чем на улице!

Лифт. Из лифта выходит Нюра с сумкой.

— Кать, дядя Саша дома?

— Иди, дома.

Нюра смущенно стучится в дверь дяди Саши, доставши кастрюльку. Неся вперед себя кастрюльку, входит в комнату.

— А дядя Саша? Он что? Где?

Оглядывается бедная Нюра, не знает, куда попала, может, выше этажом?

— А вам что? — грозно спрашивает Таня от стола, за которым она кормит кашей Шурика.— Вы что? Ухажерка явилась. Губы раскатала.

Нюра выпрастывается из комнаты со своей кастрюлькой, видит сидящего в кухне дядю Сашу.

— Саш, на, похлебай... Это щи. Ешь, ешь...

— Зачем? — удивляется сверх всякой меры дядя Саша.

— Покушай, покушай, на, на,— торопливо

говорит Нюра.— Сварила, я одна не съем... Косточка хорошая, мозговая попалась.

В дверях грозно стоит Таня с ребенком на руках и смотрит, как уходит тетя Нюра.

— Госсподи,— свистящим шепотом режюмирует происшедшее Таня.

На кухню, горя от возбуждения, выходит Катя.

— Дядя Саша. Такое дело. Лева когда придет, надо срочно звонить врачихе... Она из психбольницы... Леву вызывают, за ним придут... Увезут его. Надоел этот клоповник!

Внезапно загоревшимся взглядом она смотрит на стену, которая отделяет кухню от комнаты Левы.

Она как бы высчитывает что-то... Глаза ее бегают от угла к углу.

Она выходит в коридор и там уже меряет широко раздвинутыми пальцами: двадцать сантиметров да двадцать... Что сюда войдет.

Она скрывается за дверью и там шепчется с Витей. Начнется, быть может, новая жизнь! Ее глаза в темноте блестят...

Дети спят. Спит Игорек, обнявши однурукую куклу.

Спит на раскладушке славный мальчик Сережка.

Они с мужем сидят у стола и строят планы.

Витя гладит Катю по руке.

Катя сидит, как индийский бог Будда. Рот довольный, глаза спокойные, руки сложены на груди.

Витя гладит Катю.

Она, очнувшись:

— Иди ты! Устала как собака.

Игорек во сне, вздохнув:

— Ав, ав!

Нюра раздевается у себя в комнате перед телевизором, сняла сапоги резиновые, обтерла их тряпицей...

Аккуратно сняла пальто, накрыла его марлицей, повесила.

И все время как пришитая смотрит в телевизор. Там — типичные банановые острова. Идет «Кинопанорама». Нюра расстегивает кофту.

Какой-то зарубежный фильм, где раздевается роскошная женщина: сняла манто, скинула туфли...

Может, это «Ночи Кабирии»?

В кухне, одинокий, среди пакетиков и фунтиков, лежащих на столе, сидит и хлебает щи дядя Саша.

А в комнате смотрят «Кинопанораму» как замороженные Таня с Толей.

Таня, глядя на красавицу, лениво взбивает свою прическу, выпячивает грудь...

Плачет ребенок. Толя срывается, бежит за шкаф. Слышен стук горшка.

— Кто у нас маленький, — бормочет с усилием Толя, высаживая сына. — Тише, тише. Кто плачет. Бедный мальчик!

Таня, глядя на экран, медленно облизывает рот, как это делает красавица там, в том роскошном доме...

Осторожно входит дядя Саша, складывает свои фунтики и пакетики на тумбочку.

Начинает стелиться...

Уронил табуретку...

Заплакал маленький Шурик.

— Сссподи, — свистящим шепотом откликается Татьяна.

Толя и Татьяна лежат на своем диван-кровати и скашивают глаза, осторожно проверяя, спит ли дядя Саша.

Дядя Саша тихо лежит и вдруг громко кашляет.

Шурик во сне начинает ворочаться.

— Сссподи, — машинально откликается Татьяна. Она тихо плачет.

Толик осторожно вытирает ей слезы. Она утыкается ему в плечо и плачет, плачет...

Дядя Саша осторожно встает и босой выходит. Пьет воду... Курит у форточки...

Сонная, в халате, всовывается Катя.

— А я думала, наш донор пришел...

— А, — откликается дядя Саша.

— Где-то его черти мают, — говорит Катя, зевая.

— Да наверно, — соглашается дядя Саша.

— А ночью больница-то работает?

— Ночью нет, — говорит дядя Саша. — Ночью-то нет.

— Гуляет где хочет, — поверяет дяде Саше свои тайные мысли Катя. — Он гуляет, а мы на двенадцати метрах с большими ребятами... Он уж за комнату сколько не платит... Я узнавала... Совсем шарики за ролики... Сдавать его надо... Куда следовало... Комната... Комната в каком состоянии...

И ушла.

— Ага, — кивает дядя Саша, сам в данную минуту бездомный.

В кухню зашел сын, выпил воды, прикурил.

— Не спится, пап?

— Ничего, — улыбаясь, говорит дядя Саша. — Шурик уснул?

— Привыкнет. Переезд, туды-сюды. Он еще привыкнет. Мягко спать-то?

— А мягко, ничего, — откликается отец.

— Сто десять рублей кушетка куплена.

— Ничего.

— Да мы привыкнем, — говорит сын. — Днем вообще нас не будет. Татьяна так только... Она хорошая женщина. Так только... Все плачет. Бездомные по сути дела. Вот тебе на шею сели.

— Вы на очередь-то встали?

— Да встали сразу. Семнадцать метров на четверых...

— Слушай, — говорит дядя Саша, глядя в окно. — Слушай. Дядя Лева-то... Его скоро заберут.

— Ну.

— Вот и ну.

— С ума сбесился?

— Вроде.

— Да давно уже... Я замечал. Он вообще всегда был такой малахольный...

— Ага.

— Да ладно, кому он помешал.

— Эти, — осторожно говорит отец, — займут его площадь.

— Эти? Лимитчики? Милиционер который?

— Витька.

— Ну и черт с ними. Не думай об этом.

Ночь, мокрые тротуары, мокрая мостовая. Лева бредет по городу.

Он плачет. Плачет навзрыд, тряся плечами. Рядом притормаживает таксист:

— Ты чо, дедушка?

Лева трясется.

— Подвезти тебя куда? Садись.

— Нет, не надо, — тонко, в нос говорит Лева, вытираясь рукавом.

— Случилось что?

Лева, зажмурясь, кивает.

Слезы текут снова.

— Умер кто?

Лева поникает головой.

— У меня вот матери тоже нет, — задумчиво, тихо ведя машину, говорит таксист. — Матери нет с детства, понял? Нашел бы ее — убил бы. Она меня бросила. Нашел — убил бы. За все ее дела. За то, что со мной сейчас в жизни делают.

Дав газ, таксист вихрем уезжает.

А по мостовой зигзагами, качаясь и хватаясь за голову, бегают пьяненький молодой лейтенант в длинной шинели. Долетают его слова:

— Если так, то так! Если так, то вот тебе!

С этими словами, полуобернувшись, лейтенант с ходу бросается под проезжающее такси, причем почему-то зажав себе уши. Таксист тормозит, тут же наезжает другой, оба они, бросив машины, кидаются наперез убегающему лейтенанту.

Лейтенант кричит издали таксистам:

— Если она такая падла, то мне жить нельзя! Надоело!

— Ага, — кричит, запыхавшись, таксист, — тебе дать разводным ключом по чайнику, тогда надоест сразу! Людей под суд подводить!

Другой таксист:

— Его в комендатуру сдать!

Они оба хватают лейтенанта.

Первый таксист:

— Надо свидетеля...

Крутит головой. Видит бредущего по тротуару Леву.

Бросив лейтенанта, который лег на мостовую, загордив голову руками и поджав ноги, как эмбрион, один таксист бежит и хватается за рукав:

— Друг, поедем с нами, будешь свидетелем.

Лева вдруг, зажмурившись, издает тонкий визг и изо всех сил вырывается.

Таксист увидел его лицо и отпустил, махнув рукой.

Отпустить-то отпустил, но рукав пальто у многострадального Левы оторвался.

Лева бежит, бежит, бежит...

Над ним по небу мчится луна.

А в кухне дядя Саша тоже меряет взглядом стену, выходит в коридор...

Тут можно кушетку...

Тут их диван этот...

Там детскую кровать...

У двери Левы он застывает и задумывается.

А Катя не спит, глядит в потолок, прищурив глаза, как человек, считающий в уме. Она ворочается с боку на бок.

Ключ загремел в дверях.

Катя лежит, замерев.

Дядя Саша лежит на своей новой кушетке и тоже прислушивается.

Поморщился, как будто ему стало больно, повернулся и укрылся с головой.

Лева раздевается, не включая света.

Осматривает пальто. Рукав оторван.

Что делать?

Ищет по ящикам, по коробочкам.

Нашел иглу — да ведь уже и рассвело.

Нашел катушку с белыми нитками.

Садится и зашивает, как маленький ребенок. Укололся, сосет палец. Зашивает.

На подоконнике видна книжка.

Она без обложки.

Называется «Феноменология духа».

Зашил и аккуратно повесил пальто на гвоздь.

Сел и читает. Долго искал, нашел красный карандаш.

Подчеркнул целый абзац.

У него вообще вся книжка исчеркана.

Внизу, во дворе, движение.

Прошла с ведром и шваброй Нюра в резиновых сапогах, скрылась в подсобке магазина, за оцинкованной дверью.

Вышла оттуда, вынесла целую авоську пус-

тых бутылок.

Отнесла торопливо к себе домой.

Вернулась, помчалась в магазин.

Мать вывела ребенка в ясельки, вынесла коляску-сидячку, постелила одеялко, посадила свою куколку и порулила.

Работяги потянулись из подъездов.

Половина седьмого.

Заспанная Татьяна крутится, одевая Шурика. Шурик капризничает. Татьяна его тихо уговаривает:

— Ну дай маме ручку! Ну? Дай маме ручку! А то холодно. А? Ручка замерзнет!

Целует локоток Шурика.

— У, сладенький. Толь, ты кашу грел?

— Остывает.

Толя уже одетый.

— А где отец?

— А-а. Наверно, на кухне. Он там сидел.

— Всю ночь?

— Не знаю. Когда я встал, он сидел.

— Вот здоровье есть у людей! Я хоть на полу. Только до подушки добраться. Этот... никак не проснется. Шу-рик!

— Дай я одену. Иди.

— Валяй.

Татьяна, набросив халат, выскакивает из комнаты.

— Ну, Шурик! А где у папы носик?

Шурик поймался на удочку и серьезно показывает Толику «носик». Толик тут же вдел ручку сына в рукав.

— Ну, а где у папы глазик?

Шурик свободной рукой показал и тут же оказался одет в рубашку.

— Тань, он пысал?

Молчание.

— Тань!

А ее нет в комнате.

Догадался заглянуть в горшок.

— Ну вот, сынок. А теперь дам Шурику книжечку, а?

— Дай-дай-дай!

— Молодец!

Толя дает сыну книжку и высаживает его на горшок.

— Вот видишь... Это Чуковский... Видишь?

Сынок смотрит невинным взглядом.

— Вот молодец, вот умный! Попысал в горшочек! Вот умный!

Такая вот идиллия.

А Катя в это время звонит по телефону. Телефон в кухне. Катя прикрывает трубку рукой.

— Ало! Это кто? Мне диспансер, это диспансер? А? Можно (смотрит в бумажку). Вовк? Вовк, я говорю, можно? Это диспансер? А, ладно, обожду. (Раздраженно дяде Саше.) Какие-то чокнутые там все. Психушка. Людям на работу же надо! Ало! Вовк можно? Это вы? Это из квартиры шестьдесят! Где

вы были вчера! Это Вовк? Ну давайте. Да. Ало! Побыстрой. Приедете? А то опять, как тогда... Я-то убегаю, я на работу. Но тут вам откроют.

Лева сидит, заткнув уши, у подоконника и читает «Феноменологию духа».

Ушла Катя, хлопнув дверью. Витя варит на кухне кашу.

Сережка возит Игорька на трехколесном велосипеде.

Молодые с Шуриком и с сидячей колыской шумно вывалились вон.

Дядя Саша идет к себе в комнату.

Подбирает игрушку, ботиночек...

Выносит горшок...

Выпускает попугаев, чистит им клетку.

Слышен его бодрый, очень громкий голос:

— Ты что его гоняешь? Вася, хочешь кашки? Ешь, Василиса! Ешь, Вася! Василиса, дай мужику поесть! Ты что его гоняешь? Тебя зачем покупали? Вася красивый, поцелуй Васю!

В комнату приехали на велосипеде Савины-младшие.

— Закрывайте быстрее дверь, они вылетят! Вот... какие птички, а, Игорек? Птичка как поет? А?

— Тюрлюрлю,— поучительно говорит Сережа, обернувшись к Игорьку.

— Тю-ю-ю,— отвечает Игорек.

— Молодец.

— Конфету Игорьку дайте,— серьезно советует Сережа.

— А тебе?

— Мне после.

— Ну молодец. Ну молодец.

Дядя Саша ввалившимся после бессонной ночи глазами радостно смотрит на попугаев.

Витя несет с кухни кашу, сталкивается севой.

— Извините,— в нос говорит Лева.

— Идите есть! — провозглашает Витя за его спиной.— Заразы.

Лева конвульсивно оглядывается.

Витя уже скрылся в комнате.

Выезжают на велосипедике дети.

Лева осторожно входит в кухню как бы бросить в мусорное ведро бумажку. В мусорном ведре полно. Лева быстро берет ведро и несет к себе в комнату.

Глубоко задумавшись, курит у себя в комнате дядя Саша.

Он сидит за столом, глядит на облака...

По краю крыши ходят вороны.

Одна побежала, запахиваясь в крылья, как цыганка в шаль.

Одна сидит совершенно неподвижно.

Что-то будет?

Лева точно такими же запавшими глазами смотрит на тех же ворон.

Он ест что-то с бумажки...

Это кожа и кости, а также голова какой-то копченой рыбы.

Голод не тетка.

Скелет рыбы лежит на подоконнике.

Дядя Саша хлопает себя по карманам, ищет пачку папирос.

Тяжело встает, проверяет карманы пальто.

Из одного кармана вынимает перчатку жеманную, не знает, куда ее девать, и неожиданно прижимается к ней щекой, как ребенок к руке матери.

Дядя Саша сидит, вытаращившись в небо.

Вороны вдруг забеспокоились, снялись.

Вася тоже забеспокоился и подлетел к форточке.

— Вася! — загремел дядя Саша.— Вася, ты поел? Вася красивый! Поцелуй Васю! Внизу подъехала и остановилась «ско-рая помощь».

Дядя Саша все понял.

Лева тоже все понял и быстро понес мусорное ведро на место.

На звонок из комнаты от каши ринулся Сережка.

— Стой! — грозно вскричал Виктор.— Я сам.

Он схватил мальчишку за рукав и пошел открывать.

В дверях стояла врач Вовк и два санитары.

— Ну что, Калинин тут проживает?

— Да тут,— после паузы говорит Витя, загоняет своих детей в комнату и плотно притворяет дверь. Читает дальше: — Вот и книжка воротилась, воротилась тетрадь...

Стук.

На пороге та же Вовк:

— А он где?

— Был дома. А что, нету?

— В комнате нет.

— Ну где там... В кухне, в туалете... Под кроватью...

— Да нет же!

В дверях своей комнаты стоит дядя Саша. Врач обращается к нему:

— А Калинин-то был дома?

— А я дверь даже не открывал... Сижу.

— Да... Сбежал что ли?

Санитары обернулись и пошли вон из квартиры.

— Ну что, мой телефон у вашей соседки...

В случае чего пусть звонит, как только он появится.

Дядя Саша кивает.

Врач убегает вслед за санитарями.

Дядя Саша открывает дверь своей комнаты, там у окна стоит Лева.

Лева, обернувшись, говорит:

— Закурить найдется?

— Кури.

А в комнате Витя Савин монотонно читает, клбя носом:

— Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я... Хррр...

Глаза у него закрыты, он читает наизусть.

— Папа, не спи! — кричит Сережка. — Глаза не закрывай!

Лева пьет чай у дяди Саши в комнате.

Лева говорит:

— Пока пожарных вызвали... Это же деревня... Изба сгорела... Он был в командировке. По клещам. По энцефалитным клещам. Эпидемиолог.

Вечером невестка Таня убирается.

— Господи, зачем же их пускать... Они же везде гадят! Вот еще! Ну что, в самом деле, газетами застилать?

Толя с ребенком:

— А кто сейчас сухие колготочки... (С усилием.) Ну, другую ножку...

Маленький Шурик с любопытством смотрит на свою босую толстую, как пирожок, ножку и с усилием тянет ее в рот.

— Ну куда ножку в рот! Ножку в рот разве можно? — журчит Толик.

— А где отец? — спрашивает Таня. — Даже на телевизоре эти сиротку оставили. Вот гады. Слушай, как хочешь... Ну разве можно? Ну можно вчетвером в одной комнате с ребенком и попугаи? Ведь надо же согласие всех! Попугаи эти надоели.

Она открывает дверь в коридор.

— Ведь надо согласие всех, чтобы попугаи гадили! Ведь на стол, ведь всюду.

— Тань, не кричи. Отца нет. Ушел.

— Куда ушел?

— Он сегодня в ночь.

— Слава богу. Ну почему одни люди такие душевные, и помогут, и с ребенком погуляют... А тут собственный внук...

— Ну твоя мамаша, конечно, она помогала.

— Помогала, да! Она молодая еще женщина, учти!

— Уже спелись? Уже ей позвонила?

— Ничего я ей не звонила.

Татьяна готова заплакать.

— У отца все его вещи выкинули... Он, конечно, не в себе.

— Вещи! Рухлядь! Из-под покойника!

— Но это же мамино! Как можно было чужое выкидывать?

— Но это же не ты выкидывал, что ты

переживаешь? Это ж я! А я известное дело. Покупать я, выкидывать я, доставать я, нет ни одной вещи, которую бы ты купил сам! Брюки тебе я, рубашки я...

— Ну ладно, ну ладно.

Что женщине надо? Чтобы ее пожалели.

Толик целует Таню. Она его обняла.

— Сегодня папа в ночь... Завтра мы его тоже не увидим до вечера.

— Господи! — восклицает Татьяна. — Была бы у нас своя квартира! Да больше ведь человеку ничего не надо! Это же счастье! Больше ничего не надо! Свой угол! Ты, я и Шурик!

— Нет, еще мне Леночку.

— Какую такую Леночку? Нет уж, хватит с меня детского говна.

— Не хватит, не хватит. Мне нужна еще Леночка. Потом собака.

— Здравствуйте. Попугаи воц есть.

— Собака. Всю жизнь мечтал. Овчарка!

— Придумал. На овчарку работать. На мясо.

— Заработаем. Ништяк.

Лева получил у окошечка пенсию, тридцать два рубля.

Лева у себя в комнате, собирает вещи. Рассматривает пиджак. (Дала жена брата.) Совсем еще новые брюки... Меряет.

Рубашки, майки, даже трусы...

Все велико.

Лева даже приготовил какую-то сумку, куда положил батон.

Подумал, отщипнул кончик. Ест.

Лева выходит на кухню, помещивает что-то в кастрюле.

Он варит себе суп! Высыпает еще крошки туда же из пакетика.

Он говорит Виктору:

— Уезжаю. Еду в деревню. Там брат погиб в командировке. Уезжаю...

— Пра. Нечего тут небо коптить.

Лева ест на подоконнике из кастрюли. Радостно читает он свою «Феноменологию духа».

Звонок.

Лева настораживается.

Подходит Витя.

— Да. Я. Привет.

Лева успокаивается.

Он опять ищет карандаш и подчеркивает еще одно место, уже и без того густо подчеркнутое.

— Да, — говорит лениво и враспяжку Витя. — Ну да. Да. Ладно.

Лева замирает, но Витя уже положил трубку.

Лева моет кастрюлю под краном, жуя душистый, мягкий кусок хлеба. Он даже что-то мычит себе под нос.

Типа «Едем мы друзья в дальние края».

Внезапно Витя гремит:

— Кому сказано, идите сюда! Паразиты, смотреть на вас не могу! Заразы. Ну?

Гремит велосипед, истощный плач Игорька. Дверь в их комнату захлопнулась.

Мчится «скорая» по улице.

Врач Вовк сидит рядом с шофером и ест бутерброд.

Лева уже собрал свою сумку, положил в паспорт две десятки и железнодорожный билет. Надевает пальто, где рукав шит белыми нитками. Вычищает что-то безнадежно прилипшее к пальто...

Санитары и Вовк выходят из лифта.

Звонок.

Сережка бросается от стола открывать. Железной рукой поймал его Виктор и шлепнул пониже спины.

Игорек за компанию завыл.

Чей-то топот за дверью... Слабый голос: — Зачем? Не держите меня. Не держите меня! Я уезжаю!

Игорек и Сережка сидят у отца на коленях.

Крик за дверью:

— А-ааа.

Совершенно звериный крик, переходящий в неприятный визг.

— Ну что в самом деле, — говорит врач Вовк в коридоре. — Что в самом деле. Идемте, поговорим, Калинин.

Игорек и Сережка сидят на коленях у отца, он читает им все того же «Мойдодыра», громко и отчетливо, очевидно стараясь заглушить разговоры за стенкой в комнате Левы.

Вид с улицы, где стоит Нюра с сумкой.

Быстро-быстро мелькая, ведут с этажа на этаж пешком Леву. Это видно в окна подъезда.

Звонок в многострадальную дверь описываемой квартиры.

Сережка, вырвавшись от отца, бежит открывать.

На пороге — участковый.

На другом пороге стоит подавленный Савин с Игорьком на руке.

Участковый залепляет бумажкой дверь Левы Калинина.

— Куда его? — спрашивает Савин.

— Сначала в больницу, — говорит участковый. — Ты что, опять взялся?

Савин не слушая:

— А потом?

— Какой быстрый, — говорит участко-

вый. — Какие все вы быстрые.

— Коль, — говорит Савин.

— Кому Коля, кому Николай Васильевич.

— Ага. Зинка-то разошлась с этим...

— С этим? (Небольшой кивок в сторону.)

— Недолго билася старушка...

Мужчины хитро усмехнулись.

— Слушай, — говорит Савин. — Съездим?

— Перебьется, — говорит участковый.

— Слушай, — шепчет Савин. — Поговори с этим... Пирогов, что ли? Так и так. Пусть ордер выпишет. Нам комнату.

Врач Вовк и сестра.

Врач Вовк пишет. Звонит телефон.

— Алло! Да, моя хорошая. Да, я приеду, конечно... Не трогай ничего, я приеду... Тяжелый очень день был... Нет, сама не таскай! Тебе нельзя. Мне все можно. Уже да. После всего что с нами делает твой отец... Не смей! Я тебе запрещаю. Надо смеяться! Да! Я не сплю ни одной ночи. Этого достаточно. Чтобы еще ты. Ой, ты не представляешь. Одного буйного везли... Нет, без топора. Работа наша такая... Как эти... Снегочистители... (Смеется.) Санитары леса. Леночка, там все на плите, только разогрей себе, я тебя умоляю на коленях! Тебе нельзя не есть! Если еще ты... Мне вообще останется... Взять хорошую веревку. Да. Пока, моя хорошая.

Положив трубку:

— Я вам не говорила еще новость? Он подал в суд, требует комнату и часть пая тысяча четыреста рублей!

У сестры буквально отвисла челюсть.

— Где я возьму тысячу четыреста? При этой зарплате? С больным ребенком?

— А в партком?

— А ты думала. Так... Значит, Калинина будем оформлять в интернат для психохроников... Мест, конечно, нет... Пусть больница хлопочет. Все я, все я. Не слишком ли много для одного человека, а? — говорит врач Вовк, с вызовом глядя вверх, на потолок своего кабинета.

Они с сестрой смеются.

Лева едет в «скорой помощи».

Глаза у него вытаращены.

Что называется, «остановившимся взглядом» он смотрит в пространство.

Поворот, еще поворот. Леву качает. Стекла у машины матовые. Больше ничего не видно Леве.

Лева и два санитары одинаково качаются на поворотах, как тростник в поле.

Дядя Саша постоял у Левиной двери, подумал и теперь беседует с попугаями.

Опять подобрал с полу ботиночек Шурика, опять понес горшок к двери, опять сыплет корм.

— Вася красивый! — провозглашает дядя Саша. В хлопотах, в уборке он не забывает поговорить со своим Васей.

— Ты что его метелишь? — спрашивает дядя Саша громко. — Тебя зачем купили? А? Василиса? А? Кушать хочешь? Поцелуй Васю.

— Тюрлюлю свись! — говорит Вася.

— Вот тебе и на! — резюмирует дядя Саша. — Онемел что ли?

Он пьет чай с хлебом с колбасой, и глаза его, остановившись, точь-в-точь как у Левы, никуда не глядят.

Вася садится где-то рядом, чистит перышки после побоища и вдруг произносит:

— Трррр. Свись! Молчишь, сволочь?

Дядя Саша очнулся и сурово говорит:

— Ты у кого научился такие слова говорить? А? Тебе кто так сказал говорить?

Василиса налетает на бедного Васю.

Пришла с работы Катя, закрылась в комнате с Витей.

Дети как угорелые носятся на велосипеде: туда-сюда. В коридоре гром.

Входит семья Толи.

— Разъездились, — со свистом говорит Татьяна, нагруженная сумками.

Сзади с Шуриком на руках пробирается по коридору Толя.

Шурик, утомленный, спит у него на плече.

А в комнате у них спит на кушетке отец после ночной смены.

Осторожно раздевает Шурика Толя.

Татьяна на кухне быстро чистит картошку.

Катя варит макароны: стоит над плитой, посила, помешала.

— Уже три анализа хорошие, — продолжает Катя. — Теперь еще два хороших анализа.

— А что такое? — без интереса спрашивает Татьяна.

— В садике дизентерия, карантин.

— Споди, — шипит Татьяна. — Надо же.

— Ага. В больнице лежали оба. Худые, как глистиночки.

— Вот это да, — раздраженно говорит Татьяна.

— Представляешь? — говорит Татьяна мужу шепотом. — Попали мы вообще. Еще не хватало. Дизентерия.

У нее в разговоре преобладают шипящие, но это потому, что Таня говорит громким шепотом: в комнате двое спящих, дядя Саша и Шурик.

Дядя Саша просыпается, открывает глаза, но остается неподвижен.

— Им обещались отдать ту комнату, — говорит Татьяна. — Леву-донора увезли с

концами. Эта лимита вообще всю квартиру займет.

Донор Лева ведет по широкому коридору старичка в подштаниках, видимо, в туалет.

Старичок говорит:

— Нет, в местной б-библиотеке Гегеля нет.

Лева подавлен.

— А вы знакомы с трудами Бердяева? Лева даже не отвечает.

— Тише, за нами слежка. Всюду и везде гороховые палто.

— Гороховые? — очнувшись, спрашивает Лева.

— Вот, извольте, — говорит старичок.

Навстречу идет здоровенный санитар со шваброй.

— Вот у него библиотека! — говорит старичок. — Однако ничего не читал вообще. Крупный жук. Приставлен следить за мной. В случае чего меня кое-куда, так сказать. Все время провоцирует на разговоры. Но я держусь. Вы знаете, здесь буквально не с кем поговорить! Вообще нигде! Мне нет места на земле! Он утверждает, что закончил философский факультет. Приносил диплом. Явно сфабрикованный. Они идут на все. Нам сюда.

Двери нет, кафель, мокрый пол.

Дядя Саша сидит у начальника — видимо, по жилью.

Дядя Саша при медалях: «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие», а также при медали «Ветеран труда».

Начальник говорит:

— А вы подайте заявление. Так и так. Стою на очереди, коренной москвич. Так? Там вам подскажут. Девочки, пригласите следующего.

...Дядя Саша, крайне взволнованный, пишет бумажку, примостившись за столом. Попугай, как угорелые, носятся в воздухе. Летят перья от Васи.

В коридоре Катя замечает пол венником. Летит пыль. Катя кричит:

— У них на четвертых семнадцать метров! У нас двенадцать! Ага! Получишь-облудишь! Им на четвертых тридцать три метра будет! А нам двенадцать!

Дети, грустные, сидят на кухне. Сережка держит Игорька на коленях.

— Мы уже десять лет в Москве! Сами вы из деревни! Деревня!

Дядя Саша включает на полную мощность радио. Поет Алла Пугачева. Из-за ее пения совершенно невозможно разобрать, какие матерные слова произносит плачущая Катя.

Маленький Игорек тоже вытирает слезки.

— Ну вот, молодые,— торжественно говорит дядя Саша, а Толя раздевает спящего Шурика, а Таня ставит на стол сковородку с макаронами.

— Тише вы,— откликается свистящим голосом Таня.

— Буду тише. Я был на приеме. Они говорят, что имеем право на ту комнату.

— На какую? — спрашивает, не поднимая глаз, Таня.

— На Левину. Я был. Я подал заявление, нам дадут. Там шестнадцать метров, как раз для вас.

В ответ молчание.

Татьяна режет колбасу на бумажке.

— Шестнадцать метров на троих? — с угрозой в голосе спрашивает Татьяна.— И на всю жизнь?

Толя молчит.

Шурик высажен на горшок.

— Да вы что, папа, с дуба упали? — с усмешкой говорит Таня.— Да пусть эти лимитчики забирают. Мы будем ждать квартиру. Квартиру нам дать обязаны! Понятно? Тридцать метров!

— Да сколько это лет...

— Да сколько бы ни было! Вообще не ваше дело.

— Да? — уязвленно говорит дядя Саша.— Ну что же, ладно.

Дядя Саша отдает деньги сестре Полины. На столе остывший чай.

Тетя Лида, пересчитав, прячет деньги:

— Ну ты смотри какая, стерва из стервей. Приехали на шею жить... Еще разбираются. Ну ты смотри...

Дядя Саша, которому вообще некуда податься, кивает.

— Жалко, ты не пьешь. Может, выпьешь? Слушай, давай я тебе на кухне постелю, переночуешь? Раскладушки нет. Да на полу можно.

Это такая форма вежливого выпроваживания вон.

Собственно, дядя Саша стал уже безразличен тете Лиде, она говорит так просто, для проформы.

Встала, убирает стаканы.

Звенула.

— У Сашки уже все спят... Им рано на работу. Олечка ночью плачет. Ну ты подумай, ну каждую ночь ровно в три как ее режут. А? Врач говорит, говорит: надо это снимать. Лекарства выписал. Ребенку годика еще нету.

Тетя Лида опять зевает.

— Слушай, ты послушай. Ну они не хотят, они очередники, ну ты тогда на себя проси эту комнату. Их оставишь в той комнате... Они при чем тут? Им комната пожалуйста, их никто не трогает... И тебе комната... По-

нял? Тогда им фиг два вообще чего дадут. Достукаются, довыбираются.

— Понял, что мне нет места вообще,— говорит дядя Саша и встает.

Дядя Саша бредет ночью по городу.

Собственно, декорация та же самая, какая была в ночном путешествии с Левой.

Останавливается таксист:

— Подбросить куда, папаша?

— Езжай, сынок.

— Лицо знакомое.

— Да?

— Где-то встречались.

— Да?

— Давай подвезу.

— Куда мне надо, мне туда еще не скоро.

— Ясно,— отвечает таксист, и его уже нету.

В другой раз дядя Саша, небритый и худой, зашел в кафетерий при «Шоколаднице».

Та же уборщица с гирляндой стаканов в обеих руках, та же женщина за стойкой. Недоеденный пирожок, недопитый кофе. Уборщица деликатно не трогает их и уходит в подсобку.

Возвращается — дяди Саши нет, все на своем месте.

Уносит стакан и пирожок.

Дядя Саша заходит в магазин, выходит оттуда с игрушкой Буратино в пластмассовом мешке, большой, как полено.

Дядя Саша с трудом идет домой ближе к вечеру.

Зажглись фонари.

— Оставьте меня в покое,— говорит старичок Леве, сидящему на койке. Старичок сел на своей койке, чтобы сделать этот репри-манд.

Лева поднимает отсутствующие глаза.

— Гороховое пальто! — торжественно уличает старичок Леву.— Я вас понял. Вы — подсадное лицо! Вас прислала моя невестка! Лева переводит взор на окно. В окне горит ранняя весенняя звезда.

На эту же звезду смотрит дядя Саша, который, в пальто, с Буратино под мышкой стоит у окна.

В комнате пусто.

Нет даже кушетки, на которой последнее время спал дядя Саша. Пусто. Ничего нет. На полу, невесть откуда взявшись, валяется одинокая черная перчатка.

Звонок. Стук в дверь.

— К телефону! — весело кричит Катя.

— Слушай,— журчит в трубке голос,— это я, Лида. Ну я позвонила вчера твоим. Ну я им сказала, что тогда ты вселишься в ту

комнату, пушай не думают. Им вообще не обломится. Ты тоже имеешь право последние годы жить как хочешь. Понял?

— Да ладно,— говорит дядя Саша.— Ладно.

Кряхтя, он стелит на пол газеты, бросает свое пальто.

В окно светит вечерняя звезда.

На полу лежит перчатка.

Лева, внезапно обращаясь к старичку, на соседнюю кровать:

— На кого я похож?

— Вы?

— На кого я похож?

— Ну не знаю. На своего папу.

— Я Иисус Христос.

— Ай, бросьте. Но их снотворные не действуют! Вы обратили внимание?

— Было распятие добра. Теперь будет распятие зла.

— Бросьте, бросьте. Не вы первый, не вы последний. Но учтите, белым халатам об этом ни слова!

Гром, чад, суета в квартире. Полный дом родни понаехал из деревни. Носятся из комнаты в комнату, по коридору Сережка и Игорек, тут же еще парочка девочек, один мальчик постарше. Семья празднует новоселье.

Катя, с горящими щеками, разливает по стаканам из пятилитрового баллона. Соленые огурцы, сало, крупно нарезанная вареная свинина, картошка каждая как апельсин — дары земли!

Стол ломится. Включен телевизор.

Витя дает хлебнуть Сережке. Сережка занюхивает корочкой.

— И все, понял? Все! — говорит Витя.— Нельзя.

В новой комнате стоит только деревянная кровать и большой раздвинутый стол. Сидят на досках, положенных на стулья.

Весело.

— Ну за новоселье! — провозглашает Витя. Он пьет сегодня по праву.

Дядя Саша сидит за столом и громко, стараясь перекричать шум из-под дверей, говорит:

— Вася красивый!

А попугай уже спят под тряпкой.

— Куплю тебе бабу! — бодро говорит дядя Саша.

Он поднимает тряпку — Вася и Василиса друженько сидят на жердочке.

Занавес опущен.

Дядя Саша снова при деле — смотрит в окно.

На столе у него прибавилось бумаги, пакетов. На полу пыль. Все больше его берлога напоминает жилье незабвенного Левы.

Стук в дверь.

На пороге — улыбающийся Витя.

— Дядя Саш, идем к нам!

Дядю Сашу ведут в новую, отремонтированную комнату, сажают на почетное место.

— Сейчас,— говорит дядя Саша.

Он вносит в комнату своего Буратино в полиэтиленовом новом мешке.

Буря восторга. Маленький Игорек и Сережка дерут друг у друга игрушку.

Пьяньенский мужчина говорит:

— Валерка! Давай!

Валерка разводит мехи баяна. (*Молодой, недавно из армии.*)

Дядя Саша и Витя стоят. Сидящие за столом двигаются, освобождается место.

Катя поет:

Вот они вышли
Оба никудышни
Оба неумелые
Зато ребята смелые!
Их, их, их, их!!!

Дядя Саша попал в родственную себе стилю. Он счастлив. Он сидит в тесном ряду.

Баба напротив поет:

На горе живет портника.
Под горой живет портной
У портника вот такая
У портного вот такой!
И-и-их! Их! Их!

Пошла плясать Катя.

Витя укладывает детей в их теперь детской комнате. Горит настольная лампа, в кроватке спит с Буратино Игорек, на раскладушке лежит сонный Сережка.

— Папа, это теперь наш дом? Это теперь все наше?

— Спи, спи, кому сказал!

В коридоре Катя, шедшая с горой посуды в кухню, вдруг останавливается около стены, за которой комната дяди Саши. Знакомый взгляд, прищуренный, как будто Катя что-то считает. Пошла, составила посуду в мойку. Быстро вернулась.

Измеряет пальцами стену.

Воровато оглядывается.

Опять измеряет.

Вдруг согнулась, как будто у нее болит живот.

На пороге их новой комнаты стоит дядя Саша.

Неся руки на животе, беременная Катя с достоинством уходит на кухню.

Звонок в дверь.

Было заснувший Сережка срывается открывать.

— Лежи, кому сказано! — просыпается на стуле отец с вечным «Мойдодыром» на коленях.

Дядя Саша сидит за столом, чужой и печально улыбающийся.

Витя возникает на пороге, делает знак Кате.

Знак такой: меня нет.

Звонок снова, дрожащий, прерывистый.

Катя встает, держась за живот обеими руками и выпятив его.

Катя сурово открывает.

На пороге кто бы вы думали?

Тошная Нюра с кастрюлькой в руках.

И еще висит у нее на локте сумочка с какой-то провизией.

— Тебе чего, тетя Нюр?

— Сашу. Саша дома?

— Да ладно тебе шлаться, — говорит лениво Катя. — Шляется, тебе здесь ничего нету.

Дверь захлопывается.

За столом дородная бабища игриво говорит дяде Саше:

— Приезжайте к нам летом! На рыбалку сходите!

Катя вернулась за стол. Выпила полстакана самогонки. Занюхала соленым огурцом.

Стол зашумел:

— У нас хорошо!

— Лес, грибы!

— Завод авиадвигателей! Совсем рядом!

— Три километра!

— Автобус ходит.

— Приезжайте!

— Жените меня, а как же.

— На Савостихе!

— Бумажкой заклеим и замуж!

Савостиха завлекательно смотрит как бы в сторону.

Опять звонок.

— А т-ты падла! — в сердцах говорит Катя.

— Кто это?

— Да соседка. Нюрка. Бутылки собирает.

Дядя Саша начинает решительно выбираться из-за стола.

Решительно идет.

Гостеприимно распахивает дверь.

Стоит соседка с завязанной платком головой, в халате.

— Неужели же вам не стыдно? Первый час ночи! Дети из-за вас не спят! Милицию что ли? Пьянь!

Дрожа от негодования, соседка удаляется.

Дядя Саша осторожно, без стука, прикрывает дверь.

Витя сидит у кровати Сережки и держит его сонного, но готового бежать открывать.

Дядя Саша идет к себе в комнату.

Ночная звезда поднялась высоко над домами.

Лева лежит у окна и смотрит на эту звезду... Крестит звезду.

Витя сидит у кровати Сережки и смотрит

в окно.

Дядя Саша, улыбаясь, смотрит в окно, во двор, по которому бредет Нюра. Это какая-то новая улыбка, невольная и торжествующая. Дядя Саша крутит головой.

Он встает на подоконник, открывает форточку, отрывает марлю, которой затянута форточка, и кричит:

— Эй!

Нюра как будто ждала, поднимает голову.

— Лови!

Дядя Саша бросает в форточку перчатку.

Потом долго возится, обратно нацепляя на гвоздики марлю. Внизу Нюра поставила на скамейку кастрюльку, подняла перчатку, помехала ею в воздухе.

Заботливо вытерла ее.

Достала из кармана вторую, помахала ею тоже.

Сложила их вместе, спрятала в карман. Взяла кастрюльку, тоже показала ее. Потом по-молодому побежала и скрылась в своем подъезде.

— Ну вот, — говорит санитар, — подъем, Калинин, выписывают тебя.

Санитар лениво протирает шваброй пол.

— Накидали бумажек... — ворчит он.

— Меня? — наконец поднимается Лева с койки.

— Фаина там бежит с бумажками, оформляет.

— Меня?!

Буря чувств в глазах у Левы. Он спускает ноги на пол.

— Да стой, не ходи! — злится санитар. — Не торопись. Здесь мыто.

Лева, высоко подымая ноги, уходит вон.

Его провожают глаза лежащих.

Старичок сосед кричит со своей койки:

— Куда вы? Куда так? Послушайте, не бегите, я вам дам письмо, опустите? О, здесь нет телефона, проклятье!

Старичок тоже готов бежать, он спустил ножонки в подштанниках на мытый пол.

Санитар:

— Да куда, куда. Давай мне письмо, опущу. Калинин везут в интернат для психохроников... И кранты. Тебе тоже туда дорога, дедушка.

— У меня сын, учтите, вы, провокатор! Он меня забирает! Сын.

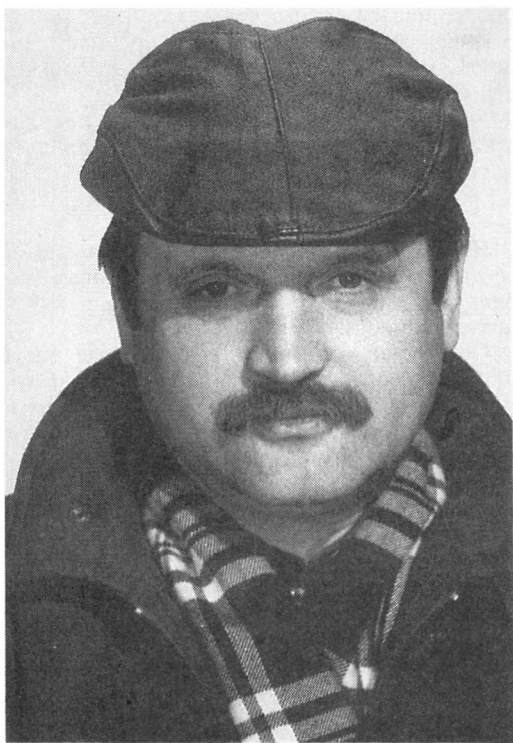
— Лежи, засранец, — роняет санитар.

Лева в большом нетерпении стоит перед зарешеченным окном. Там, вдали, ходят машины, мелькают люди.

Старичок в кровати плачет, вытирая слезы кулачками, как ребенок.

Лева поет:

— Едем мы друзья... В дальние края...



**Валерий
ЧИКОВ**

РУССКАЯ РУЛЕТКА

Она была более чем привлекательна благодаря огромным серым глазам.

— Жрать нечего, а они обсерваторий понастроили, — и все же в ней чувствовалась дама полусвета.

— Каких обсерваторий? — не понял Стас.

— Да вон же.

— Это силосная башня. Канадский проект.

— Не может быть, — не поверила Киса.

«Жигули» катили по шоссе, за окном проплывали пейзажи средней полосы России.

— ...Узнаю — убью, — пообещала она и закурила.

— О чем ты, малышка?

— Зря лыбишься.

— Подумай, зачем она мне, когда есть ты?

— Узнаю — убью, — повторила Киса.

Автозаправка находилась возле кольцевой. Стас свернул с шоссе и пристроил «Жигули» в хвост очереди.

Очередь двигалась медленно. Неожиданно подъехала «Волга» с частными номерами и довольно бесцеремонно втерлась вне очереди. За рулем сидел модный варено-джинсовый парень: крутой, спортивный и наглый — никто не хотел с ним связываться.

— А ничего мен, — оценила Киса.

— Кто, этот обмылок? — Стас опустил стекло, высунул голову и бибикнул.

— Эй, парень, ты что — блатной?

Парень из «Волги» тоже высунулся, насмешливо спросил:

— А что?

— Блатной, спрашиваю?

— Блатной, — подтвердил парень.

— Сейчас посмотрим, кто из нас блатней, — пообещал Стас и повернулся к Кисе. — Выйди.

— Зачем?

— Выйди, тебе говорят.

— Стас...

— Пошла вон, мразь!

Она вдавила сигарету в пепельницу, отстегнула ремень и выбралась из машины. Пнула ногой по дверце, дверца захлопнулась.

Стас выжал сцепление, воткнул передачу и осторожно вырулил из очереди. Он плавно поехал по кругу — мимо колонки с соляром, мимо очереди грузовиков, развернулся на свободном пяточке и газанул. Места для разбега было не слишком много, но вполне достаточно.

Глухой удар со скрежетом металла и треском выбитого стекла получился что надо.

Владелец «Волги», словно ошарашенный, выскочил из машины. Был он бледен, кровь отхлынула от лица, нижняя челюсть легонько подрагивала.

Стас с трудом открыл дверцу «Жигулей» — перекосило. Он спокойно осмотрел результат тарана. Вокруг уже собиралась толпа.

— Не ожидал такой подлянки? — спросил Стас у «блатного». — Не переживай, — посоветовал он и отцепил от брелока ключ зажи-

гания. Бросил его на крышу покалеченной «Волги». — Вызывай милицию. — И пошел.

Перед ним расступились. Он подошел к Кисе, которая все это время стояла поодаль и молча наблюдала за происходящим. Стас взял ее под ручку. На них не обращали особого внимания, водителей интересовали подробности тарана и стоимость ремонта, вокруг стоял оживленный гомон.

Киса и Стас спокойно направились в сторону шоссе. Уже у самого шоссе Киса вывела руку, остановилась. Он повернулся к ней.

— Значит, я мразь, да?! — она влепила ему пощечину.

Стас удивленно вытаращил глаза.

— Мразь, да?! — она снова ударила его, но это была уже скорее оплеуха, чем пощечина.

Стас прищурился.

— Сволочь, подонок! — Она замахнулась еще раз, но он успел перехватить ее руку.

— Хватит, теперь моя очередь, — сказал он и хлестко, с оттяжкой ударил ее по щеке.

Она отшатнулась, на глазах ее выступили слезы.

Стас болезненно поморщился, повернулся и пошел своей дорогой. Остановился. Обернулся.

Она сидела на обочине, закрыв лицо руками.

Он вернулся к ней.

— Ладно, не ной... Не будешь грабли распускать.

— Сволочь, — сказала она.

— Вставай, пошли. Сейчас мусора подъедут. Вставай. — Он ласково взял ее за руку, осторожно потянул на себя. Киса поднялась.

— Будь умницей, — он поцеловал ее в лоб, в шею, прижал к себе.

Допрос в отделении вел капитан милиции.

— Что значит исчез? — не понимал он. — Надо было остановить, задержать.

— Я не думал, что он скроется, какой ему смысл, машина же осталась... ключ зажигания бросил... — Владелец «Волги» заметно нервничал.

— Как все это произошло?

— Ну... я подъехал к заправке, встал в очередь...

Дверь кабинета отворилась, вошел лейтенант с листом телетайпа в руке. Протянул его капитану. Тот прочитал, присвистнул.

— Я вас поздравляю, — сказал он владельцу «Волги». — «Жигули», которыми вас таранили, уже третий месяц числятся в угоне. Их разыскивает ГАИ Владимирской области.

— Значит, это не его машина? — сказанное капитаном не вмещалось у «блатного» в голове.

— Разумеется, — кивнул капитан. — Какой дурак будет бить свою? Опишите под-

робно приметы этого человека.

— Значит... это он чужую... подонок, сволочь! — Бедному малому было не до примет, его буквально трясло.

— Успокойтесь, выпейте воды, — предложил капитан, да и что он мог еще предложить, не водки же. — Будем искать.

Номер был из двух комнат, спальни и гостиной. Идеальная чистота, шикарная мебель, мягкий свет — все располагало к отдохновению.

Стас вошел в ванную комнату, где Киса принимала душ. Она протянула ему гибкий шланг и отвернулась. Он добавил напор и медленно повел упругую струю сверху вниз: по шее, лопаткам, бедрам. Она обернулась. Струя ударила в грудь, в живот.

...Они лежали в постели под накрахмаленной простыней. Он засыпал, она смотрела на него.

— Спи, — он открыл глаза.

— Не могу. Давай курнем, у тебя есть что-нибудь?

— Есть, но не дам. Ты должна выспаться.

— Иногда мне становится страшно, — сказала она. — Это не может продолжаться вечно.

— Спи.

— Если нас возьмут...

— Не возьмут, — вяло перебил он. — Я успею застрелить и тебя и себя.

— Стас...

— Спи. Завтра ты должна быть в форме.

— Бедная Катя...

— Осенью мы заберем ее оттуда, — сказал он.

Они ужинали в кафе, уют и меню которого были так далеки от стандартов общепита. До закрытия оставались считанные минуты. Последние посетители рассчитывались с официантами.

Стас поднялся из-за стола, миновал стойку бара и вошел в служебную дверь. Официант краем глаза зафиксировал это.

Киса, мило улыбаясь, поманила официанта к себе.

— Минуточку, — он продолжал рассчитываться у дальнего столика, его напарница убирала посуду.

Стас толкнул боковую дверь. За столом сидел лысый мужчина и что-то прикидывал на микрокалькуляторе. Поднял голову на скрип двери и замер. На него смотрело дуло револьвера.

— Я жду! — скомандовал Стас.

Мужчина медленно приподнялся со стула. В кафе над стойкой бара вспыхнула зеленая крохотная лампочка. Официант проводил посетителей к двери.

— Ребята, я не могу платить всем, — как можно спокойнее сказал мужчина Стасу. — Разберитесь с Гасаном.

— Уже разобрались, я жду! — Стас взвел курок.

Мужчина натолкнулся на холодный, спокойный взгляд человека, который может выстрелить.

... — Минуточку! — любезно бросил Кисе официант и подошел к стойке бара. Набрал номер телефона, издала улыбнулся Кисе.

— Нас щиплют, — тихо сказал он в трубку и положил ее на аппарат, после чего спокойно направился к Кисе.

— Вы принимаете предварительные заказы? — спросила она. — Послезавтра мы хотели справиться у вас небольшую вечеринку. Будет шесть человек.

— Пожалуйста, всегда к вашим услугам, — любезно заверил официант.

— Давайте предварительный прикинем, что можно заказать из холодных закусок.

Официант сходил к стойке бара и вернулся с меню. Киса углубилась в содержание.

— Осетрина волжская? — спросила она.

— Если честно, даже не знаю, — замялся официант.

— Волжский осетр очень болен. Волгу абсолютно загадили промышленным стоком. Это ужасно.

— Технический прогресс, — пожал плечами официант, словно извиняясь за случившееся.

— Не будем рисковать. Стерлядку, пожалуйста, горбушу. Икра красная, зелень... Остальное на ваше усмотрение.

— Вы обо всем договорились? — Стас, подойдя сзади, тронул официанта за локоть. Тот чуть резко обернулся, но заставил себя натянuto улыбнуться.

— Я сделала предварительный заказ, дорогой, нужно внести задаток, — сказала Киса.

— Разумеется, — Стас вынул из нагрудного кармана зеленую бумажку и протянул официанту.

Когда они вышли на улицу, официант метнулся в подсобку. Председатель кооператива сидел прямо в углу на полу, рука его была пристегнута наручником к трубе парового отопления, дверца сейфа распахнута, кругом валяются бумаги.

— Ножовку, — выдавил он из себя перекошными губами. — И воды.

Киса со Стасом не успели сделать и нескольких шагов, как возле кафе с визгом затормозили серые «Жигули».

Бежать было поздно. Киса прижалась к Стасу, обвила его шею руками. Он целовал ее врасос.

Из «Жигулей» выскочили трое парней и, не обращая внимания на целующихся, рину-

лись в кафе. Четвертый остался сидеть за рулем, не глуша мотора.

Стас стремительно подошел к машине, рванул дверцу и плюхнулся на переднее сиденье рядом с водителем.

— Трогай! — дуло револьвера уперлось в щеку.

Водитель прилип к сиденью.

— Трогай! Считаю до трех и стреляю! «Жигули» тронулись. Киса уже на ходу захлопнула заднюю дверцу. Обернулась.

Трое верзил и официант выскочили из кафе, огляделись по сторонам, заметили удаляющуюся машину. Бросились догонять, но куда там.

— Вправо, — командовал Стас. Теперь дуло револьвера упиралось водителю в ребра. — Прямо. Теперь налево.

— Нет поворота, — просипел водитель.

— Влево! — приказал Стас.

Водитель подчинился.

Миновали пост ГАИ. Машина мчалась по пустынному ночному шоссе. Изредка попадались встречные.

Сзади послышалось завывание сирены — их догоняла машина с мигалкой. Синие проблески быстро приближались.

— Дернешься — стреляю, — предупредил Стас.

Водитель покосился. В прошлом он, вероятно, занимался борьбой: изуродованные ушные раковины напоминали сибирские пельмени.

Напряжение в салоне «Жигулей» нарастало.

«Мерседес» с мигалкой поровнялся и пошел дальше. Следом за ним прошуршал черный лимузин, опять мигалка. Кавалькада ушла вперед.

«Жигули» мягко переваливались на выбоинах гравийки, съехали на обочину, вплыли в сонный березняк. Короткая летняя ночь была на исходе, небо на востоке начинало сереть.

— Жить хочешь? — спросил Стас.

Испуганный угодливый взгляд говорил сам за себя.

— Вылезай!

Выбрались из машины. Водитель оказался низкорослым кривоногим крепышом, на голову ниже Стаса. Стас продолжал держать его на прицеле.

— Руки за спину!

Крепыш подчинился.

Стас подал знак Кисе. Та достала из своего ридикюля кусок капроновой бичевы, сложила вдвое, сделала удавку.

Движения ее были привычны и расчетливы: она накинула удавку на кисти сомкнутых за спиной рук, на какое-то мгновение закрыв крепыша собой.

Все произошло мгновенно. Киса вдруг отлетела в сторону, Крепыш в прыжке попытался достать Стаса ногами. Стас выстрелил. Крепыш перекатился по земле в ноги Стасу, ударил снизу каблуком в челюсть, пистолет полетел в сторону. Они вцепились друг в друга и покатались по траве.

Руки были заняты. Крепыш ударил головой Стаса в лицо. Стас залился кровью. Крепыш схватил его за волосы и припечатал затылком о дерево, потом еще раз, потом еще...

Тупой шлепок оборвал жесткую и молниеносную схватку. Крепыш со стоном осел и боком завалился на землю, неловко подмяв под себя левую руку. Над ним стояла Киса с монтировкой в руках.

Стас с трудом поднялся на четвереньки, потом, покачиваясь, встал на ноги. Она попыталась подставить ему плечо, но он отстранил.

— Едем.

— Кажется, дышит,— Киса нагнулась над неподвижным обмякшим телом.

— Педераст,— Стас сплюнул кровь, утерся.— Ладно, поехали.— Он подобрал в траве револьвер и тяжело побрел к машине.

Вокруг простирался полупустынный дикий пляж с чистым песком и отполированными в осенних штормах валунами. Море лениво толкало на берег вялую волну.

Стас перевернулся со спины на живот, приподнялся на локтях.

— Окунемся?

— Шампанского хочу,— сказала Киса.

— А гвоздей жареных не хочешь?

— Хочу шампанского,— настырно повторила она.

— Рано. Михаил Сергеевич рекомендует только после двух.

— А я хочу!

И было уже непонятно, то ли она шутит, то ли кокетничает, то ли злится по-настоящему.

— Пошли нырнем,— Стас потянул ее за руку.

— Хочу шампанского.

— Посмотри на часы, половина одиннадцатого,— Стас для пущей убедительности сулил ей под нос часы.

Она цапнула часы у него из рук, размахнулась и швырнула их в море, после чего опять улеглась на песок.

— Идиотка...

— Хочу шампанского...

Стас принялся натягивать джинсы, прихватил майку и шлепанцы и поплелся с пляжа. Она даже не посмотрела вслед.

...— Подавись! — Он поставил перед ней полиэтиленовый пакет, из которого торчало два серебряных горла.

— Открой,— попросила она.

— Еще чего?

— Пожалуйста...

Он с легким раздражением взял бутылку, открутил проволочку и пульнул пробку в сторону моря. Сделал несколько глотков, протянул бутылку Кисе.— Бабки кончаются. Может, прокатимся в Карпаты?

— Хочу в Прибалтику.

— Там сейчас о-ля-ля! При-пал-ти-ка!

— Хочу в При-пал-ти-ка.

— Едем в Припалтика.— Он взял вторую бутылку, пульнул пробку в небо, отпил шипящего вина.

Помолчали.

— Я ишу свободы и покоя, я б желал забиться и заснуть...— Он повалился спиной на песок.

— Пушкин?

— Толстоевский.

Оба были уже под легким кайфом.

— Бабки кончаются, малышка.

— Придумай что-нибудь.

Неподалеку от них на прибрежную полосу въехала запыленная «Волга» с прицепом. Из нее выскочили два белобрых пацана, потом появился сухощавый папаша и дородная мамаша. Семейство было счастливо — добралось до моря. Пацаны дурашливо носились друг за другом, довольные родители улыбались, глядя на своих чад. Впереди до горизонта простиралась синева водной глади.

— Вот оно — счастье! Полюбуйся,— сказал Стас.— Право на труд, право на отдых.

Киса полюбовалась.

— Почему наши женщины такие тумбы?
— Тошья корова — еще не газель,— заметил Стас.

— Федя, мне здесь нравится,— сказала «не газель» мужу.— Тут поставим палатку, а машину можно под кипарис.

— Я тоже так думаю,— согласился Федя.

Пацаны верещали от восторга и носились кругами как заводные.

— Симпатичные короеды,— вздохнула Киса.— Бедная Катька...

— Не надо было рожать от первого встречного.

Она резко повернулась к нему, глаза увеличились от проступивших слез.

— Какая же ты сволочь, Стас... Он не был первым встречным.

— Когда ты злишься, мне хочется обнять тебя.

— Ты же окосел, пьяный заяц,— удивилась она.

— Водку? Стаканами? В такую жару? — подыграл Стас.— Наливай.

— Окосел...— тихо изумилась она.

Ближе к вечеру играли в волейбол. Федя старался пасовать Кисе, полногрудая «не газель» резала мощными шлепками. Стас принимал мяч с ленцой профессионала. Солнце клонилось к горизонту.

— Ма-а-а!!! — донеслось из воды.

Взрослые замерли.

Первым очнулся Стас. Он с разбега бросился в воду, нырнул, вынырнул, сделал несколько мощных гребков, опять нырнул и надолго пропал под водой.

Федя замешкался, потом последовал на помощь, но ее уже не требовалось: Стас брел к берегу с пацаном на руках.

Южный рынок приморского городка потрясал выбором и ценами. Вторым не менее, чем первым. Федя с женой и пацанами продвигались вдоль фруктовых и овощных рядов. Пробовали, приценивались, опять пробовали. И вдруг неожиданно нос к носу столкнулись со Стасом и Кисой. В бежевых шортах, панаме и трикотажной майке Киса была очаровательна. Стас держал в руке деревянный ящик с дырочками, наполненный фруктами.

— Боже мой, куда вы пропали! — всплеснула руками Аглая.

— Нам достали пропуска на санаторный пляж, — объяснила Киса. — А вы успели загореть, Федор Андреевич.

— Нос шелушится... — отшутился не без смущения Федя.

— Сколько раз говорила — заклеивай бумажкой. Не слушается, — пожаловалась Аглая. — Сегодня вечером обязательно ждем вас к себе. Федя раздобыл целую канистру сухого.

— Увы, — развел руками Стас. — Сегодня вечером я улетаю.

— Как?

— Срочная телеграмма из Мурманска. Ледокол закончил профилактику в доке. Арктика зовет...

— Вы плаваете на ледоколе?

— Моряки не плавают, а ходят, — поправил жену Федя. — Плавает дерьмо в проруби.

— Какой же ты... — пристыдила мужа Аглая.

— Он прав, — улынулся Стас.

— Когда вы бросились в воду спасать Петьку, я сразу поняла, что вы моряк. Теперь мы ваши пожизненные должники. Прямо не знаем, как вас отблагодарить. Федя отвезет вас в аэропорт.

— Не стоит беспокоиться...

— Отвезу, — заверил Федя.

Объявили посадку. Стас поднялся, прихватив сумку и ящик с фруктами. Федор Андреевич по-мужски тиснул его за плечи.

— Оставляю ее на ваше попечение, — Стас обнял Кису, она прижалась к нему.

Федор Андреевич деликатно отвернулся.

Из аэропорта возвращались на «Волге».

Федор Андреевич включил музыку. Запел Иосиф Кобзон.

— Любите Кобзона? — спросила Киса.

— Очень, — признался Федор Андреевич. — У нас в Туле его многие любят. Сильный певец, не то что нынешние. А на другой стороне Зыкина, хотите, поменяю?

— Пусть поет.

На набережной прогуливалась отдыхающая публика. Уже зажглись фонари, с летней эстрады доносилась музыка.

— А чем вы занимаетесь в Туле, если не секрет? — спросила Киса, опершись руками на парапет набережной. — Неужели тульские самовары?

— Секрет.

— Пушки, танки?

— Тс-с-с, — Федор Андреевич приложил палец к губам. — Я всего лишь заведу секцией в мебельном магазине. И никаких танков.

— Как интересно, — она кокетливо взяла его под ручку. Он смущенно огляделся по сторонам.

Через день, когда уже темнело, они снова встретились на той же набережной. Федор Андреевич приволок на свидание огромный букет.

В баре играла музыка. Они танцевали. Федор Андреевич был уже навеселе и осмелел настолько, что когда Киса склонила голову ему на грудь, он прижал ее к себе и поцеловал шелковые волосы. Она подняла на него нежный взгляд и погрозила пальчиком:

— Что вы придумали на этот раз?

— У меня подтекает тасол, ишу контакты с ребятами из автосервиса.

— Вы врун и бабник. Бедная Аглая, неужели она ни о чем не догадывается?

— Со мной это впервые... Честное слово, я, кажется, влюбился...

— В кого? — она погрозила пальчиком и прижалась к нему.

А еще через день «Волга» катила по приморскому шоссе.

— Мы совершенно случайно натолкнулись на эту шелковицу, когда гуляли. Во рту тает. Сюда, — показывала дорогу Киса.

«Волга» свернула с асфальта на гравийку, изгибами ползущую среди пышных зарослей предгорья.

В салоне опять пел Кобзон. Федор Андреевич рискнул приобнять Кису правой рукой, не выпуская баранку из левой.

— Остановитесь возле орешины. Тут рядом.

Машина съехала с гравийки к орешине.
— Федор Андреевич... миленький... я умоляю...— шептала Киса.

Он искал ее губы, она вяло сопротивлялась.

— Ксюша,— у Федора Андреевича кружилась голова.

— Мы же хотели шелковицу.

— Хотели,— тупо кивнул Федя, слегка обалдевший от поцелуев.

Она увлекла его за руку в заросли кустарника.

Внизу простиралось море, благоухали запахами субтропики, солнце опускалось на изогнутую линию морского горизонта.

Стас выглянул из-за гранитного валуна. Шорох в кустах удалялся: Киса умело уводила своего ухажера.

Стас подошел к машине, еще раз оглянулся по сторонам.

Стопор замка правой дверцы был поднят. Стас аккуратно открыл дверцу и сел в машину.

В горах темнеет быстро.

Взошла луна. Двое в кепках-аэродромах ждали его на перевале. Нервничали, курили. Вдруг разом начинали гортанную перебранку и снова замолкали, прислушиваясь к дороге.

Из-за поворота показались огни фар. «Волга» поднималась по серпантину.

Двое вышагнули на середину, когда машина была уже совсем рядом.

Стас остановился, зафиксировал «ручник». Выбрался из машины, не глядя мотора.

Поздоровались кивками.

Целлофановый пакет с деньгами перешел из рук в руки, Стас отошел в сторону.

«Аэродромы» обошли машину вокруг, попинали баллоны, перекинулись между собой вологолоса и повернулись к Стасу.

Пустынное ночное шоссе, вокруг никого. Их двое, он — один. А может, ему показалось? Нет, не показалось...

Какое-то мгновение молча смотрели друг на друга. Тихо урчал двигатель на холостом ходу.

В следующее мгновение Стас сунул руку в карман и достал револьвер. И сразу всем все стало ясно.

«Аэродромы» переглянулись. Хлопнули дверцы машины. «Волга» зафыркала и рванула с места. Стас проводил ее взглядом и остался стоять посреди шоссе.

Он решил не рисковать с попутной и двинулся пешком по обочине шоссе. Луна освещала дорогу и шапки гор неестественным сумеречным светом.

Справа над дорогой нависала почти отвесная скала. За ее склон каким-то чудом уцепились корнями деревья. Станный звук наверху, почти над головой, заставил Стаса

замереть. Тихонько звякнул металл.

Стас по-кошачьи шагнул с обочины и распластался на земле. Буквально в следующее мгновение со скалы на асфальт спустились семь человек. Все они были вооружены. Цепочку замыкал человек с ручным пулеметом. Они бесшумно пересекли шоссе и начали спускаться к следующему витку серпантина. Стас даже дышать перестал. Семерка прошла совсем рядом, буквально в трех-четыре шагах от него.

И опять мертвая тишина. Стас приподнялся на руках, прислушался.

Неожиданно где-то внизу грохнул одиночный выстрел. Сразу же ударил пулемет, с характерным причмоком затягивали карабины. Далеко в ауле залаяли собаки.

Стрельба оборвалась так же внезапно, как и началась. Снова стало тихо, и луна продолжала невозмутимо освещать горный ночной пейзаж.

Каменные кружева капителей, стрельчатые арки и порталы готического собора устремились ввысь остроконечными шпилями.

Молодой длинноволосый человек с утонченным бледным лицом, в строгом черном костюме поднимал и бросал руки на мануал. Под сводами собора звучал Бах. Месса си минор.

Киса слушала музыку, закрыв глаза. Стас смотрел перед собой в никуда. Хиппи, аккуратные старушки, рокеры, интуристы — все были в плену божественной полифонии звуков.

Стас стрелял из воздушки без упора, с одной руки. Стрелял удачно — без промаха. Тирщик, пожилой однорукий старик в клетчатой жокейке на голове, после каждого выстрела близоруко щурился на пораженную мишень.

— Сахотите к нам чаще, молотые люты,— сказал он, когда Стас закончил серию.

— Крючок туговат, отец,— Стас положил воздушку на прилавок.

— Откуда путете, молотые люты? — с доброжелательной улыбкой спросил тирщик.

— Из России, отец.

— Как там пошифец тофарищ Корпачеф?

— Нормально поживает,— Стас взял Кису под ручку.

— Ты его покори,— сказала она, когда вышли из тира.— Симпатичный старик.

— Хотел бы я знать, где этот симпатичный старик потерял руку.

— На фронте, наверное.

— На восточном или на западном?

— Какая разница?

— Большая.

— А может, ему руку трамваем отрезало?

- Как Берлиозу голову?
- Какому Берлиозу?
- Председателю правления одной из московских литературных ассоциаций.
- Ему отрезало голову трамваем? — уяснулась Киса.
- Представь себе.

Солистка варьете почему-то сразу положила на них глаз. Может, она решила позабавить публику, угадав в них приезжих, а может, по какой другой причине, но от куплета к куплету она продвигалась с микрофоном к их столику и во время проигрыша кокетливо присела Стасу на колени. Кисе это явно не понравилось.

Певичка тем временем, напевая, ласково взъерошила Стасу волосы и прильнула к нему. Это было уж слишком. Когда певица с кокетливым сожалением оставила Стаса, возвращаясь на эстраду, Киса поманила его к себе. Стас наклонился к ней. Киса провела ладонью по своим губам, собирая помаду, после чего мазнула по лицу Стаса.

Красный от помады нос и щеки изменили Стаса до неузнаваемости.

Они брели по песчаной косе, оставляя после себя цепочку следов. Дюны, поросшие соснами, тянулись вдоль побережья, сопротивляясь морским ветрам крутыми лбами осыпей.

На горизонте маячили треугольники парусов.

— С осени начинаешь ждать следующего лета, а оно пролетает, словно во сне, и опять осень... — Киса остановилась.

— Начало августа, до осени еще далеко. Уедем в Самарканд...

— Ее не обманешь, она уже подкрадывается... Я чувствую.

— Начинаешь хандрить? Ты же рвалась сюда.

— Мы здесь никому не нужны.

— Мы нигде никому не нужны...

Киса опустила на колени, начала перебирать песок, который струился между пальцами.

— Ты мог бы угнать самолет?

Он взял ее за волосы, притянул к себе.

— Без меня ты уже давно сидела бы на игле. Не хочешь жить — застрелись! Или попроси меня — я тебя застрелю!

Он разжал руку, она снова опустила на колени.

— Мне страшно, когда ты такой...

— Какой — такой? Ну что тебе надо? Что?! Я же сказал, мы заберем ее оттуда!

— Когда? — тихо спросила она.

— Скоро?

— Я очень тебя прошу — уедем отсюда...

В Рязани стояли длинные очереди к винным магазинам. С огромного плаката молодой рабочий с бычьей шеей звал земляков к перестройке.

В универмаге женщины давились за импортными колготками.

...Они свернули с центральной аллеи городского парка. Начинало смеркаться, и людей в парке не было видно.

Вдоль пруда тянулась гаревая дорожка. Парочка оторвалась друг от друга, с трудом переживая, когда Киса и Стас пройдут мимо.

Стас закурил.

— Где будем ужинать?

— Может, в гостинице?

— Опять эти резиновые антрекоты?

— Эй, приятель, угости сигареткой! — раздалось от кустов.

Компания молодых жиганов, судя по усеянному окурками и пробками пятачку перед скамейкой, давно облюбовала это укромное местечко.

— Иди, я догоню, — тихонько сказал Стас.

Двое уже поднялись и направились к ним.

— Хорошенькая у тебя кукла, — сказал один, подходя ближе.

Второй шел рядом. Остальные продолжали сидеть.

— Иди, — Стас легонько отстранил Кису от себя, вытащил пачку сигарет.

— Куда ты ее гонишь, дурик? Может, она не хочет уходить? Может, она с нами останется! — это был хамоватый бройлер с подкрашенным коком, в безрукавной проклепанной дерматиновой куртке — рязанский панк. Она забрал у Стаса всю пачку и сунул в карман куртки, оглянувшись на своих. Те ухмылялись, предвкушая веселенький концерт.

— Хочешь с нами? — бройлер потянул Кису за локоть и в следующую секунду переломился пополам от удара ногой в пах.

Второго Стас схватил за волосы и резко рванул вниз, припечатав лицом о колено. Удары оказались сокрушительными: первый со стоном корчился на земле, второй неподвижно распластался в глубоком нокауте.

Все произошло настолько неожиданно, что на скамейке ничего не успели сообразить, но замешательство длилось недолго. Они поднялись разом, словно по команде.

Их было четверо и, судя по повадкам, не робкого десятка. Вероятно, давно паслись в парке и знали здесь все потаенные тропки. Они начали обходить полукругом с обеих сторон. Бежать было поздно.

— Не двигайся, — предупредил полушепотом Стас.

Он уже понял, что заводилой был не тот, с коком, а подвижный мускулистый хип-парь-обормот с ремешками на запястьях, битый-ломанный в городских потасовках.

Окружили.

— Сегодня ты будешь у нас солисткой

мужского хора,— сквозь зубы выдавил хиппарь и положил пятерню Кисе на грудь.— А ты сегодня умрешь,— повернулся он к Стасу...

Трое остальных стояли наготове.

Стас резко согнул ногу в колене и... оказался с револьвером в руке. Кобурой служил эластичный бинт на голени. Щелкнул курок.

— Здравствуй, племя молодое, незнакомое. Кто хотел закурить? — Стас вытащил изо рта сигарету и вставил ее фильтром в ствол.

Теперь они сообразили что к чему. Стояли, не шелохнувшись.

— Просить не умеете, шакалы. Кто хотел закурить? Ты? — Стас направил револьвер в грудь заводиле. Тот как-то шумно задышал и выкатил глаза. Струйка дыма поднималась колечками от торчащей из ствола сигареты.

— Кури! — приказал Стас и сделал шаг навстречу. Хиппарь попятился.

— А может, ты? — Стас направил револьвер на другого. Этот затравленно оглянулся на дружков и вдруг ломанулся в кусты. Споткнулся, упал, вскочил на четвереньки и рванул с низкого старта. Хиппарь тоже хотел рвануть, но Стас резко развернулся к нему:

— Стоять!!!

Тот, что лежал в нокауте, зашевелился, приходя в себя. Стас наступил на него ногой и придавил к земле.

Обладатель крашеного кока продолжал корчиться, держась руками за мошонку.

Еще один ломанулся в кусты, но хиппаря Стас продолжал держать на прицеле.

— Кури! Кури, гнида!!! — он буквально ткнул в рот стволом с дымящейся сигаретой. Тот, вероятно, не чувствовал ни ожога, ни вкуса пепла.

Куда девалась наглость? Остались бегающие глазенки и животный страх. Стас в коротком замахе с невероятной взрывной яростью нанес удар рукояткой по лбу. Хиппарь мотнул головой и мешком рухнул на землю.

— Ты тоже хотел покурить? — повернулся Стас к четвертому.

— Дяденька, не надо... мы больше не будем,— залепетал тот.

— Передай остальным: увижу в парке — застрелю. Брысь!

Того как ветром сдуло.

Стас сунул револьвер в карман. Нагнулся над бройлером, забрал свою пачку сигарет, погладил торчащий кок.

— А с тебя, красавец, мы снимем скальп, — Стас извлек из кармана нож и нажал на кнопку. Из рукоятки со щелчком выскочило лезвие.

На рязанского панка было жалко смотреть, его колотила дрожь.

— Оставь, у него и так полные штаны, — сказала Киса.

Стас поддел бройлера под челюсть лезвием:

— Не хочешь извиниться перед дамой?

— Х-хочу... извините...

— Громче!..

— Извините... пожалуйста...

— Можешь заказывать себе новые яйца, — Стас от души выдал ему оплеуху и взял Кису под ручку. Вечер был испорчен.

За стойкой кафе Стас потягивал коктейль и обдумывал очередной ход — он играл в шахматы с барменом.

Кису пригласил на танец какой-то молодкосос и все пытался затеять с ней непринужденный разговор.

Стас изредка равнодушно поглядывал на них. В углу стойки тихонько бубнил телевизор, шла программа «Время». В стране и за рубежом творилось черт знает что.

Потом начались новости культуры. Корреспондент рассказывал об успехах русского балета за рубежом. Хореографический ансамбль совершил турне по крупным городам Европы и заканчивал гастроли блестящими выступлениями на парижской сцене.

В голове начала вытанцовываться занятая комбинация. Стас сделал ход ладьей.

Теперь задумался бармен.

Начались новости спорта. Фехтовальщики пытались уколоть друг друга рапирами.

— Боб, электроника хорошо идет? — спросил Стас.

— Смотря какая.

— Джапан, фээргэшная.

— До пятнадцати номиналов, минус коммиссионные, — бармен сделал ход пешкой, открывая слона для двойного удара по диагонали.

— Сколько у тебя?

— Восемнадцать процентов.

— На четырнадцати не сойдемся?

— Вряд ли.

Стас прикрыл диагональ конем, связав его с ладьей.

— Видаки хорошо идут, — сказал бармен.

«Шереметьево-2» — это «Шереметьево-2»: не каждому дано улетать и прилетать.

При заходе на посадку видны коптящие трубы котельной в Шереметьевке — дым отечества.

Объявили прибытие рейса из Парижа. Артистов хореографического ансамбля встречали с зарубежных гастролей родственники с цветами и энергичный администратор. Прямо у центрального входа артистов ждал «Икарус». Для ручной клади и костюмов был предусмотрен другой автобус, поменьше и поскромнее.

Заграничное турне прошло удачно, артисты прибрахилились как следует. Длинноногие девицы и гомические мальчики расселись в «Икарусе».

«Икарус» тронулся первым, следом — второй автобус.

Миновали развязку.

«Икарус» оторвался далеко вперед.

Второй автобус хотя и надсадно коптил выхлопной трубой, но все же поотстал. Его обошли «Жигули», за рулем которых сидел летчик ГВФ в темных очках, и вдруг резко затормозили. Водитель автобуса тоже ударил по тормозам, чудом не «поцеловав» бампером багажник «Жигулей». Он с матом вывалился на асфальт, а навстречу ему с извиняющейся улыбкой уже спешил летчик, сидевший за рулем «Жигулей».

Водитель автобуса обложил его трехэтажным и онемел — в грудь уткнулось дуло револьвера.

— Замри.

Это был Стас.

Киса тем временем уже забралась в автобус и орудовала в салоне. Автобус стоял впритык к «Жигулям». «Грюндики», «Шарпы» и «Филипсы» прямо в фирменных упаковках перекочевывали в багажник «Жигулей». Какой-то предприимчивый гастролер сумел отovarиться персональным компьютером фирмы IBM. Микропроцессор с дисплеем пришлось бросить на заднее сиденье — багажник был уже полон.

Вся операция заняла полторы-две минуты. Мимо по шоссе проносились машины, но никто не обращал ни малейшего внимания на происходящее. Мало ли о чем беседуют водитель автобуса и летчик?

— Сядешь в автобус и будешь сидеть ровно тридцать минут,— приказал водителю Стас.— За тобой наблюдают из кустов.

Киса уже заняла свое место на правом переднем сиденье.

Водитель под дулом револьвера попятился к автобусу и залез на свое сиденье. Стас огляделся по сторонам и выстрелил в передний баллон. Раздалось шипение, автобус осел на спущенное колесо.

Стас сел за руль, оглянулся напоследок на перепуганную физиономию автобусника и воткнул передачу.

«Жигули» резко набрали скорость и уже на въезде в столицу нашей Родины лихо обошли «Икарус», на котором усталые и счастливые артисты возвращались после заграничного турне в родной город, предвкушая радость встреч и объятий с родными и близкими.

Речной пароход ткнулся бортом в старые автомобильные скаты, висевшие вдоль борта дебаркадера.

Киса и Стас сошли с парохода на дебаркадер пристани. Шкипером служила пожилая матерая баба с покатыми плечами. Ее литые натруженные руки легко приняли трап после гудка.

Пароход отошел.

Баба-шкипер с интересом уставилась на незнакомую парочку. Простодушное деревенское любопытство скорее веселит, чем смущает.

— Красивые у вас тут места...— сказал Стас.

— А вы к кому будете?— спросила хозяйка пристани.

— Путешествуем.

— Ну-ну, с пониманием кивнула она.

— Не подкажете, у кого здесь можно остановиться на несколько дней?— вступила в разговор Киса.

— Да, почитай, в любом дому... лето ведь, на сарае спать можно.

Дом Музы Васильевны находился неподалеку от пристани и смотрел окнами на реку. Огород спускался к невысокому обрыву, где на самом краешке прилепилась банька.

— Только вы уж не обижайтесь, мужик у меня непутевый, попивает,— предупредила тетя Муза, пропуская гостей через калитку.

Непутевый мужик возился под навесом — ремонтировал мотоцикл. Невысокий, жилистый, с седым ежиком волос на голове. Ему можно было дать пятьдесят, а можно — и все семьдесят. Подкупали глаза: они были ярко-голубые и почти не выцвели за эти пятьдесят или семьдесят.

— Вот, на постой просят, Паша. Ты как?— спросила у мужа тетя Муза.

Дядя Паша вытер ветошью руки, прищурился:

— Столичные?

— Они самые,— кивнул Стас.

— Надолго?

— Недельки на две.

И вся анкета. Дядя Паша запалил папироску и опять уткнулся в свой мотоцикл.

— Постелю в летней половине, там у нас благодать,— тетя Муза направилась с Кисой в дом, а Стас задержался под навесом возле полуразобранной железной каракатицы. Мотоцикл был тяжелый, двухцилиндровый, с коляской.

— Не фурычит?

— Который год мучаюсь. Выставлю зажигание тютелька в тютельку, проеду маленько, опять стук-бряк в правом, греется как утюг. Деньги дерут, сволочи, а делают — руки бы поотрывать.

— Можно глянуть?— Стас присел на корточки и отвернул руль в сторону, чтобы переднее крыло не мешало доступу к прерывателю.— Ключик на «тринадцать» найдется?

— Бывало у рук?— дядя Паша подал гачный ключ.

— Бывало.

Стас отвернул гайку и снял кулачок пре-

рывателя вместе с инерционными грузиками на торированных пружинках.

— Кулачок должен быть намертво закреплен на втулке оси, а у вас — люфт. Видите?

— Ну...

— Брак, дядя Паша. Вы в жизни не отрегулируете раннее зажигание, заводской брак.

— И чего делать? — растерялся дядя Паша.

— Чего-нибудь придумаем.

Они летели по деревне, распугивая кур. Стас сидел за рулем, а дядя Паша — в коляске. На вираже Стас поднимал коляску, и мотоцикл шел боком, на двух колесах, — профессиональный трюк опытных мотокроссменов и гонщиков.

Темноту комнаты резал луч проектора. Луч упирался в белый экран. Шла работа над составлением фоторобота.

— Верните нос, — попросил водитель автобуса.

На экране появился другой нос.

— Не этот, раньше.

Нос отъехал в сторону, на его место встал еще один.

— Оставьте. Усы гуще, концы чуть вниз.

Появились висячие усы погуще.

— Бакенбарды чуть повыше.

Поменялись бакенбарды.

— Теперь очки. Черные, от солнца.

Появились очки.

— Нет.

Очки поменялись.

— Нет, нет, побольше.

Новые очки.

— Оставьте.

Теперь изображение на экране стало отдаленно напоминать внешность Стаса.

Столовались вместе — дядя Паша настоял.

— Будет, плохо-то и пожили, — он разлил коньяк по граненым стопарям. — Муза, пригуби хоть для прилику.

— Не могу я его, воняет, — отнекивалась тетя Муза.

— Белую давненько не завозят, а этот хоть и кусается, зато без талонов. Поехали!

Мужики «поехали» до дна, Киса ополовинила, а тетя Муза лишь пригубила, дабы не обижать гостей.

— А ты лихой парень, Станислав, — похвалил дядя Паша.

— Он был призером на кубке... — начала было Киса, но Стас так посмотрел на нее, что она чуть не поперхнулась.

— Дак ты по этому делу, Станислав? — дядя Паша положил руки на воображаемый руль.

— Когда-то гонял, еще студентом.

— А я дак ненавижу этот мотоцикл, — пожаловалась тетя Муза. — Нажил себе забот, целые дни гайки крутит. Погреб весь обвалился, а ему хоть бы что.

— Баба есть баба, а потому — дура, — добродушно отмахнулся от жены дядя Паша и налил по второй. — Говорят же тебе: был заводской брак, теперь все, кончились мои мучения. Будем в район на танцы ездить, хоть каждый день.

— Молчи, танцор, не дашь людям слова сказать, молотишь и молотишь. Залил глаза — сиди и помалкивай.

— Грубая ты женщина, Муза. Нет в тебе культуры, — обиделся дядя Паша.

— Сейчас заревет, — сказала тетя Муза.

И точно. Выпили по третьей, и дядя Паша заплакал. Тихо и без надрыва, на лице появились слезы. Он начал утирать их рукавом, но они проступали снова.

— Горе мне с ним... — Тетя Муза сгребла мужа в охапку и отнесла за перегородку, уложила в кровать. Он и не сопротивлялся, продолжая беззвучно плакать.

Она вернулась к столу.

— Вы кушайте, кушайте, не обращайтесь внимания. Говорят, в Москве с продуктами тоже худенько стало?

— По сравнению с вашим сельмагом у нас изобилие. Сахар, правда, тоже по талонам.

— Платят-то инженерам ничего?

— Как сказать... — Стас неопределенно пожал плечами.

— С ребеночком не тяните. Всех денег не заработаешь, а с детоньками хоть и хлопотно, а без них и семья — не семья. Наши вот девки разъехались, остались мы с ним как два сыча. У одной все ладно, а другая — странь: со вторым мужиком разводится. Испохабилась по общежитиям, курит и мимо рта не пронесет.

Дядя Паша застался во сне.

— Нельзя ему совсем, — сказала полушепотом тетя Муза. — Трезвый — золотой мужик, а стоит выпить — ревет, искалечили не за што не про што.

— Он воевал?

— Сначала воевал, потом в плен угодил. Американцы ослобонили, нашим передали, а наши на шахту в Донбасс, вроде арестанта. Там селикоз нажил, отпустили. Устроился в Воронеже на станции грузчиком, а в сорок седьмом опять взяли. Признайся, что шпиён. Раз у американцев побывал — значит шпиён. Пытали сильно, он и подписал. Когда Сталин-то помёр, выпустили, а семь годиков отбаранил. Теперь как выпьет — ревет. И жалко мне его, а иной раз так бы и треснула.

Тетя Муза взяла свой стопарь, подержала в руке, потом одним махом опрокинула в себя:

— Прошла весна, настало лето — спасибо партии за это!

Сморщилась, занюхала корочкой.

— А вот так! — и улынулась гостям, столичным «инженерам».

Сено из стога грузили в тракторную тележку. Тетя Муза и Киса стояли на возу, а дядя Паша со Стасом подавали. Сено было сухое, шуршало и сыпалось за ворот. Лесная поженка зеленела молодой отавой, и уже местами подернулся желтизной тихий березняк.

Первой заметила всадника Киса. Лошадь шла наметом от леса, в седле сидел милиционер.

Дядя Паша и Стас перестали подавать и тоже повернули головы на приближающийся топот.

Возле стога всадник лихо осадил лошадь.

— Труд на пользу, дядя Паша, — он хлопал по загривку разгоряченного коня. Это был молодой парнишка с маленькими звездочками на погонах — младший лейтенант.

— Спасибо, если не шутишь, — дядя Паша воткнул вилы в землю и запалил папироску.

— Слезай подмогни, чего зря скакуна мучаешь, — пригласила участкового не без подначки тетя Муза с воза.

— У тебя, тетя Муза, и без меня дармовой силы хватает, — милиционер подмигнул Стасу. — Пусть поработают — узнают, почему стакан молока.

— Есть, — козырнул Стас. Милиционер задержал на нем взгляд.

— У Слободных вчера Лыска с пастьбы не вернулась, — доложил он.

— Я бы эту Лыску... Странь, а не корова. Хоть бы медвить не задрал.

— Выдумывай... Не зима, овсы налились, нужна ему твоя Лыска. В Марьиной ляге ночует, как пить дать, — сказал дядя Паша.

— Вот и я думаю... — Младший лейтенант крутанул лошадь. — Ты бы, тетя Муза, городским брезентухи выдала, мозоли ведь набьют. — И лихо пустил лошадь наметом к лесу.

Стас поднял голову на Кису. Она стояла на возу с белым лицом и смотрела вслед удаляющемуся всаднику.

Вечером дядя Паша со Стасом и Петькой, одноногим деревенским парнем, плавил на костре свинец из старого аккумулятора на грузила для бредня. Белобрый Петька был на костылях, с орденом Красной Звезды на отвороте хлопчатобумажной куртки.

— Мерли, как мухи... Иной раз подтянешь под голову вместо подушки. Ему-то уж все равно, успокоился сердешный, — рассказывал дядя Паша.

— Бежать не пытался? — спросил Стас.

— Как не пытаться. Молодой был — жить хотелось. Кажись, уварилось, — дядя Паша разлил жидкий свинец из чугунного ковшика в круглые лунки, выдолбленные в тесине.

— И что?

— А ничего хорошего. Изловят, избьют до полусмерти да еще собаками изорвут... От немцев два раза да от наших два — я шустрый был.

— А где страшной?

— Везде хорошо. — Дядя Паша загрузил ковшик и поставил на огонь.

— Здорово, ханурики! — раздалось из-за забора. — Бракуштить собираемся?

— Здравствуй, Михаил, — обернулся дядя Паша. — Хотим вечером бредешок потаскать, так что подгребай на уху.

Михаил сидел верхом на лошади, в руках держал длинный пастуший кнут.

— Подвеселишь? — спросил он.

— Дак нет ничего, Миш, честное слово. У Матрены завтра поминки, попробуй подьехай, может, нальют, — посоветовал дядя Паша. — Целый ящик брали.

Киса и Стас сидели на лавочке под окнами, тесно прижавшись друг к другу, как в старых фильмах про колхозную любовь. На ее плечи была накинута его лайковая куртка.

Неподалеку в луже шаршился поросенок — получал свое удовольствие.

— Нужны новые документы...

— Не думай об этом.

— Я не могу не думать об этом, малышка.

— В Алма-Ате купим новые паспорта и прописку, а перезимовать можно в Алуште. Снимем комнату, я буду ходить на рынок и сама готовить. Я очень люблю готовить.

— Болтунья.

— Правда. Ты даже не представляешь, как я умею готовить. В Алуште тихо... Заберем Катьку, нам будет хорошо втроем. — Он повернул голову и долго смотрел на нее.

— Почему твои предки не знают о Катьке?

— Ты даже не представляешь себе, что такое военный городок. Все знают друг друга, а бабы целыми днями только и занимаются, что языки чешут. Дочь командира полка принесла в подоле — представляешь?

— Представляю.

— Они даже не знают, что я бросила институт. Ну какой из меня технолог по стали и сплавам? Стас... я давно хочу тебе сказать... только ты не смейся. Не будешь смеяться?

— Тоже мне, Клара Новикова нашлась.

— Нет, скажи честно — не будешь?

— Не буду, говори.

— Давай обвенчаемся.

Он сделал глубокую затяжку и щелчком.

послал окурков на дорожку. Лицо сделалось жестким.

— Пора собирать манатки, малышка... Участковый интересовался у дяди Паши: кто мы, откуда, надолго ли приехали?

— Можем сесте на вечерний паром.

— Уедем ночью на мотоцикле. В Нефедовке сядем на поезд.

В это время из сарая вышла тетя Муза с подойником.

— Парное, милости просим, — поманила она гостей. — Станислав, скажи Паше, пусть через сепаратор пропустит, а мы побежим, автолавка с кооператорами приехала.

Стас взял у тети Музы подойник с молоком и направился в дом.

Возле автолавки толпились деревенские бабы, тут же крутилась под ногами пацанва. От скудного выбора шалей, кофточек и прочего барахла деревенские женщины приходили в восторг, шумно рядили и судачили.

Тетя Муза выбрала себе шерстяную кофту, надела, повела могучими плечами:

— Ну как?

— Бери и не раздумывай, — посоветовала очень беременная баба с коричневыми пятнами на лице.

— Что скажешь, Ксюша? — продолжала колеситься тетя Муза.

Киса придирчиво оглядела обнову. В своей фирменной вареной джинсовке она выглядела среди деревенских баб почти марсианкой.

— Размер ващ, — сказала она, боясь выдать брезгливое отношение к кооперативному «самопалу».

Кофту уже расхваливали со всех сторон, и тетя Муза наконец решилась:

— Заверните.

Мордастый бугаина, торговавший из автофургона, завернул кофту в обрывок газеты.

По дороге домой тетя Муза бережно прижимала кофту к себе. Киса шла рядом.

Неожиданно из-за угла вывернул обросший щетиной мужик с ружьем в руках. Это был Михаил.

— Проспал зорьку-то, улетели твои утки, — подтрунила над соседом тетя Муза.

— Мою не видала? — просипел Михаил.

— Автолавка приехала, там она с бабами, — ответила тетя Муза и осеклась: очень уж диковато блеснули глаза у припозднившегося охотника.

— Сейчас я ей устрою автолавку! Я ей такую автолавку устрою...

— Погоди, Михаил, — тетя Муза заступила ему дорогу. — Ты чего?

— Спрятал пятерку в сапог — нашла, гадина! Ничего, сейчас на мушку возьму — запрыгает! — Михаил хочет оттеснить тетю Музу, но не тут-то было.

— Опомнись, Мишка, на сносях она ведь.

Зря ты ее сгоняешь.

— Уйди, тетя Муза, не мешай.

Киса стояла рядом и не знала как быть: то ли вмешаться, то ли промолчать.

— Вернись домой, проспись как следует. Давай ружье, вечером заберешь. — Тетя Муза потянулась к ружью, но Михаил рванул его на себя.

— Не трожь, сука!

— Как вы разговариваете с женщиной? — не выдержала Киса.

— А ты молчи, шлюха крашенная.

— Паразит ты, паразит. — У тети Музы лопнуло терпение. Она сунула кофту Кисе и выписала соседу такую оплеуху, что он отшатнулся к штакетнику и осел на землю, но ружье из рук не выпустил.

— Марш домой, дармоед! Баба на девятом месяце, а ты издеваться? Я на тебя управу найду! — тетя Муза шагнула к нему и хотела вырвать ружье.

Щелкнул курок.

— Ма-ма-а! — завизжала Киса и попыталась оттолкнуть тетю Музу в сторону.

В эту секунду грохнул выстрел.

Все произошло настолько неожиданно, нелепо и дико, что тетя Муза на какое-то мгновение оцепенела.

Киса пошатнулась, выронила кофту, схватилась за правый бок. Сквозь пальцы проступила кровь.

Михаил отползал вдоль штакетника за угол, суча пятками, но тете Музе было уже не до него. Она не дала Кисе упасть, подхватила на руки и тяжело побежала по размятой тракторами грязюке в конец деревни, где находился мехдвор.

Киса была в сознании и, кажется, еще не чувствовала боли.

— Ничего, деточка, ничего, — тяжело приговаривала на ходу тетя Муза. — Сейчас трактор заведем, сенца подкинем, чтобы не трясло. Больница у нас рядом, тут всего пять километров, и доктор хороший, ты только потерпи.

И уже бежали гурьбой навстречу им от автолавки пацаны.

И уже моталась из стороны в сторону в такт шагам голова — Киса начинала терять сознание.

Тетя Муза сидела на скамейке перед участковой больничкой, где в родильной комнате из Стаса выкачивали кровь.

— Вам плохо? — спросила сестра и поднесла нашатырь.

— Кажется, поплыл...

А через стенку в простенькой операционной, предназначенной для вскрытия нарывов и удаления мозолей, местный эскулап из винницких евреев совершал свой очередной профессиональный подвиг.

— Тампон.
Сестра подала тампон.
— Пинцет.
Сестра подала пинцет.
— Щипцы.
— Скальпель.
— Зажим.
— Уберите пот.
Сестра промокнула ему лоб.
— Пинцет.

С улицы донесся шум, который нарастал мощным крещендо, пока не зазвенели стекла в операционной. На лужайку перед больницей опустился вертолет санитарной авиации.

— Остановка сердца,— сказала сестра.
— Адреналин! — заорал эскулап.

Он решился на прямой укол в сердце. Ни времени, ни другого способа запустить микрокосм отлетающей души у него просто не было.

А в это время виновник всей заварухи забаррикадировался в собственном доме и отчаянно сдерживал осаду милиции.

Местным жителям было запрещено пересекать линию оцепления: Мишку хотели взять живым. Руководил операцией сам начальник РОВД с пистолетом и мегафоном. Тут же неподалеку прыгал на костылях Петька-интернационалист: рвался в бой.

Майор был широколиц и туповат, он никак не мог овладеть ситуацией, да и Мишка озверел настолько, что угадать его действия было практически невозможно. На малейшее движение улицы из дома гремел выстрел. Перезаряжался он мгновенно. Стекол в окнах уже не было.

— Слышь, начальник,— Петька прорвался все-таки к майору.— Дай пистолет, попробую взять!

— Ты как сюда попал?! А ну пошел вон!

Петьку подхватили под руки оперативники и поволокли за сарай.

— Тыловые крысы! — орал он и отчаянно сопротивлялся.— Уберите руки!

— Послушай, майор,— к начальнику РОВД подошел дядя Паша,— Мишка теперь ошалел, живым не дастся. Скажи своим ребятам, пусть отвлекут, а я попробую сзади, через чердак. У него с-чердака лестница в чулан.

Майор задумался. Ему бы самое место за плугом или на свиноферме, но выбился в начальники.

— Я дам человека, пойдете с ним,— решил майор.

— Не надо человека... Там темно, начнем шарашиться и попадем на мушку,— возразил дядя Петя.— Только вы уж не зевайте в случае чего...

Он начал свой путь от старой конюшни

по-пластунски. По бурьяну дополз до поленницы, от нее протиснулся через нижнюю жердь забора.

Потом по бороздке к задней стене дома.

С улицы майор через мегафон уговаривал Мишку сложить оружие и сдаться. В ответ грохнул очередной выстрел.

Лестница висела под закрылиной на крючьях. Главное — не выдать себя неосторожным движением или стуком. Дядя Паша отдышался, аккуратно снял лестницу и прислонился к срубам.

Мишка опять пальнул из окна.

Теперь предстояло подняться на чердак, и дядя Паша осторожно начал свое восхождение. Вот и проем чердачного окна.

Внутри стоял полумрак, через застекленное окно на фронте пробивался тусклый свет. Потолок был утеплен землей, которая давно уже высохла и превратилась в песок.

Дядя Паша перекинул ногу с лестницы на чердак и замер: из-за кирпичной трубы дымохода вышагнул Мишка с ружьем на изготовку.

Какой инстинкт подсказал ему взлететь сюда из чулана по внутренней лестнице, ведь он буквально две-три секунды назад пальнул снизу, из дома?

— Дядя Паша, убью!

Мишка был невменяем, глаза дико блестели, он поднял ружье и прицелился. Стоило дяде Паше пошевелиться — все было бы кончено для него раз и навсегда.

— Не дури, Миш,— дядя Паша облизал пересохшие губы. Он уже отвоевал секунду жизни и теперь понимал: стоит попятиться назад — грохнет выстрел.

— Мазило ты, сосед, ей всего пара дробинок и досталась-то, ведь весь заряд мимо. Моя дробинка иголкой выковыряла, йодом смазала, сидят чай пьют.— Надо было решиться, и дядя Паша перекинул на чердак вторую ногу.

Мишка опять прицелился, его била дрожь.

— Не балуй. Отсидишь пятнадцать суток, рыбу лучше пойдем. Вода в Печенжице совсем высветлела.

Дядя Паша сделал шаг навстречу. Ноги не слушались. Еще шаг. Еще.

Он ударил по стволу рукой, и одновременно полыхнул выстрел. Заряд ушел в тесовую крышу, брызнула щепка.

Дядя Паша рванул ружье за ствол и размахнулся прикладом. Мишка отшатнулся к трубе дымохода, съежился, ожидая удара, и тихонько заскулил.

Этот скулеж опустившегося в пьянстве и бестолочи жизни безземельного крестьянина рвал дяде Паше сердце.

— Дурень ты, дурень...— он опустил ружье.

И тут словно из-под земли навалились оперативники. Они заломили руки Мишке,

один за волосы запрокинул голову затылком к хребту. Мишка бился в конвульсиях, но цепкие руки уже волокли его к проему, чтобы спустить с чердака вниз.

Дядя Паша проводил взглядом клубок человеческих тел и утер лицо рукавом.

— Эх, сосед, сосед, не лучить нам с тобой больше рыбы, в бога душеньку мать... Намотают теперь соплей на кулак...

Дядя Паша протянул продавщице деньги, взял бутылку коньяку и тут же у прилавка высадил ее из горла в два приема. Продавщица сочувственно протянула ему на закуску несколько печенюшек. Дядя Паша зажевал, вышел из сельмага, опустил на ступеньку и тихо заплакал.

К нему подковылял Петька-интернационалист. Присел рядом и вытащил из кармана бутылец с самогонном — коньяк с пенсии скоро отопьешь.

Издали донеслось тарахтение. Трактор с тележкой подъехал к магазину. Стас спрыгнул с тележки на землю, подошел к крыльцу.

Дядя Паша поднял на него мокрые глаза и, казалось, не сразу узнал Стаса.

— Муза там осталась? — спросил он.

Стас кивнул, Петька молча протянул ему свой бутылец. Стас взял и почему-то вылил его под ноги. Достал из кармана и подал Петьке бумажник.

Петька без слов застучал костылями по ступенькам и скрылся в магазине.

— Я бы хотел забрать вещи, — Стас опустился рядом на ступеньку.

— А там все открыто. Долго мучалась?..

— Не очень, — ответил Стас.

— Ты это... держись, парень... Вишь, как оно бывает, — дядя Паше трудно было говорить, душили судороги в горле.

На крыльце появился Петька, располневший вширь: из карманов брюк и пиджака торчали коньячные головы.

— Его взяли? — спросил Стас.

— А куда ему на хер деться? — заерепенился Петька. — Может, ко мне пойдём?

— Пошли на реку, — предложил дядя Паша.

За забором в хоккейной коробке взмошские пацаны буцкали мяч. В стороне на расчерченном асфальте стайка девочек играла в классики.

— Катя! — окликнула воспитательница.

Одна из девочек обернулась на голос. На вид ей было лет пять. Худенькая, тонкошея, она была одета в демисезонное пальтишко, колготки на коленях пузырились.

Девочка как-то нехотя подошла к воспитательнице и незнакомому дяде.

— К тебе гости, — сказала воспитатель-

ница и повернулась к Стасу. — Можете пройти в методкабинет, там телевизор.

— А погулять мы можем?

— До ужина. В выходной можете забрать на целый день, — разрешила воспитательница и направилась в спальный корпус.

— Ну здравствуй, — Стас присел на корточки и протянул девочке руку.

— А ты кто?

— Я... привез тебе привет от мамы и гостинец. Держи, — он подал ей большой бумажный пакет.

Она прижала пакет к себе и огляделась по сторонам.

— Надо спрятать.

— Зачем?

— Мальчишки отберут.

— Вот те раз... Они что, девчонок обижают, бандиты?

— И дерутся, и за волосы дергают, — доложила Катька. — А почему мама не приезжает?

— Понимаешь... мы были с ней в командировке. Там она заболела, и ее положили в больницу.

Катька смотрела на него и не верила. Худенькое детское личико с умными и грустными глазами делало бессмысленными фальшивые придумки.

— Любишь горячий шоколад? — спросил он после паузы.

— Не знаю... — ответила Катька.

В «Шоколаднице» на «Октябрьской» Стас заказал все, что можно было заказать. По телевизору шел мульттик. Катька крутила головой и вся перепачкалась. Стас утер ее лицо салфеткой.

Потом они стояли возле выставочного павильона и изучали скульптуру: мускулистый кузнец перековывал меч на орано.

— Зачем? — не понимала Катька.

— Чтобы на земле был мир. Мечами раньше воевали, рубили друг друга. А он решил сделать из меча плуг, чтобы пахать землю.

— А зачем ее пахать?

— Пахать — это значит взрыхлить землю, иначе на ней ничего не вырастет. А вот если взрыхлить и бросить зернышко, вырастет колосок, на котором уже много зерен.

— А для арбузов тоже надо пахать?

— И для арбузов, и для... огурцов, — терпеливо объяснял Стас.

В подвале заброшенного дома пахло гнилью. Стены в разводах от протечек местами покрылись плесенью. Стас медленно поднял ревер и прицелился. Тишину

разорвали гулкие выстрелы — пули ложились кучно, образуя вмятины на отсыревшей штукатурке, сквозь которую проступали ржавые пятна старой кирпичной кладки. Стас выпустил в стену весь барабан и опустил револьвер. В подвале опять стало тихо.

Светило солнце, было тепло, и оттого желтизна на деревьях казалась вроде бы случайной. И все же угадывалась во всем этом печаль надвигающейся осени.

Катка то и дело забегала с аллеи и подбирала опавшие листья.

— Красивый? — она показала Стасу шестилестный букет.

— Очень, — оценил Стас.

В воскресный день на центральной аллее было много гуляющих, то и дело попадались бегуны.

Впереди толпился народ.

— Посмотрим, что дадут? — предложил Стас.

— Посмотрим! — живо согласилась Катка.

«Давали» живопись: пейзажи, натюрморты, сюжеты на исторические темы, эротику, лаковые миниатюры, роспись по фарфору, резьбу по дереву, маски, изделия из бересты, самодельные игрушки.

Народ собирался группами, бродил от картины к картине, приценивался, беседовал, обсуждал, любовался молча и вслух.

Стас и Катка затерялись в этой толпе. Постояли у весенней роши в красивой раме, полюбовались на Джоконду в центре фарфоровой тарелки — эти тарелки лежали стопкой в раскрытом чемодане.

Втиснулись в круг, в центре которого в позе йога сидел мужичонка, дул в изогнутую трубку, и белый пластмассовый шарик зависал в воздушной струе.

Лаковые миниатюры поражали ярким колоритом красок.

Вдали виднелся темный облетевший лес, ближе стоял стог сена, из которого торчала в небо жердь стожара. Над стогом кружили птицы: то ли вороны, то ли галки.

Катка и Стас стояли и смотрели на этот унылый осенний пейзаж, неяркий, чуть размытый.

— Сколько? — спросил Стас у всклокоченного рыжего парня.

— Двадцать, — ответил тот.

— Хорошая работа.

— Здесь много хороших художников.

— Пятнадцать.

— Двадцать, — твердо повторил парень, и Стас понял, что дешевле тот не отдаст — дело чести.

Катка сидела сзади с букетом в руке, пейзаж лежал у нее на коленях. Такси выеха-

ло с Балаклавского проспекта на Варшавское шоссе и вскоре затерялось в густом потоке автомобилей.

Стас рассчитался с водителем. Из-за забора на них таращили глазенки Каткины подруги.

— Значит, когда ты вернешься? — уточнила она напоследок.

— Недельки через две. Понимаешь... чтобы забрать тебя отсюда, нужно оформить кучу документов.

— Я знаю, — она смотрела на него и опять не верила. — Светку Шилову недавно тоже забирала. У нее мама пьяница и воровка. Когда ее из тюрьмы выпустили, она забрала Светку домой, а потом Светку обратно привезли.

Стас присел, заглянул ей в глаза. К горлу подступил ком.

— Я обязательно вернусь.

И когда обнял и прижал к себе легонькое тельце, вдруг на мгновение показалось, что она поверила.

Это был обычный жилой дом на Люблинской улице. Стас спустился по лестнице в цокольный этаж. Пригибая голову, чтобы не удариться о трубы и вентили, прошел по бетонному коридору мимо щитовой и толкнул обитую жестью дверь. За дверью оказался «качок».

Молодые ребята накачивали мышцы. Штанги, блины, гири, гантели, тренажеры — железа хватало. И сами ребятки были похожи на эти снаряды: свинцовые мышцы и чугунные лбы. С цветных плакатов наблюдали за происходящим зарубежные Гераклы.

На появление Стаса никто не обратил особого внимания — все продолжали заниматься своим делом. Стас прошел через «качок» за фанерную выгородку.

Голый атлет в одних плавках лежал на кушетке, его массировал мужчина лет сорока. Он кивком указал Стасу на табуретку, не прекращая делать массаж.

Стас уселся на табуретку.

— Свободен! — мужчина напоследок с отяжкой хлопнул атлета по спине. Тот поднялся и вышел из закутка.

— Ну? — спросил массажист.

Стас вытащил револьвер из внутреннего кармана плаща и положил на столик. Массажист набросил на него вафельное полотенце.

— Может, передумаешь? — спросил он. — Я все просчитал «от» и «до», осечки не будет.

Стас молча поднялся.

Массажист тоже поднялся. Он был в махровом халате. Вынул из кармана пачку сторублевых в банковской упаковке и протянул Стасу.

Стас положил деньги в карман плаща.

Накануне была отмена нескольких рейсов, и «Домодедово» превратилось в муравейник очумелых полуголодных людей. К стойке регистрации на Алма-Ату вытянулась бесконечная очередь.

Стас зарегистрировал билет, сдал сумку в багаж и вышел на улицу курнуть перед посадкой.

— Я почти в обмороке,— вместе с ним вышла на воздух, тяжело дыша, восточная женщина.— Это кошмар какой-то, дышать невозможно.

— Вам плохо? — спросил Стас.

— Очень. Вы не подскажете, где здесь медпункт?

— Можно пройти по залу, но лучше по улице. В правом крыле, под парикмахерской. Вам помочь?

— Если можно,— вымученно улыбнулась женщина.— Вторые сутки не можем улететь. Видимо, давление.

Он взял ее под руку и осторожно повел в направлении медпункта.

Народу здесь было не так много, как перед центральным входом. Он распахнул перед ней дверь, пропуская вперед. Неожиданно «больная» заломила ему левую руку, крепко в штатском заломил правую, третий зашелкнул наручники.

Тут же подъехала «Волга», его втолкнули на заднее сиденье, и машина сразу же резко тронулась с места. Следом шла вторая машина, где сидели другие участники группы захвата.

Следователю не было и тридцати, он был где-то одного возраста со Стасом. Сухой, жилистый, с ранней проседью. На левой стороне пиджака были приколоты две орденские планки.

Он веером раскинул на столе перед Стасом несколько фотографий.

— Узнаете?

Стас всмотрелся в фотографии и, конечно, сразу же узнал мужчину — это был тот самый кооператор из кафе, которого он пристегнул наручником к батарее. Женщина была неизвестна.

Оба они были расстреляны в упор в салоне «Жигулей». Мужчина лежал на баранке. Его убили выстрелом в голову, висок и щека были залиты кровью. Женщина откинулась назад. Странгуляционная борозда на шее и прикушенный язык свидетельствовали о том, что сначала ее душили и лишь потом убили выстрелом в затылок.

— Повторяю вопрос — где оружие? — спросил следователь спокойно и даже как-то устало.

— У меня никогда не было никакого оружия.

— Если мы спрашиваем, значит, у нас

есть основания.

— Когда это произошло?

— Об этом вы сами расскажете нам подробнейшим образом.

— Мне не о чем рассказывать, я не имею к этому никакого отношения.

— Имеете,— следователь был спокоен. Он надел очки и продолжил писать протокол.

В комнате, где проходило опознание, вдоль стены сидело четверо мужчин.

— Пригласите свидетеля,— сказал следователь стоявшему у дверей сержанту.

Тот открыл дверь и выпустил мужчину. Это был официант из того самого кафе.

— Евгений Александрович, мы еще раз предупреждаем вас об ответственности за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний в соответствии со статьями 181 и 182 УК РСФСР,— предупредил следователь.— Посмотрите внимательно на этих людей, кого из них вы знаете, встречали раньше, и если да, то при каких обстоятельствах?

Стас встретился взглядом с официантом. Тот подошел к нему почти вплотную.

— Подонок! Если тебя не поставят к стене, я задушу тебя вот этими руками!

Между ними втиснулся конвоир, оттесняя свидетеля от подсудимого.

Контролер, а по старинке просто надзиратель, вел Стаса по гулкому коридору следственного изолятора.

— Лицом к стене!

Стас подчинился.

Надзиратель открыл ключом металлическую дверь.

В камере стоял полумрак, под потолком тускло светилась сквозь металлический намордник маловаттная лампочка.

С грохотом закрылась дверь за спиной.

Семь пар человеческих глаз смотрели на новичка с двухъярусных нар.

— Покажись,— бритоголовый скуластый «папа» с исколотой в сплошную синь грудью оторвался от шахматной партии. Его партнером был пожилой лысый человек в домашней пижаме нараспашку.

Стас не пошевелился.

«Папа» подал взглядом сигнал молодому парнишке, который сидел прямо на столе, подобрав под себя ноги калачиком, и мусолил окурок.

Тот прыгнул со стола, вихляющей походкой подошел к Стасу, оглядел его с ног до головы.

— Не уважает,— доложил он «папе» и снова повернулся к Стасу, пустил струю дыма прямо в лицо.— А из параша кушал?

В глodeующее мгновение Стас припечатал его головой о металлическую дверь. С нар на него уже летел другой, но Стас успел встретить его ногой. Третий получил в сплетение

и переломился пополам.

— Стоп! — раздался голос «папы». Он спокойно оценил ситуацию на доске и сделал очередной ход: — Шах.

Ночью скуластый сел на нарах, прислушался. В камере стоял храп. Стас лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к каждому шороху.

Они набросились разом, и спустя несколько мгновений он лежал на полу, лоб утыкался в колени. Через шею под колени он был туго связан вафельным полотенцем. Штаны были разорваны и спущены, в рот туго забита грязная тряпка.

— Ты меня слышишь? — спросил «папа».

Грязный кляп мешал даже дышать.

— Кля, будьешь первым, — приказал «папа» молодому доходяге с фиксами.

Вслед за звонком тревоги в гулком коридоре изолятора раздался бег кованых сапог. Когда дежурный наряд ворвался в камеру, в ней снова стоял богатырский храп. Лишь один корчился связанным на бетонном полу. Это был Стас.

Стас снова сидел перед следователем. Он осунулся, лицо посерело, под глазами обозначились темные круги.

— Ну что, в карцере лучше, чем в камере?

— Посиди — узнаешь.

— Я читал рапорт, — следователь выдержал длинную паузу. — При наружном осмотре ссадин и синяков на вашем теле не обнаружено. Соседи по камере все отрицают, вы клеветаете на них. Где револьвер?

Стас молча показал следователю наручники.

— Тебя отказываются водить без наручников.

Стас молчал.

— Ну хорошо, — следователь нажал кнопку. Вошел контролер.

— Снимите наручники, — сказал следователь.

Когда контролер снял наручники, Стас начал растирать затекшие кисти.

— Где револьвер? Уже второй месяц ты путаешь следствие, но наше терпение не бесконечно.

— Я все написал.

— Ты написал черт. Неужели ты думаешь, что в это можно поверить? Кому ты загнал его на Рижском рынке? Зачем? Что, вот так подошел и предложил первому встречному?

— Я описал приметы этого человека.

Следователь поднялся со стула, подошел к зарешеченному окну. Обернулся, играя желваками.

— Современная психиатрия располагает препаратами, которые растормаживают память и развязывают язык.

— Неужели? — осклабился Стас. — Не

боишься потерять службу?

Следователь сел на стул и нажал на кнопку. Вошел контролер.

— Уведите.

Стас поднялся с привинченного к полу табурета. Контролер снова защелкнул наручники.

— Пошел!

Следователь проводил их взглядом и еще долго сидел неподвижно на стуле, слушая удаляющиеся по коридору шаги.

Перед следователем сидел тот самый парень, которому Стас на автозаправке разбил машину. На столе лежало несколько фотографий.

— Он! — ткнул парень в фотографию Стаса.

— Посмотрите внимательно, вы не ошибаетесь?

— Ну конечно, он! Его арестовали?

Следователь собрал фотографии в стопку и спрятал в ящик стола.

— Мы вызовем вас повесткой на опознание в присутствии понятых.

— Значит, теперь я смогу получить с него деньги за ремонт?

— Разве ваша машина не застрахована?

— Я устал с ними судиться, — занервничал парень.

— Давайте, я отмечу ваш пропуск, — следователь был корректен и вежлив. — Ждите повестку.

Опознание проводилось в той же комнате. Вдоль стены опять сидели четверо. Стас был пятым.

— Пригласите свидетеля, — распорядился следователь.

Конвоир открыл дверь. Вошел водитель автобуса, которого Стас прихватил по дороге из «Шереметьева».

— Товарищ Решетов, мы предупреждаем вас об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, — предупредил следователь. — Посмотрите внимательно на этих людей, кого из них вы знаете, встречали раньше, и если да, то при каких обстоятельствах?

Водитель автобуса с прищуром прошелся вдоль всей пятерки туда-сюда.

— Кажется, он, — указал он на Стаса.

Стаса и в самом деле трудно было узнать. Глаза ввалились, нос заострился, в волосах проступила густая седина. Он постарел лет на десять, хотя с начала следствия прошли считанные недели.

— Точно он! — водитель уставился на Стаса. — Жаль, монтировку не прихватил, — искренне пожалел он, — шчас бы по кумполу!

Стас сидел перед следователем, сгорбив-

шись и втянув голову в плечи.

— Ознакомься с постановлением о продлении срока следствия и содержания под стражей,— следователь протянул Стасу постановление.

Стас взял бумагу, прочитал, расписался.

— Итак, начнем сначала. Где револьвер? — вежливо, не повышая голоса, спросил следователь.

— Дай закурить,— попросил Стас.

Следователь достал из ящика стола пачку сигарет, спички.

Стас закурил. Когда чиркал спичкой, руки мелко дрожали.

— Ты хочешь повесить на меня трупы Алданова с сожительницей? Но я не хочу. Я не хочу, и ты меня не заставишь!

Они долго смотрели друг другу в глаза.

— Пятнадцать лет у тебя уже в кармане. Теперь ты веришь, что я разматаю все твои дела, все до единого,— сказал следователь.

— Кроме убийства.

— Ошибаешься.

— Это ты ошибаешься, ты же не сможешь доказать.

— Не смогу, если ты не поможешь, но ты поможешь.

— Затянуть чужую петлю на своей шее?

— Твоя ошибка заключалась в том, что ты решил жить в обществе и быть свободным от него. Но так не бывает... В Афгане я видел много смертей... Какие ребята погибли.

— А кто виноват? Я с таким же успехом мог оказаться и там.

Пожалуй, впервые за все это время на лицо следователя набежала тень, но он взял себя в руки. Спросил спокойно и как-то устало:

— Где револьвер?

— Допустим, Алданова с сожительницей убил я. Меня могут снова направить на психиатрическую экспертизу и признать невменяемым?

— А жить ты все-таки хочешь...— следователь нажал на кнопку в столе.

Вошел конвоир.

— Они уже здесь? — спросил следователь.

— Так точно.

— Пригласите, пусть войдут.

Стас ожидал увидеть кого угодно, но только не ее — в кабинет в сопровождении воспитательницы вошла маленькая тонкошея Катька. Она увидела Стаса, и выражение настороженного любопытства сменилось подобием улыбки. Катька понимала, что все здесь не так просто — за спиной стоял милиционер.

— А две недели уже давно прошли...— она приблизилась к Стасу.

— Здравствуй...— он стиснул ее ручонку.

Следователь внимательно наблюдал за происходящим.

— Колючий,— Катька провела ладошкой по его щеке.— А мама все еще болеет?

— Понимаешь...— Стасу трудно было говорить.— Это очень тяжелая болезнь. Врачи не хотят выписывать, пока не будут уверены...

— Почему ты не пришел? Обещал через две недели.

Даже на невозмутимом лице конвоира что-то дрогнуло.

— Понимаешь... не получилось. Ты извини.

Следователь подал знак конвоиру. Тот подошел к Катьке и взял ее за руку. Она покорно направилась с ним к двери.

— Значит, когда ты придешь? — она почему-то повернулась лицом к следователю, перевела взгляд на Стаса.

— Думаю... что скоро...— Стас нашел в себе силы улыбнуться.

В дверях она еще раз обернулась.

Стас помахал ей рукой:

— Будь умницей, ладно?..

Когда остались вдвоем, Стас спросил, не поднимая головы:

— Зачем ты это сделал?

— Потому что хочу понять!!! — следователь сорвался на крик.

— Что ты хочешь понять?! — Стас поднялся со стула с белым лицом.

— Это ты сделал ее сиротой! Ты втравил ее мать в свои дела и погубил ее!

— Ее мать погибла от случайного выстрела пьяного придурка, а девочку я заберу оттуда!

— Ну уж нет, сначала ты оплатишь все свои счета! — следователь подлетел к Стасу и схватил его за ворот свитера.— А когда выйдешь лет через пятнадцать беззубым уркой, если выйдешь, зачем ты будешь нужен ей тогда?!

От резкого толчка в грудь следователь отлетел к стене, но удержался на ногах. Они уставились друг на друга. Произойти сейчас могло все что угодно, и кто-то должен был сделать первое движение.

Наконец следователь потянулся рукой к кнопке вызова. Отворилась дверь, вошел контролер с наручниками.

— Уведите,— тихо сказал следователь.

На этот раз его ввели в одиночную камеру. Кровать была аккуратно застелена серым одеялом, в изголовье лежала подушка с наволочкой. Деревянный пол, раковина в углу — это был рай.

Он рухнул на койку.

Лежать пришлось недолго, снова заскрежетал замок в двери. В сопровождении контролера в камеру вошел следователь.

Стас сел.

— Я спущаю,— сказал следователь.

Стас неподвижно сидел на койке, кадык судорожно прыгнул вверх-вниз.

— Я хочу сделать официальное заявление

следствию.

Следователь не торопился, спокойно стоял возле раковины и ждал.

— Аданова с сожительницей убил я. Револьвер в Волге, где-то между Рыбинском и Песочным. Была ночь, вышел на палубу и бросил в воду.

Следователь пристально всматривался в лицо арестованного. Затевался новый виток какой-то странной игры, которую еще предстояло разгадать.

— Следствию потребуются доказательства.

— Я докажу.

— Мотивы убийства?

— Деньги. Кафе было лишь прикрытием, он контролировал игорные дела.

— Какие просьбы будут ко мне?

— Пусть меня оставят в этой камере до окончания следствия.

— Что еще?

— Все.

— Отдыхайте, — сказал следователь и вышел из камеры.

Стоявший в притворе контролер тут же закрыл металлическую дверь.

Кавалькада из милицейского УАЗа, РАФа и «Жигулей» свернула с Садового кольца на Люсиновскую.

Миновала развилку Каширского шоссе.

Перед мостом машины развернулись и встали у обочины. Слева за забором начинался фруктовый сад некогда пригородного совхоза, впереди справа — бетонный забор. Сзади — мост через глубокий овраг высохшего русла.

Захлопали дверцы машин. Охрана была из трех человек во главе со старшим лейтенантом, четвертый, в штатском, был пристегнут браслетом наручника к руке Стаса.

Следователь и прокурор-криминалист с видеокамерой о чем-то посоветовались, тем временем инспектор уголовного розыска с водителями усадили на переднее сиденье «Жигулей» муляжи.

Стас сидел на заднем сиденье. Охранник, пристегнутый к нему, стоял вплотную к открытой дверце. Видеокамера фиксировала следственное действие через переднюю дверцу, следователь задавал вопросы в микрофон.

— После выстрела она закричала и хотела вырваться, пришлось схватить ее за волосы.

— Покажите, как вы это сделали.

— Вот так, — показал Стас.

— Дальше?

— Я знал, что тайник оборудован у нее на даче. Не выпуская волосы, достал шнур.

— Револьвер оставался в правой руке?

— Нет, положил рядом на сиденье.

— Шнур доставали левой рукой?

— Правой, левой держал за волосы.

— Дальше?

— Накинул шнур на шею.

— Покажите, — следователь протянул ему кусок капронового шнура.

— Не смогу, наручник мешает.

Наручник и впрямь мешал проведению следственного действия, правая рука арестованного была пристегнута к руке охранника.

— Снимите наручник, — обратился следователь к оперативнику.

— Товарищ старший лейтенант?

— Ладно, сними, куда он денется, — разрешил старший лейтенант. — Диденко, встань к левой дверце!

Охранник достал ключик и отстегнул наручник.

— Накиньте шнур на шею, как вы это делали, — продолжал уточнять детали следователь.

Стас накинул шнур на шею муляжа.

...Следственное действие подходило к концу. Старший лейтенант махнул водителю УАЗа, чтобы сдал машину назад.

Стас, выбираясь из «Жигулей», протянул руку охраннику, чтобы тот снова зашелкнул браслет на запястье. Охранник чуть наклонился и неожиданно полетел на асфальт от короткого удара в живот.

Это было безумием — пытаться бежать.

— Не стрелять! — заорал следователь охранникам, которые на ходу уже вытаскивали пистолеты. — Не стрелять!!!

А Стас уже вбежал на мост. Последний рывок, пока они сообразят. Высота пролета — метров двадцать пять — вполне достаточно, чтобы раскроить череп.

— Не стрелять!!!

Но у охраны свои проблемы — хлопнул предупредительный и тут же один за другим по ногам. Зацепили, но он был уже на середине моста. Приволакивая раненую ногу, метнулся к перилам. Его настигали.

Оставалось перекинуть тело через перила головой вниз, но и они уже все поняли.

Пуля вспорола плещ между лопаток, вторая попала в шею. Он сполз по перилам на мост. Когда к нему подбежали, он был еще жив. Перевернули на спину.

Следователь приотстал и с разбега врезался в охранников, расталкивая их в стороны. Опустился на колени.

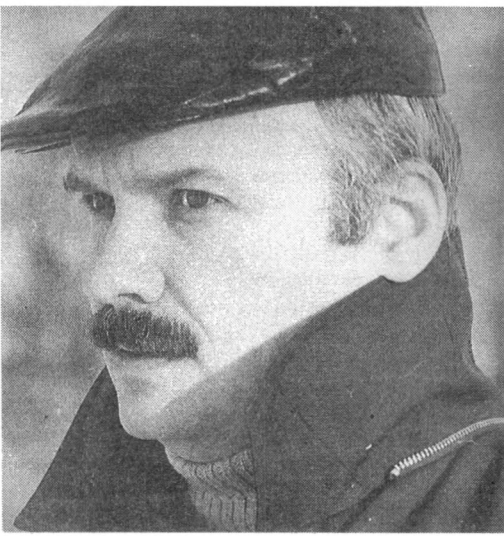
Стас открыл глаза. Лицо следователя расплывалось в тумане.

— Теперь... ты понял... это не я. Револьвер... — он закрыл глаза.

— Где?! Где револьвер?!

— В Волге... — выдохнул он. Веки отяжелели настолько, что поднять их уже не было сил.

Спустя три-четыре секунды он был мертв.



Владимир СУХОРЕБРЫЙ

КИНО В КИНО

— А что такое, интересно, случилось? — заговорил мужчина, оказавшийся Таниным сотрапезником у высокого круглого столика в буфете аэропорта. — Самолет поломался что ли? Какие, в черту, технические причины? Почему отложили рейс?

Позабыв о ряженке с булочкой, он вопросительно смотрел на Таню. Она обратила внимание на коричневый дорожный портфель, картонку, зеленый плащ и синюю шляпу, сложенные на их столе.

— Передавали, главное, что погода в Москве хорошая, и вот вам, пожалуйста, технические причины. Как прикажете понимать? — Он встряхнул бутылку с ряженкой, но, так и не сделав глотка, вновь обратился к Тане: — Не знаете? А я вам скажу — они не хотят гонять машину порожняком. Объединят пассажиров двух или трех рейсов и отправят одним самолетом. Рачительное отношение называется...

— Приятного аппетита, — сказала Таня.

Со второго этажа она спустилась на первый. Там, в одном зале с почтой и телеграфом, находился междугородный телефон-автомат. Таня вошла в кабину. Удивительное дело — с первой попытки удалось соединиться с Москвой.

— Добрый день, — сказала она. — Мне нужен Плотников Сергей Игоревич.

— Его нет, — ответили из Москвы.

— А где он? То есть когда он будет? — спросила Таня.

— Обождите секундочку, я сейчас узнаю. Вы можете обождать секунду?

— Да, конечно.

Поиск ответа на ее вопрос заняли не менее трех минут, и Таня, растроганная любезностью незнакомца, все это время безмолвно одну за другой опускала в автомат

монеты. Из кабины ей было видно, как приземлился ТУ-134 и подрулил к зданию аэропорта. Объявили прибытие самолета из Харькова.

— Алло, вы слушаете? — наконец прозвучало в трубке. — Сергей Игоревич поехал во Внуково встречать кого-то. Говорят, что сегодня его не будет.

— Благодарю вас.

Таня вышла на улицу. День был солнечный, но ветер дул по-осеннему холодный. Она поправила на шее пестрый японский шарфик и взглянула на свое отражение в стеклянной стене. Силуэт ее точно копировал силуэты самых экстравагантных журналов мод. Придирчиво осматривая светло-коричневое кожаное пальто в сочетании с кремовой дорожной сумкой, висевшей у нее на плече, и сапогами точно такого же цвета, она не обнаружила в своем одеянии никаких прорех — все наилучшим образом сочеталось одно с другим. Хорошо подобранные цвета в мутноватой зелени стеклянной стены обрели ее большее равновесие, и Танино отражение впрямь походило на глянцево-отпечаток в богато иллюстрированном журнале...

Самолет приземлился во Внуково.

Спускаясь по трапу, Таня взглянула на часы. Они показывали четверть седьмого. Для осени это поздно, темно, как ночью.

В нескольких метрах от трапа рядом с автобусом Таня увидела «Жигули», прислонившись к которым стоял Сергей. Как большинство молодых мужчин, никогда не расстающихся с машиной, он не носил пальто, ходил в свитерах и куртках.

— Как ты проник сюда? — удивилась Таня.

— Какая разница! Главное, что проник. Цветы, извини, завяли, и я их выбросил.

Сергей поцеловал Таню, помог ей расположиться в салоне сзади и сел за руль. Машина, обогнув самолет, помчалась к воротам аэродрома.

Пошел дождь, шоссе стало мокрым, скользким, но Сергей и не думал сбрасывать скорость: стрелка спидометра замерла на отметке 110.

— Скорости не боишься? — спросил Сергей.

— Боюсь ужасно. Но с тобой мне не страшно, с тобой спокойно. Хорошо, когда можешь кому-то довериться, — отпускают нервы, стихает нытье под сердцем. Тебе, наверное, этого не понять.

— Ну почему, — возразил Сергей.

В гостиничном номере Таня подошла к окну, выходящему на Москву-реку. За рекой, на Раушской набережной, клубами свинцового цвета дымили в сырой темноте высокие трубы электростанции. Справа, по Москворецкому мосту, на Большую Ордынку и обратно бежали машины. Из-под моста вынырнул катер. На черной воде, забранной в гранитные берега, в рассеянном свете своих огней белый катер как будто фосфоресцировал. Он медленно проследовал в сторону Южного речного вокзала, казалось — погас в ночи.

Пальто она повесила в шкаф, достала из сумки платье, связанное из тонкой шерсти болотного цвета, разложила на кресле. Мыло, кремы, шампунь, зубную щетку и пасту, лаки для ногтей четырех цветов, всевозможные аэрозоли, помады, духи — все аккуратно расставила на стеклянной полочке в ванной комнате, прикрепленной над умывальником вместе с зеркалом. Что-то ей не понравилось в расположении предметов, и Таня принялась переставлять эти баночки, скляночки, тубики, коробки, пузырьки, флаконы, пытаясь составить новую порфюмерную композицию. Неизвестно, как долго она искала бы равновесие форм и цветов, если бы не зазвонил телефон.

— Алло.

Отдавая ключ дежурной по этажу, Таня сказала:

— Я сейчас иду в ресторан...

— Идите, куда хотите.

— А потом вернусь...

— Это ваше личное дело, — опять не дала договорить дежурная.

— Что вы такая нервная? — спросила Таня.

— Ничего я не нервная. Просто мне нет никакого дела до ваших передвижений.

— Так вот, я вернусь не одна. Со мной будет гость. Мужчина.

— Ну и что, что мужчина?

— Пожалуйста, не забудьте позвонить без пяти одиннадцать ко мне в номер и напомнить, что гостю пора уходить.

— Ну нет, — сказала дежурная. — Любишь кататься, люби и саночки возить. Чего захотела: она там будет клиента раскалывать в кабке, а дежурная должна воевать с ним потом, выгонять из номера. Сама, если совести нет, динаму ему устраивай.

В ресторане Таня не удержалась от искушения — изобразила коридорную сценку Сергею.

— ...Дежурная так и сказала: «Сама, если совести нет, динаму ему устраивай».

Сергей смеялся до слез.

— Смешно. Очень даже смешно. А зачем же мне уходить в одиннадцать?

— Устала смертельно, — призналась Таня.

— Так сразу бы мне и сказала. При чем здесь дежурная, право? Нашла к кому обращаться!

— Ты только не обижайся, — попросила Таня. — Я действительно крупно устала. Проплюсь...

— Перестань. А то в самом деле обижусь.

Таня съела салат, ростбиф.

— Ну и что же ты сочинил для меня? Расскажи, не терзай молчанием.

— Сперва кое-что посмотрим, потом уж поговорим, — сказал Сергей. — Зал у нас завтра в два. На Шаболовке. Я буду ждать внизу. Подъедешь минут за десять. Смотри, как следует выпись. Имей в виду, что завтра не ускользнешь от меня ни под каким предлогом. Надо поддерживать реноме любовников.

— Какие мы к черту любовники, — вздохнула Таня. — Видимся раз в полгода. Кроме реноме, как ты говоришь, ничего у нас в сущности нет. И вообще мы зря все это затеяли.

— Почему же зря?

— Любовники, как я понимаю, должны быть прежде всего эгоистами. Отношения у них, так сказать, потребительские. А у нас?

— И у нас не хуже, — сказал Сергей.

— Ничего подобного. Ты вот заботишься обо мне. Хочешь чем-то помочь. Эгоист не должен этого делать.

— Не знаю, не знаю, — возразил Сергей. — Мне ведь хочется упростить географию для удобства. Разве это не эгоизм?

— Нет, конечно. Для эгоиста это было бы слишком хлопотно. Гораздо проще подыскать мне замену по месту жительства.

— Но мне нужна ты.

— Тогда это нечто совсем другое, — сказала Таня. — Тогда я что-то вроде вто-

рой жены. Дублер, как у космонавтов. Я как бы есть, и в то же время меня как бы нет.

На крошечной ресторанной эстраде заголосила и заиграла рок-группа, разговаривать стало трудно. Сергей взял Таню за руку и повел танцевать.

В просмотрном зале их ждала монтажер. Ответив на приветствие Плотникова, она с нескрываемым любопытством осмотрела Таню — ах вот оно что, все ясно! — села за микшер.

Начался просмотр. Он весь посвящался боксу, а именно Вадиму Ларину, высокому худощавому средневесу, лишенному внешних признаков атлетизма.

— Я думала, что у всех боксеров широкие плечи, арбузные мускулы, — сказала Таня.

Жилистые руки боксера походили на плети. По сравнению с другими бойцами он выглядел на ринге довольно пассивно, но противники его то и дело падали.

— Вадим работает вторым номером, на контратаках, — объяснял по ходу Сергей. — Он редко использует серии, отдавая предпочтение кинжальным одиночным ударам вразрез атакам противника. Как видишь, удары эти обладают сокрушительной силой и часто приносят победы досрочно.

— Нокаутом называется?

— Да, нокаутом.

Следы увечий — скошенная правая бровь, искривленный нос, рубец на скуле — внушали с экрана определенный страх. Глаза смотрели с пугающим безразличием, холодно. На вопросы именитый боксер отвечал как бы с некоторой неохотой, но вполне обстоятельно, за словом в карман не лез.

Его спрашивали:

— Говорят, когда ты пришел первый раз записываться в секцию бокса, тебя не приняли. Мы знаем немало аналогичных случаев. Например, артиста Юрия Никулина в свое время не приняли на актерский факультет, Федора Шаляпина не взяли петь в хор. Как ты относишься к таким роковым ошибкам?

Он отвечал:

— Со мной никакой ошибки не было. Я пришел записываться, когда набор уже кончился. Поэтому меня не приняли.

— Скажи, почему ты выбрал именно этот вид спорта?

— Хотелось научиться драться.

— Зачем?

— Ну мальчишкам без этого трудно.

— И все?

— Все.

— А потом?

— Потом втянулся.

— Чем ты объясняешь свои достижения на ринге? Трудолюбием? Природными данными? Хотелось бы знать секрет успеха.

— Никакого секрета нет, — отозвался Ларин, поерзав на стуле. — Просто я уникам. Вы же знаете, как я бью. Некоторые называют мои кулаки чугунами. Этим все объясняется.

— Ты родился с такими чугунами?

— Нет, их сделал такими Владимир Дмитриевич Толмачев. Я всем в жизни ему обязан.

Пленка кончилась, в зале зажегся свет.

— Итак, — подытожил Сергей, — двукратный чемпион Европы среди юниоров стал чемпионом мира в старшей возрастной группе, завершив большинство поединков досрочно. Спустя полгода он с трудом добился призового места на первенстве Европы, а еще через полгода проиграл первый же бой в чемпионате страны. На следующих соревнованиях, через год, Вадим Ларин потерпел новое поражение и больше на ринг не поднялся.

— Вот вам и уникам, — удовлетворенно сказала монтажер, как если бы сама послала чемпиона в нокаут. — Вообще, мне кажется, здесь налицо дебилность.

— С чего вы взяли? — полюбопытствовал Плотников.

— У меня дебилный сосед, так этот Ларин, словно родной его брат. Я вам еще нужна, Сергей Игоревич?

— Нет, спасибо.

Монтажер вышла.

Плотников вел машину.

— Зачем ты эту бодягу показывал? — спросила сидевшая рядом Таня.

— Давай по порядку.

— Давай.

— Ну у нас здесь происходит сейчас революция, — сказал Сергей. — Ожидается революция в кадрах. Словом, речь идет о конкурсе на замещение вакантных мест. Многие захотят испытать судьбу и представят на конкурс работы. Несколько, я думаю, будет вполне пристойных. Значит, следует исключить возможность всякого риска. То есть ты должна опереться на такой материал, который обязательно выведет при всех обстоятельствах.

— Ты хочешь сказать, который невозможно ничем испортить.

— Если грубо, то можно и так. Тебе нужен персонаж-ракетоноситель, который выведет тебя на орбиту.

— Мне нужен персонаж, который поможет мне выразить как-то себя. Ну хотя бы в какой-то мере. Иначе скука, тоска зеленая.

— Этот боксер тебе и поможет выразить

свое эго. Разумеется, при помощи эзо, — попытался сострить Сергей. — Ларин живет в вашем городе, и ты легко его там отыщешь.

— Зачем?

— Ну как ты не понимаешь? Этот парень взошел на Олимп и тотчас с него свалился. Вчера он был богом, сегодня — ноль.

— Это участь всех чемпионов, — равнодушно проговорила Таня. — Кому это интересно знать?

— Всякий успех таит в себе драму, поэтому судьба чемпиона по боксу может быть интересна многим. Надо узнать, куда этот парень делся. Что с ним стало? Попытаться понять, почему он так быстро сломался. Словом, надо подробно исследовать случай.

— Ну кто же сегодня станет смотреть такое? Несколько лет назад — может быть... Но сегодня, когда все бурлит и рушится, сомневаюсь. Все это чепуха, выеденного яйца не стоит.

Машина притормозила на желтый свет, сменившийся тотчас красным.

— Нужен какой-нибудь бенц, — сказала Таня. — Какой-нибудь шухер нужен, а так — фанера. Без шухера сегодня нельзя, без шухера никак сегодня. Надо чем-то эпатировать публику, факты должны быть жареные. Да ты это знаешь лучше меня.

— Факты найдутся, — сказал Сергей. — А ты их слегка поджаришь, На то ты и режиссер.

— Извини, но факты жарятся не на студии, — заметила Таня.

— А где?

— Не знаю.

— Не знаешь, а говоришь... Пойми одну вещь: наиболее выигрышная тематика давно разобрана. Она изначально принадлежит элите. А Ларин, я думаю, в твоей ситуации — совсем неплохая карта. Надо только копнуть поглубже. Я думаю, там обнаружится интересное.

Вспыхнул зеленый свет, поток машин устремился вперед.

«Вот и вся твоя помощь, Плотников, — мысленно отозвалась Таня. — Дальше мне действовать вновь одной».

И она сказала:

— Знаешь, я хочу вернуться домой.

— Когда?

— Сейчас. Немедленно. Надо только захватить в гостиницу за вещами. Ты меня отвезешь?

— Что случилось? — спросил Сергей.

— Сама не знаю, — сказала Таня.

— Хандришь?

— Сама не знаю.

— Я понимаю, — говорил Сергей, — ты ждешь от меня чего-то большего. А я вы-

ступаю советчиком.

— Нет, не думай, я ничего не жду. Я давно и во всем полагаюсь исключительно на себя. Ты не думай.

— Ты женщина и вправе полагаться на своего мужчину.

— В том-то и дело: на своего.

— Я люблю тебя, Таня, но девчонок своих не брошу. Я без них не могу. Ты меня понимаешь?

— Почему ты решил, что я этого жду?

— Извини. Наверное, я что-то не то сказал.

Плотников поставил машину у входа в «Россию» и вместе с Таней вошел в гостиницу.

Сергей, накрывшись до пояса одеялом, полусидя курил на кровати и наблюдал за Таней, разливавшей молоко по стаканам. На ней были вьетнамки и мужская сорочка в мелкую клетку.

— Хорошо сейчас было, — сказал Сергей. — Как никогда. А тебе?

— С тобой? — уточнила Таня.

— Со мной. Без меня.

— Без тебя, наверное, было. Может быть, и получше было.

— Какая ты все же вредная, — заметил Сергей.

— Нет, я не хотела тебя обидеть, — сказала Таня, надевая джинсы. — Просто в моей жизни была беседка.

— При чем здесь беседка?

— При том, что беседка — это беседка. А замызганный гостиничный номер — совсем другое. Ни шелеста виноградных листьев, ни запаха резеды, расцветающей лепестками медно-красного цвета... Стекло и бетон. Бетон и стекло.

Таня подала Сергею стакан молока.

— Спасибо, — сказал Сергей. — Ты с кем-то спала в беседке?

— С мужем. Отец у меня был военным, и когда он ушел в отставку, они с мамой купили на юге дом. Дом и маленький дворик. Во дворе была беседка, и мы в ней устроили себе ложе. Из беседки сквозь крышу тянулся вверх тонкий ствол пирамидального тополя. Когда ветер задувал сильнее, вместе с молодым деревом начинала раскачиваться беседка, скрипели стены, гудела застланная жестью крыша, качался топчан, прибитый к одной из стен. По ночам нам казалось, будто мы проводим медовый месяц на клипере в океане и слышим, как скрипят над каютой мачты большого парусника, и чувствуем, как ходит волна под нами. — Таня сделала глоток молока. — Печень хочется?

— Нет, спасибо. Скажи, ты действительно собираешься в Москву перебраться?

— Да, хотелось бы утереть всем нос.

— Какой еще нос? Кому?

— Бывшему мужу, некоторым другим обидчикам... Полный идиотизм, конечно, но что поделаешь: фанаберия.

— Интересно,— задумчиво произнес Сергей.— Переехать для того, чтобы нос утереть кому-то. А наши отношения здесь как бы и ни при чем.

— А какие у нас отношения? Прячемся по гостиничным номерам. И так оно будет всегда. А мне хотелось бы появиться среди знакомых, хвастливо гордясь возлюбленным. Наши отношения похожи на воровство.

— Хочешь, я приеду к тебе?

— Хочу.

— Наведу там шороха. Все-таки уважаемый человек. Лауреат Государственной премии. Провинция на это всегда реагирует.

Самолет взлетел.

На земле стемнело, зажглись огни, а на высоте полета еще теплился свет закатного солнца.

В свободное кресло рядом с Таней плюхнулась грузная женщина. Подергав крупным неженским носом, служившим надежной опорой для мощных ее очков с толстыми коричневатыми линзами, сделанными, как могло показаться, из грубого бутылочного стекла, она сказала:

— Ба-а, вот так встреча!

— Дарья?! А я и не знала, что ты в Москве.

— Да, мотались с Луцевским в Останкино. Спихнули на всесоюзный экран такую бяку, что просто фу!

— А где Луцевский? — спросила Таня.

— Улетел предыдущим рейсом. Такую бяку спихнули — жуть! Ее в унитаз спустить, а они — по ЦТ. Кошмар!

Хлеб, ветчина, маринованные огурчики, зеленый горошек, масло, яйца, кастрюлька с картошкой — все это каким-то чудом уместилось на небольшом квадратном столе. Дарья ужинала в гостях у Тани. Разумеется, ужин проходил на кухне.

— Эх, пивка бы! — крикнула Дарья и потеряла ладоши.

— Чего нет, того нет,— сказала Таня.— Есть только водка. Растиралась, когда болела.

— Ну раз нет пива, давай «разотрем» твоим лекарством,— сказала Дарья.— А эта идея с боксером мне нравится. Я, конечно, в спорте не копенгаген, но там, по-моему, пахнет жареным. Пусть завернет. Покупаем. Мое редакторское чутье меня редко подводит.

Таня достала из шкафчика початую бутылку «Кубанской», наполнила рюмки.

— За тебя,— провозгласила Дарья.— Чтобы ты не болела.

Выпили.

Дарья смачно хрустела маринованным огурцом, мычала, наслаждаясь ветчиной и картошкой. Закусив, она заявила:

— Хорошо быть пьяницей.

— Не уверена,— сказала Таня.— С утра, говорят, голова болит.

— А ты думала! Во всем есть свои неудобства. Зато, говорят, к обеду уже нормально, если полечишься. До чего у тебя все вкусно!

Из крана капала в мойку вода, по радио тихо «кружился вальсок» Яна Френкеля, протяжно скулил закипавший чайник.

— Не пора ли повторить «растирание»? — осведомилась Дарья.

Хозяйка провожала гостью на трамвайную остановку. Иногда, как бандит, насканивал в темноте ветер, пытался сорвать одежду, пронизывал холодом.

— Поверь мне, идея классная. Пусть завернет. Покупаем...

На остановке захмелевшая Дарья проявила себя с неожиданной стороны. Увидев милиционера, она загорланила на всю улицу «Очи черные».

Лейтенант милиции, совсем еще мальчик с тонкими шелковыми усами, вежливо обратился к Дарье:

— Гражданка, держитесь в рамках. А то придется проводить в отделение.

— С таким красавчиком,— согласилась Дарья,— хоть на край света.

Пока лейтенант размышлял, как ему реагировать, Таня, пользуясь замешательством офицера, подтолкнула приятельницу в подошедший трамвай.

В вагоне Дарью разобрал смех, она послала лейтенанту воздушный поцелуй и сказала такое, что Таня едва не прыснула:

— Я тебе позвоню, красавчик! У тебя 02, если не ошибаюсь?

Трамвай, позвякивая, уехал.

— Клинический случай,— сказал милиционер.

Первым, кого Таня встретила, придя на работу, был Луцевский — главный редактор студии. Он вышел из бухгалтерии и направлялся в сторону своего кабинета. Заметив Таню, Луцевский (к чему бы это?) поздоровался с нею за руку.

— Зайдемте ко мне, если вы не торопитесь.

— Куда же мне торопиться? — сказала Таня.

— В буфет. К врачу. В парикмахерскую. Мало ли куда торопятся женщины в рабочее время,— миролюбиво произнес главный редактор.

— У вас хорошее настроение,— отметила Таня.

— Еще бы! — воскликнул он иронически.— Меня в очередной раз лишили премии, о чем я только что узнал в бухгалтерии. Проходите,— Луцевский отпахнул дверь.

Он не стал садиться за свой редакторский стол, а устроился в мягком кресле напротив режиссера.

— Говорят, вы что-то замыслили о Вадиме Ларине,— начал Луцевский.

— Это пока не совсем замысел, скорее намерение,— уточнила Таня.

— Не суть важно, как это называется, важно, что нам это очень нужно, и я это ваше намерение буду горячо поддерживать. У нас в темплане стоят два спортивных фильма, но никто, кроме вас, пока не приходил с конкретными предложениями.

— Видите ли, надо еще подумать,— неопределенно произнесла Таня, соображая, как ей лучше повести себя в сложившейся ситуации.

— Пожалуйста, думайте,— сказал Луцевский.— Кто вам думать не разрешает?

— Еще и разуждать надо кое-то.

— Узнавайте, думайте, словом, приступайте к работе как можно быстрее.

Зазвонил телефон. Луцевский подошел к столу, снял трубку.

— Алло... Перезвоните, пожалуйста, минут через... двадцать.

— Если есть спешка, то мне, пожалуй, лучше за эту работу не браться вовсе,— сказала Таня.— Материал для меня незнакомый, новый.

— Никакой спешки нет,— заговорил главный редактор, снова усевшись в кресло.— Но и медлить тоже не вижу резона. Готовьтесь, думайте, составьте сценарный план. Если возникнут трудности, приходите ко мне без стеснения. Статьи, насчет оператора. Советую взять Беднова. Он бывший боксер, это может быть вам полезно. Да и камера у него не трясется в руках.

Беднова она нашла во дворе. Он укладывал в «рафик» киноаппаратуру, готовился выезжать на съемку.

— Что он из себя представляет? — спросила Таня.

— Ларин что ли? Довольно неуклюжий дебил, но бьет, как из пушки,— сказал Беднов.

— Это было давно.

— Да, пожалуй. Не знаешь, куда шофер мой запропастился?

— Я видела, как он направлялся в буфет.

— Понятно, у него теперь ланч,— при слове «ланч» на губах оператора мелькнула усмешка.— Все время ест, все время ест — ненасытное существо.

Из здания студии вышел шофер. Он додал на ходу булку с сыром, что не могло не вызвать у Тани улыбку после характеристики, данной шоферу Бедновым.

— Ну что, господин Желудок, поедем? — спросил Беднов.

Ничего не ответив, шофер похлопал ботинками по колесам «рафика», затолкал в рот оставшийся кусок бутерброда и сел за руль.

— Где найти мне этого Ларина? — спросила Таня.

— Ну что за проблема? Раз человек живой, значит, его можно найти.

Оператор сел в «рафик» и уехал на съемку.

Шла тренировка, когда Таня появилась в спортзале. Шведская лестница, ринг, зеркальные стены, пневматические и насыпные груши, мешки, набитые резиновой крошкой. Чужой, неизвестный ей мир, неведомая работа.

Боксеры заканчивали бинтовать эластичными бинтами запястья и кисти рук, надевали перчатки.

— Первые номера атакуют, вторые номера защищаются,— объяснял задание тренер Толмачев.— Удары — любые. Апперкоты, свинги, прямые,— тренер говорил и одновременно показывал, как следует наносить удары и как от них защищаться. Он был чрезвычайно толст, с большим животом и в движениях походил на медведя, одетого в тренировочный шерстяной костюм изумрудного цвета.— Работать в темпе. Приготовились... Время!

Как только боксеры, разбившись на пары, начали отработку техники, Толмачев подошел к Тане:

— Вы кого-нибудь ждете?

— Да, я жду вас. И еще мне хотелось бы повидать Ларина, о котором я должна сделать фильм.

— Мне тоже хотелось бы повидать Ларина,— сказал Толмачев.

— Что, его не бывает здесь?

— Да, он у нас редкий гость.

— Скажите, как получилось, что Ларин так мало продержался в качестве чемпиона?

— Трудно сказать,— уклончиво ответил тренер.— Не хватило силенок. Одним силенок хватает надолго, другие сгорают быстро. Как спичечные головки.

— Спичечные, говорите, головки... Я вот думаю, что в каждом отдельном случае должны быть свои предпосылки. Правильно?

— Конечно. Раз на раз не приходится,— согласился тренер.

— Чем, по-вашему, случай Ларина отличается от всех прочих?

— Не могу ответить на ваш вопрос. Не знаю. И не нужно вам это.

— Мне надо понять, что к чему. Иначе получится: был себе чемпион да не стало. Нет ни морали, ни чемпиона.

— Не мудрите только,— посоветовал Толмачев.— Сделайте фильм о взлете Ларина. Этим вы напомним о высших достижениях нашего спорта и поставите Ларина в пример молодым спортсменам. Равняйтесь, дескать, на нашего прославленного земляка. Вот в чем заключается смысл вашей работы.

— Откуда вы знаете, в чем заключается смысл моей работы? — сухо спросила Таня.

— Как же не знать? Я опытный человек. Мне сорок три года. На десять лет старше Христа.

— И в сорок раз толще,— сорвалось с языка у Тани.

— Да,— улыбнулся тренер.— У нас с ним разные весовые категории. Скажите, а почему вам не сделать что-нибудь о балете? А? Музыка, лебеди-мебеди, эльфы там всякие — красота неопишутая! А у нас здесь что?.. Мой вам совет: создайте что-нибудь о балете. В крайнем случае о пинг-понге. А сейчас, извините, у меня работа. Желаю удачи.

Проснувшись утром, Таня полила стоявший на подоконнике вазон с фиалкой — единственный цветок в ее доме, прошла в ванную.

Кто придумал это наслаждение, душ? Таня сперва попробовала воду пальцами одной ноги, другой, намочила пятки, икры, колени, затем руками стала плескаться на плечи и грудь, наконец вошла, энергично растирая тело ладонями.

Через несколько дней Таню вместе с Бедновым и редактором фильма Дарьей пригласил к себе Луцевский.

— «...Вадим Ларин, имевший когда-то большие достижения в боксе,— читал им главный редактор письмо,— деградировал, забросил тренировочные занятия и в настоящее время не может служить примером для других спортсменов. На основании вышесказанного создавать о Ларине документальный фильм было бы глубоко ошибочно». Письмо подписано тренером Толмачевым и председателем спортивного общества.— Луцевский обвел взглядом присутствующих.— Кто хочет высказаться?

— А что тут выскажешь? Забодали тему,

и баста,— сказала Таня.— Но почему Толмачев сначала вел совсем иной разговор? Мол, сделайте фильм о взлете Ларина, пусть молодые спортсмены равняются на него, а потом, подумав, составил эту бумажку. Разве тогда он не знал о его, как там сказано, деградации? Впрочем, о чем говорить теперь, когда на корню зарубили дело?

— Ничего пока что не зарубили,— возразил Луцевский.— Конечно, мы не можем не считаться с таким письмом, но мы вместе с тем не имеем права жить под диктовку. Не такие теперь времена. Прежде всего нам надо выработать свою точку зрения. Возможно, она совпадет с точкой зрения Толмачева и его соавтора по письму...

— Обязательно совпадет,— сказал Беднов.

— Почему вы так думаете? — спросил Луцевский.

— Единным фронтом оно надежнее, поэтому точки зрения, как правило, совпадают. Чувство локтя — ни с чем не сравнимое чувство.

Беднов считал себя независимым человеком и таким вот причудливым способом, переча начальству, публично демонстрировал свою независимость, наталкивая на мысль о ложно понятых принципах демократии.

— Не ерничай,— словно отмахиваясь от назойливой мухи, устало бросила Дарья.

— Ну а если наша точка зрения, вопреки прогнозам товарища оператора, будет все-таки отличаться от той, с которой мы ознакомились, тогда будем думать, что делать дальше,— заключил главный.

«Городская библиотека им. А. И. Герцена».

Полная молодая женщина, так и хочется назвать ее «пышкой», выдавала читателям книги. Волосы у нее были черные, как жженая кость; от корней пробивались кошки рыжих волос.

— Простите, вы жена Вадим Ларина? — спросила Таня.

— Бывшая,— ответила библиотекарь.— А что случилось?

— Я режиссер телевидения,— представилась Таня.— Мы хотим сделать фильм о Вадиме. Не могли бы вы со мной побеседовать?

— С удовольствием. Только здесь, я думаю, не удастся,— она печально посмотрела на выстроившихся к ней читателей.— Через два часа я заканчиваю работу. Вы можете подойти к восьми?

Через два часа Таня стояла у входа в библиотеку. Холодный дождь срывал последние листья с намокших ветвей деревь-

ев, причудливой паутиной сплетенных в вечерней мгле. Гудел под мощными струями купол зонтика. Ровно в восемь на крыльце появилась Лина — так звали бывшую жену Вадима Ларина.

— Я могу пригласить вас к себе домой, — сказала она. — Это будет самое лучшее. Я живу за углом. Уютно, сухо. Выпьем кофе. Согреемся.

Пурпурные «Жигули», одиноко стоявшие напротив библиотеки, оказались собственностью бывшей жены боксера.

— Иногда меня спрашивают, — говорила она, осторожно выруливая на мостовую, — зачем я езжу в машине, когда мой дом совсем рядом. Но ведь это очень удобно. Машина заменяет зонтик и сапоги. Зимой заменяет шубу. Не представляю, как некоторые обходятся без машины.

— Трудно представить, — согласилась Таня.

Лина уловила язвительность Таниной реплики и поспешила исправить свою оплошность:

— Извините. У вас, наверное, нет машины. Но у вас такой вид... — она не закончила фразу.

— Слишком самодовольный? — спросила Таня.

— Я хотела сказать благополучный. Можно подумать, что у вас не только машина...

— А что еще? Нефтяная скважина в Персидском заливе? Хлопковые плантации?

— Может быть, — хохотнула Лина.

Лина перелила приготовленный кофе из джезвы в кофейник, поставила его вместе с сахарницей, чашками и сахарницей на серебряный поднос, подернутый черноватой, как копыт, окисью, и повела свою гостью в комнату.

— Квартиру получил Вадим, когда прощался, — рассказывала хозяйка. — Машину подарил на свадьбу отец. Он у меня главный врач загородной психушки. Наверное, слышала.

— Нет.

— Собственно, все подарил отец, — говорила Лина, с показным безразличием демонстрируя мягкую мебель, японскую стереоустановку, голубые китайские ковры. — Вам нравится у меня?

— Симпатично, — сдержанно отозвалась Таня.

— Приходите еще, если нравится. У меня здесь бывает общество. Люди разные, но встречаются занятные экземпляры. Говорят обо всем, обсуждают фильмы. Такие критики есть — заслушаешься. Чешут цитатами откуда хочешь. Музыка... В общем, проводим время.

— Гжельский фарфор, — сказала Лина,

как только Таня, расположившись в кресле, взялась за чашку с кофе. Подглазурная роспись кобальтом — бело-синие декоративные колокольчики — была украшена золотом. Витая ручка с акварельно-голубыми тенями также поблескивала золотыми нитями. На дисковидном кофейнике рисовался сказочной красоты петушок, окруженный венком из цветов и трав. Точно такой петушок кукарекал на дне сахарницы, куда хозяйка насыпала сухарей и сушек. — Таких сервизов считанные экземпляры. Отцу подарили, а я, так сказать, конфисковала. Хорошо иметь дело с психами. Разве нормальный подарит такую вещь? Нормальный лучше удавится.

— Где я могла бы найти Ларина? — спросила Таня.

— Не знаю. Я его год не видела. Год или около этого. Слышала, правда, будто он играет на бильярде в парке культуры и отдыха. Вроде бы выпивает даже.

— Кто вам сказал об этом?

— Тренер его, Толмачев. Он дружит с моим отцом. Они вместе боксировали когда-то, а теперь просят часы за шахматами. К слову сказать, Толмачев и познакомил меня с Вадимом. Это было в тот год, когда Ларин стал средневесом номер один.

— Скажите, при каких обстоятельствах Толмачев познакомил вас? — спросила Таня.

— Вы режиссер или следователь? — Лина недоуменно взглянула на гостью.

— Подробности имеют существенное значение: может появиться неожиданная зацепка, потом еще и так далее. Хотелось бы как можно точнее реконструировать ситуацию.

— Толмачев познакомил нас на вокзале, — припоминала Лина. — В тот день Ларин возвращался с чемпионата мира. Встречали с помпой. На перроне собрались спортивные деятели, ветераны городского бокса. Я тоже увязалась за своим отцом-ветераном. Толмачев, человек вообще угрюмый, в ожидании поезда был мрачнее обычного. Кто-то спросил, отчего Толмачев такой мрачный. И тренер сказал, что ему веселиться нечего, потому что у него уведут боксера: можно, дескать, не сомневаться — Москва уже сделала Ларину предложение.

— Не помните, кинохроника была на вокзале? Кто-нибудь снимал эту встречу?

— Да, там ходил человек с киноаппаратом, — на задумываясь ответила Лина. — Вадим еще интервью давал.

...На кинолентке встреча была снята довольно подробно. Подошел поезд — точное повторение первого кадра люмьеровского «Прибытия поезда» 1895 года. Из вагона вышел Ларин. Судя по всему, он не сразу

сообразил, что люди с цветами, собравшиеся возле вагона, встречали его. Далее следовало приветственное выступление председателя федерации бокса, но без звука. Аплодировали тоже без звука. Затем шло синхронное интервью с чемпионом. Качество фонограммы оставляло желать много лучшего, диалог сопровождался множеством посторонних шумов. Что-то гудело, скрежетало, лязгало.

Вертлявый человек с микрофоном сказал:

— Мы рады поздравить тебя с замечательной победой. Наконец-то твоя мечта сбылась.

— Я никогда не мечтал об этом,— возразил Ларин.

— Понятно: ты даже мечтать не мог о таком высоком достижении.

— Нет, вы не так меня поняли. Просто я попал к Толмачеву, а он уже сам все сделал. Он из меня, как говорится, человека вылепил.

— Что вы планируете на будущее?

— На будущее? Первенство Европы... Все давно расписано на бумаге. Что я могу планировать?

— Скажите...

Неожиданно грянувший марш «Прощание славянки» прервал интервью.

— Уберите музыку к чертям собачьим,— закричал в отчаянии человек с микрофоном.

Пленка кончилась.

Таня выключила экран и молча повернулась к Беднову и Дарье. Они вместе с ней смотрели хронику на монтажном столе.

— А парень занятный,— сказала Дарья.— Как ты считаешь? — спросила она Беднова.

— С такими кулачишками,— сказал оператор,— любой бы мог показаться занятым парнем.

— Давайте послушаем мою запись дальше,— предложила Таня и включила портативный магнитофон с записью своего разговора с Линой.

«Толмачев познакомил нас, и я пригласила Вадима в гости,— говорила Лина.— “Придете?” — спросила я. “Придем, придем”,— ответил вместо Ларина тренер. Не знаю, пришел бы Вадим один или нет, но Толмачев сдержал обещание, привел его к нам. Как большинство девчонок, я мечтала выйти замуж за знаменитость...»

Лина в своей комнате учила вязать Ларина. Спицы, выписывая в воздухе причудливые пируэты, никак не подчинялись боксеру.

— Это тебе не кулаками на ринге размахивать,— смеялась Лина.

Она взяла лежавший на тахте шарф, накинула Вадиму на шею.

— О, тебе синий цвет к лицу, я так и думала.

— Гармонирует с синяками?

— Иди-ка сюда,— она подвела его к зеркалу.— Нравится? Я специально для тебя связала.

Он молча смотрел на свое отражение. Лина коснулась пальцами рассеченной брови Ларина, осторожно провела по щеке, привстала на цыпочки и поцеловала в затвердевшие от ударов губы.

В это время в комнату вошел Толмачев.

— Виноват,— сказал он.— Простите, что так некстати, но велено звать к столу. Завидую вам,— добавил он заговорщическим шепотом.

Во время обеда Толмачев рассказывал:

— Все знают, какие мы большие друзья с Ильей Григорьевичем — отцом очаровательной Лины. Знаете, я всегда сожалел, что у меня нет сына, который мог бы жениться на дочери любимого друга, и мы таким образом породнились бы. И вот сидит с нами за столом Вадим, ставший мне настоящим сыном. И когда я сегодня вдруг обнаружил, как говорится, обоюдоострую симпатию молодых, я понял, что старым друзьям суждено быть сватами. Ну а Агнии Константиновне соответственно предстоит стать свахой.

— Какой-то заговор,— сказала мать, несколько не радуясь перспективе стать свахой лучшего друга мужа.— Что происходит? Что здесь за сватовство такое? Привели незнакомого человека...

— Агния Константиновна, вы не верите в любовь с первого взгляда? — спросил Толмачев.— Вспомните свою молодость.

— Какая еще молодость... то есть любовь? Илья, ты можешь мне объяснить?

— По-моему, что-то горит на кухне,— произнес Толмачев, испуганно вращая глазами и шумно вдыхая воздух расширившимися ноздрями.

За столом все стали принюхиваться.

— Я ничего не чувствую,— сказала мать.

— Ну как же... Определенно горит.

Толмачев с удивительным для его медвежьей фигуры проворством встал от стола и выскользнул из комнаты в коридор. Агния Константиновна настигла его уже в кухне. Ни одна из конфорок на газовой плите не горела.

— Зачем вам понадобилась эта выдумка? — гневно спросила мать.

— Агния Константиновна, как вы не понимаете, что я ради вас стараюсь?

— Ради меня?

— Ради вас, ради Лины, ради своего старинного друга Ильи. Вам просто необходимо как можно скорее выдать дочь замуж.

Сейчас-то вы меня понимаете?

— Еще меньше, чем за столом.

— Надеюсь, вы не забыли, как год назад ваша Лина сбежала из дому с каким-то бродягой.

— Почему «бродягой»? Он был профессиональным танцором, танцевал чечетку.

— Вы не станете отрицать, что она сбежала?

— Сбежала,— сказала Агния Константиновна.

— А почему? Потому что вы были против их отношений.

— Конечно, я была против. Мужчина — танцор... Это что-то не то. Это как бы и не мужчина даже. Стучит ногами, дергается. Несерьезно как-то для мужа.

— Я с вами согласен. Но боксер — совершенно другое дело, боксер — мужчина. Но речь сейчас не об этом. Через год ваша дочь вернулась, потому что чечеточник ее бросил.

— Нет, она его бросила. Поняла, что он ей не пара, и потом эта жизнь: гастроли, гостиницы... Не для белого человека.

— Как бы то ни было, она через год вернулась. А вы, как на грех, родили в это время ребенка.

— Ну и что? — насторожилась Агния Константиновна.— Разве нельзя в сорок лет родить?

— А то, что все думают, будто младенца привезла вам дочь, а вы записали его на себя.

— Зачем?

— Может быть, для того чтобы скрыть происхождения своей дочери.

— Чушь! — сказала Агния Константиновна.

— Дикая чушь,— согласился Толмачев.— Но люди думают так, как им хочется думать. Люди любят приукрасить действительность. Жизнь в нашем городе настолько бедна событиями, что только сплетни скрашивают ее.

— Меня не интересуют сплетни.

— Напрасно. Сплетни — это барометр настроений, ртутный столбик общественного давления. Жить, не следя за сплетнями, все равно что пускаться в плавание, не интересуясь погодой. Надо же знать, когда паруса поставить, когда их наоборот — убрать. Надо ориентироваться в океане жизни.

— И каждый раз при помощи сплетни?

— Не надо передергивать,— сказал Толмачев.— Родные и близкие пациентов Ильи Григорьевича, учитывая особенности такой лечебницы, как психоневрологический диспансер, хотя бы видеть на посту главврача человека кристально чистого, с незапятнанной репутацией. Сплетня может ему повредить, а замужество дочери сразу погасит

ненужные кривотолки. Я вам дело советую, а вы на меня так смотрите, будто я ваш заклятый враг. Не враг я, Агния Константиновна. Друг.

— Зачем так громко? Громким словам не верят.

— Как с вами трудно,— вздохнул Толмачев.— Вы ни во что не верите. В любовь не верите, в дружбу не верите.

— Я не верю вам,— сказала Агния Константиновна.

— Почему?

— Не знаю. Оставьте меня в покое.

— А я объясню вам. Хотите?

— Мне все равно.

— Вы догадываетесь, что я преследую какую-то цель, и поэтому мне не верите. Вы хотите понять, почему я, Толмачев, занимаюсь сватовством? Почему я спешу? Чем объясняется мой напор?

— Какую же цель вы преследуете? — спросила Агния Константиновна.

— Мне надо, чтобы Ларин как можно быстрее обзавелся женой, квартирой, детьми. Если он не пустит у нас здесь глубокие корни, его куда-нибудь перетянут. Чем-нибудь соблазнят. Как видите, моя тайная цель не содержит для вас никакой угрозы.

Встревоженные долгим отсутствием Агнии Константиновны и Толмачева, Лина с отцом оставили Ларина за столом одного и прошли на кухню.

— Кто вас звал? — всплеснула руками мать.

— Что здесь случилось? — спросил отец.

— Ничего не случилось. Идите, идите в комнату.

— Никуда я не пойду,— сказала Лина.

— Иди,— повторила мать.

— Не пойду.

— Иди!

— Я буду здесь,— Лина подсела к кухонному столу, взяла пирожное.

— Положи пирожное,— сказала мать.— Я скоро подам горячее, потом будешь лопать пирожные.

— Мне не помешает,— сказала дочь, уплетая трубочку с кремом.

Лину не удалось выпроводить из кухни, и Агния Константиновна переключилась на мужа.

— Ну а тебе чего?

— Я хочу зеленого чаю,— сказал Илья Григорьевич, споласкивая под краном заварочный чайник.

— Сперва будет утка, потом чай.

— Лучше наоборот: зеленый чай, потом утка. Восточные люди считают, что чай способствует пищеварению.

— Господи, какие же вы одинаковые, какие вы... упрямые! С вами ни о чем невозможно договориться. Я из-за вас раньше

времени постарела. Мне страшно в зеркало на себя смотреть. Делайте, что хотите!

Кассета кончилась.

— Легко представить, — сказала Таня, — какие чувства переполняли Агнию Константиновну, принужденную обсуждать с Толмачевым вопросы столь деликатного свойства. Она бы с удовольствием выставила его за дверь, если бы не одно обстоятельство: сплетня на самом деле была никакой не сплетней — сбежавшая дочь вернулась домой с трехмесячным мальчиком на руках.

— Понятно, — сказал Беднов.

— Вскоре после свадьбы у Лины созрел план: ну что им здесь прозябать в провинции, если можно в Москве поселиться.

— ...Говорят, тебе предлагают в Москву переехать? — спросила Лина вошедшего в спальню Ларина.

— Предлагают, а что?

— А то, что мог сказать об этом и мне.

— А ты хочешь в Москву?

— Естественно.

— Почему «естественно»?

— Потому что в Москву хотят все. Ты, наверное, один не хочешь.

— Я этого не сказал, — возразил Вадим.

— Значит, мы едем в Москву?

— При чем здесь мы? Меня в Москву приглашают, а не тебя.

— Но я ведь твоя жена.

— Ну и что?

— Ничего себе заявление, — Лина была шокирована. — Как это «ну и что»? Мы — супруги. Мы с тобой расписались.

— Плевать мне на эти росписи. Я человек свободный. Понимаешь? Свободный. Я могу ехать, могу не ехать. Но без этого... без поклажи.

— Я для тебя поклажа?

— Поклажа, — сказал Вадим.

— Спасибо.

— А что ты так обижаешься? Я ведь женат на тебе фиктивно.

— Фиктивно?!

— Да, меня Толмачев попросил об этом. Сказал, что надо тебя прикрыть. Тебя и твоих родителей. Толмачев сказал, что ты родила от какого-то там танцора, что родители зачем-то усыновили твое дитя... Ну я не стал особо вникать, мне без разницы, кто кого там усыновил, родил... Меня попросил Толмачев, и я его просьбу выполнил. Но это не значит, что я должен таскать тебя за собой, как собственный чемодан.

— Женился фиктивно, а спишь со мной не фиктивно, — упрекнула Лина Вадима.

— Я боялся тебя обидеть. Но теперь, когда

ты решила меня оседлать... Со мной такие номера не проходят. Я могу делать вид, будто бы я твой муж, могу с тобой даже спать, а дальше — аут.

— А ты знаешь, Толмачев меня тоже просил о чем-то, — сказала Лина, мстительно закусив губу.

— Ну о чем же?

— Просил побыстрее родить тебе сына, а то и двух. Он боится, что тебя пережнет Москва. А так, он думает, ты завянешь.

— Толмачев просил тебя об одном, а ты хочешь сделать совсем другое.

— Да, Толмачев немножечко просчитался. А в Москве мы сможем потом разбежаться в разные стороны, если нам не понравится вместе.

— Ну и дрянь же ты!

Взбешенный Вадим кулаком проломил пустотелую дверь спальни, в кровь разбив руку.

Таня, Беднов и Дарья шли по длинному коридору студии.

— Кое-что, как видите, удалось нащупать, — говорила Таня. — Безусловно, Лина склонна слегка приврать, пропустить материал сквозь горнило своей воспаленной фантазии, и все же факты останутся фактами. Толмачев познакомил Лину с Лариным — это раз. Ларин играет на бильярде в парке культуры и отдыха, о чем узнала Лина от Толмачева, — два. Тот же Толмачев это скрыл от меня. Это три.

— Интересно, чего Толмачев опасается? — спросила Дарья.

— Барышни, но только не надо играть в сыщиков, — взмолился Беднов. — Трупов, слава Богу, в нашей истории нет, а живые нам все расскажут.

После долгих дождей потянуло холодом, лужи на аллеях парка покрылись коркой ломкого льда и трещали под каблуками, точно промерзшие ветки в зимнем лесу. В парке темно, безлюдно.

Таня подошла к бильярдной, из которой с шумом вывалилось трое парней. Испугавшись, она притаилась за деревом.

Одним из троих был Ларин. Он подталкивал в спины парней и кричал:

— Подонки! Сволочи! Ну я вам сейчас устройю! Вы получите у меня за это! Я вам выпишу харч...

Тот, что был от Ларина слева, коротконогий, большоголовый крепыщ, сильно смахивающий на дородного карлика, ударил локтем его в живот. Второй ударил по голове. Вадим упал, и они с остервенением принялись избивать боксера ногами. Били долго

и беспощадно. Таня, боясь, что не сможет сдержаться и закричит, закусила руку, зажмурилась. Когда стихли удары и двое избивших Ларина вернулись обратно в бильярдную, она открыла глаза и увидела лежавшего на земле Вадима. Набравшись храбрости, Таня подошла к боксеру, присела на корточки, провела по окровавленному лицу рукой.

— Вставай, я тебе помогу,— сказала она.

Ларин поднялся и, ни о чем не спрашивая, послушно побрел за Таней. Его заметно покачивало из стороны в сторону, и желание обрести под ногами твердость отразилось напряженной сосредоточенностью в лице. У выхода из парка культуры ему стало плохо: начался приступ рвоты. Рвало так сильно, что он потерял сразу силы, длинные журавлиные ноги вдруг затряслись, и Вадим упал, воткнувшись коленями в землю. Через некоторое время, минут через пять, он все-таки сумел встать и, глядя налитыми кровью глазами, спросил:

— Зачем я тебе?

— Надо швы наложить. Тебя сильно избивали,— сказала Таня.

— Ну допустим.

— Надо швы наложить,— повторила Таня.

— Ну так давай... накладывай.

— Что накладывать?

— Швы накладывай! — рявкнул Ларин.

— Но это не здесь.

— А где?

— Мы подведем сейчас в травмопункт.

И там тебе сделают все, что надо.

— А мне ничего не надо.

— Надо, надо.

— Не надо.

— Надо.

— Ошибаешься,— сказал Ларин.

— Мы возьмем машину и поедем сейчас в травмопункт. И там буквально за десять минут тебя приведут в порядок, заштопают.

— Надо ж какие специалисты! Тьфу! Пусть они себе болт заштопают. В гробу я видал твоих травматологов-гинекологов. И не думай, что меня так легко провести. Не надо! На на такого нарвалась, детка! Я знаю, ты вместе с ними, но со мной такие понты не проходят. С Вадимом Лариным так не шутят. И если ты сейчас не исчезнешь, я тебя сдам, шалаву.

— Куда меня сдать? — поразилась Таня.

— Куда? — Ларин многозначительно помолчал.— В ментовку тебя я сдам. Поняла? Так что катись отсюда.

— За что же меня в ментовку?

— А за что.. они сами там разберутся. Не маленькие. Подсказывать им не надо. В ментовке, слава Богу, не дураки сидят. Это только ваша блатная шваль думает, что там дураки собрались. А там есть такие..

люди, что видят насквозь любого. У них не глаза, а рентгены.

— Ты меня с кем-то спутал,— сказала Таня.

— Ошибаешься!

— Правда, правда. Я вовсе не та, за кого ты меня принимаешь.

Ларин достал из кармана куртки милицейский свисток на серебряной цепочке, повесил его на шею и произнес надменное:

— Дз эн дз.

— Это что за буквы такие магические? — спросила Таня.

— Добровольная народная дружина. Понятно? — с еще большим высокомерием отозвался Ларин и, взяв свисток в зубы, с непонятным ожесточением стал сверлить застывшую вечернюю тишину обширного парка.

Ларин свистел так долго, что за это время могла бы съехаться вся милиция города, и тем не менее никто не откликнулся на пронзительные призывы о помощи. Выплюнув свисток, Вадим сделал хотя и странный, но смелый вывод:

— Значит, менты повязаны с вами. Коррупция. Ладно, иди. Я не трус, но с мафией связываться не собираюсь. Мафия — это мафия. Не желаю... пачкаться...

Взвывла сирена, и «Москвич» желто-синей милицейской окраски подехал к Вадиму и Тане, неприятно мигая мертвенным синим светом. Из машины выскочили два милиционера — рядовой и сержант.

— Наконец-то,— сердито произнес Ларин.— Пока до вас досвистишься, меня могли разуть и раздеть.

— Кто такой? — строго спросил сержант.— Документы есть?

— Ларин. Член дз эн дз. Опорный пункт номер четыре. А вот и мой документ.

Пока сержант рассматривал книжку члена добровольной народной дружины, рядовой произнес, как видно, со свойственной ему прямоотой:

— Да он же пьян, как свинья.

— Почему же «как»? — возразил сержант.— Он и есть свинья.— И, обращаясь к Тане, спросил: — А ты кто такая?

Не успела она ответить, как рядовой поспешил вмешаться:

— Пальтишко на ней зажиточное. Стоит не меньше тонны. И сапожки фарцовые. В магазине таких не водятся.

— Вот именно,— сказал Ларин.

— Заткнись! — прикрикнул на него сержант.— Садитесь в машину. Поехали.

Сержант с задержанными сел сзади, рядовой — за руль, и машина под вой сирены рванула из парка.

В отделении милиции Таня была помещена в одну камеру с Лариным. Раскинувшись на нарах, Вадим страшно храпел. Храп иногда прерывался кашлем, стонами, непристойными звуками.

Таня, прислонившись спиной к двери, с отвращением наблюдала за героем задуманного произведения.

— Какой-то нелюдь, — пробормотала она и стала с силой бить по двери кулаками. Открылся глазок, из коридора спросили:

— Ну что вы шумите? У нас ЧП. Начальник приедет утром. Наберитесь терпения, ждите, — глазок закрылся.

— Я буду жаловаться! — закричала Таня, продолжая колотить кулаками в дверь. — Вы не имеете права меня задерживать! Да еще в одной камере с этим дебилом!

— Других дебилов у нас для вас нет, — донеслось из коридора под громкий смех веселых охранников.

Забившись на нарах в угол, Таня под утро уснула. Когда она открыла глаза, перед ней стоял милиционер в чине ефрейтора.

— Вы свободны, — милиционер вернул ей студийный пропуск в темно-вишневой коже с золотым тиснением и принялся будить Ларина. — Эй, просыпайся! Вставай! И провалявай побыстрее!

— А начальник не будет с нами беседовать? — спросила Таня.

— Не будет. У него и так дел по горло.

— Амнистия, значит? — Таня поднялась.

— Амнистия.

— Но, может быть, протокол составите?

— Вы лучше не нарывайтесь. Идите, пока отпускают. А то ведь могут и передумать.

— Вам не кажется, что вы нарушаете права человека?

— А вы диссидентка? — насторожился ефрейтор.

— Нет. Но права бывают не только у диссидентов.

— Это уже что-то новенькое, — отозвался ефрейтор, продолжая трясти за плечо Вадима.

В кафетерии, занимавшем угол хлебного магазина, недавние узники пили кофе с банками.

— За что тебя сцапали? — спросил Вадим.

— А тебя за что? — вопросом на вопрос ответила Таня.

— Не знаю. Не помню. Совсем ничего не помню, — признался Вадим.

Через стекло витрины была видна улица. Мимо спешили прохожие, проезжали автомобили, трамваи.

— Много, должно быть, выпил, — сказала Таня.

— Да вроде не так-то много. Таблеток, наверное, в портвейн намешали.

— Кто намешал таблеток?

— В бильярдной, — сказал Вадим.

— А зачем это надо: мешать таблетки?

— Зачем? По-другому не сумели бы обыграть. Не сумели бы ободрать по-другому. Да вдобавок, кажется, еще избили. — Ларин потрогал рукой подбородок. — Скажи... между нами ночью что-нибудь было?

От такого вопроса Таня едва не поперхнулась кофе.

— Ну это уж слишком!

— Знаешь, только муху цеце не надо из себя здесь изображать. В милицию так просто не попадают. Да еще в одну камеру с мужиком. Или, может быть, ты за деньги? Тогда пиши сумму прописью.

Таня отодвинула чашку, вышла из магазина.

Остановив такси, она села рядом с водителем.

— Эй, мы еще увидимся? — крикнул Вадим, вышедший вслед за Таней.

— Надеюсь, что нет, — сказала она, но это мог слышать только водитель, тронувший в это время машину.

Таня сказала:

— Я хочу взять два месяца за свой счет и поставить в вашем театре спектакль. Хватит ерундой заниматься. Мне хочется поставить «Золушку».

— Чем же вас привлекла эта барышня по имени Золушка? — спросила главный режиссер театра Понаровская Эльжбета Вацловна.

Разговор происходил на сцене, где строилась декорация. Стучали молотки, передвигалась мебель, отрабатывались световые эффекты.

— Напротив, — сказала Таня, — она отталкивает меня. Я терпеть не могу девиц, мечтающих выйти замуж за принцев. Сегодня таких Золушек очень много, которые во дворец норовят прорваться. А работать, в золе копать, не любят.

— И как это сделать на сцене?

— Да очень просто. На роль Золушки назначается грубая, агрессивная актриса, и смысл, о котором я говорю, обязательно проявится в постановке.

— Вполне возможно, — сказала Эльжбета Вацловна. — Пожалуй, это могло бы быть интересно. Но «Золушку» мы ставить не будем.

— Почему вам не нравится мое предложение?

— Мне нравится предложение.

— Значит, не нравлюсь я, — сделала вывод Таня.

— Ошибаетесь. Вы мне понравились, —

сказала Эльжбета Вацловна. — И чтобы доказать вам это, я готова выдвинуть встречное предложение. Хотите поставить Пристли?

— Нет.

— «Месяц в деревне» Тургенева?

— Мне хочется поставить «Золушку».

— Для нас это нереально.

— Но почему?

— Потому что новую сказку мы планируем только через два-три года.

— Извините, — Таня стала сходить со сцены по лестнице. «Мое предложение остается в силе», — услышала она за спиной и, оглянувшись, спросила: — Какое предложение?

— Тургенев, Пристли, — напомнила Эльжбета Вацловна.

— Вы слишком великодушны.

— Возможно.

— Спасибо.

— Вам спасибо.

— Мне-то за что «спасибо»? — спросила Таня.

— За то, что пришли.

— А то к вам никто не ходит!

— Ходить-то ходят, но при этом одеваются так, будто идут просить милостыню. Нищий на паперти приличнее выглядит.

— Хотят разжалобить?

— Ну конечно. Хотят разжалобить. На все согласны заранее. Никакого уважения ни к себе, ни ко мне, ни к профессии.

— Для этого, я думаю, есть предпосылки.

— Какие? — спросила Эльжбета Вацловна.

— Их много, но все они сводятся к одному: довольно трудно получить постановку.

— Выкиньте это из головы, — сказала Эльжбета Вацловна. — Постановку не получают. Получают зарплату, пенсию, поздравительные открытки. Получают инфаркты, инсульты. А постановка, как власть: ее можно взять, добиться, отнять. Может быть, даже украсть, похитить, но только не получить. Вот вы, например, добились. Вы пришли, и я поняла, что вы должны у нас ставить.

— Тургенева или Пристли.

— У нас, как везде, есть план.

— Представьте, — сказала Таня, — приходит молодой писатель в издательство и приносит «Страдания юного Вертера». Хорошая книжка, говорит издатель, но у нас, извините, другие планы. Сегодня нам нужен «Фауст». А «Фауста» молодой писатель пока написать не может. Для этого должны пройти годы.

— Вы мне вот так надоели. — Луцевский указательным пальцем ткнул в свой кадык. — Все! Взялись снимать — снимайте! Вы

обязаны довести до конца работу. И не хочу ничего больше слышать. — Главный редактор в своем вращающемся кресле повернулся к Тане спиной, лицом к окну.

— Но поймите, — сказала Таня, — я не могу общаться с этим... Пусть кто-нибудь другой доведет за меня работу, а мне поручите что-то другое.

— Пока не сдадите картину о Ларине, ничего другого вы не получите. Все. Свободны.

Подумав, Таня спросила:

— Может, мне написать заявление?

— Заявление? — Луцевский повернулся к Тане лицом. — Какое еще заявление?

— Об увольнении с работы по собственному желанию.

Луцевский открыл ящик письменного стола, достал чистый лист бумаги и молча положил его перед Таней, с любопытством следя за ней. Таня взяла одну из торчавших в письменном приборе ручек, написала заявление, пододвинула его Луцевскому. Главный редактор тотчас подписал и вернул заявление Тане. Выдержав испытующий начальственный взгляд, она скомкала лист, положила в пепельницу, подошла к зажимке и вышла из кабинета.

Кинокамеру установили на улице рядом со студийным «рафиком». Беднов снимал. Из-за спины оператора Дарья смотрела на Таню, находившуюся в кадре с микрофоном и пожелтевшей газетой в руках. Рядом с таней стоял мужчина в сером демисезонном пальто и кожаной кепке. Начался снег.

— Представьте, пожалуйста, — поприсала Таня.

— Зуев Игорь Петрович, — представился мужчина в пальто и кожаной кепке.

— В руках у меня газета, — сказала Таня. — Уже достаточно старая, пожелтевшая. Газете этой полтора года. Нашли мы ее случайно, но суть не в этом. В этом номере опубликована заметка под названием «Двойная медвежья услуга». В ней говорится, что тренер Толмачев и председатель спортивного общества «Локомотив» оказывают медвежьую услугу бывшему чемпиону мира Вадиму Ларину, который по сути дела бросил бокс, а ему тем не менее до сих пор выплачивают стипендию, предназначенную для действующих и резервативных бойцов. Таким образом, пишет корреспондент, руководство спортивного общества развращает Ларина и тратит государственные деньги не по назначению, то есть оказывает двойную медвежьую услугу: Ларину — раз и развитию бокса — два. Это ваша заметка, Игорь Петрович?

— Моя, — сказал Зуев.

— И вот за эту заметку полтора года назад вас уволили с работы. Правильно?

— Правильно.

— Объясните нам, почему.

— Факты не подтвердились, и меня уволили.

— А почему вы не проверили факты?

— Факты я проверял. Но казуистика, как известно, штука коварная. Ларин, по сути дела, действительно бросил спорт и заслуживал общественного порицания. Однако стипендия, если формально подойти к вопросу, ему полагалась.

— Ничего не понимаю,— призналась Таня.

— Ларин незадолго до этого выиграл первенство «Локомотива».

— Можно ли было утверждать в таком случае, что он бросил бокс?

— Безусловно,— ответил Зуев.— «Локомотив» для Ларина семечки. Ларин — человек-легенда, его кулаки принято было называть чугунными. Его побаивались. Он одерживал психологическую победу еще до начала поединка. Иногда напуганные противники вообще не выходили на ринг, и рефери без боя поднимал ему руку.

— Я не знала, что так бывает.

— Бывает. Если кто-то не выходит на ринг, значит, он признает себя побежденным.

— И долго он сможет продержаться за счет легенды? — спросила Таня.

— Нет. Он уже сошел.

— А вернуться мог бы?

— Не знаю. Он давно не верит в свои кулаки, а без этого побеждать нельзя.

— Скажите, почему Толмачев мешает созданию фильма о Ларине?

— Из осторожности,— сказал Зуев.— Его роль во всей этой истории не очень-то симпатична.

— То есть?

— А вы не поняли? Ларина загубил Толмачев. Загубил. Понимаете, загубил. Сперва он его нашел, подготовил, а потом загубил. Может, вы знаете, после чемпионата мира Ларин повредил себе где-то руку. Говорят, он на спор дверь кулаком прошиб. Не знаю, так это было, не так, но кисть себе Ларин сломал. Это факт. Не успела рука окрепнуть, не успел он восстановить спортивную форму, а его погнали соревноваться. Да, Толмачев не имел терпения. Чем это кончилось — хорошо известно.

— Спасибо,— сказала Таня.

В просмотровом студийном зале погас экран, одновременно вспыхнул свет. Рядом с Таней, на расстоянии одного кресла, сидел Толмачев.

— Я знаю, Зуев любитель умничать,— сказал Толмачев.— Ему кажется, что он разбирается в боксе. А ведь он всего-навсего дилетант. Дилетант с апломбом. Ему кажется, что все имеет простые и понятные объяснения. Ларин сломал себе руку, потерял спортивную форму, а я, Толмачев, который, конечно, раз в десять глупее Зуева, погнал своего подопечного биться на европейском первенстве. Так объясняет Зуев. Но это же чушь собачья. Не я определяю состав нашей сборной.

— Стало быть, во всем виноваты руководители нашей сборной? — спросила Таня.

— Нет, руководители сборной не виноваты.

— Допустим,— сказала Таня.— Руководители сборной не виноваты. Вы, разумеется, тоже. Но хоть кто-нибудь в чем-нибудь виноват, когда мы говорим о падении Ларина? Может быть, виноват сам Ларин?

— Наверное, в чем-то виноват я,— признался наконец Толмачев.

— В чем именно? — продолжала спрашивать Таня.

— Очень трудный вопрос,— Толмачев надолго задумался.— Я боялся, что Ларина переманит Москва, я боялся его потерять. Но Вадим в Москву не поехал, а я все равно потерял его. Такая история.

Печаль, прозвучавшая в голосе тренера, почти что кольнула Таню: вот уж не ожидала! И она смущенно спросила:

— Простите, я что-то не очень понимаю.

— Однажды... Как бы это вам объяснить? Ларин стал мне чужим. Вдруг я почувствовал, что мы чужие, и с тех пор вся работа пошла насмарку. Как все это произошло, убейте меня, не знаю. Не знаю, как это вдруг случилось, что мы стали вдруг чужими, но чувствую, что я виноват был в этом.

— Извините,— сказала Таня,— мне показалось, что у вас какое-то обостренное чувство вины перед Лариным.

— Может быть,— согласился тренер.— Когда Ларин пришел ко мне первый раз, я не принял его. Сказал, что набор окончен. Но дело было, конечно, не в этом, можно было его принять, но Ларин мне как-то не показался. К тому же он был из этого интерната, где содержат дебильных детей.

— Значит, он в самом деле дебил? — опешила Таня.

— Затрудняюсь сказать. Я ему тестов не предлагал, однако он вышел из этого интерната... Да, в те годы я сам уже не боксировал, но однажды меня попросили, руководство спорта попросило, и я рискнул. Тот бой окончился для меня плачевно: мое тело вынесли ногами вперед.

А ребята, которые у меня занимались, после такого моего фиаско перебежали к другому тренеру. И тогда опять появился Ларин. И тогда мне Ларин сказал: если я приму его в секцию, он научится боксу и отыграется за мое поражение. Человек я не очень сентиментальный, но тогда, признаться, едва не заплакал. Какое-то время я проводил занятия с одним воспитанником. Это был Ларин...

Толмачев неожиданно встал, прошел вперед и рукой приоткрыл занавес, за которым находился Беднов с кинокамерой.

— Я же дал вам полезный совет,— размеренно произнес Толмачев, повернувшись к Тане.— Создайте что-нибудь на тему пинг-понга. Зачем вам бокс? Кровавое это дело. А вы меня не хотите слушать. Кстати, Зуеву я тоже давал советы... Говорят, до сих пор не может на работу устроиться. Бедняга Зуев.

Возле Таниного подъезда топтались трое: Ларин и двое тех самых парней, что избili его тогда в парке. Час был поздний, гасли огни в домах. Дул холодный декабрьский ветер.

— Ты ее видел когда-нибудь? — спросил похожий на карлика парень, натягивая рукава нейлоновой куртки на озябшие без перчаток руки.

— Видел,— отозвался второй, одетый в легкий не по сезону плащ.

— Ну и как она?

— Какая разница! Мы же не свататься. Пугнем маленько, и все.

— Жаба, наверное?

— Нет, нормальная телка. Ноги там, задница — все как надо. На телевизионной работает.

— Зачем же ее пугать? — спросил Ларин.

— Толмачев сказал, что она суется, куда не надо. Сказал пугнуть, но не трогать. Сказал, если тронем, руки пообрубает.

— Ах как страшно! Ах как он меня напугал! Ах какой страшный человек Толмачев! — произнес с озлоблением низкорослый.

— А не он тебя из кичмана вытащил?

— Ой не надо!

— Тихо ты... твою мать! — сказал тот, что в плаще и повыше ростом.

Таня подходила к подъезду, на ходу вынимая ключи из сумки.

— Стоять! — выкрикнул низкорослый.

Таня оцепенела, испуганно глядя в темноту, откуда донесся повелительный простуженный голос. Она сделала шаг назад, и снова раздался воплеобразный выкрик:

— Стоять!

— Ладно, хватит,— вмешался Ларин.— Идите. Это моя знакомая.

— Ты что, охренел?! — с угрозой произнес низкорослый.

— Проваливай, я сказал!

— Что с тобой, дуся? — ласковым вкрадчивым голосом вывел парень, кутавшийся в холодный плащ.

Едва сверкнул в его руке нож, как он получил удар в подбородок и рухнул лицом вперед. Низкорослый дважды успел зацепить Вадима, прежде чем хлопнулся рядом с первым. Таня схватила боксера за руку, затащила в подъезд.

В квартире она заперла дверь на два замка. Тяжело дыша, подтолкнула Ларина в ванную, где он тщательно вымыл руки, смыл с лица кровь, вытерся протянутым полотенцем.

— Может быть, снимешь куртку?

— Да.

Он повесил куртку в прихожей на вешалку, прошел за хозяйкой на кухню.

— Ну что, вернулась вера в твои кулаки? — спросила она.

— А зачем она мне? Я давно сошел.

Таня налила два стакана томатного сока — себе и Вадиму.

— Знаешь, я все время надеялся тебя встретить,— промямлил Ларин.

— Деньги лишние завелись? — усмехнулась Таня.

— Извини, я не знал... я думал... Мы же встретились в таком месте. Я только не понял, как ты туда попала.

— В ментовку что ли?

— Угу,— Вадим осушил стакан.

— По твоей милости, но по собственной глупости. Тебя эти самые парни размазали по асфальту. А я отскребла и подняла. И хотела отвезти в травмопункт. А ты стал свистеть в милицейский свисток, и нас, естественно, замели.

— Да-а,— задумчиво произнес Вадим.— А я о тебе вспоминал потом.

— Может быть, я тебе нравлюсь? — спросила Таня.

— Может быть.

— Так, что дальше?

— Не знаю,— сказал Вадим.

Не в каждой курилке бывает так дымно, как в баре с огнедышащим названием «Метеор», что стоит на главной улице города с постоянно припаркованными к нему милицейскими «воронками». Такое впечатление, будто бы в баре специально собираются покурить. И курят не только за столиками, но и танцующие в обнимку пары — это как бы особый шик, как бы разврат особый. Ларин, танцуя с Таней, тоже хотел задымить, но она ему не позволила.

— Вадим, откуда такая телка? — спросил прыщавый мордovorот с косичкой, повиснув на отрешенно топтавшейся спутнице с до-
нельзя размалеванной рожницей.

— Тебе-то зачем?

— А вдруг там еще таких парочка об-
наружится?

— Нет, там была одна,— ответил Вадим
и спросил, обращаясь к Тане:— Тебе не про-
тивно здесь?

— Нет. Почему же! Хороший бар. При-
ятная публика,— лукавила Таня.— Только
давай присядем, а то ноги гудят с не-
привычки.

Они вернулись за столик и продолжили
разговор, потягивая коктейли из массивных
цветных стаканов.

— Так когда ты начнешь тренировки? —
спросила Таня.

— Зачем тебе это?

— Затем, что если тебе удастся вновь
вскарabкаться хоть на какую-нибудь ступень-
ку пьедестала почета, то моя картина полу-
чит иное качество. Появится интрига, этапы
драматической борьбы, падения, взлеты. По-
нимаешь, все станет сразу же интереснее.
Ты кино любишь?

— Я люблю художественное кино. С ар-
тистами. С музыкой.

— Вот ты и будешь теперь, как артист.
А музыку мы подложим. Музыка у нас
есть.

— Нет. Я уже сошел. У меня теперь
не получится.

— Это не по-мужски,— сказала Таня,—
складывать без боя оружие.

— Знаешь, о чем я подумал? Если бы ты
была моей женой, ты была бы Татьяной
Лариной.

— Очень заманчивая идея. Скажи, по-
жалуйста, почему ты женился на Лине?

— А ты с ней знакома?

— Пришлось познакомиться.

— Да, действительно,— задумался Ла-
рин.— Почему я на ней женился?

— Почему, действительно?

— Ну... не знаю. Сам не могу объяс-
нить. Бывает, что-нибудь сделаешь, а вот объ-
яснить не можешь.

— Так-таки и не можешь?

Вадим вопросительно посмотрел на Таню.

— Хочешь, я тебе помогу? — предложе-
ла она.— Ты женился на Лине лишь потому,
что тебя Толмачев попросил об этом. Не
так ли?

— Так.

— А вот этого, извини, я никак не могу
понять.

— Я не мог отказать Толмачеву,—
ответил Ларин.

— Но почему?

— Ну он же мой тренер. Как ты не
можешь понять? Он из меня человека сде-

лал. Тренер по боксу — это совсем не то,
что тренер по бегу. Он тебя учит не убегать,
а другому: он тебя защищаться учит. По-
стоять за себя. Ты становишься незави-
симым.

— Независимым от кого? От тренера?
Ладно, власть Толмачева над тобой мне те-
перь понятна,— сказала Таня.— Тренер по
боксу — это что-то вроде сенсея.

— Сенсей — это кто?

— Наставник. Наставник в высоком смыс-
ле этого слова. Женился, потому что ве-
лел наставник. От переезда в Москву от-
казался по той же простой причине — на-
ставник не одобрял.

— Да он ничего мне не говорил об этом,—
возразил Ларин.

— Но ты тем не менее знал об этом.
Лина ж тебе сказала, чего опасается Тол-
мачев и о чем он ее просил. Он боял-
ся, что тебя увидет Москва...

— Это его дела,— перебил Вадим.

— Да, он тоже так думал. Он думал,
что это его дела, а это были ваши
дела. Его и твои. Это были дела о б о и х,—
сказала Таня.— Ты ему доверял. Доверял
безмерно. А такое доверие не может быть
без взаимности. И когда ты узнал, что
твой Толмачев, вместо того чтобы выйти на
разговор с тобой, за твоей спиной подго-
варивает на что-то Лину, в тебе, должно
быть, что-то оборвалось. Толмачев, между
прочим, почувствовал это. Он говорит, что
ты стал в какой-то момент чужим, но как
это вдруг случилось, Толмачев не знает.
Он не знает, что ты Лина проговорила.
Но знает, что ты стал в какой-то момент
чужим, и этим объясняет твои неудачи.
Потеря доверия, по мнению Толмачева,
губительно сказалась на вашей работе. Я, ко-
нечно, не спец по части такой психоло-
гии, но, по моему, здесь все сходится. Как
ты считаешь?

После проведенного в задымленном баре
вечера на улице дышалось особенно хоро-
шо, чистый морозный воздух в холодном
свете люминесцентных ламп искрился разно-
цветными блестками невесомых кристалли-
ков, под сапогами скрипывал еще не утоп-
танный сахарно-белый снег, прохожие ки-
дались снежками, толкали друг друга в сугро-
бы, заливались до неприличия громким сме-
хом, где-то надрывался кассетник, а месяц
над зелеными куполами декоративно рас-
крашенной псевдорусской церкви пытался
спрятаться в размазанном по звездному
небу облаке.

Молчание провожавшего Таню Ларина на
фоне веселившихся там и здесь компаний
отдавало угрюмостью.

— Ну пока,— попрощалась Таня.

— Пока.

Вадим подождал, пока Таня вошла в подъезд, и побрел со двора.

Позвонили в дверь, и Таня, мывшая в это время на кухне пол, пошла открывать.

На пороге стоял Вадим. Он был в новом сером пальто с накинутым, словно хомут, красным шарфом на шею и в черной широкополой шляпе. В руках он держал бутылку шампанского, торт и цветы.

— Что за явление? — удивилась Таня.

— Да вот... решил навесить.

Из двери напротив появилась соседка с совком и веником и, осуждающе взглянув на Таню и ее гостя, принялась подметать и без того чистую лестничную площадку.

— Заходи, раз пришел, — сказала Таня и, пропустив в переднюю Ларина, сердито хлопнула дверь.

На снимаемая пальто и шляпы, Вадим уселся на кухонной табуретке между холодильником и столом, сложив на него гостинцы.

— Ну и зачем все это? — строго спросила Таня, прислонившись спиной к стене.

— Ты не любишь шампанское?

— Не люблю.

— Но хоть немного... Со мной за компанию. А то я могу обидеться.

— По-моему, с тебя достаточно. Ты где-то уже побывал в компании.

— Да, пропустил немного для храбрости.

— Почему «для храбрости»?

— Потому что робею, — сказал Вадим. — Знаменитый боксер, а в твоём присутствии робею. — Он достал из кармана потрепанный номер «Советского спорта» и показал свое фото: — В газетах, видишь, меня печатают.

— Это было давно, — сказала Таня.

— Зато теперь фильм про меня снимается. Правильно? Кстати, сколько мне за эту работу заплатят?

— За какую работу?

— За работу в кино.

— Понимаешь, это документальный фильм. В документальном кино не платят.

— Но-но, — хитро прищурившись, произнес Вадим. — Я слышал, в кино гребут башли лопатой. Мне один человек сказал, который знает... Он ехал с одним артистом в купе. И когда они вмазали, тот ему рассказал, как они гребут. Так почему я должен сниматься бесплатно?

— У нас за такие съемки не платят, — сказала Таня.

— А в Америке?

— Про Америку я не знаю.

— Тогда я посоветуюсь со своим адвокатом, — Вадим пересел с табуретки на подоконник (там стоял телефон), снял трубку, поправил на голове широкополую шля-

пу и накрутил пятизначный номер.

— Жёка? Здорово... А ты не узнал? Вадим... Ну конечно... Два года не виделись? Это срок!.. Нет, я развелся с этой фуфлыжницей... Да?! Ну ты молодец! Скажи, кто ты там у нас говна пирога: адвокат или кто?.. Тогда у меня вопрос. Меня в кино пригласили сниматься, в главной роли... Как называется? — Вадим поднял глаза на Таню. — Как кино называется?

— «Чугунные кулаки», — отозвалась Таня.

— «Чугунные кулаки» называется, — сообщил Вадим своему адвокату Жеке. — Не просто про бокс, про меня лично. Лично про мою автобиографию. А платить не хотят за съемки. Говорят, в документальном кино не платят... Почему же правильно?.. Ты так считаешь? Ну я потом тебе позвоню.

Вадим бросил трубку.

— Да, ты была права, — сказал он. — Но тебе все равно придется расплачиваться со мной.

— Натурой? — спросила Таня.

— Как-как?

— Чем, говорю, я должна заплатить тебе? Своим телом? Я правильно поняла?

— Извини. Я... кажется, выпил лишнего. — Ларин снял шляпу и провел по вспотевшему лбу рукой.

— Так когда тебе заплатить, сейчас? Или после того, как начнешь тренировки?

Таня стала расстегивать на халате пуговицы.

— Извини меня, извини, — пробормотал шокированный Вадим.

Поспешно покинув квартиру, он сбегал по лестнице вниз, выскочил из подъезда, вздохнул полной грудью, собрал с перил снег и умыл им лицо.

К спортивному залу «Локомотив» подъехал «рафик» Гостелерадио со съемочной группой фильма «Чугунные кулаки».

— Время! — громко произнес Толмачев, щелкнув секундомером.

Боксеры начали отрабатывать на снарядах технику.

Ларин, истязая себя до «пота градом», казалось, хотел уничтожить «грушу», задав пневматическому снаряду бешеный ритм: та-та-та, та-та-та, та-та...

Таня стояла перед камерой с микрофоном в руке и ждала Толмачева. Как только он вошел в кадр, помогавший оператору ассистент включил осветительные приборы, тихо зажуужал мотор камеры.

— По-моему, вы слишком далеко зашли, — сказал Толмачев, не дожидаясь Таниного

вопроса.— Ларин влюбился в вас, а вы им крутите, как вам вздумается.

— Я должна сделать вещь, а все остальное не так уж важно.

— Но есть же какая-то этика.

— Интересно, что именно вы заговорили об этике,— заметила Таня.— Скажите, Ларин мог бы снова всех победить?

— Мамонты, как известно, не воскресают,— сказал Толмачев.

— Мамонты?

— Да. Ларин уже ископаемое, пожелтевшая страничка в истории ринга. Так, по крайней мере, должно казаться нынешним фаворитам. Против мамонтов бьются особенно жестко: хотя доказать, что их время кончилось и нечего пугаться под ногами, мешать другим. Мамонт тем и хорош, что его уже нет. А если он есть, то это непростительное везение. Да, если бы он воскрес, это было бы что-то невероятное.

В зал вошел Сергей Плотников; увидев Таню, помахал ей рукой.

— Это еще кто такой? — насторожился тренер.

— Плотников Сергей Игоревич. Из Москвы,— с удовольствием сообщила Таня.

Повертев в руках микрофон, она не придумала ничего лучше, как вручить его Толмачеву, а сама направилась к Плотникову. Беднов остановил мотор камеры, погасил осветительные приборы.

Ларин, видевший, как Таня расцеловалась с Сергеем, опустил руки.

Вечером Вадим подждал ее у подъезда. Ее и, конечно, Сергея — они приехали на такси.

— Не бойся,— сказал он испуганной такой неожиданной встречей Тане.— Я только хотел взглянуть на него поближе... И не думай, что я сержусь. Я знаю, что мы не пара. А то, о чем ты меня просила, я попытаюсь сделать. Получится или нет, но я буду биться... Хорошо, что я хоть на что-то тебе сгодился. Я буду биться.

Став в боксерскую стойку, Ларин повел «бой с тенью». Защищаясь от встречных ударов воображаемого противника и атакуя, боксер теснил свою тень, пока не скрылся за углом панельного дома. Невольно могла прийти в голову мысль, что малый немного того, немного с приветом малый, ибо что же такое единоборство с собственной тенью, да еще в такой поздний час, да еще на улице, где с воем рыщет по подворотням зимний голодный ветер,— что же это такое, если не аномалия? Ведь тень — это даже не ветряная мельница.

Потом уже, лежа в постели, Сергей говорил:

— А этот Ларин и впрямь производит впечатление человека «с легкой степенью врожденного слабоумия», как пишут в словарях о дебилности. И это, насколько я понимаю, вполне сопрягается с таким вот лирико-романтическим восприятием мира. Гм... Романтик с чугунными кулаками. Ты меня слышишь?

— Слышу,— отозвалась из ванной Таня.

— Кстати, этот ваш главный редактор... Как его бишь зовут?

— Луцевский.

— Да, Луцевский — хитрющий змей. Ускользающий. Но я ему дал понять.

— Что ты ему дал понять? Что ты не будешь сегодня ночевать в гостинице?

Таня завернулась в махровую простынь, прошла в комнату, присела рядом с Сергеем.

— Я ему дал понять, что Москва поддерживает тебя. Он теперь будет тебя побаиваться. Можешь дверь к нему в кабинет открывать ногой.

Беднов снимал в раздевалке Ларина, бинтовавшего руки. Секунданты помогли боксеру надеть боевые перчатки, аккуратно зашнуровали. Один и секундантов взял Вадима на «лапы», и тот отработал на них свои «коронки». После этого секунданты накинули на бойца халат, повели на ринг. Оператор и его ассистент последовали за ним в зал.

Таня с Сергеем сидели на скамейке для прессы.

Зал гудел, приветствуя выход Ларина. Вадим, пританцовывая, занял середину квадрата, поклонился болельщикам, пожал судье и противнику руки. Рефери в традиционном белом костюме и черной бабочке проверил экипировку бойцов, напомнил правила ведения поединка, и боксеры разошлись по углам. Через несколько секунд ударил гонг, начался первый раунд.

Противник Ларина был пониже и тоже, кажется, предпочитал работать на контратаках. Судья сделал замечание за пассивное ведение боя. Ларин попытался атаковать и нарвался на мощную серию встречных ударов.

Таня спросила Сергея:

— Кто такой этот парень?

— Из Саратова,— сказала Плотников.— Совсем молодой пацан. Его пока что никто не знает.

Ларин, не успев оправиться от пропущенных им ударов, снова пошел в атаку и снова был встречен снайперской серией молодого противника. После этого молодой, не дожидаясь новых действий Вадима, стал осыпать его боковыми ударами. Чем дальше, тем сильнее становились удары, превращая лицо

Ларина в кровавое месиво, но он продолжал сражаться, совершая бесплодные попытки переломить ход поединка. Собрав, по-видимому, все силы, Ларин ударил своим излюбленным прямым правой, однако противник успел нырнуть под этот удар и встретил провалившегося бойца сокрушительным крюком снизу. Вадим упал, раскинув на ринге руки.

Досчитав до девяти, рефери выкрикнул: — Аут!

Ларин попытался встать, но не смог. На ринг, обгоняя друг друга, поднялись врачи, секунданты и Толмачев.

Тане сделалось плохо, она как-то боком стала сползать со скамейки. Сергей, подхватив ее, вывел из зала.

Дома он уложил ее на тахту. Она выпила немного воды и закрыла глаза. Лицо было бледным, словно всю кровь до капли выпустили из организма.

Сергей устроился в кресле, полагая, что Тане может понадобиться его помощь. Зазвонил телефон.

— Алло,— Сергей молча выслушал звонившего и, сказав:— понятно,— положил трубку.

— Кто там звонил? — поинтересовалась Таня.

— Оператор.

— Что ему надо?

— Ларин умер в больнице.

— Как так умер? — не поверила Таня.

— Кровоизлияние в мозг.

— Как это так?

— С гладиаторами бывает,— сказал Сергей.— Это ужасно — погиб человек. Но такой трагический поворот для фильма, для его, так сказать, концепции может оказаться настоящим подарком. И чем смелее, чем беспощаднее ты будешь к самой себе, я уверен, тем глубже получится мысль картины. Представь себе, скажем, такой драматургический ход... Я, разумеется, ничего тебе не навязываю, просто какие-то мысли вслух,

может, они тебе пригодятся. А может, и нет. Так вот, ты делаешь фильм о Ларине, но это уже не работа, вернее, не только работа, но и сюжет картины одновременно. Ты меня понимаешь? Кино в кино. Мы видим на экране процесс. Ты исследуешь историю Ларина, в судьбе которого Толмачев, хотел он того или нет, сыграл роковую роль. А к концу картины, уже после гибели твоего героя, ты приходишь к ужасающему тебя открытию. То есть к мысли о том, что ты, оказывается, ничем не лучше того же самого Толмачева. Оказывается, в истории с Лариным ты преследовала только свои интересы, нисколько не думая о Вадиме. О его судьбе... Я знаю, авторы в документальном кино никогда не стремятся к стриптизу. Но это и хорошо. В этом будет уже что-то новенькое.

Тане не хватало воздуха. Она встала с тахты, подошла к окну, попыталась открыть его. Окно не поддалось. Чувствуя, что она задыхается, Таня схватила вазон с фиалкой и высадила им стекло. В комнату пахнуло холодом.

Кладбище лежало в глубоком снегу, из которого торчали кресты и памятники. Черной дырой среди белых холмов зияла свежерыкопанная могила, вокруг которой столпились люди. Гроб с телом Ларина, обтянутый красной материей, стоял на земляной насыпи возле могилы.

Таня, прислонившись к дереву, издали наблюдала за тем, как закрыли гроб крышкой, вколотили гвозди, опустили в могилу, засыпали землей и установили временный памятник из мореных досок. Образовавшийся над могилой холм прикрыли венком и цветами.

Кладбище опустело. И Таня заплакала, уткнувшись лицом в ствол дерева.

1991 г.





Евгений
МИТЬКО

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ № 95 С «ЛИКЕРНОЙ» КАРАМЕЛЬЮ

Рано густеет вечер. В небесной синеве на белых, словно фарфоровых минаретах кричат муэдзины, кричат зазывно, как кричали столетиями. Но совсем недавно крикам муэдзинов вторили автоматные очереди. Не нравилось солдатам ограниченного контингента, что муэдзины кричат. «Какого хрена они базлают?» — возмущались солдаты и разряжали в синее густеющее небо свои автоматы Калашникова.

Разбитной парень сверхсрочной службы Мишкин по прозвищу Мишка и по имени Михаил вскинул над головой автомат. И тут же заработал по шее от своего непосредственного начальника. Несильно заработал, почти в шутку, но все равно обидно, когда тебя по шее... Непосредственным начальником Мишкина был старший лейтенант Павел Глухов, он ненавидел бескультурие и уважал религиозные чувства всех народов, в том числе и врагов. Поэтому и дал Мишке по шее.

Мишкин смолчал. На том месте, которое он сейчас занимал, можно было терпеть, даже если бы тебя по утрам пороли солдатским ремнем, а по вечерам ставили на колени на рассыпанную гречневую крупу. Старший лейтенант Глухов и вместе с ним прапорщик Мишкин были людьми всемогущими. Они властвовали в огромном похожем на самолетный ангар войсковом складе. Глухов — главный кладовщик, Мишкин — его

правая рука.

Пришел к ним коллега, тоже старший лейтенант, тоже завскладом, только довольственным. Без лишних слов поставил на стол бутылку настоящего шотландского виски и после «здравия желаю» спросил:

— Хромовые есть?

Глухов глянул на его еще не старые сапоги — с полгода в них проходить вполне не стыдно — и, как хороший врач, с первого взгляда определяющий диагноз редкой болезни, установил:

— Сорок два с половиной?

— У тебя что — глаз-ватерпас или память бешеная? — удивился гость глуховской точности.

— Мишка, возьми из генеральских, — приказал помощнику-прапорщику старший лейтенант Глухов.

— Резину для «уазика» устроишь? За каждое колесо — две банки виски. А хочешь, паюсной икры отвалю? Килограмма два... — Гость выжидательно смотрел на Глухова.

— Не торопи, корешок, дай прикинуть возможности, — сказал Глухов.

Мишкин принес новые хромовые сапоги. Он был недоволен и поэтому как бы уронил их перед гостем со стуком.

— А ну подними! — рявкнул Глухов. — Забыл, что ты на Востоке? Здесь к гостю с почтением...

Мишкин нагнулся, поставил сапоги носок к носку перед старшим лейтенантом из довольственного склада. Тот сбросил свои

старые сапоги, примерил новые.

— Как влитые.

Когда «гость» ушел, Мишкин пробормотал:

— Обнагтели ворюги гнусные, крысы складские.

— Ты о ком, Мишка? — глубокомысленно поинтересовался Глухов.

— О хмыре этом провиантском!.. Ребята наши в горах под пули идут, в госпиталях им руки-ноги уродуют, в цинки пакуют... А для этого борова, видите ли, сапоги не новые... Да девок не сапогами фалуют! Не сапогами, сука тыловая!..

— Мишка, не быть тебе генералом: мозги у тебя, как у чурки!.. — смеясь над Мишкиным искренним возмущением, по-отечески настаивал своего подчиненного Глухов, хотя сам был годика на три младше него. — С людьми надо ладить по-людски: человек просит — сделай! И от этого ты в авторитете! Все вокруг меня кореша-приятели, чуть что, всегда выручат!

Средь белого жаркого дня обезумевший майор взобрался на верхушку минарета, имея при себе автомат и вещмешок с дисками. Оценив свою жизнь в медную копейку, майор в припадке отчаяния обстреливал площадь из автомата.

За неожиданным стрелком, занявшим на минарете место муэдзина, наблюдали из подворотни полковник и лейтенанты. Во дворе расположился взвод морской пехоты, готовый идти на штурм.

— Ну скоро снайпер прибудет? — нетерпеливо спросил полковник.

Сумасшедший майор на верхушке минарета прекратил стрельбу и принялся выкрикивать антисоветскую речь:

— Солдаты и офицеры! Кто из вас встречал в Афгане начальственных сынков?! Почему члены ЦК, секретари обкомов не послали сюда своих детей, послали наших?

— Очень сумасшедшие слова, — мрачно заметил старший лейтенант Глухов.

В подворотне смущенно притихли, а полковник взглянул на Глухова как на вероотступника и вздохнул.

У обезумевшего майора вдруг задрожал голос, и сквозь рыдания он закричал:

— Кто мне вернет моих убитых сыновей?! Скажите, кто за них ответит?! За что, господи, ты покарал меня моими мальчиками?! За что?!

Старший лейтенант Глухов оказался в подворотне случайно: проходил мимо. Он был с огромным, полупудовым арбузом в авоське и продуктами в полиэтиленовом пакете — наносил ответный визит своему коллеге на войсковой продовольственный склад.

Снайпер уже прибыл. Он вышел из глуби-

ны двора и со снайперской винтовкой на плече застыл перед полковником.

— Сержант Крамаренко явился по вашему приказанию!

— Видишь, субчик засел?

Из подворотни был виден минарет. Обезумевший майор вел прицельный огонь по окнам учреждения, расположенного напротив. В паузах майор орал:

— Да здравствуют Советы! Нет веры коммунистам! Коммунисты — погубители России! Довели до ручки самую богатую землю! Они — вредоносные микробы, пожирающие все разумное! Болезнетворные микробы!

Прокричав, обезумевший майор снова застрочил из автомата — пули зачастили перед самой аркой, дырявя асфальт.

Полковник отпрянул.

— Надо же, — сказал он. — Когда сходят с ума, проклинают советскую власть. Ну хоть бы один сумасшедший кричал нормальные в политическом смысле лозунги! Снимешь крикуна? — спросил полковник.

— Так точно, товарищ полковник! Не успеет птичка чирикнуть, посыпятся окровавленные перышки! — бахвалился сержант, вскидывая новенькую винтовку со снайперским прицелом.

— Иван Алексеич, — обратился старший лейтенант Глухов. Обратился не как младший по званию к старшему, а как равный, более того, обратился как к человеку, который в какой-то мере от него зависит. — Иван Алексеич, я этому спятившему майору Веревченко позавчера новую суконную гимнастерку организовал. А сейчас товарищ сержант метким выстрелом эту гимнастерку продырявит. Совсем новую, полтора дня ношеную.

— И что ты предлагаешь, Глухов? — обернулся полковник Иван Алексеевич.

— Может, потолкую с ним? В психиатра сыграю? — предложил старший лейтенант Глухов.

— Не дури, Глухов, — скривил губы полковник Иван Алексеевич. — Как бы не пришлось под тебя цинковый сундук мерять...

— Хотите сказать, лучшего завскладом вам не найти? — улыбнулся Глухов.

Полковнику почувился в его словах намек на сделанные в недалеком прошлом услуги личного интереса.

— Сержант, пока не уходите, — приказал он снайперу и обернулся к Глухову: — Ну-ну, пройдишь, коль такой герой, испытай судьбу!

Глухов сам был не рад, что вызвался. Ведь тыловик, тыловая крыса. Да и вызвался, чтобы увидели — он тоже может, тоже на боевое дело способен... А тут страшно стало.

— Чтоб вы сдохли... проклятые!.. — доносились крики чокнутого майора. — Жирные

свиньи с партбилетами над брюхом!.. — И вслед за словами — автоматная очередь.

Полковник Иван Алексеевич подбодрил вызвавшегося на переговоры Глухова:

— Скажи майору, что ему ничего не будет.

— И вправду не будет?

— Ну будет... комиссуем как психа, — добавил полковник Иван Алексеевич.

Глухов шагнул в раскаленную, прожаренную солнцем площадь перед минаретом. Он весь обомлел, дрожал от страха, и поэтому походка у него была напряженная... Он глаз не спускал с минарета.

В эти минуты майор смотрел в другую сторону.

— Эй, майор, это я — Глухов со склада.

Голос Глухова хлестнул майора, тот резко обернулся.

Перед Глуховым в полуметре от носков начищенных сапог прошла автоматная очередь.

— Майор! — заорал Глухов. — Майор Веревченко! Кончай карусель, ты что — псих?! — Сам ты, Глухов, псих! — заорал обиженный майор. — Психушка по тебе скучает!

— Да, свихнулся майор — факт, — покачал головой полковник. — Если убежденно считает себя нормальным, а всех вокруг психами, значит, окончательно спятил.

— Майор! Веревченко! Витя! Полковник поклялся: тебе ничего не будет! — уговаривал Глухов. — А так — снайпер новую гимнастерку продырявит. Ведь я тебе позавчера хорошую гимнастерку организовал, верно?

— Спасибо тебе за новую, — донеслось с минарета, — в ней и похоронят. — Майор больше не стрелял.

— Дурак, — сказал Глухов. — Дурак, хоть и майор. Посуди сам: зачем тебе в могилу, когда полковник обещает, что тебе ничего не будет...

— Вера твоему полковнику — как свинячей собаке, — выкрикнул майор и, похоже, плюнул на всю армию в лице полковника с минаретной древней высоты.

— А что это за животное — свинячья собака? — весело спросил Глухов, задрал голову. Спросил — для налаживания добрых отношений.

— Свинячья собаки — это высшее командование. Начиная с твоего сраного полковника! — орал майор с верхотуры.

— Три минуты, — сказал Глухову в спину обиженный полковник Иван Алексеевич. — Три минуты на уговоры — и я приказываю снайперу...

— Полковник поклялся, что тебе ничего не будет, — уговаривал Глухов.

— Спроси, родители у твоего полковника еще живы? — кричал майор.

— Скажи, живы, — подкашивал полковник. — Мать и отец, живут в Мелитополе.

— Пусть выйдет полковник, помолится и

покалется здоровьем родителей, — поставил условие майор.

Глухов вернулся к подворотне.

— Чего ему сказать?

— Скажи: коммунисты не молятся, так как бога нет, — сказал полковник Иван Алексеевич. — А здоровьем отца-матери поклянутся.

Глухов вернулся на прежнее место посреди раскаленной прожаренной солнцем площади. Задрал голову:

— Молиться отказывается...

— На том свете пожалее!.. — выкрикнул майор с минарета.

— А здоровьем родителей клянется... — начал Глухов.

— Пусть сам выйдет и поклянется, — предложил майор, — тогда сойду и сдамся.

Полковник Иван Алексеевич смело и бесстрашно вышел и встал рядом с Глуховым. Произнес хмуро:

— Клянусь родителями — отцом-матерью, что тебе, майор Веревченко, ничего не будет за твою выходку... Только признают психом!

— Да я нормальной всех вас вместе взятых... — крикнул майор, и его голова исчезла с минарета.

Полковник Иван Алексеевич обрадовался, засмеялся. И так ему стало хорошо, такая захлестнула его благодарность к Глухову, что он пообещал, придав своему голосу официальный тон:

— Старший лейтенант, вы проявили мужество. Пошли под пули. Молодец. Буду хлопотать о представлении вас к ордену...

— Спасибо, Иван Алексеевич, — по-свойски поблагодарил Глухов. — Готов служить. Двери нашего склада всегда перед вами широко раскрыты!

Спустившись с минарета, майор осторожно выглянул из-за мечети. Он увидел полковника с раскрытыми клещами наручников, солдат с автоматами. Ждали его. И майор рванулся обратно. За ним загромыхали сапогами солдаты. Обернувшись, майор полоснул из автомата. Вскрикнул, взвыл раненый солдат. Майор полоснул второй очередью и, чувствуя, что диск на исходе, глянул в черную дыру дула и нажал на спусковой крючок...

На складе Глухов все рассказал Мишкину, и тот скрежетнул зубами:

— Придет полковник — по харе дам! Наручники сквозь ноздри продену!

— Дашь, дашь, — успокоил его Глухов, понимая, что угроза Мишкина только на словах...

Тут раздался стук в дверь. Мишкин открыл. Полковник Иван Алексеевич стоял на пороге.

— А говорил, Глухов, дверь склада для

меня всегда распахнула! — весело пошутил он.

— Входите, Иван Алексеич,— встал старший лейтенант.

— Ты чего такой бука? — взгляделся в него полковник Иван Алексеич.

— Да так...

— Может, майора Веревченко тебе жалко?

— Жалко,— не стал кривить душой Глухов и вскинул на полковника взгляд: — И вас жалко, Иван Алексеич...

— Думаешь, что с моими отцом-матерью что-нибудь случится из-за порушенной клятвы? — спросил полковник.— А наплевать!.. Не верю! Ни в бога, ни в клятвы! С моими ничего не случится — факт! А вот за майора-психопата я благодарность отхватил! И тебя к ордену обещали... В штабе даже пошутили: коль старший лейтенант такой смелый да бесстрашный, может, его на передовую отправить? Я же сказал: лучшего завскладом во всем округе не сыщешь... Ну что у тебя добренького имеется? Хоть одним глазом поглядеть на твое царство!

— Пойдем, все богатство как на ладони выложу,— вдруг переходя на «ты», сказал полковнику Глухов. Он всегда переходил на «ты», когда понимал, что от него сильно зависят.

Полковник Иван Алексеич шел по тесному коридору, образованному ящиками, бочками, какими-то тюками. Штабелю автопокрышек, унитаза в дощатых решетках, вороха кирзовых сапог в целлофановых мешках...

— А чего у вас там? — указал он на угловой отсек складского ангара.

— А!.— махнул рукой и мгновенно нашел ответ Глухов: — Лыжи там!..

— Лыжи? Какой же идиот прислал в Афганистан лыжи?

— Еще валенки прислали, товарищ полковник! — воскликнул Мишкин.

— Когда же у нас прекратится головатяпство?! Ох, когда же?! — заохал полковник. Он был не дурак и на слово не поверил. — Что ж, посмотрим на лыжи,— сказал он.

В угловом отсеке никаких лыж не было. Там было оборудовано уютное гнездышко, что-то вроде комнаты-холла, с мягкой, не шикарной, но приличной мебелью и японской аппаратурой — видеомагнитофоном и телевизором.

Полковник увидел все и захохотал:

— Юмористы! Какое гнездо себе свили! Самый раз в гости к вам завалиться. С дамой, в ваше отсутствие!

— Приходите, Иван Алексеич! С дамой вам у нас будет как в раю: и шампанское, и коньяк, и виски, и икра двух цветов — всегда к вашим услугам! — приглашал Глухов и тем же тоном, без паузы, продолжал: — Мы тут добыли московскую карамель,

«Ликерную». Фабрика «Красный Октябрь». И зеленый чай есть — девяносто пятый номер. При местной жаре здорово способствует выносливости организма.

Глухов достал из шкафчика ворох полукилограммовых целлофановых пакетов с карамелью и несколько пачек зеленого чая № 95.

— Не побрезгуйте, товарищ полковник,— сказал Мишкин.

— Спасибо, ребяташки,— не побрезговал полковник Иван Алексеич.

Наградили-таки старшего лейтенанта Глухова. Орденом наградили. За обезвреживание безумного (или впавшего в отчаяние) майора. Вручали ему орден вместе с боевыми десантниками. У одного парня даже бинтовая повязка с головы не была снята.

— За героизм, проявленный в бою...— звучали слова, сопровождавшие вручение наград.

— Старший лейтенант Глухов... За проявленное личное мужество...

Он вышел к наградному столу.

А вечером новоиспеченный орденосец Глухов вместе со своим помощником Мишкиным смотрел по японскому видео американскую порнуху. Где-то рядом гремела проклятая война, калечила и убивала их ровесников. Но Глухова и Мишкина все это не волновало. Развалившись в мягких креслах, они смотрели телек. А на столике перед ними было все: и виски, и черная икра, и тресковая печень, и швейцарский шоколад... Все было.

— Сейчас бы бабу еще,— вздохнул Глухов.

— Эх, бабу...— вздохнул Мишкин. И добавил на пределе откровенности: — Хоть какую... Лишь бы баба была — две ноги, две груди и одна голова. Эх!

Порнографическая лента распалая. Мишкина осенило:

— Эх, Татьяну бы зафаловать.

— Чую, у меня с ней сладится! — воскликнул Глухов.

— У тебя сладится, а мне что — облизнуться? — закурил Мишкин.

— Ничего: разок-второй переночует у меня, потребуем, чтоб мобилизовала подружку. Вон сколько их, чувишек вольнонаемных нагнали.

— Дичатся, я задевал,— выпустил дым Мишкин.

Глухов добыл Татьяну и вез в своем «газоне-69». Татьяна — яркая крашеная блондинка лет тридцати, в красивом теле, с вы-

сокой грудью — смеялась и рассказывала:

— Я, Павлик, отчаянно невезучая! Думала, отсюда счастье на родину вывезу. Аркадий — мой первый здешний любовник, летчик, подполковник — был сбит; второго — паренька — в лавке зарезали, пошел, идиот, японский двухкассетник покупать. Так надо же было напарника взять... На помойке нашли... Я все больше по авиации... Третьего круче других любила, но его тоже...

— Татьяна, — перебил ее Глухов, — разговор откровенный: меня не собьют. И в магазин один не хожу. Я парень стабильный... И от тебя у меня... — Он запнулся, подыскивая подходящие к ситуации выражения.

— Слюнки текут? — засмеялась Татьяна. — Только учти: я — женщина непростая, куда нужно подую — голова от любви отвалится.

Машина притормозила перед складом-ангаром.

— Приехали, — сдавленным от волнения голосом сказал Глухов. — Вот моя шикарная казарма — коньяк, виски, джин, черри, чинзано...

— Богат, как нефтяной король, — подытожила Татьяна, но выходить из машины заупрямилась. — Сегодня не могу. Хотя не скрою: выпить с тобой, старлей, большая жажда...

— Последнее свидание должна отработать? — приревновал Глухов.

— Ох, вы тут совсем одичали, мальчики, — вздохнула она. — Тогда слушай загадку: «Вчера могла, сегодня уже не могу, через пять дней — встретимся». Вразумел?

— Вразумел, — постно протянул Глухов.

Мишкин встречал их. Но перед самым его носом машина развернулась и вскоре улетела в облаке песчаной афганской пыли.

В холле-салоне возле японского видео Глухов повесил лист бумаги. На нем было расчерчено пять клеток — такой своеобразный календарь он сделал. Вот уже и пятая клетка зачеркнута.

Итак, на пятый день ожидания ровно в шестнадцать часов по местному афганскому времени Глухов подъехал на машине к воротам воинской части, где служила Татьяна. Он заглушил мотор и стал ждать.

Татьяна опоздала всего на пять минут. Счастливая, в китайском сарафане из марлевки, с ниткой натурального жемчуга на загорелой шее, Татьяна остановилась, посмотрела против солнца перед собой и, увидев Глухова в машине, роскошной походкой опытной тридцатилетней женщины пошла к Павлу...

Неожиданно прогремел выстрел снайпера-душмана. Пуля попала прямо Татьяне в лоб. Она упала на краю тротуара. Белый китайский сарафан из марлевки быстро про-

питался брызгами крови...

Глухов и Мишкин поздним вечером сидели у себя в холле-салоне и приводили в порядок свои богатства. Новенькие монеты золотых николаевских червонцев, которые в последние десятилетия обильно чеканят в странах Малой Азии и Эмиратах, поблескивая, столбиками лежали перед каждым. И, рассыпая их перед собой, Глухов удивлялся:

— Неужто каждая монетка стоит на Кавказе тыщу с довеском?.. Ну и ну!..

Накануне была убита Татьяна. Но о ней они уже забыли. Другие волнения беспокоили их души. Сбывая афганским лавочникам ворованное на складе: смазочные масла, банки с эмалью, сукно, стиральные порошки и многое другое, они постоянно рисковали.

— Скорее бы домой: куплю в Мелитополе особняк, устроюсь для блезира на какую-нибудь непыльную работенку — и зажи-ву. Разведу пасеку... Эх, люблю свежий хлеб... да намазать его деревенским маслом, а масло золотистым майским медком полить... из своих ульев — вкусно-о!..

Мишкин о своих планах помалкивал. Будто скряга-лавочник, он сосредоточенно подводил итоги дневной торговли. И глядя на него, на его мрачный подсчет, Глухов блеснул знанием художественной литературы:

— Гобсек из ограниченного контингента.

Ехали в «газоне-69». Глухов вел машину. Мишкин сидел рядом.

— Ну что ты зришь на баб?! — бурчал Глухов. — Ты засекай, не сел ли кто нам на хвост. Все же товар везем. А коль документации спросят?

— Будь спок, кому мы нужны в этой мясорубке!

— Нет, не быть тебе, Мишка, генералом: мозги — труха, — хмуро шутил Глухов. — Думаешь, не мозолим мы кой-кому глаза? Думаешь, нет охотников вместо нас на складе пожить?

Глухов остановил машину.

— Сходи, Мишка, в дуكان, разведай, где Ташходжа. А я сделаю круг и подъеду.

Мишкин выбрался из «газона» и, зыркнув по сторонам, скрылся в лавке.

За прилавком стоял молодой парень. Покупателей не было, и он читал. Заметив дорогого гостя, он, не закрывая книгу, положил ее перед собой, и Мишкин увидел, что это стихи...

— Отец здесь или в другом магазине?

Парень что-то крикнул по-афгански. Вышел бородатый старик, похожий на священнослужителя. Сухие коричневые пальцы перебирали дорогие четки.

— Отец сукно заказывал, — сказал Мишкин парню. Тот перевел.

Старик закивал.

— Ай момент,— Мишкин выскочил из лавки.

Возвращался Глухов, и Мишкин жестом показал, что все в порядке. Глухов зарулил во двор. Все было спокойно, никто за ними не следил, и они быстро выгрузили рулоны армейского сукна.

Старик-торговец, перебирая четки, сказал что-то сыну. Парень захохотал:

— Отец предлагает вам... Ну, понимаете, вы молодые парни, и как вы живете без женщин? Отцу хоть и восемьдесят четыре — и то больше недели он без женщины не выдерживает... А вы молодые парни!.. Отец предлагает... Купите девочку!..

Это было то единственное, чего Глухову не хватало в его райской жизни на обочине этой проклятой войны. И Глухов, позабыв все на свете, произнес сдавленным от волнения голосом:

— Покажь!

Мишкин захихикал. Как-то ласково и вместе с тем подленько.

Старик поклоном и жестом вытянутой руки пригласил их пройти в комнаты — типичное афганское жилище. Сын старика-купца Музафар, готовя гостей-покупателей к показу товара, цокал языком:

— К-какой дэвушка продаем! К-какой дэвушка!..

Старик ввел в комнату совсем юную девочку, почти ребенка. Чистое личико, смолнянистые, чем-то смазанные волосы...

— Красивый дэвочка! Ой, какой красивый! Дэвочка!.. Ай, ай...— расхваливал Музафар девочку.

А та стояла посреди комнаты, опустив длинные ресницы и, похоже, смирившись со своей участью, не испытывала никакого смущения.

— Когда я учился Московский университет, у вас... как это по-вашему... бледи у вас... бледи...

— Ты, афганская морда, русских баб не марай! — осадил Музафара патриот Мишкин.— Не то так меж глаз врежу, сука гадючая!

Угроза и зверское выражение Мишкиного лица смыли с лица Музафара улыбку, и он перешел на деловой тон торговца:

— Зовут Бибигуль... Светлый девочка... ну как по-вашему, целка... Отец продает вам на месяц, за два рулона сукна. Еще четыреста рублей советских... Вы обязаны кормить Бибигуль целый месяц. Если что подарите, это ваше дело. А ровно через месяц отец посмотрит... и если вам понравится...— Музафар не удержался, хихикнул,— отец договорится, как поступить дальше... Значит, месяц...

Мишкин сгорал от нетерпения.

— Берем! — воскликнул он, примиритель-

но хлопнув Музафара по плечу.— Берем, об чем речь!

— Покупаю,— уточнил Глухов, и Мишкину не понравилась категоричность его слов.

А Музафар обрадовался удачной сделке, расцвел. Что-то на их языке пробурчал старик, и Музафар, словно спохватившись, оглянулся на задернутую занавесочную дверь, попросил с заговорщицкой улыбкой:

— Но-но!.. Моя просьба и отца: ни одна душа — ни русская, ни мусульманская не должна знать про Бибигуль: большой секрет... особенно для наших, другим торговцам не говорите...

Глухов и Мишкин закивали головами: конечно, понимаем!

Купить купили, а доставить ее в склад-ангар было не так просто. Когда возвращались от торговца, дорогу перекрыв патруль. Старший в патруле, молодой лейтенант с комсомольским значком, узнал Глухова и приветливо обратился к нему:

— Поздравляю с орденом.

Глухову польстило поздравление, он выпятил грудь и, пользуясь удобным случаем, решил заговорить лейтенанта:

— Кто бы мог подумать: работая на складе, получил боевую награду!

— Тебе повезло, Глухов, что ты накануне того чокнутого майора новой гимнастеркой снабдил...— сказал лейтенант,— а то бы он тебя враз продырявил.— И лейтенант, показывая Глухову, что дружба — дружбой, а служба — службой, кивнул своим солдатам: — Загляните, ребята, в машину.

Солдаты открыли заднюю дверцу. Там перед сиденьем лежал свернутый брезент. Его развернули — в брезенте ничего не оказалось...

Машину пропустили.

Глухов зло посмотрел на съездившегося Мишкина:

— А ты, сука, меня торопил: «Захватим девочку сразу»... Вот тебе и было бы сразу, мразь нетерпеливая.

За Бибигуль отправились вечером, когда на минаретах кричали муэдзины и им в ответ палили из автоматов солдаты. Глухов, используя надежные связи, добыл на часок комендантский «уазик». Мишкина посадил за руль. Некоторое время с ними ехал усатый бравый капитан, но в тихом месте Глухов вручил ему бутылку коньяка, и тот сошел.

Во дворе их ждали Музафар и Бибигуль. Девочку проворно ввели в машину, велели лечь на боковое сиденье, укрыли кошмой.

И тронулись в обратную дорогу.

То и дело встречались патрули. Комендантский «уазик» мчался по дремлющим улицам, его не останавливали.

Когда они сворачивали за угол, вслед раздался выстрел. Подлый душманский выстрел в спину. Мишкин крутанул руль и прибавил скорость. Скосил глаз на Глухова: тот был, слава Богу, жив. Сидел спокоен, невозмутим.

...«Уазик» загнали в складские ворота, прямо в помещение склада. Вывели Бибигуль. Слава Богу, и она была жива!

Мишкин отыскал на задней стенке «уазика» дыру от пули.

— Сантиметров пятнадцать пониже — и девочке хана... — сказал Мишкин. — Сколько уж в этом аду живем, а гляди — везуха нам валит и валит!..

Глухов не ответил.

— Пойдем, — сказал он девочке.

Она не понимала, что ей говорят. Глухов взял ее по-отцовски за руку и повел в недра склада-ангара.

Мишкин сказал:

— Ты смотри... не того, пока я буду машину в комендатуру отводить. Дождись меня. — И метнулся за руль.

Девочка сидела в холле-салоне в мягком кресле. Не глядя, Глухов воткнул видеокассету и чуть не сплюнул от огорчения: порно... Он заменил кассету — на экране вспыхнула яркая диснеевская мультипликация. Девочка подалась вперед.

— Любишь мультипликацию? — спросил у нее Глухов, позабыв от смущения, что она не понимает по-русски.

Девочка ему улыбнулась. Она была спокойна.

— Есть хочешь? — спросил Глухов.

Она вопросительно, не понимая, посмотрела на него. Он вышел.

На экране видео резвился Микки-Маус.

Глухов вернулся с большим керамическим блюдом. На нем он принес халву, сыр, полбуханки белого хлеба, две банки кока-колы и коробку швейцарских шоколадных конфет — золотистые пузырьки с ликером.

Он пододвинул к девочке столик, поставил блюдо. У нее загорелись благодарностью глаза, она схватила его руку и поцеловала. Он почему-то испугался. Никогда женщины не целовали ему руки, и он, наверное, тоже не целовал им; в военном училище где-то под Саранском этому их не учили... Глухов открыл кока-колу, пододвинул к ней набор швейцарского шоколада:

— Ешь, Бибигуль.

Он прислушался. Возле склада остановилась машина. Всякое могло быть, мало ли кто и зачем прикатил. И Глухов заторопился к выходу.

Опасения были напрасны. Возвратился на их машине Мишкин. Он был возбужден, кажется, где-то уже выпил. Запер ворота, сел на бочонок.

— Потолкуем, Павка?

— Ты о чем? — спросил Глухов.

— Ну как о чем? О ней. Чего будем делать?

— Как — чего? — пожал плечами Глухов. — Чего делают... На Востоке, слышал я, для половой жизни рано созревают...

— Ага, созревают потому, что солнца много, овощей — завались, нитратами не травятся, — рассуждал образованный Мишкин. — Зимой не мерзнут, ходят без одежды, тело дышит и развивается.

— Это у Пушкина, кажись, написано, как на юге двенадцатилетних в гарем продавали, — сказал Глухов как бы в их оправдание. — Разумеешь, двенадцатилетних. А нашей Бибигуль, видать, годков четырнадцать уже. Если не поболее...

Мишкин поерзал на бочонке, поерзал и задал главный, по его мнению, вопрос:

— А кто... первый?

— Как — кто? Я... — в голосе Глухова было некоторое смущение.

Мишкин, напротив, был раскован, свободен от всяких сомнений. Сидел на бочонке и масляно ухмылялся.

— А почему, собственно, первый — ты? — поставил он вопрос ребром.

— Ну... потому что я старший по званию. Ну... и начальник здесь... на складе... — нанизывал доводы в свою пользу Глухов.

— Ну это ты брось, старший лейтенант, — отмел его доводы Мишкин. — Мы с тобой не на боевом учении! Как бы тебе объяснить... Вот ты старший лейтенант. Это — в казарме, в части. А если ты, допустим, покупаешь билет на вокзал? В воинской кассе? Как там? А там все стоят в порядке живой очереди: за рядовым полковник, за майором — сержант, за сержантом — капитан первого ранга... Только генералу полагается без очереди. А до генерала ты не дотягиваешь, Павел. Как и я, впрочем.

— В воинской кассе люди занимают очередь. А я за тобой, между прочим, не занимал. Мы Бибигуль купили вместе.

— Вместе! Хорошо сказано, клево! — горячился Мишкин и своих прав наступать не собирался. — Предлагаю монету кинуть. Кому выпадет, тот и... — Он достал золотой червонец. — Если царюга Николашка сверху — ты первый, ну а коль нет, то мне привалило...

Чтоб Мишкин, чего доброго, не смухлевал, Глухов взял монету из его рук. Тщательным, взвешенным движением подбросил. Ударившись о сапог, монета прокатилась по каменному полу и, звеня, плюхнулась. Мишкин и Глухов разом упали на колени.

— Я! Я первый! — закричал Мишкин.

Глухов с досады сплюнул и дал Мишкину по шее. Тот не обиделся. Он был в сладком предвкушении, готов был петь и танцевать и потому не обиделся.

Надо ли показывать-рассказывать, как перед полночью пришел в холл-салон Мишкин, как разложил диван-кровать в полутораспальное ложе, как бросил на него простыню и подушку, как посадил на колени покорную, не сопротивляющуюся девочку, как жадно поцеловал, начал раздевать?

А в эти минуты в другом конце склада-ангара Глухов курил в темноте сигарету за сигаретой, ворочался, не мог заснуть. Была страшная, изнуряющая духота. Глухов встал, взял чайник и полил вокруг своей койки — чтоб попрохладнее стало. Потом налил в стакан из квадратной темной бутылки и выпил виски залпом. Снова улегся. Прислушался. В складе было тихо. Рванула где-то на другом конце города ракета. И тишина... Глухов снова встал и сердито, зло отхлебнул из горлышка виски...

Утром, после бессонной ночи и перепитого виски, у Глухова болела голова. Он сварил кофе.

В кухню вбежал Мишкин:

— Так вкусно пахнет! На нашу долю сварили?

— Пошел ты, буду еще вам варить, — огрызнулся Глухов.

Счастливый Мишкин наклонился и шепнул ему на ухо:

— Ей-богу, целка! Пришлось повозиться, у меня такое впервой...

— Что — до этого одни бледы были? — ехидно вставил Глухов, повторяя обиходное слово с тем же выражением, что и сын торговца Музафар.

— Ага, угадал, — не стал спорить миролюбиво настроенный Мишкин, — считай, я этой ночью в раю побывал...

— Завидую, — Глухов плеснул в кофе марочного армянского коньяка. — А следующей ночью я в рай...

— Слышь, Павка, — подсел к нему поближе Мишкин, — может, продаш мне свою долю?..

— Какую долю? — не понял Глухов.

— Ну пай... как еще? Ну чтоб она была только моя... Продай, за двойную цену продай!

— Пошел ты! — встал Глухов и сразу превратился в старшего лейтенанта, в солдафона-офицера: — Прапорщик Мишкин, через пятнадцать минут выезжаем. Повторите команду!

— Слушаюся, товарищ старший лейтенант! — вскочил и вытянулся перед Глуховым по стойке «смирно» Мишкин. — Через пятнадцать минут выезжаем!

Кричали муэдзины на минаретах, палили из автоматов в густеющее вечернее небо солдаты.

В унылой позе сидел на бочонке у входа Мишкин. Чем ближе к ночи, тем тяжелее становилось у него на душе. Но ничего не поделаешь: договоренность — дело святое.

Приехал Глухов. Мишкин отворил ворота. Глухов задом подал машину в склад. Мишкин запер ворота изнутри.

— Где Бибигуль? — спросил Глухов.

— Мультик смотрит... Слышь, Павел... — начал Мишкин.

— Не слышу! — оборвал его Глухов. Он знал, о чем сейчас Мишкин начнет канючить. О том, о чем утром канючил.

В холле-салоне было тихо, жужжал вентилятор. Лампочка-ночник освещала тахту.

Глухов осторожно заглянул.

Бибигуль лежала совсем голая. Лопаста вентилятора не в силах были разогнать тяжелую ночную духоту. Бибигуль брала шоколадные бутылочки с ликером, разворачивала золотую фольгу и отправляла конфеты в рот. Шоколад от жары плавился, кончики пальцев у Бибигуль были коричневые, липкие.

Глухов разделся и тихонько, босиком вошел в холл-салон.

Бибигуль от неожиданности вскрикнула, закрыла локтями груди, повернулась к нему спиной, укуталась в простыню... Что с ней? Глухов остановился. Потом подошел ближе. Девочка вскочила и, закрываясь простыней, стала махать перед собой голой ручонкой, не желая подпускать его ближе и что-то жарко доказывая на своем языке.

— Кончай баззять! — рассердился Глухов и сдернул с нее простыню.

Бибигуль зарыдала, крупные слезы покатились по смуглым щекам, потом взметнулись ее ручонки, и она сделала движение, словно волосы решила рвать. Она была в отчаянии. Глухов отшвырнул простыню и резко опрокинул Бибигуль на спину. Она сопротивлялась — отчаянно отбивалась. Но Глухов переборол ее и уже почти завладел ею, как вдруг Бибигуль, обвинив его шею ручонками, притянула к себе и впилась зубами в плечо. Он вскрикнул и откатился от нее на край тахты. В бешенстве замахнулся, но удержался, бить не стал, пропел:

— Что, морду тебе разукрасить? — и снова замахнулся, снова не ударил.

При каждом его движении она испуганно отстранялась. Потом тихонько, совсем подетски, беззащитно заплакала...

— Не бойся, — сказал ей Глухов, — насиловать не в моих правилах. Привык, что бабы сами под меня штабелями ложатся. И не такие, как ты, замарашка шкилявая. Погляди на себя — кожа да кости. Самый раз на уроках анатомии показывать, как учебное пособие. А груди какие? Разве это груди?

Так, нашьепки. У нас в России даже лифчики такого мелкокалиберного размера не выпускаются. Ты бы поглядела, какие груди у наших русских баб. Во! От одного вида горло схватывает и электричеством всего продирает. А ты — так, тьфу, кишмиш! — Глухов сплюнул под свои босые ноги и побрел прочь.

В кухоньке мучился от ревности Мишкин. На кисти руки он начертал шариковой ручкой «Биби» и теперь, связав ниткой три иголки вместе, окунул их в пузырек с тушью...

Тут вошел Глухов — голый, трусы почему-то в зубах держит. Мычит. Мишкин смотрит, ничего понять не может: почему Глухов так быстро? А тот выплюнул трусы, сел на пол и, чуть не плача, сказал:

— Забери ты ее. Дохляга... кости гремят... малолетка, будто первоклашку насилуешь!

— Так ты отказываешься? — страшно обрадовался Мишкин. — Продаешь свою долю?.. Ну свой пай, да? Вот, возьми... — Он совал что-то Глухову в ладонь.

— Что это? — Глухов разжал ладонь.

На ладони лежал царский червонец ликом государя-императора вверх.

— Не дороговато даешь? — Глухов был человеком справедливым. — На Кавказе он — тыща...

— Бери, Павлик, бери! Все тебе отдам — только отступись, — бормотал Мишкин.

— Иди, — благословил его Глухов. — Может, хоть тебя не покушает.

Услышав приближающиеся шаги, Бибигуль притаилась, сжалась, готовясь к отпору. Вошел Мишкин — и она сорвалась с тахты, с радостным смехом кинулась к нему, обняла, стала целовать, потом упала на колени и принялась целовать его ноги... Он смущенно переминался, гладил ее по голове. А она водила по его лицу кончиками коричневых, перемазанных шоколадом пальцев и ласково шептала ему на ухо свои слова, из которых понятным Мишкину было лишь одно: «пирр» — мой повелитель, хозяин.

Глухова мучило любопытство. Он подкрался тихонько к холлу-салону. Вглядывался в чужое счастье, вслушивался. Прошептал:

— Во пируют. Прямо-таки как в бахчисарайском борделе!

Бибигуль позволяла Мишкину делать с собой все что он хочет. И досада мучила Глухова, терзала зависть.

Бибигуль пришла в складе-ангаре. Стирала Глухову и Мишкину, готовила. И понемногу учила русский.

— Плёв, — сказала она, — ставя перед Глуховым полную пиалу разваристого риса с изюмом. Сладкий плов.

Глухов принялся за еду. Бутылка коньяка стояла перед ним.

Бибигуль насторожилась, прислушалась.

— Да не вздрагивай, — сказал ей Глухов. — Не скоро твой Мишка придет.

Но улыбка залила ее лицо. Счастливая улыбка.

— Сказано, раньше чем через два часа Мишка не придет, — сердился Глухов, завидя, что Бибигуль ждет своего возлюбленно-го с таким волнением.

Вдруг Бибигуль вскочила, поправила платье, что-то запела на своем непонятном Глухову языке, стала пританцовывать.

Глухов удивился: что это с ней? Но у Бибигуль было какое-то особенное чутье. Как у собаки, которая чувствует, как еще издали подходит к дому ее хозяин... Так было и сейчас. Бибигуль кинулась к двери и застыла в ожидании.

Только после этого донесся гул приближающейся машины. Она остановилась.

Глухов жестом приказал Бибигуль спрятаться: вдруг Мишкин приехал не один...

Осторожно вошел Мишкин. Запер за собой дверь.

Тут же выскочила Бибигуль и повисла у него на шее. Мишкин так обрадовался ей!.. Поднял на руки и понес...

— Ты бы сперва поел, а то плов остынет, пока ты там... — с досадой сказал вслед Глухов.

С утра до позднего вечера они прятали Бибигуль в складе-ангаре, в его бесчисленных закоулках можно было спрятать черта, а по вечерам, уже после того, как откричат на минаретах муэдзины и отгремят автоматные очереди, Бибигуль и Мишкин выходили погулять да воздухом подышать. Глухов стоял на стреме, зорко и осторожно оглядываясь вокруг. Он считал, что прапорщик Мишкин совсем сошел с ума со своей дурацкой, не ко времени любовью. Они его раздражали, но Глухов терпел и помалкивал.

Глухов поехал к Музафару, сыну старикатора-торговца. Покупатели заглядывали в лавку редко, и Музафар читал за прилавком.

Глухов вошел и устало опустился на стул для покупателей. Молча закурил.

— Как поживаете, товарищ офицер? — приветливо перегнулся через прилавок Музафар. И шепотом: — Как наш красивый Бибигуль?

— Не-ет, — Глухов недовольно поморщился. — Малолетка... кости, ребра — никакого тела... А русские любят... — Глухов жестом обрисовал формы, какие любят русские.

— Мало офицерам одной девочки, мало, — зацокал языком Музафар.

— А что — мало! — твердо сказал Глухов

и встретил насмешливый взгляд Музафара.

— Есть одна девочка... не девочка, женщина она... мой женщин был, будет ваш. Совсем молодой женщиной... красивый... кости — нет, грудь есть. Немного взрослая... и много красивая...

— Сколько? — спросил в упор Глухов.

Музафар, озираясь по сторонам, пальцем подманил Глухова и зашептал:

— Женщин будет ваш... целый месяц. А мне вы за нее — два автомата Калашникова. Один красивый женщиной — живой женщиной... за два мертвых автомата...

Глухов терпеливо выслушал его условия, бросил на пол недокуренную сигарету и затоптал подошвой сапога. Посмотрел на Музафара:

— Может, тебе танк доставить?

Музафар видел, что желанная сделка не получается, напустил на лицо равнодушное выражение:

— Нет автоматов, дорогой, — ходи холостым коммунистом.

— Беспартийный я.

— Для меня каждый русский — коммунист, — с трудом скрывая ненависть, сказал Музафар. — Но автоматы у ваших солдат купить можно...

— Узнаю — пристрелю! — Глухов встал, полез в пачку за американской сигаретой, но она оказалась пуста. Глухов отшвырнул ее, сказал уже на выходе из лавки:

— Я родиной не торгую.

— И я свою родину не продаю, — ответил Музафар, прямо и смело глядя ему в глаза. — Не мы пришли к вам...

Глухов схватился за кобуру:

— Пристрелить тебя, душманское отродье?

— Пристрели, — спокойно ответил Музафар. — Пристрели. Выпускника московского университета. Честного нейтрального торговца. Трибунал тебя за это будет судить.

— Ты прав, — успокаиваясь, сказал Глухов.

И вышел из лавки к своей машине.

Они обедали, когда раздался резкий стук в дверь. Бибигуль вскочила, мягко, на цыпочках исчезла. Мишкин пошел отпирать.

— Мишка, — негромко окликнул его Глухов.

Мишкин обернулся. Глухов указал на три пиялы на столе. Указал на них и повертел пальцем у виска:

— Нет, не быть тебе, Мишка, генералом.

— Сейчас иду! — закричал через рукав Мишкин и, выждав, когда Глухов наведет на столе порядок, отпер дверь.

На пороге стоял полковник Иван Алексеевич, большое начальство.

— Что-то вы, господа офицеры, стали крепко запираются, — сказал он.

— Да скат у нас от двадцать четвертой «Волги» спи... то есть сперли, товарищ полковник, — нашелся с ответом Мишкин. — Спи-сали!

Вышел Глухов, хотел было приветствовать полковника по форме, но тот вполне демократично протянул руку:

— Здравствуй, дорогой старлей. С орденом ты красив! — залюбовался парнем пожилой полковник.

...Глухов цепко гляделся в полковника Ивана Алексеевича. Что его на этот раз привело сюда, в склад? Вроде бы просить ничего не собирается, ассортиментом вновь поступивших товаров не интересуется...

Хитрый, наблюдательный полковник Иван Алексеевич засекал напряженность Глухова, а восторженность Мишкина, хоть и скрываемая, но рвущаяся наружу, бросалась в глаза.

— Что это ты, Мишка, цветешь, как роза в помойном ведре? — переходя на неуставной тон, спросил полковник Иван Алексеевич.

От столь прямого вопроса Мишкин малость растерялся... и чтобы полковник не заподозрил неладное, беспокоясь о спрятавшейся Бибигуль, Мишкин вдруг выпалил:

— Да вот жениться надумал, товарищ полковник!

— Кто счастливая невеста? Из вольнонаемных? — пытался угадать полковник. — Какая-нибудь медсестричка? Или со столовой?

Мишкин вдруг вскрикнул и, оправдываясь, пробормотал:

— Какая-то тварь ползучая в ногу ужалила...

Но тварь ползучая — это Глухов. Он резко и больно наступил Мишке сапогом на ногу.

— На вольнонаемной, — ответил за Мишкина Глухов.

— Нет, — смеясь, сказал Мишкин. — На афганке хочу.

— Да, — протянул полковник Иван Алексеевич, — люблю, когда шутят после первой рюмки. — И налил себе для второго захода.

— Товарищ полковник, я же очень серьезно. — Мишкин лез напролом.

Глухов только головой покачивал: ну и дурак ты, Мишкин, какой дурак!

— Объясните мне толком, товарищ полковник: имею я право жениться на местной? Если надо на это спрашивать разрешения, то у кого? У вас, товарищ полковник? Или у министра обороны? — Мишка говорил так искренне, что полковник наконец стал ему верить. — Или у командующего ограниченным контингентом разрешения спросить, как вы думаете, товарищ полковник?

— Я думаю то, что думает о тебе старший

лейтенант Глухов. Знаешь, что он о тебе думает, Мишкин?

— Нет...

— Глухов думает, что ты большой дурак,— сказал полковник.

И Глухов кивком головы подтвердил, что думает именно так.

— Тебе что — невтерпеж? Бабу захотелось? — Полковник Иван Алексеевич посуловел.— Ради бабы готов в мусульманскую веру перейти?

— Какая разница — мусульманская, христианская, баптистская?! Бог на свете один, только разные народы по-разному его называют...— начал объяснять полковнику Ивану Алексеевичу Мишкин.

Полковник перебил:

— Ну если в наши дни каждую минуту по телевизору божьи храмы показывают и в депутаты попов навывирали, то прапорщику Мишкину вполне пристало вот так на религиозные темы рассуждать.

— Бог один, и любовь на свете одна! — твердил Мишкин.

— Совсем с ума сошел,— прошептал Глухов.

Полковник услышал, обернулся к Глухову, спросил:

— Может, прапорщика в десантные перевести? А то зажрался тут у тебя на складе.

Мишкин испугался. Но отступить было поздно, он сказал:

— Переводите. А жив останусь, все одно женюсь на ней!

— Храбрый парень! — улыбнулся полковник.

Мишкин воспринял его слова как одобрение и, распаясь, засмеялся:

— Представляете, товарищ полковник, возвращаюсь я после службы в свой колхоз «Пролетарская воля» Кировского района... Возвращаюсь со своей афганкой под ручку. Вот со смеху все помрут...

— А мать заплачет,— договорил за него полковник Иван Алексеевич.— Учти, горько мать заплачет. Скажет: «Да неужто, сыночек, в колхозе мало тебе было русских девок, что ты такую страхолюдину выбрал? Ты только оглянись по сторонам, какие у нас русские женщины!..»

— Я и говорю Мишке: выбрал себе — сплошной шкилет, ни груди, ни ляжек. Одни кости, мослы... на них мужик лишь мозоли натрахаёт на своем теле... — разглагольствовал на любимую тему Глухов.

— С тобой все понятно, Мишкин.

Полковник Иван Алексеевич выпил третью рюмку шотландского виски,— а больше трех он в служебное время не пил по причине неимоверной жары,— выпил свою третью и поднялся.

— Чего я к вам нагрязнул, ребяташки? —

спросил он и сам себе ответил: — Завтра инспекторская проверка. К вам тоже нагрянут — факт! Наведите полный ажур! Прибегитесь, отчетность тщательно просмотрите... Учтите, я вам выдал вроде бы как военную тайну. И если кто еще про инспекторскую проверку заранее узнает, источник — вы! И я найду способ, как вас прижучить за разглашение.

...Перед складом дождалась полковничья белая «Волга». Интеллигентный шофер читал учебник истории — готовился в институт.

Провожая полковника к машине, Глухов проникновенно говорил:

— Спасибо, Иван Алексеевич, что предупредили. Наведем порядок, отчетность будет в ажуре. Мы всегда ваши, если что в моих силах, то вы всегда первый!

Глухов помог с заботливостью примерного сына усесться полковнику рядом с шофером, мягко, без стука затворил за ним дверь и, вытянувшись, как на параде, взял под козырек. Вытянулся и взял под козырек прапорщик Мишкин. Так, торжественным караулом, они провожали своего доброжелателя.

А как только полковник, окутав их въедливой, как мошкара, афганской пылью, укатил, Глухов повернулся к Мишкину и усмехнулся:

— Видел, как я полковника благодарил? Чуть ли не на коленях перед ним ползал и сапожки евонные чуть ли не целовал...

— Ну?

— Это я так бешено старался, чтобы он, падла, ничего не заподозрил. Он ведь из себя друга нашего ломает, а чуть что — первый же закудахчет: ах, как я ошибся в них!.. И первый будет нас топить, как кутенят слепых. А насчет этой инспекторской проверки я еще позавчера разведаль, свои люди из штаба кинули...

— И мне не сказал?! — вскрикнул Мишкин.

Пропуская мимо ушей Мишкину искреннюю обиду, Глухов продолжал:

— И еще мне кинули, что на нас с тобой накатаны две убойные «телеги». Знаю, кем.

— Да мы ж с тобой, Павлик, никому плохого не сделали,— взмолился Мишкин,— у всех только добро от нас... Кто ж эти писаки, мрази гнусные?..

— «Телеги» изъять не удалось: зарегистрированы в канцелярии. Я предлагал ребятам полтора куска за эту регистрационную книгу. Хотели бы ребята полтора куска хапнуть, да поздно: свидетели о тех «телегах» имеются... Так что готовься, Мишка, к гигантскому шмону. В прошлую проверку — еще до тебя — все здесь вверх дном разворотили, суки конторские. А у солдатушек бедных все бабахло из сидоров повятряхивали, ко всему приедренивались, швы ощупывали, может,

наркотики искали, может, золотишко... В свете всех этих паскудных обстоятельств чего будем делать с твоей brunetкой-малолеткой?

— А если подмазать старшего проверяющего, а? — растерянно пробормотал Мишкин, с собачьей преданностью заглядывая Глухову в глаза. — Японское видео... Кому не охота вернуться домой с видеиком новеньким, а?... Купим и в зубы ему...

— Твоя brunетка-малолетка — ты и покупай, — Глухов с особенным смаком давил на слово «brunетка», нравилось ему на такой издевательский манер его произносить.

— А что? И куплю! Пусть смотрят мое видео, чтоб у них глаза повылазили!.. Да я ради Бибигуль ничего не пожалею, все отдам, все, чего у меня притырено...

Глухов перебил Мишкины лирические разглагольствования твердо и решительно:

— Не торопись добром кидаться, сперва послушай старый, с длинной бородой анекдот. Отправили в космос на спутнике собак Белку и Стрелку. И с ними чукчу. С Земли зовут: «Белка!» Она в ответ: «Гав!» Ей командуют: «Нажми на красную кнопку!» Белка нажимает. Потом командуют Стрелке: «Стрелка!» Она в ответ: «Гав!» «Нажми, Стрелка, на синюю кнопку!» Она нажимает. С Земли зовут: «Чукча!» Он в ответ: «Гав!» Ему кричат: «Ты не гавкай, чукча. Покорми собак и ничего больше не трогай!» Это тебе, Мишка, — сиди и не рыпайся.

— А как же Бибигуль?

— Отведем твою brunetку-малолетку обратно в лавку к деду и его сыночку Музафару, образованному в лумумбарии, — сказал Глухов и ухмыльнулся: — А пока ты будешь вертеться вошью перед инспекторской проверкой, Музафар с нею разок-другой развлечется...

— У, гнида!.. — Мишкин размахнулся. Изо всей силы, изо всей силы ненависти нанес удар. Но Глухов присел, и кулак прошел над головой.

И тут Мишкин наткнулся на встречный сильный удар Глухова. Мишкин отлетел в сторону и врезался головой в бочонок. Причих... Глухов даже не поглядел в его сторону и не стал кричать, что он старший по званию, не стал грозить прапорщику трибуналом — судя по всему, мордобойные стычки случались и раньше.

Полежав немного, Мишкин стал тяжело подниматься с цементного пола, скуля и потирая ушибленный затылок:

— Трухлявый пень... отупел здесь от печала... Понимать надо, что я как лунатик: хожу и ничего не вижу вокруг, только об ней и думаю, и думаю... Скоро чокнусь... я... я спать не засну, пока она будет там... Как же я эти дни проживу без нее?... последние слова Мишкин пробормотал про себя совсем тихо, но Глухов все же услышал.

— Проживешь, падла безмозглая, — сказал он.

Мишкин визгливо вскрикнул:

— Да у меня аппетит без Бибигульки пропадет!... Есть не смогу!..

— Помирай с голоду, — не возражал против голодной смерти Мишкина Глухов.

Бибигуль и Мишкин спали в холле-салоне на полуторной тахте, спали обнявшись, совсем голые: очень уж нестерпимая жара стояла. Глухов вошел. Он внимательно рассмотрел голую Бибигуль, изобразив на лице удивление, смешанное с пренебрежением: и чего в этой худобе-малолетке такого Мишкин нашел, чтоб чокнуться от любви? Потом рывком Мишкину в ухо:

— Десять минут на сборы, вы, погрязшие в интернациональном разврате!

Бибигуль вскочила. Над ней нависло ухмыляющееся лицо Глухова. Она вскрикнула, схватила простыню, чтоб прикрыться.

Глухов шлепнул ее по ляжке и ушел.

Машина дождалась их внутри склада-ангара. Ворота были заперты изнутри. Мишкин прощался с Бибигуль. Он положил ей в сумку дюжину американских жестянок с кока-колой, два набора швейцарского шоколада. Бибигуль решила не расставаться с Мишкиными подарками: большой японской куклой — она была Бибигуль по плечо — и электронной собачонкой — белевской, пушистой. Собачонка, как живая, прыгала на куклу и визгливо лаяла. Бибигуль закатывалась в смехе, приседала, всплескивала руками. За каждый подарок она целовала Мишке руки и танцевала вокруг него. Чувства у нее были открытые, ясные, и своим смехом и звонким голосом она вносила в склад-ангар праздник. Даже угрюмый (по причине отсутствия женщины) Глухов улыбался, глядя на ее забавы... И вот теперь Мишкину и Глухову приходилось с Бибигуль расставаться. Не совсем, на несколько дней, от силы на неделю... И тем не менее Бибигуль плакала, бросалась на Мишкина с поцелуями, и казалось, сам Мишкин сейчас залетает слезами.

— Мы ж с тобой не насовсем... на несколько дней... — Мишкин забывал, что она не понимает по-русски, ведь выучила она всего несколько слов. Мишкин толковывал ей: — Я на тебе женюсь, в село повезу, у нас колхоз «Пролетарская воля». Вот смеху-то будет, когда я с тобой заявлюсь... Обхохочутся... Ты не плачь... Дня через три я за тобой приеду, может, через четыре, может, через пять-деньков... — Мишкин показывал ей на пальцах. Но понимала ли Бибигуль то, что он пытался ей объяснить? То плакала,

то смеялась, то снова плакала. Они так этого и не узнали...

Отвозили Бибигуль на рассвете. Глухов сел за руль, Бибигуль устроили сзади, за его спиной. Мишкин сел с нею рядом и глаз с нее не спускал, а она схватила его руку и не выпускала из своей. Но вот Мишкин напрягся, вырвал руку, отодвинулся от Бибигуль...

На перекрестке появился патруль. Машину остановили, проверили документы, они были в порядке.

— А это кто? — взгляделся начальник патруля в Бибигуль.

— Это?.. Это афганская комсомолка, — нашелся с ответом Мишкин. И добавил неопределенно: — Везем...

— Везите, — одобрил начальник патруля их поведение.

Остановили машину перед раскрытой дверью дукана старика-торговца. Мишкин выбрался на тротуар и, делая вид, что осматривает скат, на самом деле на всякий случай огляделся по сторонам, после чего выпустил из машины Бибигуль, и она с сумкой и куклой проскользнула в магазин. Глухов и Мишкин вошли следом.

Старик-торговец перебирал за прилавком четки в ожидании покупателей, а когда увидел Бибигуль в сопровождении старых знакомых, партнеров по коммерции, то ринулся им навстречу. Он возмущенно и сердито стал что-то говорить. Все его внимание было обращено к Глухову как офицеру, старшему в этой компании.

Глухов перебил его:

— Сына позови! Так мы с тобой до двухтысячного года не объяснимся. Музафара!.. Му-за-фа-ра — понимаешь?

Разобрав в словах русского офицера лишь имя своего сына, старик вытащил из укромного места в стене лист бумаги и прочел те русские слова, которые перед уходом в банду написал ему буквами родного языка Музафар:

— «Му-за-фар ушел за-щи-щать Ро-ди-ну от ком-му-нис-тов и не-вер-ных...»

— Это и следовало ожидать, — сказал Глухов, — слинял к духам, сука, душманская морда. Надо было пристрелить!..

Старик продолжал возмущенно и сердито кричать, вздымая к потолку руки, призывая в союзники аллаха.

— Заткнись, старый пень, — сказал ему Мишкин, игнорируя почтительное отношение к старикам, принятое на Востоке. — Послушай теперь меня, душманский козел!..

Старик не умолкал. Чем-то они его обидели, заделали какие-то его интересы. Но чем?

Какие интересы? Ну привели девчонку на несколько дней... Хотя и бесполезно было ему что-либо втолковывать по причине его дремучего непонимания, тем не менее Мишкин выложил ему свои планы:

— Не базлай, старый!.. И вникни, понять не можешь, а еще говорят, что на Востоке старые кудумы мудрые!.. Как только закончится все эта хреновина с инспекторской проверкой, я у тебя Бибигульку заберу. До нашего с тобой договорного срока — ну до месяца! — останется дней десять. А опосля я куплю Бибигульку у тебя насовсем. Хорошие бабки получишь за мою жену, понимаешь? Ну калым! Калым, понимаешь? Как у нас в Средней Азии заведено в отсталых слоях руководящих работников. А пока, старый драный козел, кончай бляеть, уши у меня от твоего поросычьего визга болят...

Но старик продолжал возмущаться на своем непонятном языке. Впрочем, такого же мнения он был о языке, на котором говорили русские коммунисты-офицеры, эти презренные аллахом неверные... А когда Бибигуль, сама толком не понимавшая, что происходит, попыталась ему что-то сказать, он так на нее взглянул, что она тут же замолкла: женщине на Востоке не пристало вмешиваться в разговоры мужчин.

Если бы не удрал к душманам Музафар... Если бы он не удрал к душманам и если бы старик понял, что Бибигуль привели к нему всего на несколько дней — и то по причине инспекторской проверки, то не произошло бы того, что в тот день произошло.

Не добившись взаимопонимания, под крики и проклятия Глухов и Мишкин покинули лавку. И как только отъехала их зеленая военная машина с помятым передним крылом, старик-торговец взял за руку Бибигуль, запер лавку и пошел с девчонкой по улице.

Старик-торговец бушевал перед КПП — контрольно-пропускным пунктом. Сержант с повязкой дежурного на рукаве не имел права пропускать посторонних на территорию. Но старик-афганец был настойчив, размахивал руками, что-то кричал, показывал на девочку, и сержант, передав старика солдату, пошел звонить по внутреннему телефону.

— Товарищ майор, тут дедушка из местных домогается... Не знает русского... Видать, с чем-то важным явился. Есть, товарищ майор.

Возвратившись, сержант успокоил:

— Охолонь, дедушка. Сейчас с тобой разберутся.

...Потом старика вместе с Бибигуль вели по скучному бесконечному коридору. Повстречался полковник Иван Алексеевич, спросил у сопровождающего:

— Что это у нас за гости?

— Говорят, с каким-то важным сообщением явился.

— Давайте ко мне, — сказал полковник Иван Алексеевич и, отворив дверь в свой кабинет, пригласил старика с Бибигуль. А сопровождающему сказал: — Найдите переводчика.

В кабинете старик-торговец бушевал, что-то выкрикивал, вздымая к потолку руки, призывал на помощь аллаха. Бибигуль вела себя скромно и смиренно, усевшись в углу возле столика с электрическим чайником. Ей хотелось чаю, но она не решалась попросить.

Вошел переводчик, молодой лейтенант среднеазиатского происхождения, обратился к старику-торговцу на его родном языке и, услышав ответ, перевел полковнику:

— Честный мирный торговец... Возмущен обманом, несправедливостью возмущен. Русские офицеры купили у него эту девочку.

— Купили? — нахмурился полковник. — Вы точно перевели: именно купили?..

— Да, товарищ полковник, купили, — уверенно ответил лейтенант-переводчик. — Купили девочку на месяц... и старик утверждает, что купили с целью сожительства с нею как с женщиной.

— Веселенькие дела, — покачал головой полковник Иван Алексеевич. Он еще не верил в это, теплилась надежда, что это не так.

Переводчик продолжал:

— По договору русские офицеры обещали месяц ее кормить, так как покупали на месяц. Но привели ее обратно на двенадцать дней раньше, так как она им надоела... Кто теперь ему, честному торговцу, возместит убытки, кто заплатит ему за то, что русские офицеры, советские люди, целых двенадцать дней недокормили девочку... — переводил лейтенант и, не удержавшись, от себя добавил, кивнув в сторону старика: — Похоже, он глубоко убежден, что подобные сделки в цивилизованном обществе в порядке вещей. Очень старик возмущен несправедливостью в отношении него!..

— Спросите, — перебил полковник, — он может назвать фамилии тех офицеров?

Переводчик поговорил со стариком и сказал:

— Фамилий и имен назвать не может, но знает: русские офицеры работают на складе, номер их машины «47-09».

Полковник Иван Алексеевич задумался. Он, конечно, сразу догадался, кто они, эти офицеры... Вспомнил полковник и о намерении прапорщика Мишкина жениться по любви и привезти жену в свой родной колхоз «Пролетарская воля»... Так вот кто она, его невеста...

Девочка сидела возле столика и из вазочки с московской карамелью «Ликерная» брала

конфеты, разворачивала фантики, сковыривала в вазочку липкие от жары карамельки, а пустым фантикам придавала форму конфет...

— Угостите их чаем, — указал полковник на старика и девочку — и уточнил у переводчика: — Старик уверен, что эти офицеры работают на складе?

— Да, — ответил переводчик, — старик в этом уверен.

Полковнику Ивану Алексеевичу было жалко Глухова и Мишкина, но он понимал, что погасить случившееся теперь не в его силах: и приход старика с девочкой в расположение части не остался незамеченным и вызовет вопросы, да и лейтенант-переводчик уже в курсе...

Не дожидаясь, когда закипит чайник, Бибигуль принялась грызть печенье. Старик успокоился, он теперь чувствовал себя хозяином положения.

Полковник Иван Алексеевич тяжело, с неохотой потянулся к аппарату, поднял трубку... Но передумал, положил на место, недовольно поглядел на старика.

Тот с достоинством сидел на стуле посреди кабинета, перебирал четки. Полковник обратился к нему:

— Вот вы — мусульманин, а продали мусульманскую девочку нечистому, вы же закон предков нарушили...

Переводчик перевел старику, и тот ответил сразу, будто держал ответ наготове.

— Он говорит, что согласно корану... как это будет по-русски?.. В общем, согласно корану, только святые живут... А где они, святые в нашей жизни?.. Только грешники, все мы грешники...

— Вот вы и попадете за свои грехи в ад раньше других, — подхватил полковник. — Я прикажу, чтобы рассказали мусульманам о том, как вы продали девочку нечистому, русскому...

Как только переводчик сказал это, лицо старика перекошил ужас. Он упал на колени и пополз к полковнику, норовя обхватить его пыльные сапоги, умоляюще, по-собачьи заглядывая в глаза.

— Просит не говорить, обещает хорошие деньги... за молчание... — перевел переводчик.

— Уберите эту мразь, — брезгливо поморщился полковник, и солдаты вывели старика. Бибигуль поплелась следом.

Полковник снял трубку — словно подписал приговор, вздохнул:

— Это кто? Ты, Гриднев? А прокурор где? Вернется, пусть сразу ко мне.

Глухов и Мишкин, голые по пояс, в одних трусах, готовились к грядущей инспекторской проверке. Мишкин драил шваброй цементный пол; Глухов, с ведерком и кистью,

подкрашивал ободранные бока ворот.

Мишкин вздохнул:

— Неужто эта гнусная проверка протянется целую неделю?

— Что, уже соскучился по своей шкилтке?— ехидно спросил Глухов.

Ответить Мишкин не успел. В распахнутые складские ворота вошел незнакомый лейтенант в очках.

— Осторожно: свежепокрашено!— пошутил Глухов и тут же осекся:— Не измажься...

В проем ворот входили шестеро солдат. Они были вооружены, лица отрешенные, замкнутые...

— Вы арестованы,— объявил Глухову и Мишкину лейтенант.— Приведите себя в порядок. Оденьтесь.

— А склад?.. Я ответствен за материальные ценности,— сказал Глухов растерянно.

— Склад будет опечатан,— ответил ему лейтенант, командир наряда.

Пожилой подполковник-следователь допрашивал Глухова. На его правой руке выше прокуренного пальца была наколка: «Маша». Подполковник засек взгляд Глухова и спрятал руку под стол. Глухов усмехнулся, подполковник спросил:

— Вы сожительствовали с несовершеннолетней Бибигуль Рахмат?

Глухов улыбнулся:

— Если я скажу, что нет, вы все равно не поверите.

— А вы мне скажите, как было на самом деле.

— На самом деле не сожительствовал.

— А ваш подчиненный прапорщик Мишкин сожительствовал?

— Спросите у него.

— Я спрашиваю у вас.

— Нет, не сожительствовал. У Мишкина с Бибигуль была любовь. Взаимная любовь.

Мишкина допрашивал полный, лоснящийся от жары капитан. Жужжал на столе вентилятор, ворошил бумаги. Один листок упал на пол, и капитан, не спуская глаз с Мишкина, осторожно его поднял и спросил:

— Когда вы покупали несовершеннолетнюю Бибигуль, вы вкладывали только свои деньги, или старший лейтенант Глухов тоже в этом соучаствовал?

— Нет, нет,— заторопился с ответом Мишкин,— я один, Глухов ни в чем не виноват.

— Сколько вы заплатили за Бибигуль Рахмат?

— А черт его знает!..

— Не чертыхайтесь, Мишкин. Так сколько же?

— Не помню: все на свете забыл! Так мне

было хорошо на свете в последние две недели!.. Как никогда раньше... И никогда, видеть, так хорошо больше не будет.

— Сколько ночей вы провели с несовершеннолетней Бибигуль Рахмат?

— Я, гражданин следователь, по утрам бухгалтерию не вел.

Следователь-капитан счел его ответ за дерзость. Нахмурился. Но тут вошел пожилой следователь-подполковник. Он указал глазами на дверь.

— Разговор продолжим завтра,— сказал следователь-капитан Мишкину и нажал на кнопку звонка.

Тут же на пороге возник солдат и увел Мишкина.

— Разговор завтра не продолжишь,— сказал следователь-подполковник следователю-капитану.— Получен приказ из прокуратуры округа: обоих растлителей малолетней отправить в Ташкент.

— Сволочи! Гады! Негодяи! Подонки!— взорвался следователь-капитан.— Как только интересное дело, сразу им! Все под себя гребут, сливки снимают!

— Изложи свои соображения на имя командующего округом,— хмуро пошутил пожилой подполковник-следователь.— Или, на худой конец, застрелись.

— Сам стреляйся,— огрызнулся следователь-капитан,— пока тебя на пенсию не выперли.

Мишкина и Глухова вывели из «черного ворона», покрашенного в зеленый армейский цвет. Оба были в наручниках. Конвоировали их солдаты с напряженными лицами; командовал нарядом тот самый лейтенант, который их арестовывал.

Распахнулся простор аэродрома. Стояли самолеты. Ближе всех был военно-транспортный, такого же зеленого цвета, как и «черный ворон». К распахнутой дверце была приставлена лесенка-трап.

— На нем и полетим,— сказал Глухов Мишкину.

— Не разговаривать,— оборвал лейтенант в очках.

Где-то близко громыхнул выстрел, высветилась душманская ракета... По лицу лейтенанта было видно, что он испугался, зачем-то снял очки, стал протирать...

— А я и не знал, что от страха очки потеют,— сказал Глухов Мишкину, да так, чтобы и солдаты конвоя услышали.

— Молчать!— рыкнул лейтенант.

Он обернулся — солдаты спрятали улыбки. Это были последние слова, последние улыбки...

Еще ближе просвистела и ослепила душманская ракета. Рвануло... и все заволочло дымом.

А когда дым рассеялся, то на вздыбленной земле лежали все: солдаты конвоя... Мишкин и Глухов... лейтенант... валялись очки с разбитыми стеклами...

С воем мчались по аэродрому уже бесполезные санитарные машины.

Меткая душманская ракета поставила перед командованием непростую проблему. И чтобы разрешить ее, в кабинете полковника Ивана Алексеевича собрались офицеры.

Разгоняя жару, жужжали японские вентиляторы. Хозяин потчевал сослуживцев зеленым чаем № 95 и московской карамелью «Ликерная».

— Да, Глухов и Мишкин совершили преступление, позорящее высокое звание советского офицера. Но в свете того, что мы сейчас боремся за правовое государство, я хочу подчеркнуть, что следствие не было доведено до конца, собственно, оно едва началось: был проведен всего лишь один допрос, а в отношении прапорщика Мишкина этот первый допрос даже не был доведен до конца.

Пожилой подполковник-следователь взял пиалю; на его руке была наколка.

— Да, до составления обвинительного заключения было далеко...

— Ну и что? — вклинился следователь-капитан. Он развернул карамельку, а под фантиком — пустота: это Бибигуль так пошутила. Он отшвырнул фантик и взял из вазы вторую карамельку, и в той — пусто. Следователь-капитан рассердился: — Мы можем довести следствие до конца.

— Но окончательно установить виновность правомочен только суд, так? — спросил полковник Иван Алексеевич.

— Трибунал, — уточнил въедливый следователь-капитан.

— Кого судить? Мертвых парней? — спросил полковник Иван Алексеевич. — Чего достигнем? Да и что особенного случилось? Злостная аморалка — всего-то! Предлагаю считать «Дело Глухова — Мишкина» прекращенным по причине смерти обвиняемых. Родителям послать как обычно: выполняя интернациональный долг, героически погибли...

Все молчали.

— Еще чаю?

Офицеры не возражали. Полковник Иван Алексеевич улыбнулся:

— Придется вам, капитан, идти за водой. Как младшему среди нас по званию, — улыбнулся полковник, протянул капитану-следователю пустой чайник.

Раскаленные камни вдоль дороги, раскаленные камни на дороге, а вокруг — каменные лысые горы. И нигде ни травинки, ни стебелька — все выжжено солнцем.

Лязгая, кроша камни, идут по дороге танки, а на танках — славные воины-интерна-

ционалисты. Они уходят домой, покидают эту землю, которая их не звала. Вдоль дороги стоят старики — они тоже их не звали и сейчас провожают тягостным молчанием.

Миновав придорожный кишлак, дорога сползает в низину, и танки спускаются туда. Славные воины здесь насторожены, возможна засада... Неожиданно из-за камней выскакивает человек и бежит к головному танку. Торчащая из люка голова прячется внутрь... Но пугаться нечего: к танкам бежит женщина. Да еще с малышом на руках. Не сразу узналась Бибигуль.

Чувство опасности прошло, солдаты высоко вывали из люков головы. Приблизившись, Бибигуль стала выкрикивать:

— Мишка?.. Мишкин Мишка?

Солдаты ее не понимали. Мордатый парень со шрамом на лбу заорал кому-то:

— Мишка-а-а!

Из люка соседней машины выглянул совсем юный, перемазанный черным русопятый парень, чем-то похожий на Мишкина.

— Мишка, тебя зовут! — крикнул ему мордатый.

Бибигуль было не до шуток. Она упрямо твердила:

— Мишка?.. Мишкин?.. Глухов?..

Никому было не понять, что у нее на душе. И никому не было ведомо, чем и когда закончились жизни Мишкина и Глухова и что потом будет с нею самой, выброшенной с грудным сыном из дому стариком-торговцем.

И вот сейчас вместе с покидающими навсегда эту землю русскими солдатами Бибигуль покидала надежда не то чтобы найти, но даже хоть что-нибудь, хоть немножко узнать о Мишке Мишкине... Солдаты уходили в приподнятом настроении, они уходили с этой проклятой земли, где гибли их друзья и где каждую минуту могли погибнуть сами. Им было радостно, весело, радость переполняла их души. Вот так столкнулись горе девочки и солдатская радость.

— Мишка Мишкин? — кидалась Бибигуль к танкам и натыкалась на смех и шутки.

— Эй, Мишка Василенко! — кричали кому-то. — Ты, случаем, здесь сына не оставил?

В этой же колонне ехал на танке полковник Иван Алексеевич. Вдруг он увидел ту самую девочку, врзалась она ему в память.

И она увидела его.

Глаза их встретились.

Но что он мог ей сказать?

Она замерла перед танком полковника, но танк прогрохотал мимо, обдав ее рыжей гарью и дымной вонью солярки. Уходят танки, уходят солдаты. Насовсем. И насовсем остается она наедине с тоской, неведением, вечными, пока жива, мыслями и догадками о том, что произошло с Мишкиным...



**Евгений
КОЗЛОВСКИЙ**

ГОЛОС АМЕРИКИ

**Научно-фантастический эпилוג
(из «Москвабургских повестей»)**

Киноповесть

Черт возьми! Такая уж надувательная земля!

Н. Гоголь. «Игроки»

1

Проводив взглядом рванувшегося от главного входа красно-белого жучка скорой, в недра которого с мешающей помощью Трупца Младенца Малого только что был внесён генерал Малофеев (говорят, его Трупец и отравил, — Катька Кишко, едко пахнущая половыми секретами, прошипела из-за спины таинственным голосом последнюю сплетню, — впрочем, что же? почему бы и не Трупец? почему бы и не отравил?), — жучок умудрился-таки найти щелку в непрерывной, неостановимой, темно-зеленой ленте прущих по набережной военных грузовиков и, полавировав внутри нее, скрылся за излучиною, — Никита вдруг подумал, что внезапное заблевание генерала может привести к таким последствиям, о каких страшно бредить и в бреду, и еще подумал, что слишком далеко его, Никиту, кажется, занесло, далеко и совсем не туда. Он и раньше чувствовал, что его несет не туда, но то было несет, а теперь — занесло уже, занесло окончательно, и ясное сознание этого факта пришло в голову впервые.

Ему, собственно, и всегда, можно ска-

зать — с рождения, некуда было деваться, вся логика биографии, судьбы толкала в черно-серое здание на Язуе, вмещающее два десятка западных подрывных радиостанций, разных там Свобод, Би-би-си и Немецких Волн. Он от младенчества, от младых, как говорится, ногтей слишком насмотрелся на диссидентствующих этих либералов, на либеральствующих диссидентов, к числу которых, увы, принадлежали и оба его родителя, и старшая сестрица Лидия; слишком наслушался нескончаемых их, пустых и глупых вечерне-ночных, в клубах вонючего табачного дыма разговоров, за которыми, одна вслед за другой, летели бутылки липкого тошнотворного портвейша и переводились килограммы тогда еще дешевого кофе; слишком надыхался кислотоватой, затхлой, даже на свободе — вполне тюремной — атмосферой; слишком, слишком, слишком! чтобы каждой клеточкою души не стремиться вырваться из этого вызывающего органическую безглизивость круга. Приметы родительского и их друзей быта: нищета, безработица, обыски (нескольким из которых, еще мальчиком, стал Никита потрясенным свидетелем); допросы, аресты, суды; адвокаты, кассации, лагеря, психушки — все это, поначалу жуткое, со временем стало совсем не страшно, а... м-м... нехорошо, неприятно, тошнотворно, и знакомые фамилии по вражеским го-

ло сам звучали как-то фальшиво и по-предательски, и ни за что не могло повериться, будто разнообразно-однообразным процессам сии и процедурам подвергаются действительно чистые, бескорыстные и психически полноценные люди, да не могло повериться, и, глядя на их, кандидатов и докторов наук, старые, замасленные, потерянные, в серых ключьях подкладной ваты пальто, на их плешивые шапки, на бахромящиеся, вздущиеся на коленках штаны, не могло повериться, слушая обиженные, жалостливые их, физиков, математиков, филологов, рассказы о мытарствах по отделам вневедомственной охраны, по кочегаркам и дворничкам. Книжки и журнальчики, которые на очередном обыске описывались, сваливались во вместительные, защитного цвета брезентовые мешки и увозились, но, несмотря на столь регулярные и капитальные чистки, спустя время, снова накапливались в квартире, — не вызывали у Никиты никакого ни любопытства, ни доверия, а тоже — одну брезгливость, и любая брошюрка, купленная в Союзпечати, любой номер Пионера или Костра, безусловно, были куда всамделишнее той, пусть на самой хорошей бумаге отпечатанной, но фальшивой, фиктивной макулатуры.

Кстати о Пионере и Костре: ни их, ни Пионерской Правды, ни Юного там Натуралиста или Техника не соглашались родители выписать Никите: брызжа слюною, объясняли про коммунистическое обморачивание, которому не позволят... и так далее, а взамен подсовывали детское евангелие с глупыми картинками и прочую чушь, и ее не то что читать — смотреть на нее было противно и стыдно, а все ребята в школе читали и Костер, и Пионерскую Правду, и Юного Техника, и Никита, хоть побираясь, а все-таки читал тоже, а неприятные ощущения, которые испытывал от побирушничества, заносил на родительский счет. Последний с каждым годом рос, и не только от новых поступлений, но и от неумолимых процентов.

Чем более емкие ушаты иронии и прямой издевки опрокидывали родители и сестра Лидия на октябрятскую звездочку, на пионерский галстук, на комсомольский значок Никиты — тем с большей энергией сопротивления тянулся он к этой высмеиваемой, облаиваемой ими общественной жизни и с гордостью и достоинством носил звания и председателя совета отряда, и члена совета дружины, и комсорга класса. И только там уже, в комсоргах, впервые смутно почувствовал, что тащит его куда-то не туда, потому что прежде, в октябрятках и пионерах, деятельность Никиты была в каком-то смысле органичной, естественной, принимаемой ребятами, — теперь же слова, которые он

вынужден был поддакивающе выслушивать и произносить сам, все дальше и дальше уходили от реальности, и волей-неволей приходилось переделывать ее в своем сознании под эти слова, и она мало-помалу начинала обретать размытость, фиктивность, призрачность. Однако поздно, поздно было поворачивать назад: несло, несло, несло уже, да и некоторая приятность в положении комсомольского вожака все-таки оставалась: снаружи — уважительное отношение начальства и ряда товарищей обоего пола, изнутри — вступая в странное противоречие с постепенным офиктивливанием реальности — ощущение прямой причастности к могучей своей Родине, то есть всамделишности и собственного существования, — тащило, перло, несло и так и вынесло в университет, в университетский комитет комсомола, и дальше — в пресловутое черно-серое здание на Яузе. И чем справедливей и обоснованнее казались Никите лидкины и родительские шуточки и издевки, а они — к никитиному раздражению — с течением времени все чаще казались справедливыми и обоснованными, — тем меньше оставалось возможностей к отступлению с пусть сомнительной, однако частично уже пройденной, с пусть выбранной ненамеренно, но многими драками отстоянной дороги. И еще клеймо, поставленное родителями на Никиту при рождении последнего, поставленное безжалостно, под запах паленой детской кожицы: клеймо имени-отчества: Никита Сергеевич! Оно жгло Никиту с того самого момента, как он стал понимать, в чью честь назван и почему именно в эту честь, — жгло, и чего бы Никита ни сделал, чего бы ни превозмог, чтобы только прожить клейму наперекор!

Хотя, с другой стороны, — куда уж так особенно занесло? — работа как работа, даром только что числишься младшим лейтенантом известного Госкомитета, Конторы, как выражаются родители, — и формы-то ни разу, считай, не надел: обыкновенный радиоредатор. А что выпускаешь в эфир не Маяк, не Сельский какой-нибудь Час, а программу Книги и люди Голоса Америки — так что? — забавно даже, интересно, игровая, так сказать, стихия, мистификация! и всякий раз, сдавая вниз, в преисподнюю, на передатчик очередную американскую пленку, Никита не без удовольствия воображал внимательные лица Лидки, родителей, прочих оборванных диссидентов, с напряжением слушающих свободное слово, прорывающееся сквозь коммунистические глушилки, — и от души улыбался. Пусть, дескать, не слушают, как ослы, что угодно — лишь бы из-за кордона!

Так или иначе, а в комсомольский комитет Конторы Никита самоотвелся, прав-

да, тихонько самоотвелся, без бравады, без демонстраций этих разных; так же, без бравады и демонстраций, воздержался пока и от вступления в партию, хотя Трупец Младенца Малого и предлагал рекомендацию, а сейчас вот — лоб до потного немецкого прижат к пыльному жаркому стеклу — проводив взглядом красно-белого мигающего и, наверное (сквозь окно не слышать), вопящего жука до излучины, переплыв мутную, из одного, кажется, дерьма состоящую Язу, перейдя противоположную ее набережную, по которой перла — только в обратную сторону — такая же непрерывная, такая же темно-зеленая, такая же ничем не останавливаемая лента военных грузовиков, упершись, наконец, в посеревшие, подкопченные выхлопами стены Андроньевского монастыря и по ним проползая вверх, покуда не остановился на золоченом крестике собора, — подумал вдруг, как же выглядит со стороны все то, в чем принимает он, Никита, посильное участие? — подумал, и по-нехорошему смешно ему стало, и беспричинно засосало под ложечку, беспричинно, а словно так, как, наверное, должно засосать, когда, лечась от перелома какого-нибудь нестрашного, прочтешь в выкраденной у дежурной сестры истории собственной болезни латинское, однако и по латыни слишком понятное слово: сансер.

2

Х-хе-не-рал! прошипел Трупец и потер ручки, словно старательно, хотя и не слишком артистично, скопировал известного французского кинематографического комика, на которого похож был до однойцовости. Откомандовался! Скорая вильнула и, вопя и мигая, вклинилась в колонну идущих по набережной грузовиков. Не бойсь — средство верное, патентованное!

Обиженный, дважды обойденный повышением и фактически сосланный на должность замзава одного из отделов собственного детища, однако человек, в сущности, крайне добродушный, Трупец Младенца Малого зланому не желал, особенно непосредственному своему шефу, генералу Малофееву, которого помнил еще, когда тот был желторотым, но чрезвычайно способным капитаном, и которого несколько лет назад сам с удовольствием принял к себе в контору на должность начальника Голоса Америки, — зла не желал и подсыпал ему в столовой за обедом сохраненный на всякий случай еще со времен оперативной работы ядовитый английский порошок отнюдь не из зависти: просто не видел другого выхода, а пора провести в жизнь одну старую идею настала беспрекословно.

Идея зародилась у Трупца давным-давно, когда он только что получил подполковника

и возглавил Отдел глушения западных радиопередач. Работать было трудно: враги елозили по волнам, увеличивали мощности, беспредельно расширяли диапазоны, даже открывали новые станции; наша аппаратура то и деломалась, горела, техники и солдаты глушили не столько радиопередачи, сколько выдаваемый для промывки контактов метиловый спирт, — словом, Трупец вертелся, как белка в колесе, — толку, однако, выходило чуть: следовало менять что-то кардинально! — и вот, мучительно мысля и ночью и днем, он-таки выдумал, что, чем тратить миллионы киловатт и километры нервов на малоэффективное генерирование помех, лучше просто выловить всех, кто пакости смеет слушать, и нейтрализовать — и тогда пускай брешут враги — надрываются, словно голодные псы в выгоревшей, вымершей деревне!

Поначалу показавшаяся хоть сладкою, а несбыточной мечтою, мысль постепенно обросла подробностями, и вот уже, вполне законченный, детально разработанный, лег в папочку красного ледерина план операции: внедрить на одну из подрывных антисоветских радиостанций, лучше всего — на Голос Америки — своего человека и дать ему задание, чтобы в определенный день и час передавал бы в эфир специально подготовленное сообщение, ну, например, что через сорок минут Америка начинает войну с СССР и, желая оберечь своих сторонников, по секрету предупреждает их, чтобы они, завернувшись в белые простыни, вышли из домов и сгруппировались на открытых пространствах. Каково?! Сами, голубчики, как тараканы повыползете, а мы вас тут — цап!

Начальству идея понравилась. Правда, кое-кто из молодых да ранних косился опасливо: не слишком ли, дескать, многих придется того... цап? не нарушим ли, дескать, снова ленинские нормы социалистической законности? — но Трупец успокаивал: не обязательно, мол, так уж всех, и так уж сразу, и так уж именно цап, — возьмем, мол, пока на карандашик, а там, в спокойной обстановочке, все и решим! — и уже положено было на титульный лист из ледериновой папочки много разноцветных разрешительных виз, чуть ли не последней только, главной, и дожидались, уже и кандидатуру подыскивали для внедрения и предварительно остановились на одном писателе-полудиссиденте, который уже давненько наворстил лыжи на Запад, — как вдруг Трупец, сам, забил во все колокола и прохождение папочки приостановил.

Приостановить затею, которой дан ход, — все равно что задержать пулю, вылетающую из ствола, — но тут резон был слишком уж значительным: неожиданно появилась возможность раз-навсегда намертво заткнуть

все подрывные радиоглотки; в один прекрасный день — из тех как раз, когда папочка ходила по начальству, — прорвался в кабинет Трупца настырный молодой человек в джинсах, бороде и очках и долго что-то объяснял, размахивая руками, про сверхпроводимость, явление интерференции и когерентность радиоволн. Трупец, имевший в школе по физике двоек больше, нежели троек, не понял, конечно, ничего, однако нюхом волчьим учуял, что дело стоящее, и тут же, вызвав к подъезду черную свою волгу, поехал к парню в НИИ: в одно из тех, знаете, закрытых предприятий, обнесенных глухим забором с тоненькими проволочками поверху, на дверях которого никакой таблички, кроме как Отдел кадров, никогда не висит, и только рядом, на врытых в землю деревянных ногах, голубеет щит **ТРЕБУЮТСЯ** с перечислением двух десятков профессий: от жестянщика до зубного техника, — по которым все равно нельзя догадаться, чем же, в сущности, за забором занимаются, — поехал в НИИ и там собственными глазами и ушами убедился, что от включения бородачатым очкариком маленького тумблерочка, затерявшегося в переплетении проводов, скоплении лампочек, стрелок и рукояток, действительно замолк приемник ВЭФ-12, по которому шли, как обычно, последние известия и песни советских композиторов, исполняемые по заявкам радиослушателей.

Словом, Трупец оценил, и молодой бородач получил и квартиру, в очереди на которую щетно стоял уже несколько лет, и собственную лабораторию, и соответствующий оклад жалования, и необходимые дотации, и валюту, а спустя некоторое время произошли следующие события: 1) смолкли в советском эфире все вражеские, грязные голоса; 2) ложным опенком после грибного дождя, чуть ли не в одну ночь, вымахало на набережной Язуы черно-серое здание; 3) голоса снова заголосили, но уже не своим голосом, а почти дословно повторяя то первую программу Всесоюзного Радио, то Маяк; 4) в газете Правда и целом ряде прочих газет в списках лауреатов Ленинской премии появилась группа не известных дотоле народу фамилий и нейтральное, ничего не говорящее даже человеку искушенному название темы, за разработку которой носители не известных дотоле народу фамилий премии этой удостоивались: О некоторых явлениях, сопутствующих интерференции когерентных радиоволн при использовании волноводов из сверхпроводящих материалов; тема — разъяснили газеты — имеет огромное народнохозяйственное значение; 5) Трупец Младенца Малого купил в военторге на Калининском десятке звездочек, в каждом погоне просверлил шилом по третьей дырке и даже завел предварительные и пока

секретные переговоры со знакомым портным о пошиве генеральского мундира, — и то, и другое, и третье, впрочем, как оказалось — напрасно, ибо не только генерала — даже и полковника Трупцу, возглавившему новый огромный отдел Комитета, так и не присвоили, а напротив, — чем на трупцов взгляд лучше шло дело, тем чаще вызывали Трупца на ковер и разносили в хвост и в гриву за тупость и неумение использовать с полной отдачей последние достижения советской науки и техники в целях дальнейшего усовершенствования и усиления идеологической работы среди населения. Да: усиления среди населения.

Итак, в тупости и неумении обвиняли Трупца Младенца Малого! Это ж смешно сказать: Трупца — в тупости и неумении! А кто как не он бородача приветил? кто как не он подал идею не вовсе голоса упразднить, а заменить на свои, отечественного производства, комитетские? кто как не он провел переговоры с финнами о возведении здания в рекордные сроки, приглядывал за строительством, дневал и ночевал на площадке?! А что начальству не нравятся тексты, которые идут в эфир, — ну тут уж Трупец вовсе виноват не был! Что он мог поделаться с собою, когда каждая клеточка его мозга — да и одного мозга ли?! — каждая клеточка тела, каждая пора, каждый волосок кожи всеми силами противились тому, чтобы собственными, можно сказать, руками изготовлял и распространял их хозяин заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, Коммунистическую партию и выдающихся ее деятелей, а также отдельные организации! Нет-нет, совсем не такой уж он и дурак был, Трупец Младенца Малого, он понимал, что следует маскироваться, чтобы тебе верили, что ты Голос Америки или там, положим, какое-нибудь Би-би-си, следует подделываться под гадючий их тон, чтобы между якобы и их сообщениями подпустить порою с вое, Трупец несколько не подвергал сомнению имеющиеся у начальства агентурные данные, что совсем, дескать, перестал слушать народ трупцовы голоса, — понимал и всякий раз искренне обещал начальству, что исправится, что все будет нормально, даже на главного редактора при себе согласился, — что-то вроде Фурманова при Чапаеве, — и выделил ему комнатку, которая вскоре вырослась на весь двенадцатый этаж, превратилась в таинственный институт контролеров, — согласился со всем и на всё, но гены, гены, мать их так! — гены. Гены, клеточки, поры, волоски! — все это продолжало топорщиться и сопротивляться, и снова, буквально помимо трупцовой воли, выходили из-под начальственного красного его

карандаша материалы, так обкорнанные и поправленные, что впору было нести их на Шаболовку.

И начальство, дольше терпеть не имея возможности, предложило тогда Трупуцу отставку. Отставка была для Трупуца все равно что смерть; он начал писать рапорты, ходить-унижаться по кабинетам, напускал на себя эдакий жалостный вид, пока наконец не плюнули на него и не разрешили остаться при любом деле, правда, сильно понизив в должности и отобрав подписку, что заниматься будет исключительно административно-хозяйственными вопросами, а в передачи как таковые носу больше не сунет.

Когда после унижительных этих мытарств, словно после тяжелой продолжительной болезни, вернулся Трупец в здание на Яузе, там уже все шло по-другому: новое начальство задвигало в эфир огромные куски натуральных заграничных передач, и только небольшие прослойки между ними были составлены Комитетом, а на стыках — для незаметности последних и вящей убедительности, подпускали давно уж, — думал Трупец, — списанную в архив — ан, нет: вечно живую — глушилочку.

Трупец Младенца Малого окунулся в дела административно-хозяйственные, обеими ладонями зажав глаза и уши свои, чтобы не видеть и не слышать того, что творится вокруг, но то, что творилось, просачивалось и под ладони, и тогда припоминалась ледериновая папочка, и снова Трупуцу до зуда хотелось выловить всех, кто осмеливается л у ш а т ь, выловить, наказать, изолировать, потому что, честное слово, для Трупуца уже не существовало разницы между голосами натуральными и голосами яузскими. Понятное дело: начальство сейчас в эту затею посвящать было нельзя, даже крайне опасно, — и Трупец решил действовать на свой страх и риск. Единственный человек, с которым дерзнул Трупец поделиться и привлечь в качестве помощника, был младший лейтенант Никита Вялых, юноша симпатичный и умный, взятый в свое время на Голос Трупцом по приватной просьбе старого фронтового друга, генерала Обернибесова, — юноша, к которому бездетный Трупец относился почти как к сыну, тем более что Никите крупно не повезло с родителями фактическими.

И вот однажды после работы, не доверяя стенам собственного кабинета, пригласил Трупец младшего лейтенанта прогуляться по Андроньевскому монастырю и во время прогулки идею свою и изложил. Никита сохранил полное спокойствие на лице, выслушав, но Трупец заметил по его глазам, что не верит, сомневается: клонет ли, дескать, народ на такую грубую приманочку, натянет ли, дескать, на головы простынки и побежит ли,

дескать, на Красную, к примеру, площадь, — выслушал спокойно и возразил только в том смысле, что без начальства с этою акцией все равно не справиться, потому что ведь надо заранее все подготовить, чтобы успеть зарегистрировать по всему Союзу, кто с простынкую выскочил, что тут даже одними райотделами Комитета, пожалуй, не обойтись, придется привлечь и милицию... Нет, не знал мальчишка народа своего, совсем не знал, не знал и недооценивал: одни, кто слушает, — те, конечно, поверят во что угодно, лишь бы из-за бугра; другие же, те, кто не слушает, а больше смотрит, уже назавтра сообщает куда следует, кто, когда и в чем выбежал ночью из дому! — но Трупец и возражать не стал: по всему никитиному тону понял уже, что ошибся в выборе помощника и что вообще такие дела делаются в одиночку, а чтобы, не дай Бог, не пошло шума преждевременного, схитрил, согласился по видимости с младшим лейтенантом, что действительно, мол: без начальства не стоит.

Трупец потом долго материл себя, что расслабился, раскололся как последний фраер, поделился с сопляком заветным замыслом, а ведь и помощи-то от сопляка никакой реальной выйти не могло, разве записал бы со своими сыкушками текст на магнитофоне, но на худой конец Трупец Младенца Малого и с этой задачей справится, не пальцем делан! — да и не в паршивых Книгах и людях надо давать такое объявление, а в Программе для полуночников, в последних ее известиях, тем более что последние известия идут в эфир не с пленки, а непосредственно из студии. Правда, под присмотром контролера, но того, надеялся Трупец, с помощью коньяку ли, если мужик, отпустив ли домой пораньше, если баба, нейтрализовать удастся относительно просто.

Итак, цель определилась: дорваться до студии, где прежде Трупец был полновластным хозяином, но куда в последнее время его фактически не допускали, и подложить текст объявления ведущей последние известия дикторше. И Трупец Младенца Малого, вооружившись терпением, стал ждать пору летних отпусков, когда опустеет большинство начальственных кабинетов и появится шанс как-нибудь вечером остаться во всем яузском корпусе старшим по званию, — и вот сегодня сошлось, наконец, почти все; только генерал Малофеев стоял на посту добросоветным пнем, и пришлось выключить его из игры, подсыпав в компот английского порошка.

Ну что же... Он еще принесет пользу государству, настоящую пользу. Рано, рано еще списывать его в архив! Он сумеет доказать, что кое еще на что способен! — Трупец Младенца Малого постоял минуточку у подъезда,

послушал ухом своим чутким, как затихла, смолкла сирена давно пропавшей из глаз скорой, поглядел на душное, парящее, полупасмурное небо и, резко повернувшись, решительно зашагал внутрь, в таинственные глубины черно-серого здания на набережной реки Яузы.

3

Как всегда, когда приближался момент встречи с Никитой, Мэри Обернибесова была рассеяна и, что называется, в разобранных чувствах — и вот пожалуяста: на волосок только не врзалась в неожиданно вылетевшую с набережной Яузы, мигающую и вопящую скорую. Мэри резко, испуганно ударила по непривычным педалям, и под визг тормозов и резины волгу занесло, развернуло и бросило прямо под темно-зеленый военный грузовик, завораживающий от Иллюзиона,— хорошо еще, что за рулем сидел не салага-первогодок, а пожилой прапорщик, мужик, видать, опытный и хладнокровный: успел славировать.

Руки у Мэри дрожали, в ушах шумело, сердце колотилось так, что, казалось, слышно было и на улице, но на улице все же слышно не было, потому что сзади всю наступали, гудели сбивающиеся в пробку военные грузовики, и Мэри тихонечко, на первой, отъехала в сторонку, на тихий пяточок-стояночку у библиотеки иностранной литературы, чтобы передохнуть и прийти в себя.

Как всегда, когда приближался момент встречи с Никитой... Как всегда да не как всегда! Хуже чем всегда, потому что, хотя Мэри действительно с первого еще класса, с которого они учились вместе, робела Никиты и всю школу, и после, и до сих пор вот так вот робко бегала за ним,— она, генеральская дочка, длинноногая рыжая красавица, вся в фирме, девица, на которую в Торговой палате, где она работала переводчицей, облизывались не только свои, но и иностранцы,— бегала и всегда чувствовала себя перед ним Машкою-какашкой октябрятских годов; правда, после второго ее развода что-то сдвинулось в их с Никитой отношении: он стал обращаться с нею как-то приветливее, они принялись встречаться чуть ли не по два раза в неделю, и Мэри даже удалось несколько ночей провести в никитиной постели: в коммунальной сретенской комнатшке, грязной, с ободранными обоями,— но Мэри было этого мало: она непременно хотела за Никиту за муж — еще с первого класса хотела и недавно, несколько обнадеженная начавшимся с Никитой сближением, потеряла выдержку, осторожность, поперла на него как танк,— тут же Никита из рук и выскользнул, и Мэри поняла, что сама

разрушила, и разрушила, может быть, необратимо, подведенную почти под стропила постройку, которую терпеливо собирала из разрозненных кирпичиков вот уже много лет. Так что хуже, чем всегда.

Катастрофа произошла из-за этого дурацкого отцова дня рождения: когда Никита согласился поехать на него, в сущности — на смотрины, Мэри подумала: все! дело в шляпе! и уже расслабилась, и уже расходилась, и, поймав на себе, лихо ведущей жигуленка, никитин пристальный (завистливый, показалось ей) взгляд, выдала вдруг, сама не ожидая от себя такой прыти: если женишься — эти жигули твои. Независимо от того, как там дальше развернутся наши отношения. Папка пообещал подарить мне к свадьбе свою волгу, потому что ему достают мустанг, а жигули я перепишу на тебя. Низко же ты меня ценишь! — по никитиному тону никогда невозможно было понять, шутит Никита или говорит всерьез, однако то, что она дала промашечку, Мэри поняла определенно. Жигули! Если б ты мне волгу предложила или папашного мустанга — тогда было б еще о чем разговаривать...

Вот они — последние слова, сказанные Никитой в ее адрес за весь вечер, последние перед теми, совсем уж невыносимо обидными, брошенными ей в лицо вместе с червонцем у ночного сретенского парадного, последние, если не считать коротенькой реплички: совсем как у нас дома... которую произнес Никита скорее даже в пространство, чем ей, когда податые гости под аккомпанемент обернибесовского баяна нестройно, но полные чувств, тянули одну за другою Катюшу, Землянку, Летят перелетные птицы и, как всегда на закуску,— шутливый коллаж, составленный отцом из Трех танкистов и Москвы—Пекина: русский с китайцем братья навек — и пошел, атакой взметен, по родной земле дальневосточной...— тянули и гасили окурки в жиге объедков, оставшихся на тарелках,— и тогда еще не хватило у Мэри соображения, чтобы понять, вспомнив обрывочные сведения, которыми об этом предмете располагала, что *совсем как у нас дома* означает для Никиты не нечто приятно-ностальгическое, но совершенно наоборот.

Мэри специально капли в рот не взяла за вечер, хоть выпивку отец выставил более чем соблазнительную — специально: чтобы можно было потом сесть за руль и поехать с Никитой к нему на Сретенку, однако когда они подкатили к парадному, Никита всем видом своим, всем поведением показал, что Мэри к себе приглашать не намерен, и она, едва не до слез обиженная унижительной ситуацией, спросила у него в ожидании хоть объяснений каких-нибудь: это все? Ах да, извини! — он был сама любезность и доброжелательность. Сколько от твоей дачи

досюда? Километров, я думаю, сорок. Так — довольно? и протянул червонец. Тут уж безо всяких едва — тут слезы брызнули, полились из зеленых мэриных глаз, но Никита — ноль внимания — скрылся в подъезде, и Мэри вдруг очень стало жалко себя, и она, положив голову на руль, машинально сжимая в потном кулачке вложенную туда Никитой десяточку, прорыдала добрый, наверное, час, а потом врубила первую и слабыми подрагивающими руками медленно повела автомобиль по косо освещенной ранним летним солнцем, но куда пустынной Москве.

Мэри не пошла на службу и весь день отсыпала свои слезы, а к вечеру проснулась и уже спать больше не смогла, и стала думать, и мысли ее, помимо воли хозяйки, желающей стать наконец гордой и непреклонной рыжей красавицей и раз-навсегда освободиться от неблагоприятного оборванца, — мысли ее текли сами собой в направлении, безусловно Никиту оправдывающем. Мэри попыталась взглянуть со стороны, его, никитиными, глазами на весь этот день рождения, на собственного отца, на его приятелей, и давние, привычные, с теплого детства родные вещи увиделись в новом, смешном, раздражающем свете.

Мэри любила отца: большого, веселого, шумного, всегда, правда, чуть пьяньского, — но очень доброго человека, воспитавшего ее самостоятельно, потому что мать, когда Мэри не исполнилось и пяти лет, сбежала с отцовым адъютантом, — любила, и любила такого, каков отец есть, то есть и с пьянкой, и с солдатским юмором, и с музычкой, и с главным бзиком: махровым — как шутил он сам — американофильством, которому обязана была клоунским своим именем, — любила и охотно потакала всем отцовым слабостям. Но что мог подумать, почувствовать человек посторонний, неподготовленный, в данном случае — Никита, когда, например, вручал ей же, Мэри, заготовленный подарок: американскую маечку, — выбежавшему вприпрыжку навстречу дочкиной машине генералу, седому толстяку в джинсовом костюмчике Wrangler, на который нашты и погоны, и лампасы, и золотые дубовые листья, и прочие атрибуты генеральского достоинства? Что мог подумать посторонний человек, увидев, как летят на траву дачной лужайки и звенящая орденами и медалями курточка, и в талию пошитый фирменный батник, и джинсовая же кепочка-жокейка с кокардой и парчовым кантом, а генерал, не в силах потерпеть и минутки, натягивает подарок на обширный, седой оголенный свой торс, и надпись Keep smiling! The boss loves idiots устраивается поперек груди, — ну-ка, переведи, дочка, что здесь написано! Я, знаешь (это уже к Никите), — я, знаешь, пацан, хоть и люблю американцев, детей

сукиных, а язык их лягушачий учить леньюсь. Мы когда с немцем воевали, так те тоже: нихферштейн, нихферштейн, а как границу мы ихнюю перешли — живо все по-русски зашпыхали. Так, что, говоришь, написано? (снова к дочери). Держи улыбку! Босс... ну, то есть, начальник... любит идиотов! Это что ли про моего маршала?! В самую десятку попал, пацан, в самую десяточку. Удружил подарочком, ничего не скажешь, спасибо, пацан, спасибо!

А что мог подумать Никита, когда, часом позже, достал генерал Обернибесов военных еще времен баян и, мечтательно склонив голову к мехам, завел американский свой репертуар: Хэлло, Долли, да Караван, да Когда святые маршируют, — хорошо бы играл только, а то ведь и петь начал шутейные переделки собственного изготовления: говёный сыч - шары залил, - говёный сыч ша-ры-за-ли-ил...

Мэри потрясающе ясно вспомнила побелевшее, с прикушенной губой лицо Никиты: минут за пять до двенадцати прислуживающий на даче сержант внес огромный отцовский филипп, пробивающий любую глушилку, и доложил: так что аппарат настроенный. Слушайте, пожалуйста, на здоровычко, и отец повернул верньер, умрите! прикрикнул на пьяньских гостей. Голос Америки! Программа для полуночников! Я, знаешь, пацан, ни одной Программы для полуночников не пропускаю вот уже лет пятнадцать, я очень этот самый Голос Америки люблю: врут они меньше наших... раза в три меньше... или в два с половиной. А на моем посту правду знать положено. У нас, конечно, белый тасс-тарантас есть, но он, знаешь, тоже того... Тихо! начинают! — вспомнила побелевшее, с прикушенной губой и от этого, казалось, еще более красивое, но и более недоступное лицо Никиты и страшный какой-то, безумный взгляд, брошенный Никитой на старого папкиного товарища, дядю Колю, которого Никита за глаза всегда называл Трущом Младенца Малого и под началом которого (кстати, по мэриной же тайной протекции взятый; у Мэри хватало ума не посвящать Никиту в свое благодение — он не простил бы ей ни за что) — служил в особо таинственном каком-то отделе Комитета Госбезопасности, расположенном в специальном здании на набережной Яузы. Да и у самого дяди Коли лицо сильно посерело в тот момент, посерело и озлобилось, но это для Мэри неожиданностью не было: дядя Коля лютый, личной ненавистью Голоса ненавидел и не раз ругался с отцом, что тот их слушает.

Но, видать, последней каплею, переполнившей, что называется, чашу никитино терпения, была неизвестно зачем затеянная несколько перебравшим отцом ночная поезд-

ка на его службу, на кнопочку, как он любил выражаться. Гостей уже никого почти не осталось, дядя Коля, злой из-за Голоса Америки, наорал на отца и обиженно пошкандыбал пешком на электричку ноль-сорок, так что в волге, не считая солдата-шофера, сидели только они втроем: сам Обернибесов, Мэри и Никита.

Повиляв с полчаса между сосен по узким, хорошо асфальтированным дорожкам, въезд на которые простым смертным был заказан светящимися кирпичами, а также явными и секретными постами солдат, волга уперлась в металлические ворота с огромными выпуклыми пятиконечными красными звездами, приваренными к каждой из двух створок, в ворота, что прикрывали въезд за несоразмерно высокий забор.

Таких ворот перевидывал Никита за свою жизнь не одну, надо думать, тысячу: воинская часть как воинская часть, но зрелище, открывшееся ему потом, когда, узнанные и пропущенные, оказались они на территории кнопочки, — зрелище это могло, конечно, не только поразить неожиданностью (Мэри понимала это сейчас слишком отчетливо), но и вызвать своей неестественностью, фиктивностью чувство эдакой презрительной гадливости, особенно если учесть, что предстало перед взглядом весьма уже раздраженным. Парк культуры и отдыха районного масштаба — вот как выглядела кнопочка изнутри: мертвые по случаю ночной поры, дежурными лампочками только подсвеченные, торчали среди редких сосен и американские горы, и качели-карусели, и колесо обозрения, и парашютная вышка, и раковина эстрадки, и все такое прочее, что еще положено иметь парку культуры и отдыха районного масштаба. Генерал сказала пару слов на ухо дежурному офицеру в штатском, тот что-то там не то нажал, не то переключил, вспыхнул и замигал над воротами транспарант Боевая Тревога и одновременно вспыхнули, замигали, запереливались разными цветами многочисленными лампочки аттракционов, заорала искаженная колоколом эстрадная музыка и неизвестно откуда, словно прямо из-под земли, выскочила не одна сотня молодых парней и девиц, одетых в штатское и относительно разнообразно, выскочила, стала на мгновение в строй и тут же, подчинясь неслышной от ворот команде, рассыпалась по аллеям, эстрадкам и аттракционам. Молодые люди развлекались, веселились и целовались в кустах старательно, изо всех сил, однако несколько как-то натужно, но довольный Обернибесов натуги не замечал, а смотрел на эту, в сущности, жутковатую катавасию с гордостью и пояснил Никите: маскировка, пацан, сам понимаешь. Чтобы американцы чего не подумали. Балдеешь? То-то же, пацан. Сам все сочинил!

Потом генерал повел их в комнату смеха, и они, издевательски отражаясь то в тех, то в других кривых зеркалах, все шагали и шагали под уклон по замысловатому лабиринту, пока наконец зеркала не исчезли мало-помалу со ставших цементированными и сырыми стен, и уже в многочисленных коридорных коленях все чаще стали попадаться солдаты и офицеры, одетые по форме, и, приветствуя неожиданных гостей, вытягивались с такими невозмутимо-приветливыми рожами, что мерцающая в распах генеральской курточки люминесцентная надпись приобретала смысл комментария к происходящему.

Сама кнопочка была огромной красного цвета кнопочкой, напоминающей форму грибок для штопки носков. Мэри видела ее сто раз, Никита же стоял замороженный, не отрывая очей. Что? вот так вот просто нажать — и в се? словно бы спрашивал выразительный его взгляд, и генерал ответил: ничего, пацан, не бойсь! Не идиоты! Тут знаешь, пацан, какая механика хитрая?! Чтобы эта сработала, кивнул он на кнопочку, надо предварительно еще пять нажать: в Генштабе, в Кремле, на Старой площади и еще в двух местах. Но про те места, пацан, знать тебе не положено, да я, честно, и сам про них ни хера не знаю. Ав-то-бло-ки-ро-воч-ка!

Никита, словно в трансе каком, словно под гипнозом, лунатик словно, потянулся кнопочку нажать-попробовать, но генерал, хоть и пьяненький, среагировал на раз, остановил: спокойно, пацан, спокойно! У нас тут на днях пара транзисторов импортных вылетела, заменить не на что, так ребята пока напрямую провода скрутили. Нажмешь ненароком — и бах! и, сообщивчески подмигнув Мэри, генерал ударил впрысжку, подпевая намеренно тоненьким, под бабу, голоском: с неба звездочка упала - прямо милому в штаны. - Что б угодно оторвала, - лишь бы не было войны! — дежурящий у пульта полковник невозмутимо наблюдал за перипетиями сцены.

Мэри, считающая отца, несмотря на привычку его гаерничать, человеком, вообще говоря, серьезным, насчет *напрямую скрутили* ему не поверила, сочла за шутку и довольно забавную, но теперь, когда вспоминала события пьяной той ночи, шутка эта, услышанная как бы, ушами Никиты, показалась Мэри ужасно грубой, бездарной, с о л д а т с к о ю. Тоже совсем не смешно в данном контексте показалась и висящая над кнопкою эстонская картинка, которую Мэри в свое время привезла из Таллинна и, гордая своим чувством юмора, подарила отцу, а тот, принимая игру, повесил именно здесь. Картинка изображала пульт управления: четыре телеэкрана с ракетами наизготовку, кнопочки Start под каждым из них, а перед пультом сидят четверо дегенеративного

вида злых амбалов и потому только не нажимают на кнопки, что одеты в смиренные рубахи, рукава которых перевязаны тугими двойными узлами за спинками кресел. И один из рукавов грызет маленькая мышка: лишь тонкая ниточка и осталась. Минут на пять работы.

Нет, были, были у Никиты основания хлопнуть дверью и уйти от Мэри, сунув десятку за проезд, сама она виновата, что затащила его на жуткие, на кошмарные, на цирковые эти смотрины; тем ведь смотрины и нехороши, что не только на избранника смотрит родня — избранник и сам, увы, не без глаз! — и вот, три дня промучившись, не решаясь звонить, поехала Мэри на Язу, чтобы встретить Никиту после работы и попытаться извиниться перед ним, объяснить ему, рассказать про отца, какой он добрый, хороший, про... Мэри сама толком не знала, что будет говорить Никите, — надеялась: чувство раскаяния, вины, с которым ходила последние дни, наложило на нее отпечаток и не сможет же не тронуть возлюбленного и, как знать! — вдруг окажется, что не окончательно рухнула та самая постройка, терпеливо собранная из разрозненных кирпичиков...

Руки и ноги уже не дрожали, сердце колотилось не так бешено, — Мэри повернула ключик — заурчал двигатель — и потихоньку тронулась со стоянки у библиотеки иностранной литературы, тронулась и тут же притормозила, поджидая момент, когда можно будет вклинуться в бесконечную вереницу военных грузовиков, текущую от Иллюзиона на набережную реки Яузы.

4

Хотя по Москве бегают достаточно волгядовито-васильковой окраски, Никита, все еще не отошедший от окна, в тупом оцепенении оглядывающий окрестности, печенкой почуял, что волга, которая стала у подъезда, — волга обернибесовская, и действительно: из приоткрывшейся левой передней дверцы показалась рыжая голова Машки-какашки. Это уже был полный привет: если генералу за три прошедшие дня не достали мустанг, то машинное появление на отцовской волге могло означать только одно: генерал сегодня на боевом посту! То есть цепочка выстраивалась такая: неожиданный приступ с Малофеевым открывает Трупцу Младенца Малого доступ к студии прямого эфира — на кнопке сидит любитель американского радио — проводки скручены в обход блокировки.

Заверещал внутренний телефон: Машка-какашка дошла, стало быть, до бюро пропусков, Никита с усилием разрушил позу своего оцепенения и снял трубку: слушаю...

Никиточка, прости меня, дуру! Я виновата, виновата, виновата перед тобой тысячу раз... Машка несла ахинею, и Никита раздраженно пережидал, когда можно будет вклиниться с единственным интересным сейчас вопросом: твой отец что, сегодня дежурит? Да, недоуменно ответила Мэри, сбитая с нежнопокаянной волны. Дежурит и в ночь? И в ночь. Подожди меня, я сейчас спущусь. Он же прекрасно знает, что отец нашим встречам не помеха, пожалала Мэри плечами.

Словно ошпаренный пес, в коридоре Никиту подждал бородач Солженицын: Никита Сергеевич, простите... Для вас я не Никита Сергеевич, а гражданин начальник! — Никита имел к Солженицыну некоторое, несколько, правда, гадливое, сочувствие и обычно не позволял себе подобных обижаящих резкостей, но это проклятое имя-отчество, показавшееся раздраженному Никите произнесенным с значением, с издевочкою, вывело из себя: только, пожалуйста, короче, я спешу. Гражданин начальник (Никита, сам вызвавший именно это обращение, невольно поморщился) — гражданин начальник, мне меньше месяца сидеть осталось... Солженицын покосился на покуривающего в конце коридора, у окна, лефортовского прапорщика-конвоира. А если вы подадите рапорт — меня отправят в лагерь и неизвестно на сколько... Могу оттуда и вообще не вернуться...

Яузский Солженицын (настоящую фамилию его Никита не помнил, да, кажется, и не знал никогда) был диссидентом, два с лишним года назад арестованным по семидесятой за изговорение и распространение цикла хвалебных статей о творчестве Солженицына вермонтского, под следствием раскаялся и потому получил пять, а не семь и предложение, что срок будет переполовинен, если Солженицын вместо лагеря останется на обслуге в тюрьме. Диссидент согласился, полагая, что обслуга — это убирать двор, чистить картошку, менять проводку и прочее — однако ему готовили иную судьбу: трижды в неделю ездить под конвоем из тюрьмы в здание на Яузе и имитировать там стиль и голос своего любимого писателя, то есть сочинять за него отрывки из новых книг, всяческие статьи, интервью и обращения к государственными деятелям и общественности и произносить сочиненное в микрофон. Такая работа, хоть и заключала в себе определенный нравственный изъян, с точки зрения бытовой, житейской представлялась все же много приятнее и обслуги, и конечно же, лагеря, — только вот страшно было сознавать, что носись в себе ужасающую государственную тайну: убедившись в некоторой духовной нестойкости и болтливости Солженицына, хозяева могли бы и не рискнуть выпустить

его на свободу, и сейчас, когда срок подходил к концу, Солженицын все ждал подлянку, провокацию, которая дала бы повод отменить условно-досрочное, отправить в лагерь и там сгноить, — ждал, опасался, но... но все-таки снова смалодушничал, хотя и совсем в другом роде.

Никита, занятый своим, с трудом понял, вспомнил, о чем нудит Солженицын: да, действительно, часа полтора назад, возвращаясь с двенадцатого этажа, куда относил контролерам на утверждение пленку с сегодняшними Книгами и лодьями, Никита заметил, что у дверей отдела кто-то толчется. По мере бесшумного — по паласу — приближения Никите все яснее становилась мизансцена: низенькая пухлая Танька Семёнова, она же Людмила Фостер (программа Книги и люди), она же Леокадия Джорджиевич, стояла у слегка приоткрытой двери, напряженная, вся поглощенная зрелищем внутри комнаты; длинный тощий прапорщик, конвоир Солженицына, поверх ее головы наблюдал столь же внимательно и за тем же самым. Засунув руки за пояс коротенькой джинсовой юбочки, Людмила Фостер, она же Леокадия Джорджиевич, прочилась, пыхтя, сжимаясь, выгибая короткую спину, не слыша над собой сопения прапорщика. Никита все понял вмиг: Катька Кишко, она же Лана Дея (Европейское бюро Голоса Америки), нарушила-таки категорический запрет Трупца и дала Солженицыну, а на атае поставила подружку, которая так прониклась сценою, что забыла, зачем, собственно, здесь стоит. Никита, без труда поборов возникшее на мгновение искушение пошутить: заорать тонким, пронзительным голосом Трупца Младенца Малого, — отодвинул рукою и конвоира, и Таньку и вошел в отдел: потный, красный, повизгивающий Солженицын трахал со спины Лану Дею, опершуюся руками и грудью о край его, никитино, рабочего стола. Розовые нейлоновые трусики Ланы Деи были спущены на колени, юбка задрана и елозила, вторя солженицынским движениям.

Никита как ни в чем не бывало обошел пыльных любовников, не услышавших ни его появления, ни предостерегающих междометий Таньки, ни свиста прапорщика, обошел и сел за стол. Наконец Солженицын начальника заметил, и его, Солженицына, не успевшего, кажется, даже и кончить, сдуло словно ветром. Катька под намеренно наглым, пристальным взглядом Никиты начала приводить себя в порядок, бормоча: надо же посочувствовать человеку. В тюрьме все-таки живет. В тюрьме, говорят, несладко... Все это было жалко, грязно, но тем не менее Никиту взвело, и он, злой на себя, что способен возбудиться от такой пакости, отошел к окну, прижался лбом к теплomu

пыльному стеклу и погрузился в оцепенение, так что прослушал суету в коридоре, и только тогда вернулся к реальности, когда заметил красно-белого жука скорой внизу и услышал катькину реплику: говорят, его Трупец и отравил.

Итак, Солженицын подкараулил Никиту, чтобы предотвратить возможные последствия своего проступка. Никита смотрел на Солженицына так же невозмутимо, как часом раньше — на одевающуюся Катьку, и обескураженный прыщавый бородач попробовал зайти с другого конца, решить вопрос, так сказать, по-домашнему, а возможно, и с оттенком шантажа: гражданин начальник, а Лидия Сергеевна Вялых вам, часом, не сестрица? Моя фамилия — Вялых! отрезал Никита и пошел по коридору к большим лифтам.

Стучать на Солженицына Никита, конечно, не собирался — просто тот, как специально, наступил еще на одну большую мозоль: напомнил о родственничках-диссидентах и об их вялой, неприятной, соответствующей диссидентской их сущности фамилии, от которой Никита аж с начальной школы пытался отмежеваться добавляющим, как ему представлялось, упругости и энергичности переносом ударения. К тому же наконец прояснилось, почему Солженицын всегда казался знакомым, где-то виденным: Никита, выходит, несколько раз встречал его в лидкинском обществе (Лидка прямо висла на Солженицыне, роняла слюни) и, помнится, злился: нашла, мол, себе старуха любовника! — грязь диссидентская! — раскаившийся преступник был примерно никитиным ровесником, то есть моложе Лидки лет как минимум на десять.

Однако и минуты не прошло, как раздражение спало, Солженицына стало жалко. Никита остановился, обернулся и громко, на весь пустынный коридор сказал вдогонку бородачу, понуро плетущемуся к прапорщику: чего вы боитесь? У вас же на следующей неделе статья про китайскую опасность, две пресс-конференции и глава из Красного Колеса. Вы же монополист — кто вас в лагерь отпустит?!

Машка-какашка ждала Никиту внизу. Слушай, сказал он. Я не буду вдаваться в подробности, может, это вообще — чистая психиатрия, но ты должна срочно ехать к отцу на службу и ни в коем случае не допустить, чтобы он включал сегодня Голос Америки. Если не поступишь, я на тебе женюсь. (Пауза.) И не брошу. Поехали вместе... — Мэри ничего не понимала. Я не могу, у меня много работы. Хорошо, сказала наконец. Работай. Я попробую. Не потому, что женишься, а потому (пауза), что я тебя люблю.

Никиту сильно тошнило и раскалывалась

голова. К концу рабочего дня это было делом обычным почти у каждого, кто служил в здании на Яузе: начальство, экономя валюту, многое повычеркивало в свое время из финского проекта, в том числе и показавшиеся начальству пустыми игрушками зажавшихся империалистов ионаторы системы эр кондейшн; то есть эр кондейшн — это начальству было еще кое-как понятно, но и о н а т о р ы??? Нашулав в кармане таблетку аэрона, Никита побрел по вестибюлю в один хитрый закуток, где стоял автомат с газировкою: запаренные, с землистыми лицами, поднимались туда из своей преисподней — многоэтажного подвала — попить работники технического радицентра — ТРЦ, обслуживающего все студии здания. Насчет много работы Никита Машке, конечно, соврал: работы только и оставалось, что забрать у контролеров утвержденный и опечатанный ролик (а Никите уже сообщили по телефону, что ролик утвержден, да и прежде сомнений не было, что так оно и получится) и спустить на передатчик.

В прошлом году генерал Малофеев предложил сдвинуть график передач на день вперед против вашингтонского, — действительно, хрена бздеть, когда все каналы информации в наших руках?! — и для Никиты раз-навсегда закончились нервы под дулом взведенного автомата, закончилась постоянная истерическая готовность выключить, заменить, заглушить, — теперь все можно было сделать загодя, в спокойной обстановочке, любое сообщение — обдумать, любой промах — поправить.

Вот и сегодня: получив утром запись вчерашнего вашингтонского оригинала, Никита внимательно прослушал его дважды и решил оставить на месте кусок про последний американский бестселлер (судя по пересказу натуральной Людмилы Фостер — глуповатый и мало чем отличающийся от бестселлеров Юлиана Семенова, разве в дурную сторону). Можно было бы, пожалуй, оставить и открытое письмо русских писателей-эмигрантов в адрес Политбюро ЦК КПСС, весьма напоминающее открытое письмо Моськи в адрес Слона, но Никита работал в Голосе не первый год и знал, что перестраховщики-контролеры с двенадцатого все равно письмо вырежут и нужно будет что-то придумывать в пожарном порядке или ставить глушилку на целые двадцать минут и в результате лишиться как минимум половины премиальных, — поэтому клеил на место письма на той еще неделе сделанную заготовку о переводе на английский и бешеном успехе в Штатах очередногоopus поэта-лауреата Вознесенского. Идущее дальше сообщение о новой а б л и ч и т е л ь н о й книге последнего, из высших тактических соображений оставляемого пока Ко-

митетом в Советском Союзе писателя-диссидента потребовало только косметического, так сказать, ремонта: замены двух-трех фраз — после чего сообщение превращалось в такой конский цирк, что, надо думать, последние знакомые последнего писателя-диссидента перестанут, прослушав передачу, подавать ему руку. Танька Семенова, специалистка по голосу Фостер, записала эти две-три фразы, Никита со звукооператором вмонтировали их в нужные места под глушилочку, и готовый ролик часа еще в четыре был отправлен на двенадцатый этаж.

Никита помыл стакан, бросил в рот таблетку и нажал кнопку — не похожую, правда, на грибок для штопки носков, но тоже крупную и красную. Автомат заурчал, забулькал, однако воды не выдал ни капли, а таблетка таяла, распространяя по нёбу и языку приторную, тошнотворную сладость. Вот страна! — разозлился Никита и выплюнул на пол раскисший аэрон. Там, внизу, одних инженеров сотни четыре, не считая техников, а не могут наладить сраную железяку! Не работает? — услышал Никита за спиною вопрос преисподнего, повернулся и пошел прочь, с отвращением глотая сладкую от аэрона слюну: не работает!

За двумя коленами коридора находились дальние лифты. Никита вызвал кабину и стал следить, как последовательно загораются и гаснут номера этажей на табло: одиннадцатый — высокое начальство, ныне пребывающее в отпусках, десятый и девятый, родные: Голос Америки, восьмой — Русская служба Би-би-си, седьмой — Радио Свобода, шестой — Немецкая Волна из Кельна, пятый — Канада и Швеция, четвертый — Голос Израиля, Ватикан и, кажется, кто-то еще, третий — соцстраны от Китая до Югославии и Албании. На втором расположилась столовая. Вот вспыхнул наконец и первый, двери приглашающе распахнулись, показав Никите в зеркале его самого. Нехорошего цвета было лицо у Никиты, болезненного, бледно-зеленоватого, и нечего было обманывать себя, объясняя дурное самочувствие отсутствием ионаторов, — просто Никита знал, что может случиться к ночи, и животное нежелание гибнуть действовало таким вот неприятным образом. Лифт оставался буквально на каждом этаже, принимая в свое брюхо одних, выпуская других: дикторов, редакторов, авторов, контролеров, пожарников и прапоров из охраны, — Никита смотрел на лица без сожаления, какое произвольно возникает, когда видишь человека, обреченного умереть в самом скором времени. Впрочем, так же, без сожаления, смотрел и на отражение собственного лица. А тошнота просто не зависела от воли и разума.

На десятом Никита вышел и побрел по

серому ворсу паласа вдоль длинного, неярким холодным светом заполненного коридора. Двери проплывали справа и слева, одинаковые, зеленоватого финского дерева; про некоторые из них Никита знал, что за ними: вот бездельники Из мира джаза (Луис Канновер), идущие обычно в эфир целиком, без вымарок и доделок, вот — Театр, эстрада, концерт, вот — Религиозная жизнь евреев, эти три двери — Программа для молодежи, — тут ребяташки действительно пашут... Через десяток шагов после второго поворота коридор уступом расширился в правую сторону. В уступе, отгороженном тонким витым шнуром, по обеим сторонам уже не деревянной — массивной металлической, как в бомбуобежище, двери — стояло двое вооруженных прапоров. Здесь находилась святая святых Голоса Америки: студия прямого эфира, откуда до сих пор велись живые, не с пленки передачи последних известий.

Никита не застал тех легендарных времен, когда здание на Яузе безраздельно принадлежало Трупцу Младенца Малого, и все без исключения программы от первого до последнего слова готовились на месте (как раз тогда произошел, говорят, совершенно анекдотический случай с Радио Свобода, не с тем, что на седьмом этаже, а с натуральным, американским: ребятки оттуда: цэрушники и эмигрировавшие диссиденты, — заметив, что ГБ работает за них, перестали бить палец о палец, ловили яузские передачи и предъявляли их своим шефам в качестве отчета за получаемые деньги), — Никита пришел на службу уже в период нового начальства и его установки максимально использовать передачи врага: установки, где удачно слились интересы маскировочные с лозунгом всенародной экономики (нашим долго не удавалось заставить разленившихся мюнхенских коллег снова приняться за дело: целыми неделями, бывало, молчали обе Свободы — американская и советская, — ждали, кто кого переупрямит!) — и несколько лет, до самого момента, когда по инициативе генерала Малофеева график сдвинулся, бывал в этой комнате каждую неделю: сидел за столиком, внимательно слушал через наушники натуральный Вашингтон и то пропускал его в эфир, то — вводя через микшер глушилку, подавая сигнал Таньке, или Екатерине, или Солженицыну, — тому, кто имитировал прерванный голос, — чтобы читали за пас с о й текст, покуда Никита снова не воротится к Вашингтону. За передачами всегда наблюдал контролер и при необходимости включал общее глушение. Тут же со взведенным автоматом стоял еще и не их ведомства офицер, имеющий, надо думать, особые полномочия. Жесткие сии меры,

предупреждающие маловероятную возможность преступного сговора диктора с редактором, после нескольких эксцессов, случившихся на Пятницкой, в вещании на границу, соблюдались неукоснительно, и это единственное вселяло робкую надежду на благоприятный исход сегодняшней ночи.

И все же, глядя на металлические двери, Никита до галлюцинации ясно вообразил, как через два-три часа войдет за них Трупец Младенца Малого, как отошлет контролера, как офицера ну... скажем... застрелит, как подложит дикторские заветный своей текст про простынки, — вообразил так долго, что вооруженные прапорщики напряглись, готовые в любой миг действовать согласно инструкции. А что? — подумал Никита. Может, оно и к лучшему? Рвануться за шнур, и все! И хоть трава не расти! И пускай нажимают потом — без него! — на любые кнопки...

Вернувшись в отдел, Никита сказал собирающейся домой Катьке: сходи-ка на двенадцатый, забери пленку и сдай в преисподнюю, и Катька, обычно вертящая на подобные просьбы задом: не моя это, дескать, обязанность, Никита Сергеевич, сами, дескать, и сходите, — сегодня кротко кивнула, потому что знала за собою вину. Глядя на выходящую из дверей Катерину, Никита снова почувствовал смешанное с брезгливостью возбуждение и подумал: ну не скотина ли человек?! Мир, можно сказать, рухнет а он об одном только и мечтает!.. Только об одном...

А собственно, чего он сюда вернулся? Сидеть-высидывать, чтобы подохнуть именно здесь, на боевом, так сказать, посту, в отвратительном этом черно-сером здании? Не подпускать Трупца к студии прямого эфира? Каким же, интересно, образом? — морду, что ли, ему набить? — так не Никите с Трупцом тягаться, Трупец — профессионал, самбо знает... Может, действительно следовало поехать с Машкою? Или сходить в главную контору, на Лубянку, прорваться к начальнику, объяснить? А чего ему объяснишь, начальству? Про Обернибесова? Про кнопку? Про то, что ребята провода напрямую скрутили? Про простынки белые?.. Сочтут за шизофреника и отправят в дурдом. И будут, что самое смешное, абсолютно правы! Да гори оно все огнем! — если Никита шизофреник — стало быть, ничего и не случится; если же шизанулся мир, так и Бог с ним тогда, с миром, значит, заслужил мир эту самую кнопку.

И Никита вдруг понял, что единственное, чего ему хочется сейчас всерьез, — спать.

Напряженная внутренним нетерпением, Лида шла по бульвару намеренно медленно, спокойно, прогулочным шагом: она знала, что Никита так рано со службы не возвращается, а никаких иных дел и желаний, кроме как повидаться с Никитой, у Лиды в настоящий момент не было.

Слухи о том, что все голоса производятся известной Конторою, несмотря на нелепость и фантастичность, ходили по Москве упорно и давно, лет пять-шесть, то затихая, то вновь усиливаясь; позапрошлой осенью они достигли апогея, и двое ребят из Комитета борьбы за свободу информации были арестованы,— все тогда очень обрадовались, потому что арест явился великолепным подтверждением правоты ребят и можно было начинать широкую общественную кампанию,— но тут, как назло, именно голоса и передали под свист и рев глушилок довольно подробную информацию о разгроме Комитета,— и слухи тут же резко и надолго спали: если бы, мол, голоса действительно производила мощная, но глуповатая Контора,— стала бы она сама себя дискредитировать, да к тому же еще и глушить! Это *глушить* было самым эмоциональным, самым веским аргументом против слухов.

Но вот сегодня утром пришло по дипломатическим каналам письмо из Парижа, и в нем черным по белому было написано, что от очередного гэбиста-перебежчика французской разведке и узкому кругу эмигрантов стало достоверно известно, что голоса в самом деле производятся Конторою, что радиоотдел расположен на набережной Яузы и что в числе прочих работает там родственник известных правозащитников младший лейтенант Никита Вялых, а все тексты и выступления Великого Писателя Земли Русской подделывает некий раскаявшийся узник совести, знакомый читателям Континента по серии статей о творчестве Александра Исаевича. Дальше в письме было, что гэбист-ренегат покуда строго засекречен, так что, мол, ребята, остальное копайте сами.

Новость, что Никита работает именно на пресловутых фиктивных голосах, оказалась и для Лиды, и для родителей ударом веским: они знали, что их сын и брат служит где-то при Конторе и в определенном смысле даже уважали его за принципиальность и твердость: он представлялся им партнером, сидящим по ту сторону шахматного стола и ведущим с ними бескомпромиссный, но честный поединок, победа в котором, согласно с исторической справедливостью, останется, конечно, за ними,— теперь впечатление получалось такое, будто Ни-

кита на их глазах стянул с доски коня и спрятал в карман. Всё! он мне отныне не сын! патетично воскликнул поправившийся с утра пивком диссидент Сергей Вялых. Я ему прежде спускал многое, надеялся, что одумается, поумнеет, но теперь чаша терпения моего переполнена! и, видно, не сумев в столь кратком монологе излить всю горечь свою и обиду, новоявленный Тарас Бульба добавил, отнесясь уже к Лидии: а твой Солженицын тоже хорош! Я тебя еще тогда предупреждал...

Телефон у них года два назад сняли (якобы за хулиганство, которого, разумеется, не было, кроме разговоров с границей), и мать, набрав двухшек из кучки, обычно лежащей на телевизоре, пошла звонить в автомат тем немногим, у кого телефон пока оставался. Из немногих половины не оказалось дома, однако часа два спустя, маленькая квартирка Вялых заполнилась под завязку, а люди все прибывали и прибывали, и для каждого опоздавшего приходилось пересказывать все сначала и показывать отрывки письма, тщательно прикрывая остальные места конвертом, ибо до того еще, как появился первый гость, семейным советом решено было скрыть покуда от общественности оба факта: и позорящий семью факт никитино участия в наиболее грязной из затей Конторы, и позорящий все правозащитное движение и тоже отчасти семью (как-никак, Солженицын был Лидке не посторонний) факт участия Солженицына,— приходилось пересказывать все сначала, но, надо заметить, и пересказ, и показ не представлялись обременительными ни отцу, ни матери, ни самой Лиде, потому что приятно сообщать о том, о чем узнал раньше других,— и они все трое, перебивая друг друга, оспаривали эту обязанность, и у каждого чесался язык добавить и те подробности, которые ими же самими решено было скрыть.

Давно уже выгреблись все рубли и медяки из карманов, в дело пошли даже остатки коммуникационных двухшек с телевизора, и не столько выпившие, сколько затравленные на настоящую выпивку гости-диссиденты повели горячую дискуссию о необходимых мерах. В конце концов решили: 1) организовать в срочном порядке новый Комитет борьбы за свободу информации вместо прежнего, из тех только двоих посаженных ребят и состоящего; 2) назвать его именами тех героических ребят, отбывающих в Мордовии; 3) в целях безопасности выработать гибкий устав, согласно которому членом Комитета мог считаться каждый, кто пожелал бы себя им считать, хоть бы и в глубине души; 4) чтобы число документов Комитета оказалось достаточно солидным, разрешить каждому его члену вы-

пускать собственные документы, подписывая их не своим именем, но именем Комитета: так выходило и много спокойней для каждого. Правда, не совсем ясным оставалось, как довести факт создания Комитета и текст будущих документов до широкой общественности, коли не только газетам и журналам от туда поставлены на границе практически неодолимые препоны, но и радио в руках Конторы, но тут все сошлось на том, что вопрос этот второстепенен: трусливая, инертная, запуганная внутрисоюзная «общественность» (ее иначе как в кавычках и общественностью-то нельзя назвать!) все равно бы не прореагировала,— общественность же главная, истинная: иностранцы и эмигранты — слава Богу, доступ к информации пока имеет.

Часам к четырем дело, в общем-то, было сложено, Комитет учрежден, не доставало разве фактических сведений о деятельности радиоотдела Конторы, чтобы в документах было чего писать существенного, а не только гневные и саркастические, но общие слова, и совсем уж положили ждать, сгоняв тем временем в магазин за добавкою, пока французская разведка рассекретит гэбиста-перебежчика, но тут, подобная Александру Матросову, поднялась во весь рост Лидия и торжественно заявила, что берет подробности на себя, потому что у нее есть опасный, но достоверный канал. Л-лидк-ка, н-не с-смей! стукнул кулаком по столу догадавшийся Тарас Бульба. Я его п-прок-клянул! С-сис-тых с-сэлей можно достись... т-только с-систыми с-срессвами! но мать кивнула: мол, выйдем, и на лестничной площадке, под гудение лифта и запахи мусоропровода, они обсудили предстоящую операцию: Лидия бросит в лицо брату пакет обвинений, постаравшись придать им максимально обидную форму, и так как Никита — мальчик по сути все же порядочный, только испорченный проклятою Софьей Власьевною, а по характеру — горячий, он не сможет стерпеть и о чем-нибудь да проговорится, и уж пускай он только проговорится, пускай выдаст служебную тайну! — тогда нетрудно будет вытянуть из него и остальное и, припугнув, может, вообще переманить на свою сторону. От перспективы спасти брата и одновременно занять своего человека в самых недрах Конторы у Лиды аж голова закружилась, и под доносящееся из-за дверей пение Трех танкистов она чмокнула маму и покинула дом.

Время двигалось слишком медленно, пространство, несмотря на прогулочный шаг, сокращалось, напротив, чересчур быстро, и Лидя остановилась на углу Сретенки, на замощенной гранитом площадке, посередине которой, затылком к бульвару, торчал брон-

зовый идол Крупской. Скульптор явно польстил некрасивой, почти как сама Лидя, жене диссидента № 1, — это давало надежду, что, когда все наконец, переменится, памятник Лиде будет выглядеть столь же романтично. Хорошо бы как раз тут же и установить: место живое и одновременно тихое. Неимоверное количество старушек и девочек-мам баюкало закрученных в одеяльца, упрятанных в коляски младенцев, граждан ХХI века, младенцы постарше бегали и резвились и не обращали ни малейшего внимания как на настоящий, так и на оригинал будущего памятника, которому они, вырастая, обещали стать живыми благодарными свидетелями.

Гром заурчал, словно гигантский кот, исходящий томлением. Лидя подняла голову: тучи снова затянули небо и готовились побрызгать ленивым, ничего не разрешающим дождем. Обильно напитанная в июне ливнями, земля каждое утро парила под жаркими лучами, и к середине дня над Москвою образовывалась полупрозрачная крыша облаков, под которою, как в теплице, было душно и нехорошо. Вечерами погромыживало, посверкивали молнии, но к ночи опять прояснялось, и настоящей грозы за полтора месяца не случилось ни разу. Шел год активного солнца: год инфарктов, сумасшествий, самоубийств. Дождик? — Никита стоял рядом с Лидою и тоже смотрел в небо, с которого уже летели мелкие, редкие капли. Он не удержался-таки и с Язуы поехал в главное здание, на площадь Дзержинского, но дальше дежурного прорваться не удалось: изложите дело мне, а я уж решу, к кому Вас направить и так ли оно действительно срочно, как вы говорите. (Переходя на интимный шепот.) Между нами, все равно сейчас никого из настоящего начальства нету. Время отпусков. Легко сказать: изложите дело. Изложить дело дежурному лейтенанту! Никита повернулся и побрел домой: они сами не хотят спастись, ну ни в какую не хотят!

На Лидку он наткнулся совершенно случайно, ни о ней, ни о родителях ни обо всей этой компании и мыслей у него не было, однако, наткнувшись, вдруг понял, что их-то и искал, и хоть и бессильны они, и ничтожны, и смешны, — их даже арестовывать уже перестали! — а ведь не к кому больше обратиться, просто не к кому!

Это правда? патетически спросила Лидя, не поздоровавшись, и свернула черными навывкате бараными глазами. Как ты посмел?! Что это? Что посмел? — Никита весь день сегодня не понимал, о чем с ним разговаривают: здравствуй. Не притворяйся! Шила в мешке не утаишь! Ты думал, тебе вечно удастся скрывать от нас, где ты ра-

ботаешь? Ты думал, мы никогда не проведем, что ты со своими дружками (слово дружками Лида произнесла очень саркастически) подделываешь и оплевываешь последнюю ценность этого мира — свободное слово? Ты хоть понаслышке, может, знаешь, как начинается Евангелие от Иоанна? Дура, подумал Никита с искренними грустью и сожалением. Боже, какая она дура! А ведь, пожалуй, еще поумнее выйдет, чем большинство ее соратников... Лидочка, давай сядем, сейчас никак невозможно было с нею ссориться — совсем-совсем не время... А-га-а, Лидочка! Стыдно стало, проняло!..

Над скамейкою, освободившеюся с началом дождя от нянюшек и бабушек, нависали плотно покрытые листвою ветви дореволюционного дерева, и потому было почти сухо. Лида тараторила, не переставая: ...мы по крайней мере... достойный враг... пасть так низко... — Никите не хотелось ее перебивать, он пользовался пассивной своей ролью, чтобы найти, с какой стороны подступиться к сестре: надо было сделать так, чтобы она его услышала. А-га-а! Ты не отрицаешь! Ты не отрицаешь! Значит, это правда... Лидочка. Ты же неглупая и уже не молодая женщина... — дождинки скапливались в листьях, объединялись и, попутно захватывая коллег с нижних ярусов, падали на скамейку, на Никиту, на Лидию, — пора было начинать разговор, не терпело время, не терпело, — ...ты же неглупая и уже не молодая женщина. Неужели ты всерьез думаешь, что есть хоть какая-нибудь разница, кто и что говорит по этим несчастным голосам? Неужели ты считаешь, Никита большим и средним пальцами отмерил кусочек указательного, что хоть на столько изменится что-нибудь, если с завтрашнего утра Голос Америки заведет на первую, скажем, программу всеозонного радио? Никогда в жизни не видела Лида такого Никиту: взрослого, усталого, мудрого; она почувствовала себя перед ним маленькою глупышкою; слова брата звучали столь убедительно, что она даже не нашла в себе силы и желания взвесить правоту их или неправоту. Слушай внимательно (небольшая, однако веская пауза, которою Никита проверил, что Лида у него в руках, что разоблачительно-морализаторская волна разбилась о его взгляд, так что мозг Лиды почти способен к восприятию извне) — небольшая пауза сменилась словами: слушай внимательно: у тебя, у твоих друзей должны быть какие-то контакты с американским посольством, с журналистами... Погоди, не перебивай — я ничего не выпытываю! Так вот: не медля ни минуты, ты должна связаться с ними, а они в свою очередь —

с правительством и попросить... уговорить... умолить... Ты слышишь? — умолишь: если сегодня ночью что-нибудь начнется... случится... чтобы американское правительство вытерпело... снесло... не отвечало хотя бы сутки... Это будет сделать очень трудно — не отвечать... почти невозможно... престиж... стратегические мотивы... но пусть попробуют. Иначе — спасения нет. Я не способен сейчас ничего объяснить толком, но, если американцы сумеют, пусть не начинают войну хотя бы сутки. Даже если жены и дети погибнут на их глазах...

Бедный мальчик! подумала Лида с искренними грустью и сожалением, едва несвязная речь Никиты, окончившись, отпустила из-под своего почти сверхъестественного обаяния. Бедный мальчик! Они довели его. Я всегда чувствовала, что кончится именно этим. Он спятил. Может, мне не стоило разговаривать так резко?! (в сущности, она всегда очень любила брата). Тот словно прочитал ее мысли: ты можешь считать меня сумасшедшим, я слишком понимаю, что даю тебе для этого достаточно поводов, и все же передай мою просьбу по адресу. В ней одно то уже хорошо, что, если она действительно безумна и нелепа, не будет случая ее выполнить. И дай-то Бог, чтобы не было.

Хорошо, слушай! (Никита понял по Лиде, что не уговорил ее, что как он два часа назад покушал согласие Машки-какашки на непонятные ей действия, так и тут придется чем-то платить; но сегодня Никита был беспредельно щедр.) Хорошо, сказал. Слушай. Если ты все сделаешь, как я тебя прошу, — только имей в виду, я проверю (на счет *проверю* Никита, конечно, гнал картину: и теперь, и часом раньше, и двумя он поступал наугад, наудачу, словно бутылку с письмом в море бросал) — если все сделаешь, как я тебя прошу, — я вечером приду к вам и подробно расскажу про яузское заведение. Коль уж оно так крепко вас интересует. Можешь пригласить даже иностранных корреспондентов. А пока, в качестве задатка, вот, получай: Солженицын передает тебе привет...

Ну не тот Солженицын, а ты знаешь, о ком я говорю, прыщавый, хотел было добавить Никита в пояснение, но понял по глазам сестры, что она и так все усекла, более того: понял, что именно ненамеренный, вымышленный привет, случайно пришедший в голову, а вовсе не обещание открыть тайны мадридского двора, и решил дело; что, сама себе, может, не давая отчета, приходила сюда Лидка не ради голосов, не ради брата, но чтоб хоть что-нибудь услышать о любовнике, — она порывисто обняла Никиту, крепко, благодарно поцеловала и

легкой, танцующей походкою, 'какой он никогда не видел и даже не предполагал у этой грузной, давно не юной женщины, быстро пошла, почти побежала к центру, к метро, вверх по Сретенке.

6

Трупцец Младенца Малого, проследив глазами сквозь окно кабинета за выходом из здания младшего лейтенанта Вялых: единственного человека, посвященного в план и, следовательно, способного помешать делу в корне, так сказать: превентивно,— безраздельно предался размышлениям. Задача на поверку получалась не такою простой, как выглядела в предварительных, когда Трупцец правил генерала Малофеева, мечтаниях: под каким, например, соусом попасть в студию? каким образом нейтрализовать звукооператора, дежурного, контролера? — голова прямо-таки раскалывалась, а решений не возникало. Но, видать, сама судьба задумала нынче сыграть с Трупцецом на лапу: в разгар размышлений дверь приоткрылась, явив хорошенькую женскую головку в кудряшках: товарищ подполковник, разрешите? — сама судьба, потому что головка оказалась принадлежащей как раз сегодняшней лейтенанточке-контролерше.

Ей, по ее словам, позарез надо было попасть на подружку свадьбу, и вот, поскольку старшим по званию и должности в Голосе Америки в настоящий момент получился Трупцец, лейтенанточка пришла отпрашиваться к нему: через три часа выйдет, мол, Вася, вы его, дескать, знаете, а пока подежурьте, пожалуйста, за меня, товарищ подполковник; генерал Малофеев часто нас отпускал... и сделала глазки. Трупцец Младенца Малого так обрадовался неожиданной удаче, что даже испугался, как бы лейтенанточка не насторожилась; кто их этих, таинственных, с двенадцатого, разберет?! — поэтому тут же обуздал себя, сдвинул брови, стал строгим: а мы еще удивляемся, что плетемся у американцев в хвосте! Работать у нас не любят, работать!.. Кудрявенькая тут же привела лишь в еще более умильно-умоляющее состояние и круглым своим, плотно обтянутым вязаной юбочкой задом примостилась на подлокотник трупцецова кресла, высокою грудью прижалась к области сердца Трупцеца и пролепетала: ну товарищ подполковник, ну миленький! Можно я вас поцелую? Трупцец Младенца Малого забыл обо всем на свете, задохся сладким парфюмерным запахом и хрипло выдал, сам почти не понимая, что отпустить лейтенанточку на руку ему, а не в пику: ладно. Иди уж. Гуляй...

Лейтенанточка чмокнула Трупцеца в щеку, след помады вытерла кружевным платочком, от духа которого совсем поплыла подполковничья голова, и встала с подлокотника. Подожди меня в коридоре. Дверь закрылась

за кудрявенькою, но Трупцец не вдруг пришел в себя, когда же пришел — вскочил, потер ручку об ручку и, разувшись, извлек из правого ботинка ключик. Открыл им, прыгая на одной ноге, стеной сейф, достал заветный листок объявления, писанный от руки, крупными печатными буквами, с орфографическими ошибками (ни одну машинистку не решился Трупцец посвятить в тайный свой замысел), и — на всякий пожарный — маленький бельгийский браунинг. Сейф запер. Ключик положил назад в ботинок. Обулся. Наскоро перекрестился: с Богом!

Кудрявенькая пританцовывала в коридоре от нетерпения — видно, совсем опаздывала на эту самую свадьбу. Трупцец Младенца Малого, хоть и с браунингом в кобуре под мышкою, хоть и в самом, так сказать, серьезном и решительном настроении, а снова поплыл: не удержался, уцепил лейтенанточку под руку, влез ладошкою в горячую потную щель между бицепсом и грудью, для чего Трупцецу едва доходящему кудрявенькой до подбородка, пришлось чуть не на цыпочки стать, — так и зашагали они рядом, словно пара коверных.

Но оказалось, что попасть в студию — еще только полдела, даже, пожалуй, меньше чем полдела: время Трупцеца Младенца Малого подошло к концу — с минуты на минуту должен был явиться контролер Вася, — а как влезть в эфир — оставалось совершенно непонятным. Уже не до программы для полуночников было Трупцецу, — он соглашался на любую программу, — он действительно немного знал этого Васю, человека тупого, непреклонного и непьющего, переведенного сюда из охраны мордовских лагерей, — и не надеялся ни купить его за бутылку, ни отослать домой, — но вот ведь штука! — и без Васи ничего покамест не получалось!

Все три часа, что Трупцец просидел в студии, он исподлобья, короткими, но профессионально внимательными взглядами оценивал предлагаемые обстоятельства и действующих лиц планируемой драмы: и маленькую, пухлую, в короткой джинсовой юбочке дикторшу Таньку, каждые тридцать минут выходящую из звукопроницаемой застекленной будочки в эфир с последними известиями; и немолодого, заплывшего жиром, флегматичного звукооператора в очках за импортным, кажется — американским, сплошь в ползунках, верньерчиках, лампочках и стрелках — пультом; и наконец, мирно подремывающего в углу на стуле, прилягав к стене, — однако чуткие руки не дремлют на взведенном, снятом с предохранителя автомате, — дежурного офицера-татгарина, — и оценки — если трезво — были явно не в пользу трупцецовой затеи. Тексты, что чи-

тала в микрофон Танька, с заведенной периодичностью доставлялись с двенадцатого этажа: на специальных, чуть не с водяными знаками бланках, со штампами, с печатями, с красными закорючками подписей, и, понятно, подсунуть меж них заготовленное рукописное объявление и рассчитывать, что дикторша по инерции прочтет его среди других сообщений, было нелепо: смысла, может, она и не уловит, но форма, форма бумаги! Употребить власть? Какую власть? — власть захоза? Вооруженный татарин явно Трупуцу не подчинится (часовые у дверей, не офицеры — прапор! — и те пропустили Трупуца в студию едва-едва, так сказать — по большому благу, по личной просьбе кудрявенькой лейтенанточки) — не подчинится и не позволит подчиниться ни звукооператору, ни Таньке-дикторше, — на то тут и торчит.

Словом, следовало или отказаться на сегодня от своей идеи (но на сегодня могло обернуться и навсегда), или уж играть ва-банк: обезоружить татарина и, держа всех троих под прицелом, захватить микрофон, как говорится, с боя. Операция получалась более чем опасная, но и отказаться не было сил: за три часа Трупец столько успел послушаться пакостей, беспрепятственно идущих в родной советский эфир, причем пакостей, изготовленных не в Вашингтоне, что куда бы еще ни шло, — а здесь, на Язуе, в недрах собственного детища! — что, честное слово, решительно предпочитал погибнуть, чем участвовать во всем этом дальше. Погибнуть или уж победить! И пускай его выведут потом в отставку, пускай даже посадят в Лефортово! — дело, сделанное им, бесследно не сгинет, даст свои результаты, и рано или поздно, хоть бы и посмертно пусть — он не гордый! — Трупуца Младенца Малою непременно реабилитируют и наградят орденом, а то еще и поставят памятник. Когда Александр Матросов бросался на амбразуру — такое поведение тоже на первый взгляд могло кой-кому показаться самовольством и мелким хулиганством.

Трупец взглянул на часы: минут пять у него еще, пожалуй, было, — достал записную книжку, нацарапал: если погибну — прошу продолжать считать коммунистом и, вырвав листок, аккуратно сложил его и спрятал в левый нагрудный карман: записка вдруг вообразилась Трупуцу рядом с партбилетом: пробитые одной пулею, залитые ржавой, запекшейся кровью — под витринным стеклом музея КГБ.

На этом внутренние приготовления окончились — пора было приступать к операции непосредственно. Краем глаза наблюдая за дремлющим татаринном, Трупец Младенца Малою залез себе под мышку и, упрятав его в полусогнутой ладони, как цирковые иллюзионисты прячут карты, вытащил браунинг.

Браунинг, в сущности, был игрушкой: прицельная стрельба не далее пяти метров, пульки со спичечную головку, — может, и брать-то его с собою не стоило, но лишь с оружием в руках привык Трупец чувствовать себя настоящим мужчиною.

Потом, впервые за все дежурство, хоть часто тянулась рука — столь невыносимы были потоки клеветы, льющейся в эфир, — дотронулся Трупец до тумблерочка общего глушения: микрофон включен, Танька-дикторша вовсю поливает голосом Леокадии Джорджиевич о протестах западной общественности против американских военных баз, и совсем не обязательно, нежелательно даже, чтобы шум потасовки, сколь бы короткой она ни вышла, проник в приемники, насторожив слушателей, возбудив их недоверие, а возможно, и призвав в студию кого-нибудь бдящего, с двенадцатого этажа, — дотронулся, нажал, щелкнул. И, на ничтожные доли секунды замерев, чтобы собраться окончательно, тонко, пронзительно заорал: й-о-а-а-а! и одним прыжком, буквально воздушным полетом, одолел несколько метров до сидящего на стуле татарина, впился ему в пах напряженным носком тяжелого ботинка. Татарин повалился вместе со стулом, но успел нажать на спуск автомата, и пущенные веером пули отметились на белых плитках звукопроницаемого финского потолка. Трупец грациозно, словно балерун, подпрыгнул на месте и опустился ногами точно на запястья татарина, как раз в тот момент коснувшегося ковра; что-то хрустнуло, наверное — кость; татарин взвизгнул и, катаясь по ковру, завел волчье, душераздирающее у-у-у-у... С подхваченным автоматом в руке Трупец, наконец, обернулся: Танька, отворив рот и выпучив глаза, оцепенело смотрела сквозь двойное аквариумное стекло своей будочки, звукооператор крася на полусогнутых к дверям и, кажется, испускал запахи, свойственные медвежьей болезни. Ни с места! прикрикнул на него Трупец, — тот замер мгновенно, только еще сильнее присел и дрожащие пальцы попытался завести за голову. Татарин почти затих и уже не катался по ковру, а, словно полупустая бочка в узком коридорчике трюма, качался вокруг продольной своей оси: туда-назад, туда-назад.

В общем, все было вроде нормально, а что-то, однако, мешало Трупуцу, что-то его тревожило. Браунинг! понял он наконец: браунинга не было ни в руках, ни на полу рядом. Опасный, опасный беспорядок, напрасно Трупец притащил этот дурацкий браунинг сюда! но заниматься поисками было некогда: дверь студии предусмотрительно не запиралась изнутри, а большие настенные часы показывали без семи минут десять, — и передача последних известий кончалась, и Вася должен был появиться вот-вот. Ти-и-ха-а!

истошно заорал Трупец, хотя все молчали и так, даже подвывания татарина перешли уже в область ультразвука. Ти-и-ха-а! Если кто сейчас пикнет хоть слово — застрелю без предупреждения! Подошел к звукооператору, сидящему на корточках (вонь от того неслась несусветная), и негромко спросил: ты, с-сука, ничего не успел там выключить? Х-гы-ы... отрицательно мотнул головою толстяк. У-й-ы-ы! намахнулся на него Трупец Младенца Малого прикладом. Христом-богом клянусь, христом-богом! обрел звукооператор дар речи. Ну смотри! и Трупец приблизился к татарину, слегка наступил на него ногою: ты, парень, хоть и оплошал, а профессионал, я вижу. Так что сам знаешь, чем для тебя кончится, если дернешься или разявишь пасть... Потом выключил у себя на пульте общее глушение, а тумблерочек, чтобы невозможно было врубить назад, обломил железными пальцами и быстрым кошачьим шагом проскользнул к Татьяне в кабину.

Позиция здесь, конечно, была уже не та, что в студии: только местами и с метр от пола застекленные, стены слишком многое перекрывали: татарин, например, не был виден вовсе, и одна седая макушка торчала от сидящего на корточках звукооператора. Но существовали, конечно, и положительные стороны: во-первых, почти не воняло, во-вторых — дверь открывалась внутрь кабины, так что можно было забаррикадироваться. Кстати же оказалось и чем: небольшим, однако тяжелым сейфиком, куда складывались отработанные листки последних известий.

К моменту, когда Трупец оказался в кабине, Танька уже очухалась и смотрела за происходящим с самым живым интересом: ей, должно быть, представилось, что вся эта заварушка затеяна Трупцом исключительно ради ее, танькиных, прелестей и что романтический подполковник станет ее сейчас (вот и дверь сейфом подпирает!) насиловать. О! это было бы чрезвычайно кстати! — с одной стороны, она вроде и ни при чем, так сказать: жертва, с другой же: какой зверь! какой великолепный зверь! Мужик, одно слово! Будет о чем порассказать потом... Насмотревшись днем на нехитрую любовь Катки Кишко с Солженицыным, Татьяна, и всегда готовая, теперь была готова более чем всегда, к любому над собою насилью, и чем грубее — тем, естественно, лучше...

Трупец Младенца Малого поискал кнопчку, чтобы временно выключить микрофон, но так и не нашел — некогда, некогда! — достал объявление, положил Татьяне на столик и, подобный неумелому, новоиспеченному немому, попытался объяснить: читай, мол!

Танька несколько скисла от разочарования, но тут же и решила, что такому мужику, ежели он чего просит, отказать невозможно, — легонечко откашлялась и, как ни в чем не бывало, невинным голосом Леокадии Джорджиевич защебетала в микрофон: продолжаем передачу Голоса Америки из Вашингтона. Просим нас извинить за техническую заминку. Прослушайте, пожалуйста, объявление: дорогие товарищи диссиденты и самочувствующие... ой, простите — и сочувствующие! Правительство Соединенных Штатов сегодня в полночь выступает в крестовый поход против коммунизма...

Словно в кино, в комбинированной съемке, мгновенно возникли две маленькие дырочки, одна против другой, в двойном застекленном окне, и пропела пулька, колыхнув жесткие еврейские волосы Татьяны, — Трупец на раз выпустил очередь в сторону дырочек, — стекла хрустнули и упали вниз тяжелым звенящим дождем осколков, — и осторожно выглянул, — и тут же следующая пулька пропорола кожу его лба и, чиркнув по скользкой кости черепа, рикошетом ударила в микрофонную ножку. Ч-читай, д-дура! Читай скорее! заливаясь кровью, заорал Трупец на Татьяну: браунинг! чертов браунинг! татарин оказался еще профессиональнее, чем представилось Трупцу поначалу. Читай, с-сук-ка! Но сука, не переносящая вида крови, валялась уже на полу без чувств — Трупец Младенца Малого и предположить не мог, как страшно он сейчас выглядит.

Что ж, оставалось продолжать самому. Трупец дернулся к микрофону, но следующая пулька впиалась в плечо и, видно, перебила какую-то там артерию или, черт ее знает, вену: черная кровь тонюсеньким, но мощным фонтаном, метра на полтора брызнула сквозь пробину. Трупец выпустил наугад еще одну очередь, еще — но тут автомат замолк, зазиял полостью взведенного затвора: патроны кончились.

И тогда Трупец, присев на пол, за сейф, заорал в сторону микрофона всем своим тонким голосом: товарищи диссиденты! Сейчас Америка начинает войну против коммунистов. У кого что есть белое, простынки там или наволочки... можно и пододеяльник... натягивайте скорее на головы и бегите на площадь... срочно бегите, а то поздно будет! Они могут до полуночи и не дотерпеть!

В дверь начали колотить — вероятно, подоспел Вася, — Трупец что было сил уперся в пол ногами, еще плотнее привалился спиной к сейфу, — тот подрагивал, покачивался слегка...

...сейчас будет термоядерный удар, а вы, кто в простынках, спасетесь и построите новую Россию, без большевиков и коммунистов... слова, которые всю жизнь, да вот: десять минут назад, — органически претили

Трупцу, — теперь вырывались легко, сами собою и даже доставляли неизъяснимое какое-то удовольствие. Он чувствовал, что действительно ненавидит большевиков и коммунистов и хочет новой России!

Лицо татарина осторожно выснулось из-за нижнего обреза разбитого окна, но спешившие от крови волосы и ресницы помешали Трупцу заметить это...

...Слышите?! Слышите?! На студию ворвались агенты КГБ и пытаются помешать мне предупредить вас, наших истинных друзей, наших единственных союзников! Но свободное слово не задушишь! Не расстреляешь!..

Вася бросил дверь и, держа — куль с дермом — воняющего звукооператора за шиворот, орал: ну! Н-ну, с-сука! Показывай, показывай, где выключается! Застрелю-у! — звукооператор был не в себе...

Татарин, оберегая перебитую руку, все-таки влез в студию и, медленно идя на Трупца, вгонял в него из браунинга пульку за пулькой...

...Товарищи диссиденты! Родные мои! Вы поняли меня, товарищи...

...а когда пульки кончились, с невероятной злобой и ненавистью стал колотить полумертвого Трупца ногами в лицо, в живот, в пах. Подошедшему Васе, который наконец выключил-таки пульт, не досталось уже ничего.

7

Стемнело, зажглось электричество, а Мэри так и сидела в одном из многочисленных закутков идиотической комнаты смеха, окруженная кривыми зеркалами, которые мало что отражали ее — гляделись и друг в друга и друг в друге создавали дурные бесконечности шутовски искаженных миров, — сидела, почитай, третий час под бдительным надзором вьетнамского офицера, проходящего на кнопке практику: человечка тщедушного, низкорослого, словно десятилетний мальчик послевоенного поколения, однако — вооруженного. И кто заключил ее на этой импровизированной гауптвахте?! — отец, родной отец, который никогда в жизни не позволял себе по отношению к любимой, единственной, им же избалованной дочери никаких грубостей! — нет, Мэри решительно, решительно не могла понять, сообразить, чем же вызвала в генерале Обернибесове столь мощный, столь неукротимый приступ гнева. Хоть ей самой и невнятная, однако, вполне невинная просьба, просьбочка, просьбенка: не слушать сегодня американское радио, только сегодня, один-единственный денечек, один вечерок, ну папка, ну что тебе стоит?! — пусть это будет подарок к моему дню рождения!.. — генерала взорвала, заставила топтать ногами, брызгать слюною, ры-

чать: туда же! И родная дочь — туда же! Обложили, с-сволочи, комиссары поганые! Так вот же тебе, иудушка: на губу! под арест! А Голос Америки пускай все слушают, пока их здесь хозяин, все! Пускай знают, как их комиссары обмрачивают, своих защитников! И ты слушай, Павлина Морозова, и ты!.. — и действительно: прямо при ней врубил приемник, стабильно настроенный на соответствующую волну, что-то переключил на пультике, и огромный гундосый колокол, по которому в моменты тренировочных боевых тревог обычно звучали веселенькие песенки Аллы Пугачевой: то ли еще будет, ой-ой-ой! и подобные, — неразборчиво забубнил на всю кнопку голосами Ланы Дел, Леокадии Джорджиевич, Александра Солженицына и прочих идеологических диверсантов.

Мэри грустно глядела на обступившие ее изображения рыжеволосой уродины: то толстой, словно свинка, со свиной же харею; то тощей, как глиста, и даже в двух местах — напрочь перерванной; то кривобокой, с носом винтом; то еще невероятно какой волнистой, — и ей представлялось, что так ее обычно и видит Никита, и что сейчас, когда она не выполнила в общем-то пустяковую его просьбу, надежда на желанный брак окончательно лишилась последних оснований. Что же касалось причин генеральского гнева — их Мэри разгадывать устала и чувствовала себя уже не обиженной на отца, но тупо опустошенной.

Причины же гнева были таковы: когда генерал Обернибесов приехал утром на кнопку, его уже поджидали: молодой офицерик передал пакет, где генералу приказывали явиться, не медля ни минуты, в политуправление. Обернибесов никогда, еще с войны, не любил этих политуправлений, политотделов, СМЕРШей и прочей нечисти, но тут покуда ничего тревожного не заподозрил: мало ли? — может, политинформация какая, лекция о международном положении, — только зачем пакет, зачем нарочный? слава Богу, телефон существует, — ну да это их дело, у них и времени, и народу — навалом, — и, отдав дежурному соответствующие распоряжения на период своего отсутствия, двинулся к служебной волге, но офицерик не по званию решительно заступил Обернибесову дорогу и не столько приглашающе, сколько повелительно сделала рукою огородочку, следя которой генерал попадал в волгу офицера. Ладно, с этого что возьмешь?! — подумал генерал и сдержался, сопротивляться пока не стал. На месте разберусь, вправлю им мзги...

В кабинете, куда ввел Обернибесова офицерик, дремал у стеночки, посапывая, какой-то дряхлый, чуть живой от старости генерал-полковник, принесенный сюда явно затем, чтобы санкционировать полную свободу

разговора сидящему за столом майору, наглицу, который даже не привстал навстречу Обернибесову. Привалился задом к подоконнику, у окна торчал еще один тип, в штатском, — лица против света не видно.

Присаживайся (сам маршал никогда не вел себя так императивно-пренебрежительно по отношению к Обернибесову, как этот, за столом) — присаживайся, и без предисловий и экивоков начал распекать генерала, вот именно распекать! словно мальчишку какого, салагу, новобранца — за джинсовую курточку, за Голос Америки, за дочкино имя, даже за Говёного сыча, — то есть нагло полез своими паршивыми ручонками в область жизни личной, никому не подвластной, и Обернибесов, гордый Обернибесов, безупречный служака Обернибесов, любимец солдат и офицерского состава, слушал, наверно, минут десять, слушал, наливая кровью, и все-таки не выдержал: вскочил, вмазал кулаком по столу: молчать, гнида! Смир-р-рна-а! Майоришка! С кем, паскуда, разговариваешь?

Старичок проснулся от шума, с трудом разлепил слезящиеся, младенческой пеленою подернутые глаза и снова засопел, — майор же, правда в первый миг перепуга вскочивший тоже, только улыбнулся ехидно, и по этой улыбке понял Обернибесов, что своей волею не выбраться ему, пожалуй, из здания, а — безоружному, без пояса и шнурков, руки за спину — куда-нибудь в подвал или в воронок, — но фиг! он им не дастся, пускай ловят-арестовывают! и, резко повернувшись, генерал вышел из кабинета и не слишком быстро, чтобы на бегство и трусость не пошло, двинулся вдоль коридора.

Странное дело: никто не догонял Обернибесова, не задерживал, встречные даже козыряли, — так и вышагал генерал на воздух, под слегка затуманенное солнышко, вышагал и, оставшийся без машины, вынужден был взять такси. Всю дорогу до дачи (к кнопочке подпускать таксиста было, разумеется, нельзя!) генерал матерно рычал на комиссарскую сволочь и в конце концов решил маршалу не докладывать, потому что и маршал с ними не справится — сам только пострадает, — а просто не даваться им живьем и до последнего патрона отстреливаться.

Волги не оказалось на даче — вместо нее стоял мэрькин жигуленок, — и дочь заочно получила от раздраженного генерала такую порцию вербализованных эмоций, какой, надо думать, не получила в сумме за всю предыдущую жизнь. А уж когда, под вечер, Мэри прикатила на кнопочку самолечно и вякнула что-то про Голос Америки, генерал дал полную волю гневу, тем более что понял вдруг, откуда дул ветер: Николай! — Мэри говорила, что его на службе зовут Трупом Маленького Младенчика, — точно, точно, натуральный Труп! — Николай, с-су-

ка, предал-таки фронтовую дружбу, настучал! И вот: эти вызывают, а Труп, не довольствуясь, еще и с хитринкой эдакой нехитрою подсылает родную дочь: не слушай, дескать, папочка, бяку-Америку, это, дескать, мне на день рождения подарок! А потом скажет: не носи джинсового костюма, Говёного сыча не пой! Ы-ых, напрасно, напрасно не раззнакомился Обернибесов с Трупом, не набил ему морду в сорок еще шестом, когда того взяли на работу в НКВД, — думал: служба службой, а дружба все-таки дружбой, — и вот на тебе! как в сказочке про скорпиона: такое уж я говно!

Впрочем, не один гнев подвиг генерала отправить дочь под арест; если разбираться, так и вообще не гнев, а любовь и забота, ибо, едва вернувшись на кнопочку после скандала в политуправлении, Обернибесов приготовился к самой серьезной обороне на случай ареста: выбрал в качестве бастиона непосредственно помещение с кнопочкою, глубже прочих упрятанное, лучше прочих защищенное, приказал доставить себе пива, хлеба, колбаски, помидорчиков, автомат с ящиком патронов и два десятка гранат, а всех помощников своих, заместителей и адъютантов отослал: ни при чем они, пускай пока живут! — дочку же отправил не столько под арест, сколько под охрану преданного восточного человечка, ибо не мог ее ни оставить подле себя, ни прогнать домой, где она сделалась бы слишком легкой добычей комиссаров на предмет давления на генерала, а также шантажа.

И вот сидел мрачный Обернибесов, обложенный помидорами и гранатами, потягивал пиво бутылку за бутылкою, ждал, глазел на амбалов с эстонской картиночки, на мышку, грызущую рукав, и слушал Голос Америки: Сельское хозяйство, Образование, Науку и технику, Здравоохранение... Может, никогда в жизни не слушал генерал любимую свою радиостанцию так долго подряд, никогда не слушал и столько программ неполитических, и грустные мысли посетили его: о том, во-первых, что Америка богата и прекрасна, и о том, во-вторых, что погибнуть ей все-таки суждено. И богатство, и скорая гибель вытекали из общего источника: слишком уж Америка свободна, слишком! — и настанет момент, когда пусть не он сам (хорошо бы даже, если не он!) — кто-нибудь другой нажмет-таки на пресловутую кнопочку, а там, на берегу Потомака, на кнопочку не нажмут, а начнут пиз... то есть дис... кутировать, да обсуждать, да голосовать, и как раз подоспеют и протесты общественности, и широкая антимилицаристская кампания прессы, и массовое дезертирство (разумеется, не из трусости, а по убеждению, по ощущению себя людьми свободными) — и все... и пиздец Америке! Хлеборобы Оклахомщины и Техас-

щины рапортуяют родной коммунистической партии и товарищу Холлу лично об окончании сева зерновых на два дня раньше срока...

Кончилось Образование — пошла программа Книги и люди, удивительно, не по-американски скучная. Генерал вспомнил, что раньше, давно, когда она шла не по пятницам, а по четвергам, была она куда живее, интереснее и конкретно вспомнил рассказ какого-то диссидентского писателя с просто русской фамилией, слышанный чуть ли не десять лет назад, а вот поди ж ты — не забытый! Генерал даже заголовков припомнил: Смерть зовется Кукуев. Кукуев — это был бухгалтер предпенсионного возраста, генералов, в общем-то, ровесник. И вот пришел он однажды к своему начальнику и сказал: последний шанс вам даю: отпустите на отдых, назначьте пенсию рублей четырехста, участок с домиком на природе выделите, — но начальник, естественно, только посмеялся: ему самому пенсия выходила в будущем — сто пять. Тогда Кукуев вернулся домой, взял потихонечку у заночевавшего дочкина магазина, взял десяток помидоров, соли, полбуханки хлеба и забрался на заброшенную колокольню. С рассветом Кукуев начал стрелять; стрелял прицельно и во всех, щадил только детей и беременных женщин; году в сорок четвертом вот с такой же колокольни Кукуев часа четыре сдерживал наступление противника. Ни местное ГБ, ни милиция, ни солдаты до самого вечера не смогли подступиться к Кукуеву, а когда с вертолета, одного из десятка специально присланных из Москвы, прыгнули на колокольню десантники, — обнаружили только смятый помидор, да корочку хлеба, да стреляные гильзы: раненого Кукуева забрал на небо ангел.

Но тут, прерывая мечты генерала, который чувствовал себя уже вполне Кукуевым, вдруг загудел, завыл, заверещал приемник трусливой комиссарской глушилкой. Труп! подумал Обернибесов и выругался. Труп гадит! Маленького Младенчика! Выругался снова и стал пошевеливать верньерчиком на стройки, туда-сюда, туда-сюда, но глушилка шла широкая, мощная. Генерал чуть было не выключил с досады приемник, но вспомнил, что идет трансляция на колокол, и оставил: пускай воспитываются ребята, пускай все знают, пускай слушают, какими методами сволочь СМЕРШевская со свободным словом борется! — но тут так же резко, как врубилась, глушилка и прервалась. Продолжаем передачу Голоса Америки из Вашингтона... чистый женский голосок был столь близок, что, казалось, не с другого конца Земли говорил, а откуда-нибудь с Язуы. Просим нас извинить за техническую заминку. Про-

слушайте, пожалуйста, объявление...

Дальше началось невероятное. Голосок стал предупреждать о начале войны сегодня в полночь, — правда, не сказал, по московскому или по вашигтонскому времени, — потом пошла перестрелка, голосок прервался, и какой-то мужик заорал, захрипел в микрофон о том же самом, и этот ор, этот хрип похож был на ор и хрип Трупа Маленького Младенчика: Обернибесов слишком много думал о нем сегодня, и Труп уже начал мерещиться генералу повсюду.

Сообщение отдавало фантастикой, но ему приходилось верить, потому что шло оно под перестрелку, стоило уже жизни симпатичной дикторше, да и владельцу мужского голоса явно назначили за его выступление ту же цену, — приходилось верить и, стало быть, срочно что-то решать. Генерал бросился к вертушке — она не работала; вызвал по селектору начальника связи. Мы по вашему распоряжению монтировали зал игровых автоматов... ну и... кабель повредили. Завтра с утра починят, вызвали уже... Завтра?! Ты что, не слышал, что передали по радио?! Никак нет, товарищ генерал-лейтенант. Искажение сильное на колоколе, перехлест. Что-то говорят, трещат, стреляют, а что — не понять. Постановка, наверное, какая, про войну или про шпионов.

Генерал матюгнулся, выключил селектор и обратил внимание, что приемник глухо молчит: пришили, значит, мужика, пришили, сволочи, заткнули ему глотку! Труп, сукин сын, пришил! — и генерал нажал кнопку... — покуда еще не ту, не в виде грибка, а кругленькую, словно пуговка: Боевая Тревога. И вспыхнул над воротами транспарант, и одновременно вспыхнули, замигали, запереливались разными цветами многочисленные лампочки аттракциона, заорала по колоколу Алла Пугачева, и неизвестно откуда, словно прямо из-под земли, выскочила не одна сотня молодых парней и девиц, одетых в штатское и относительно разнообразно, выскочила, стала на мгновение в строй и тут же, подчинясь неслышной команде, рассыпалась по аллеям, эстрадам и аттракционам.

Несмотря на меленький дождик, молодые люди развлекались, веселились и целовались в кустах, делали это старательно, изо всех сил, а генерал глядел на мышку, глядел на грибок и плакал, потому что жалко ему было Америку, богатую и свободную, щедрую и гостеприимную, — но ничего не поделаешь, и нет смысла кивать на поломанную вертушку, на бездействующую блокировку, проводки которой неделю назад ребята скрутили напрямую, — все равно ведь не политуправленцам, не цекашникам, —

те способны перебздеть только, завять по радио братья и сестры! да сбжеать в Хуйбышев с полными штанами,— не им вести войну, а ему, потомственному кадровому военному, чьи предки в добром десятке поколений защищали Россию от врагов и смут, ему, генерал-лейтенанту Обернибесову, его товарищам-генералам, да офицерам с солдатами, и чтобы войну выиграть, и чтобы многие тысячи солдат этих и офицеров спасти, он просто обязан был нажать на грибок кнопки сейчас же, ни минуты не медля.

8

Ладно! На том свете отдохнем! — Никита часа полтора проворочался в постели, но заснуть так и не сумел: ныли, ревели, зудели прущие по недалекому Садовому, в шесть рядов в каждую сторону, нескончаемые военные грузовики и отравляли воздух в комнате вонью перегоревшей солярки. И потом — едва он смыкал веки, навязчиво, неотвязно мерещилась давешняя кабинетная сценка, возбуждала почти до поллюции и вызывала омерзение к самому себе. Отбросив одеяло, Никита встал. На дворе было еще кое-как — в комнате давно стемнело. Голова казалась тяжелее прежнего. Тошнота не унялась. Никита оделся, прополоскал рот и вышел на улицу.

Как ни странно, ему нравилась Москва, и было грустно, что она должна погибнуть. Не когда-нибудь там, не через несколько долгих десятилетий или столетий, когда его и в живых-то не будет, а вот так вот, прямо на глазах, сегодня в ночь: Никита отнюдь не переоценивал действенность принятых им мер.

Он медленно брел вдоль бульваров под мелким дождичком, брел без плаща, без зонтика, брел и смотрел на недавние, начала прошлого века, классицистические древности столицы, на глазурированные особнячки модерн, на занявший целый квартал таких особнячков белокаменный дом политического просвещения, на вечерних пятничных алкашей. И хотя ничто, как говорится, не предвещало, — смотрел, как смотрят старики кинохронику времен их молодости. Но вот! — Никиту обогнал мужик, стыдливо несущий под пиджаком что-то объемистое, пухлое; а вот и целая семья: мальчик с девочкою дошкольного возраста, муж с женою и старушка пробежали переперез бульвара, — у этих в огромной хозяйственной сумке явственно белело... — впрочем, при желании можно было и теперь не угадать, что белело именно; но тут же, следом, вывернула из подворотни немолодая очкастая

девица: ту уже открыто, откровенно, свисая с головы до пят, одевала сероватая, заспанная, со следами интимных выделений простыня.

Никита ускорил шаг: на Пушкинской площади, перед Россией, как всегда было лютно: молодецкие ребята, в пылу самоутверждения раскрасившиеся под стиль панк, балдели в стереонаушниках, подкуривались, целовались с девицами. У этих все шло как всегда, как обычно, но поверх их наполовину выбритых голов виделось, как по Горького, в голубом и желтом свете фонарей, то здесь, то там проскакивают простынки, наволочки, пододеяльники.

На стоянку возле Известий подкатил ядовито-зеленый форд с дипломатическим номером, выпустил сутулую седоватую англичанку, американку ли, — по направлению ее взгляда Никита и заметил Лидию, терпеливо мокнущую под дождем. Сутулая воровато, не по-иностранному, оглядываясь, подошла к ней, стала подле, словно незнакомая, но кого могли обмануть эти маленькие хитрости?! — не успели женщины обменяться и парюю слов, как четверо мальчиков, никитиных ровесников, одетых, что называется, скромненько, но со вкусом, выросли из-под земли, схватили Лидию под локоточки и повели, повлекли, поволокли вглубь, в темноту, в нишу, где свежим лаком поблескивали за витринами образцы самого передового в мире дизайна. Никита понял все вмиг: и что это арест с поличным, и что Лидка думает, конечно же, на него, и что одна из мер, может быть — самая действенная, — рухнула на глазах, — понял вмиг, но не вмиг очухался, пропустил те две-три секундошки, когда можно еще было попытаться перехватить американку, — теперь же только задние огоньки ядовитого форда издевательски подмигнули Никите и скрылись за поворотом. Если у Мэри получилось не лучше, чем у Лиды, обернибесовские ракеты уже вовсю летят, — скоро, стало быть, полетят и ответные. Утешало только, что недолго придется Лидии переживать горечь неволи и братнего предательства, а погибнуть суждено под одной крышею с возлюбленным.

Никита выгреб из кармана мелочь: несколько бронзовых двухшек мелькнуло среди рыбьей чешуи серебра, — и пошел на ту сторону площади: звонить Мэри. По автомату болтала длинная кудрявая девица, — Никите, в общем-то, было не к спеху: если уж летят — не остановишь, а не летят — значит, сегодня и не полетят, — и он ждал, удрученно поглядывая на прибывающие простынки и пододеяльники: неужели все они слушают нашу дурацкую стряпню? Да, не отказать Трупцу в знании своего народа, не отказать!.. Впрочем, в условиях дефицита досто-

верной информации идут сплетни, и идут со скоростью загорания спички, особенно если подготовлены немолчным гудением военных грузовиков...

К спеху — не к спеху, а так долго болтать все-таки неприлично! — Никита постукал двушкой в стекло. Кудрявенькая обернулась, окрысившаяся: погоди, дескать, मुदा, разговор важный! Никите показалось, что он где-то видел девушку, чуть ли не в столовке яузского заведения, однако, может, только показалось. Прождав еще три-четыре минуты, Никита не стал больше стучать, а приоткрыл дверь: девушка! Девушка только отмахнулась, а в нос Никите ударил пряный, терпкий парфюмерный запах, и Катька Кишко в давешней мизансцене вспомнилась сотый уже раз за сегоднешний вечер.

Ну разве можно так ревновать?! щебетала девушка в трубку. Ты ж знаешь, у меня смена до десяти... Мало ли что обещала? откуда я могла догадаться, что генерала отравят. А Трупец Младенца Малого не отпустил... — действительно значит: встречались они с Никитой в столовой. Ты кто? То-то! Поэт! А я — лейтенант госбезопасности... — и девушка стала успокаивать ревность жениха ли своего, любовника весьма своеобразным, учитывая присутствие в будочке Никиты, способом: в подробностях, со вкусом рассказывать, какими изысканными эротическими блюдами она жениха ли, любовника угощает в минуты интимных их встреч, то есть смысл улавливался такой: могу ли, дескать, я любить не тебя одного, если я так тебя люблю?!

Эти речи вынести было уже невозможно — Никита одной рукою полез девице под потную мышку, уцепился за высокую, упругую грудь, другою — стал пожимать, поглаживать девице живот, стремясь держаться пониже, пониже, еще пониже. Девушки никитины действия стимулировали, ее рассказ обретал все большую выпуклость, зримость, все большую... осязательность, а тело играло под никитиными пальцами, словно баян в руках генерала Обернибесова. Будочка, от половины застекленная, окружена была людьми, но девице и горя мало, а Никиту присутствие посторонних только подхлестывало, он думал, что и хорошо! и пусть смотрят! пусть даже советы подают! — потому что коль уж летят — не существует ни неустойчивости, ни кощунства, ни чего-то там еще, связанного с чем-то таким эдаким.

Подойдя вплотную к началу, так сказать, начал, Никита отметил, что подозрения жениха ли, любовника кудрявенькой совершенно основательны, то есть не в связи с теперешним, сейчас вот происходящим, основательны, а в связи с предыдущим: волоски у входа в начало начал были слипшиеся,

заскорузлые и неопровержимо свидетельствовали о недавней любви в местности без биде и душа, — но и это, черт возьми, не отталкивало, а подхлестывало. А девица все щебетала, щебетала в микрофон, уже задыхалась, кончала, а тот, дурак, жених там или любовник, поэт, принимал это на свой счет и, возможно, даже приглашал к трубке приятеля: послушай, дескать, какая бывает любовь!

Когда же любовь завершилась, кудрявенькая сыто уронила в микрофон: ну все, пока, тут народ, позвоню завтра, невозмутимо переступила через трусики, оставшиеся на заплыванном полу кабины, и, посторонив Никиту, не взглянув на него, гордо вышла вон. Опустошенный Никита привел себя в порядок, — пакость, омерзение лежали на душе, — потянулся к трубке, но так и не снял ее, только подержался за нагретую кудрявенькой лейтенанточкою пластмассу и вышел тоже. В конце концов, он и без звонка узнает в самом скором времени, удалась Мэри ее миссия или нет. Все узнают!

Дождик перестал. Сквозь облачные прорехи то и дело выглядывала луна, не умеющая, впрочем, соперничать с яркими газосветными фонарями. Народу на площади сильно прибавилось, молодежь панк затерялась в толпе, и, если бы не простынки, все это вполне можно было принять за праздничное гуляние по случаю Дня Победы. На скорбно склоненной голове бронзового поэта белел, время от времени невозмутимо оправляясь, нахальный жирный голубь мира.

Никита постоял в неопределенности, прислушался к соседнему диалогу: провокация... элементарная провокация... Чего ж вы прибежали сюда, раз провокация? На вас, на дураков, посмотреть, сколько вас тут наберется. А простынку постирать вынесли? — постоял-послушал и вдруг понял, что его тянет к родителям. Они, наверное, первыми выбежали на ближайшую площадь, — и все равно тянет: просто домой, в родную, что ли, нору.

И Никита спустился в метро.

9

В метро народу тоже было много, большинство везло с собою детей. Поезда ходили по-вечернему нечасто и потому — набитые битком. В Никите проснулась неожиданная брезгливость ко всей этой публике, он прямо-таки не мог заставить себя лезть в воняющие потом, перенаселенные вагоны и пропускать, пропускать, пропускать, — но людской напор не спадал, напротив — рос, переждать было бессмысленно, назад, на поверхность, не хотелось ни в коем случае, и Никита, зажмурясь и стараясь не дышать, втиснулся в щель между сходя-

щимися дверьми очередного поезда.

Проплывшие мимо окон, остановившиеся и поплывшие дальше хромированные колонны Маяковской напомнили о каком-то легендарном митинге сорок, что ли, первого года; но Белорусской перрон буквально был огорожен монолитом из тел, двери поезда открылись с трудом и не все, — пора было подумать, как выбираться: следующая станция никитина, Динамо. Люди, злее чертей, не пропускали, словно бы специально смыкались друг к другу ближе, еще ближе! — и неизвестно, удалось бы Никите выйти, если б вагон вдруг не тряхнуло, как коробок, в котором на слух проверяют наличие спичек, и с десятикратным отрицательного ускорения не остановило, перекошенный, с погасшими огнями, в глухой темноте тоннеля. Судя по истошным воплям боли, тех, кто ехал в головных вагонах, задавило ньютоновой силою, однако народное переполнение пошло в каком-то смысле во благо: и у задних, и у срединных — ни пробитых голов, ни поломанных позвоночника.

Зычный партийный голосок, едва сумев продрасть сквозь вопли задавленных, начал несколько абстрактно, потому что никаких дельных предложений не подавал, призывать к спокойствию, но уже сыпались стекла дверей и окон, уже иррациональные выкрики сменились более или менее прагматическими: Миша! Мишенька! Держи папу за руку! Зайка! Выбирайся на свою сторону и иди к Белорусской — и так далее, и не сильно помятый Никита, следуя внутренним токам толпы, оказался в проломе окна, а затем — и в тоннеле. Ключья тьмы то здесь, то там вырывались вспышками спичек и зажигалок. Поезд, сойдя с рельсов, врезался головою в стенку, и те, кто вылез на сторону столкновения, найдя себя в тупике, в ловушке, с энергией ужаса двигались назад, — задние же, не зная, в чем дело, перли вперед, — Никита по счастью оказался с другой стороны и довольно скоро миновал вагоны. Ощупью, спотыкаясь о шпалы и упавших людей, он добрался до станции. По ней, выхватывая то знакомые спортивные медальоны, то темно-розовый мрамор панелей, то куски человеческих скоплений, ерзали пятна ручных фонарей; у эскалаторов стояла давка — почти чем в часы пик. Сорванные полотна лестниц торчали из провалов острыми зубцами, люди ползли по разделительным парапетам, цепляясь за устои плафонов, срывались, сбивали ползущих навстречу и ползли снова, — древнегреческая мифологическая история пришла Никите на ум, про Сизифа, кажется, — впрочем, все, что происходило, не столько виделось, сколько угадывалось в рефlekсах редких, неверных источников света, восстанавливалось воображением по носящимся

в подземелье истерическим репликам целых и звериным визгам раненых и умирающих.

Воздух, не проветриваемый поршнями поездов, густел, тяжелел с каждой минутой. Зачем они лезут наверх? недоумевал Никита, сам протискиваясь к эскалатору. Наверху, наверное, бешеная радиация, переждали бы, что ли, хоть бы и в духоте. Я-то ладно, улыбнулся, поймав себя на противоречии, мне все равно.

Долго, наверное — с полчаса, полз Никита по наклонной шахте. Наземный вестибюль рухнул, но предшественники уже устроили лазейку в тупах и развалинах. Никита вдохнул полной грудью, и у него мгновенно ослабли ноги, закурилась голова и сильно — едва сдержал рвоту — затошнило. Он сначала подумал на ионаторы, потом — на кислородное отравление, но услужливая и одновременно ехидная память шепнула слова, которые он, казалось, никогда не впускал в уши на занятиях по противорадиационной защите: первыми симптомами сильного облучения являются...

Луна теперь властвовала над Москвою безраздельно: фонари погасли повсюду, а далекий: где-то на Речном или даже в Химках — костер пожара никак не мог соперничать с ее холодным пепельным светом. Здания вокруг были полуразрушены, деревья валялись, вырванные с корнем: ударная волна легко преодолела десяток километров от эпицентра. Чем дальше шел Никита по направлению к родительскому дому, тем меньше трупов и раненых валялось на земле, тем меньше народу попадалось навстречу, а уж когда пересек линию Рижской дороги (электричка лежала на боку) и, чтобы срезать путь, свернул в Тимирязевский лес, — и вовсе остался один среди где покосившихся, где поломанных, где тлеющих древесных стволов.

Пройдя между ними несколько сотен шагов, Никита вышел к неожиданному провалу, огромному, километра три в диаметре; на далеком дне провала в свете слабых живых огоньков поблескивал металл, копошились люди. Никита вспомнил: еще мальчишкой, гуляя здесь, он категорически не желал верить сестриной клевете, будто внизу, под землею, под перегнивающими слоями опавших листьев, работает гигантский военный завод, притаились стартовые шахты ракет, — и вот однажды осенью, когда выпал первый снег, а воздух был разве что на самую малость холоднее нуля, — своими глазами увидел, как чернеют, буреют талой землею, старой хвоею несколько кварталов леса: полградуса лишнего тепла растопили снег и создали в тот уникальный осенний день демаскирующую картину. Точно: вот сюда, на это самое место, и приходились те кварталы...

До дому было уже подать рукой; Никита издала выделит взглядом в массиве зданий, чернеющих на опушке, за светлыми корпусами больницы, пятиэтажный дом, знакомый с самого-самого детства, — выделит, но не узнал, — только когда подошел почти вплотную, понял головою, раскалывающейся от странной, центральной боли: добрые две трети фасада рухнули, обнажив потроха квартир. На четвертом этаже, в нескольких метрах от ущербленного угла, зияли ячейки родительских комнат.

Рев, не нашедший в никитиной памяти аналога, — может, когда-то, миллионы лет назад, так ревели издыхающие динозавры, — заставил обернуться: на огненном стебле выросла над лесом ракета и, мгновение помедлив, словно присев перед дальней дорогой, ушла в звездную черноту неба: не зря, стало быть, копошились на дне провала люди.

В каком-нибудь шаге от подъезда ноги Никиты снова подкосились, и он упал на обломки стены, исходя неукротимой, не приносящей облегчения, не снимающей тошноты рвотой. Минут пятнадцать — или так ему показалось — бился Никита в отвратительных, выматывающих спазмах, но, едва они отпустили, — встал и хоть обессиленный, а продолжил путь. «Первыми симптомами сильного облучения являются...»

Лестница с выломанными кое-где ступенями висела на прутьях арматуры; раздавленный балкою перекрытия, лежал на покосившейся площадке труп старушки со второго этажа. Вокруг трупа бегала, поскуливая, растерянная старушкина болонка. Никита полз к цели, которая неизвестно зачем была ему нужна, — полз на одном волевом напряжении.

Вот наконец и квартира, родная квартира, пустая, по счастью: вовремя убежали родители, вовремя! — вопрос только: далеко ли? Никита рухнул на стул у старенького письменного стола, за которым делал в свое время уроки. Прежде вплотную придвинутый к стене, теперь он стоял у самого облома пола, и больничные корпуса, и лес открывались из-за стола непривычно широко, не стесненные оконной рамой. Ах да! вспомнил Никита. Я же обещал Лидке, что приду к ним сегодня вечером, расскажу про Голос Америки. Оказывается, меня сюда вел категорический императив...

Никита открыл ящик, пошарил, вытащил на лунный свет школьную тетрадку и чешский автоматический карандаш; тетрадка была начата лидкиными записями: какие-то цитаты, кажется — из Конституции СССР. Никита перевернул тетрадку вверх ногами и на последней странице как на первой стал писать: пружиной, которая спустила механизм начавшейся сегодня войны, был,

если разобраться, Трупец Младенца Мало-го... — рука автоматически вывела привычное это прозвище и остановилась: наверное, следовало объяснить, откуда оно взялось, рассказать невнятную историю про маленького утопленника и Пионерские пруды, но силы убывали не по часам, а по минутам, история, в сущности, никому не была нужна и ничего не проясняла, — рука решительно перечеркнула три последние слова и надписала сверху: подполковник Ла...

Но тут стало совсем темно: луна скрылась за корпусами Сокола. В прежние времена, особенно в дурную погоду, когда низкие облака не позволяли свету улизнуть в космос, такой темноты в Москве было и не сыскать, за нею ездили в дальние деревни: сотни уличных фонарей, прожектора стадиона Динамо, дуговые лампы железнодорожных сортировок, огни аэровокзала давали в сумме довольно, чтобы хоть и писать, — однако час назад прежние времена закончились навсегда. Никита попробовал продолжить ошупью — получилось совсем плохо, — и, обернувшись в поисках решения, заметил мягкое, при луне не увиденное сияние: оно струилось из соседней комнаты.

Возбуждись от бешеной радиации взрыва, стены, батареи отопления, мебельные ручки и дверные петли — все это теперь излучало само и заставляло светиться люминесцентный экран большого родительского телевизора. Незримые смертоносные токи, о которых прежде при усилении можно было забыть хотя бы на время, высунули нос, материализовались в свечении, — что ж, тем более следовало спешить.

Никита устроился в старом кресле-качалке у самого экрана, словно собрался скоротать вечерок за Штирлицем, устроился так удобно, что не хотел двигать и пальцем. Казалось, единственное, что способен сейчас был сделать Никита, — это дышать. Зачем продолжать? Для кого я пишу? Бросить, плюнуть, закрыть глаза, заснуть... но тут какой-то бодрячок объявился в голове, засуетился, замахал ручонками: как то есть зачем?! Как то есть для кого?! Ты единственный, кто знает, кто может рассказать потомкам! Да неужели какие-нибудь потомки останутся? спросил Никита. Еще бы, еще бы! оптимистично заверещал бодрячок. Человечество — удивительно живучая сволочь! Чего-чего оно только ни выносило — однако живет! живет! Да ты и сам носа не ведай! — подумаешь, какую-нибудь сотню-другую рентгенов схватил! Еще внуков своих переженишь! — тут Никита узнал бодрячка, вспомнил женское его греческое имя: эйфория.

«Кроме того, при особенно сильном облучении могут наблюдаться психические изменения, выражающиеся в первую очередь...»

Веки никитины вспыхнули вдруг алым

просветом крови — он приподнял их и тут же зажмурился: огненный мячик висел где-то далеко, над Юго-Западом, — висел, впрочем, недолго, — лопнул, и, спустя секунды, звук разрыва больно ударил по барабанным перепонкам, пронесся вихрем, опрокинул Никиту вместе с креслом, а телевизор повалил сверху, и кинескоп лопнул в свою очередь, обрызгав все мелким светящимся стеклом. Кругом сыпались какие-то камни, куски штукатурки, обломки кирпичей, потом наступило мгновение затишья, потом ударная волна пошла назад — уже насытившаяся, умиротворенная, обессиленная. Писать, писать, писать, пока есть возможность! Пусть даже ни для кого, пусть в никуда! — писать! Стеклышки впились в кожу, зеленый след мячика прыгал во тьме перед распахнутыми глазами, но тетрадку и карандашик Никита не выпустил и в падении и сейчас, кое-как подняв кресло, зацарапал по бумаге наощупь.

Не раз останавливался, копя энергию, и уже ночь была на исходе, серело, когда поставил последнюю точку. Теперь следовало придумать, где сохранить письмо в никуда. Никита, едва передвигая ноги, побрел по разрушенной квартире, и, спустя время, взгляд наткнулся на десяток пустых бутылок под кухонным столом: следы основания Комитета по борьбе за свободу информации. Одна бутылка оказалась из-под шампанского. Никита склонился за нею, но резкая боль кишечного спазма прихватила на полдвижении. Сдавив руками живот, завывая, бросился Никита к туалету; вода там стояла по порожек, расколотый унитаз лежал в ней, как обломок океанского лайнера. В ванную

тоже не попасть: сорванная с петель дверь перегораживала вход. Терпеть было невозможно, и Никита пристроился прямо тут, в коридорчике, а когда пришло первое облегчение, подумал: вот он, главный признак войны: не трупы, не разрушения, а нечистоты в неподходящих местах...

Тетрадка не лезла в горлышко — пришлось вырывать листки, скручивать в трубочку. Жалко, моря нету поблизости или хотя бы реки! Никита из последних сил закупорил бутылку полиэтиленовой пробкой, поставил на пол и рухнул в качалку: игра сделана, ставок больше нет, — можно уснуть.

Яркое солнце восходило над столицей — нет, не восходило: взошло вдруг и теперь висело в зените, словно бы освобождаясь от затмения. Лучи его были пронзительны, горячи безо всякой меры. Собственно, и за солнце принять его можно было только в том случае, если снять в кино, сквозь почти черный фильтр и на очень большой скорости, а потом медленно прокрутить пленку: слишком быстро оно освобождалось, набухало, и его буквально распирало от света, от жара, от энергии, — и вот бутылка озарилась так ярко, что потеряла цвет и медленно начала терять и форму: оседать, таять, течь, и листочки, давно обугленные, засерели хлопьями пепла в центре огненной лужицы.

На то, что осталось от Никиты, смотреть — если б нашлось кому — не захотелось бы.

1984 г.



Владимир
ГОЛОВАНОВ

КЭТ ФЭНТЭЗИ

Он был Кот. Замечали вы этот характерный взгляд кота на все движущиеся, шевелящиеся предметы? Этот взгляд — напряженный, неподвижный, выжидающий, предвосхищающий возможные резкие движения и изменения в окружающем его мире? Царственно-презрительный, гаснущий мгновенно, если изменений нет?

Но мы никогда не узнаем, чьим он считает этот мир.

Который мы считаем своим.

Лужа во дворе.

Около нее он сживал и тогда, когда весь дом — старинной постройки, громоздкий, набитый людьми — начинал вдруг по-желтому сиять под жесткими лучами просунувшегося в просвет между домами заходящего Солнца...

На Солнце в луже возникали тени — это были спешащие домой жильцы, они обходили лужу, кое-кто из них торопливо гладил Кота.

Однажды Угрюмец замахнулся пнуть. Но вдруг застыл прищурившись — похоже, что залюбовался.

...И в час Луны он сживал тоже.

Однажды сверху упал рыбий скелетик.

И это не могло быть не связано с Луной.

Он взглянул на Луну, сузил зрачки, пошел к дому — это был единственный путь для подъема, чтобы оказаться там, у Луны, откуда — или не оттуда — упал этот маленький костлявый знак.

Путь наверх.

Еще не доходя до подъезда, он поджался, напряжился — наметил цель. Когти сверкнули на миг и вновь втянулись, вздрогнули в азарте зрачки — впереди была тайна, цель, жизнь!

Вверх по ступенькам, быстрее, быстрее!

Дверь на очередной площадке запахивается, и маленькая Девочка приседает прямо перед Котом на корточках.

Он — гибкий, дерзкий — мгновенно изменяет и облик и повадку. Кот — мягкий, тихий, только что без бантика — сидит перед Девочкой. Лакает из поставленного перед ним

блюдечка, а Девочка гладит его склоненную шею.

Нельзя отказываться от пищи — завтра могут и не дать.

И снова он мчится вверх. Скорей, скорей!

Еще одна площадка и дверь. Она запахивается. Оттуда выскакивает Пес. Натянутый поводок, уходящий в глубь коридора, удерживает его. Тем не менее он показывает Коту одну из своих самых страшных гримас.

Кот дает ему пощечину.

Пес немедленно дает сдачи.

Видим и причину натянутого поводка: на другом его конце, в глубине коридора, Дама. Она держит поводок в откинутой руке, но не двигается с места, потому что целуема страстным Усачем. Каждое решительное передвижение его могучих волосатых лап вызывает ее хриплый стон:

с плеч на бугры груди — стон...

с бугров на глыбы бедер — стон...

на ягодицы...

Маленькая Старушка с горшком в руках семенит мимо них в сторону санузла, затем семенит из кухни с кастрюлькой в руках.

Кормит из кастрюльки бледного больного, сидящего в подушках на постели.

На лестничной площадке Пес уже добит. И вовсе это уже не Пес, а печальный Пьеро — тот, кто получает пощечины, — в белом балахоне с болтающимися рукавами, в колпаке.

И Кот шагнул дальше. Снова рванулся — вверх, скорей, скорей! И едва не врезался в закрытую дверь чердака.

Зазвучала томительная музыка Луны. И пока она звучала, Кот все сидел и глядел на дверь.

Потом он повернулся, чтобы уйти, и превратился в Рысь. Увеличился в размерах, появился хищный оскал, замедленность движений — и так уходил. Сделав несколько шагов, он стал Тигром. Огромным величавым Тигром, с презрением покидающим место неудачной охоты.

А еще через несколько шагов Тигр превратился в маленького омерзительного Дракона-Варанчика, суетливо сползающего со ступеньки грязной лестницы...

Но вдруг, заметив приоткрытую в квартиру дверь, замер, снова медленно превращаясь в Кота.

Тема «Кот — старый дом — Луна» была предложена режиссером К. Бронзитом.

Проникнуть в коридор, искать балкон, форточку, найти путь наверх.

По стене коридора ползет маленькое восьминогое Насекомое.

Четверо детей, уткнувшись носами в стену, следят за его движением.

Оно быстро заползло под дверь одной из комнат.

А Кот в это время неподвижным взглядом уставился на другого кота, постоянного жильца этой квартиры. Жизнь того научила: он, переваливаясь с боку на бок, идет в санузел, взбирается на стульчак, принимает нужную позу, делает свое дело.

Зрочки Кота дрогнули и двинулись в сторону прикрепленного к стене рулона туалетной бумаги. И как же?

Домашний Кот уловил направление его взгляда и тоже уставился на рулон.

Но нет, воспользоваться рулоном было выше его сил и рабского умения.

Спрыгнув-шлепнувшись, он превратился в толстого жалкого Червя, уползающего по коридору.

А дети, сидя на четвереньках, так и замерли у щели под дверью, куда заползло Насекомое.

И дождались: дверь распахивается, прижимая их к стене. Свет бьет из комнаты, и на пороге возникает маленький чернявый человек, по-жениховски нарядный и сияющий.

Дети пляшут.

Человек в дверях почесал левую подмышку, в шевелюре над виском, в подреберье, выхватил откуда-то аэрозольный баллончик, брызнул себе за ворот, в ухо, в пах... Это несколько умерило зуд.

Распахнулась дверь еще в одной комнате коридора: крупная Невеста в фате выступила в коридор.

Человек радостно подпрыгнул, еще брызнул на себя, еще немного уменьшился, в облике его снова появились признаки Насекомого, но ему очень хотелось жениться, он почесался, еще уменьшился, в его боках пробила еще пара лапок.

Разом распахнулись все остальные двери, и толпа мелких нарядных насекомовидных существ выскочила из всех дверей в коридор.

Кот отстраненным взглядом наблюдал.

Невеста не отступила от своего намерения быть взятой замуж, она встала на колени. Потом легла. Пальчиками очень аккуратно взяла Жениха, шевелящего лапками, и посадила себе на грудь, на камею с резным профилем, свисающую на цепочке меж ее, невестиных, грудей.

Туда же она стала переносить и гостей.

Свадьба обосновалась в рельефе камеи. Невеста легла на спину, вскинула баллончик и пустила аэрозольный пучок вверх: хотела сделать добро и сделала — вся братва на уступах камеи единодушно вскинула к небу протянутые в лапках кубки, чашки, рюмочки,

и они наполняются морозящей сверху влагой, которая и выпивается тут же с благодарностью под мистериальную музыку с возгласами, близкими к «эвоз!».

И Невеста, задумчиво открыв большой редкозубый рот, ловит падающие сверху капли и струйки свадебного своего вина, иногда побрызгивая над собой из баллончика.

Гости пускаются в стремительный хороводный пляс. Черда пляшущих растягивается по перепадам перламутрового рельефа камеи, радостно голося, притопывая, веселье.

В окно светит Луна.

Кот переходит из комнаты в комнату. Все они безлюдны, залиты лунным светом, содержат разные неясные в лунном свете предметы.

В одной из них он видит наконец открытую форточку.

Кот перелетает прыжками с предмета на предмет, подбираясь к форточке. Один из предметов раскачивается под ним.

Это клетка с Птичкой.

Она в ужасе.

Кот тоже перепуган.

Клетка срывается под его тяжестью, от удара распахивается, Птичка и Кот одновременно бросаются в форточку и застревают там.

Оба проваливаются между двойными рамами и оказываются внизу — друг против друга.

Птичка начинает в ужасе петь. Кот слушает.

В комнату вползает жалкий Червяк. Потом он вспрыгивает на стол, превращаясь в прыжке в Домашнего Кота.

Теперь он торжествует. Он перепрыгивает со стола на подоконник и садится, чтобы наслаждаться зрелищем Кота в ловушке между рамами.

Тогда Кот ловит Птичку. Он прихватывает ее мгновенным движением лапы и держит в когтях. Птичка вся теперь в его воле.

Повернув голову и уставившись прямо в глаза наглицу за стеклом, Кот поджимает когти, вбирает их, медленно и небрежно отводит лапу.

Освобожденная Птичка взлетает и вылетает в форточку.

Отвернувшись от подлой рожи за стеклом, Кот ложится, принимая судьбу. Он вытягивается, вытягивает лапы, хвост. Медленно закрывает глаза.

Но Птичка возвращается, она хочет спасти Кота.

Она сидит на форточке и призывно посвистывает.

Однако Кот не обращает на нее внимания. Птичка старается и так и этак. Никак.

Тогда она поворачивается хвостиком

внутри, и на голову Кота падает капелька.

Кот взвизгивает пружиной вверх.

Птичка-жаворонок висит в ночном воздухе, в лунном свете — трепещет над колодцем двора и высвистывает — впервые в жизни ночью — радостную песенку, потому что видит Кота сидящим снова в проеме форточки.

Кот спрыгивает на узкий междуэтажный карниз, идет по нему. Сверху пролетает рыбий скелетик. Откуда-то доносится страстный кошачий вздох-мурл. Прислушавшись, Кот отвечает. Идет дальше.

Тут же под карнизом открывается окно. Из него высовывается Угрюмец. Прислушивается, встает на подоконник, цапает проходящего по карнизу над его головой Кота и втаскивает в окно.

Здесь, в комнате, настоящая скорняжная мастерская. Стол для разделки, распялки, сушки шкур, готовые шапки, чучело лебеда.

...Кот разделяет скорняка. Угрюмец прихвачен к столу и от ужаса не может даже крикнуть.

Коготь Кота сверкнул и ланцетно чиркнул вдоль ряда пуговиц на Угрюмце — от горла до пупка. Рубаха Угрюмца распалась надвое, обнажив грудь. Кот ударами когтя по одной сске пуговицы с ширилки. Завершающий взмах лапой, и одежды с Угрюмца свалились по обе стороны стола.

Тогда Кот чиркнул когтем по груди Угрюмца. Раскрывшаяся мышечная ткань приоткрыла пульсирующее сердце.

Кот в ужасе отпрянул.

И, подскочив, метнулся в открытое окно.

Летит в пустоту, вниз, в безнадежность.

Но улетел недалеко. Успел сгруппироваться, и его принял нижний балкон.

На балконе Кошка.

Это она издавала страстный вздох. А теперь его повторила.

Кот стал Огненным Шаром.

А она стала Лунной — Маленькой Лу.

И они стали восходить.

Они восходили, двигались вверх на фоне стены, окон, перебитых и раздвинутых колен водосточных труб, барельефов...

Издавая страстные стоны-мурлы, вздрагивая, любя, касаясь друг друга...

Перекошенная от зависти подлая рожа Домашнего Кота мелькнула за окном.

И мелькнул Угрюмец с открытым пылающим сердцем, стоящий у окна, сжимая в руке книжицу — то ли стихов, то ли руководства

по выделке шкур.

И мелькнул барельефный ангел с трубой с разбитым гипсовым лицом, осенив их на миг крыльями, потом опять отведя крылья к стене.

Чердак.

Огненный Шар и Маленькая Луна вползают в окно чердака, и Маленькая Лу возвращается в свой прежний облик чуть раньше, чем Огненный Шар. И теперь небольшая хорошенькая Кошечка лежит, свернувшись клубком около Бомжа, который сидит в окне, свесив ноги наружу.

Кошечка дремлет, она сыта, около нее лежит кучка рыбьих скелетиков.

А Бомж продолжает пожирать рыбок с клочка газеты и, задумчиво вытянув изо рта очередной скелетик, щелчком запускает его в сторону низко стоящей Луны.

Из глубины чердака смотрит на Бомжа Кот.

Потом он подходит и ложится рядом с Лу.

Однако тут же повисает в воздухе, схваченный жестокой рукой Бомжа за загривок. Кота спасает чудо.

Небо пересекает косая траектория метеорита. Бомж, замерев, озадаченно следит за ним, сжимая Кота в занесенной руке.

То ли Бомжу привиделось, то ли и вправду так, но мы видим вдруг салон падающего, объятая пламенем самолета. Мечутся люди, ревет за иллюминаторами пламя.

Но, пожалуй, это только метеорит чертит свой след вдали.

На всякий случай Бомж не швыряет Кота с размаху, а только аккуратно опускает его в воронку торчащей над краем крыши водосточной трубы.

И Кот с грохотом отправляется вниз. Долгий пролет.

Он летит по трубе головой вниз, и в узкой трубе не перевернется.

Колена трубы идут криво, косо: то тело Кота мелькает быстрее, то он опять тормозит. То снова со свистом мчит.

Наплывом возникает его неподвижная морда, неподвижный взгляд, исчезает, и только грохочет труба.

Вдали, как лунный диск, появился, приближаясь и подрагивая, светящийся круг вылета из трубы, мерцающая и приближаясь, приближаясь.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Исторический аспект

Георгий Кнабе

ARCANA IMPERII

Беседу с Г. Кнабе ведет В. Машуков.

— Георгий Степанович, донос, доносчики, стукачи — одна из самых болезненных тем общества. Но доносительство было всегда. В античном мире существовали так называемые сикофанты. Поначалу это были простые таможенные надсмотрщики, которым вменялось в обязанность следить за тем, чтобы не нарушался закон, запрещающий вывоз из Аттики фигов. Позднее таможенная служба превратилась в целый институт добровольных и вполне профессиональных стукачей. Феофраст в «Характерах» высмеивает фарисейство приверженца олигархии, возглавляющего с трагическим пафосом: «Житья нет нам от сикофантов!» Издавна в нашем сознании доносительство считается самым отвратительным занятием. Но, с другой стороны, криминологи утверждают, и весьма доказательно, что без агентурных материалов невозможна продуктивная работа правоохраны по защите граждан. Тех самых, кто с таким презрением относится к доносительству. Как примирить это противоречие между нравственным чувством и государственной необходимостью и возможно ли это примирение?

Г. Кнабе. В самом деле, доносительство всегда было одной из самых сложных общественных и нравственных проблем. Я думаю, что современная манера рассматривать в виде так называемого стукачества всякий факт добровольного обращения к правоохранительной сфере независимо от условий не выдерживает критики. Но давайте из Древней Греции, которую вы только что упомянули, и из современного мира, в котором мы с вами находимся, перенесемся в Древний Рим, ибо именно там донос, равно как и многие другие общественные явления, выступает в своей классической и отчетливой форме, что позволяет нам, разбирая их, понять проблему яснее и глубже, в том числе и в современном ее выражении.

Государство в Риме не было той четкой,

жесткой организацией, державшей граждан в подчинении, какой оно стало в позднейшие времена. Долгое время, на протяжении веков все деяния Римского государства были тесно связаны с интересами граждан, которые непосредственно участвовали в принятии важнейших государственных решений. Армии как института не существовало. Ее заменяло народное ополчение. Решения выносились народным собранием, которым избирались магистраты, управляющие республикой. Разумеется, республиканский Рим не был такой демократической пасторалью. Многие зависело от материального положения, и важную роль в государственном устройстве играли прежде всего аристократические роды, которые концентрировали в своих руках богатство и политическую власть. А что же рядовой гражданин? Бывало, что его оттесняли от исполнения своих гражданских обязанностей, но чаще всего он участвовал в политической жизни общества в составе некоего клана, поддерживая решения, выдвинутые его патроном, от которого он зависел, и кандидатуры, в которых патрон был заинтересован. Такого рода взаимоотношения между патронами и рядовым гражданским населением окрашивали эту демократию в особые тона. Ее можно определить как демократию для немногих, но эти немногие, будучи полноправными гражданами республики, строили свои отношения с государством на основе так называемой прямой демократии. У государства были весьма ограниченные возможности для содержания всякого рода бюрократии. В частности, не было налоговой инспекции. Не существовало специального контрольного аппарата, который бы следил за тем, как граждане выполняют свои обязательства по отношению к государству. Небольшой управленческий аппарат состоял из избранных людей, которые считали свою службу почетной обязанностью. Кстати, он содержался на их же собственные средства. Поскольку государственный контроль отсутствовал, его функции на себя брали добровольцы из данного города или из данной деревни, которые как раз и сообщали или, если хотите, доносили о тех случаях, когда имело место невыполнение общественного долга, нарушение установленных государством правил, порядка и так далее. Говоря современным языком, «не проходите мимо!».

— В этой связи, возвращаясь к сикофантам, я хочу напомнить, что они называли

себя не иначе как псами народа. В таком самоопределении есть оттенок гордости профессией, ибо они в этом качестве как бы выступали защитниками не государства, а демоса. Правда, самоопределение выглядит не более чем завесой, поскольку сикофанты действовали отнюдь не бескорыстно, донося прежде всего на состоятельных граждан Афин. Как я понимаю, описанных вами осведомителей республиканского Древнего Рима трудно заподозрить в корысти. Но всегда ли так было?

Г. Кнабе. Да, они действовали обычно бескорыстно, из чисто гражданских побуждений. И тем не менее именно здесь проблема уже выступает в своем запутанном и сложном виде, поскольку всегда трудно было сказать тогда, как трудно сказать и сейчас, каков объективный смысл акта доносительства. То ли это был акт измены по отношению ко всем, кто связан со мной совместной жизнью, трудом, моральными обязательствами; к своей микрогруппе: к соседу, родственнику, односельчанину, то есть акт аморальный. То ли это был акт высшей нравственной гражданской лояльности по отношению к государству, обманутому и терпящему убыток.

Я полагаю, что ключ к пониманию вопроса лежит в куда более серьезной и глубокой сфере. Суть дела в проблеме отчужденности государства как управленческого института от собственного населения или, напротив, в очевидном и внятном каждому единстве их интересов. Обе эти тенденции представлены в истории Древнего Рима. Известно, например, какое место занимала в Риме дружба. Когда обязательства по отношению к государству бывали сильнее дружеских обязательств? Или наоборот, когда дружеские связи и чувство дружбы были настолько сильны, что гражданские соображения отступали на второй план, и ты чувствовал себя абсолютно правым, скрывая от государства деяния твоего друга?

В Риме эти крайние точки отмечены двумя произведениями литературы. С одной стороны, диалогом Цицерона «Лелий, или О дружбе», написанном в 43 г. до н. э., где вопрос разрешается самым ясным, императивным образом: только гражданская доблесть придает дружбе смысл, только полное единомыслие, заключающееся в служении государству, в служении Риму, соединяет людей прочными узами дружества. Подлинная дружба обретается только в том случае, когда возникает потребность в служении государству и нужен друг-единомышленник. Если интересы дружбы оказались в противоречии с интересами государства, то перед нами лжедружба. Цицерон спрашивает: может ли человек пожертвовать такой дружбой ради интересов

государства? И категорически отвечает: да! Может и должен. «Проступок не может быть оправдан тем, что он совершен ради друга, ибо верность гражданской доблести скрепляет дружбу, тому же, кто изменил доблести, трудно сохранить и друзей».

К началу III в. н. э. относится другое произведение — «Жизнеописание Апполония Тианского», написанное греко-римским писателем Флавием Филостратом. В основе его лежит история жизни странствующего проповедника и мудреца, пифагорейского философа. Есть догадка, что основная часть этого жизнеописания относится к концу I в. н. э., то есть к той исторической ситуации, какая сложилась в Риме при последнем из династии Флавиев императоре Домициане. Запомним это имя: оно нам будет важно для понимания того, как происходит отчуждение государства. И вот здесь, в этом произведении, предлагается принципиально иное толкование проблемы. Только обязательства перед другом, перед своей микрогруппой, обязательства личного нравственного порядка имеют моральный смысл. Особенно они сильны среди философов, противостоящих тирану. Перед его государством никаких обязательств больше нет, они лишились смысла. Донести на друга, даже явно нарушившего долг перед государством, — преступление.

— Чем же вызвано это столь решительное расхождение?

Г. Кнабе. В этом-то самое главное. Глубочайшая пропасть между двумя максимумами возникла тогда, когда набрал силу процесс отчуждения государства от непосредственных нужд и потребностей населения. Разросшееся Римское государство все меньше и меньше выражало запросы граждан. Более того, оно все чаще выступало как некая сила, заведомо разрушающая личные интересы, интересы отдельной группы, семьи, приносящая их в жертву каким-то иным, отвлеченным интересам, которые объявляются «высшими». В связи с этой фазой процесса отчуждения государства возникает то образное представление и то словесное его обозначение, которое в, кажется, сочли возможным вынести в заголовок нашей беседы, — *arsana imperii*. Выражение это принадлежит Тациту. *Arsanum* — тайна с оттенком запутанности и мрачности, *imperium* — власть, но опирающаяся прежде всего не на закон или обычай, а на силу и обстоятельство. *Arsana imperii* — возникающие к концу I в. н. э. формы власти, неподотчетные гражданам, действующие тайно и по своим скрытым соображениям. Как только этот процесс получает развитие, проблема доносительства возникает вновь, но уже в другом освещении. Первое в Риме упоминание о до-

носителем содержится в комедии Плавта «Клад», написанной в конце III в. до н. э. В то время сообщение о доносе или об имени доносчика не вызывало никаких сенсационных кривотолков. Однако, чем дальше усложнялось государственное управление, чем более оно становилось самодостаточным, имеющим свои нормы и цели, отдельные от целей граждан и скрытые от них, тем все менее оправданным становился акт апелляции к государству, все более отталкивающим, потому что наносил вред ближайшему окружению гражданина, решившего этот акт совершить. Именно в эту эпоху такой поступок начал приобретать смысл безразвоственного, подлого деяния. И все же даже тогда, когда доносительство становилось изменой микроколлективу, к которому принадлежал гражданин, вряд ли была возможность решить вопрос однозначно с точки зрения апрорных моральных позиций. Пока Рим был Римом, римлянин оставался его гражданином, и его желание сохранить верность государству было подчас столь же понятным, как желание остаться верным «своим». Положение изменилось еще раз, и изменилось в корне, когда государство, начиная с императора Тиберия (14—37 гг. н. э.), почувствовало свой разрыв с обществом и стало принимать меры по искусственному стимулированию доносительства. Можно наблюдать эксплуатацию естественного нравственного импульса служения государству, который искусственно привлекается для выполнения безнравственных целей отчужденной от народа тиранической власти. Новый смысл получил знаменитый закон об оскорблении величия римского народа. Существовал он всегда, но ранее по этому закону судили дела о государственной измене, чаще всего уже обреченные в сенате, а потому очевидные для всех. Теперь государство начинает использовать этот закон против целого класса граждан — против старой сенатской знати, но которая ведь была носительницей коренной системы ценностей Древнего Рима, в уничтожении которой была заинтересована новейшая монархия. Власть требует или расправы с этими людьми, или сокращения их роли. Для этого в качестве одного из главных орудий расправы и стали использоваться специальные люди — доносчики. Государство сначала обещало доносчику часть имущества осужденного, затем эта часть все более и более увеличивалась. При Нероне прошел специальный эдикт, по которому выплата за донос определялась в одну четверть имущества жертвы. Государство, однако, было крайне заинтересовано не только в вульгарных осведомителях, действо-

вавших из корыстолюбия, но и в таких, кто всячески подчеркивал, что, донося на своего ближнего, они борются с реакционерами, выражают таким образом преданность императору, расписываются в своих высоких гражданских чувствах. При императоре Клавдии жил, например, сенатор Суиллий, впоследствии осужденный как доносчик. Он продолжал утверждать и перед смертью, что остается до конца преданным императору и действовал только из верности долгу. У нас нет основания полагать, что он был полностью неискренен. Мы знаем его семью и его окружение, и вероятно, нельзя сбрасывать со счетов людей действительно не имевших родовых аристократических прав, подлинно заинтересованных в новой власти и действовавших в интересах нового государства и его задач. Деятельность Суиллия как доносчика с точки зрения морали уже современники считали омерзительной, но мотивы ее все еще были далеко не однозначны.

— Но не является ли такого рода преданность неким вариантом далеко рассчитанной корысти — ведь когда-нибудь она могла помочь обрести расположение принцепса, а следом и определенные блага?

Г. Кнабе. На определенной стадии прослеживаемого нами процесса наступает и это. В Рим во времена Клавдия и Нерона (в 40—60-е гг. I в.) устремляются люди с совершенно четкой целью — с помощью доносов сделать карьеру. Примерно с 60-х годов в источниках появляется странное выражение *sponite accusavit*, что означает «выступал с обвинением по собственному почину». Другими словами, бывали случаи, когда доносчикам приходилось выступать под прямым нажимом, по распоряжению принцепса или его агентов, и тогда донос считался более или менее извинительным. Но нередко становились случаи доносительства *sponite* по мотивам алчности или личной ненависти без всякого принуждения, как это происходило, например, с известным поэтом и доносчиком Сиблием Италиком. В этом случае донос уже не имел никакого оправдания. Толпы молодых провинциалов, страдаемых жадной власти, денег, сжигаемых честолюбием, избрали именно такой путь. Многие из них проникли в сенат.

Там же, в Древнем Риме, обозначился, однако, и еще один аспект проблемы. Наполеон как-то сказал, что со штыками можно делать очень многое, кроме одного, — на них нельзя сидеть. Ни одна власть, какой бы она ни была, не может держаться на одном лишь терроре, ибо жизнь подданных не исчерпывается делами государства: у нее свое содержание, свои инерция, сила и независимость. Чтобы власть могла

удержаться, ей необходима опора, необходима нравственная заинтересованность граждан в ее, власти, существовании. Эту заинтересованность призван если не создавать, то во всяком случае стимулировать развитый пропагандистский аппарат. В Риме этот аппарат был более скромным, нежели в позднейшие эпохи, но со времен первых императоров, особенно при Августе или Домициане, он был довольно-таки мощным и разветвленным. Но государство всегда очень хорошо чувствует тот момент, когда его отчужденность доходит до роковой черты, когда масса граждан перестает руководствоваться искренней преданностью, когда у тех же доносчиков мотив корыстно-безнравственный начинает полностью вытеснять идейный. И тогда власть ополчается на своих же агентов. Нередко смена императорских режимов была связана с тем, что императоры привлекали к ответственности доносчиков. Так было в первые годы правления Нерона, потом, в январе 70 года, когда к власти пришла династия Флавиев, преследования осведомителей достигли особенной силы при Тите, сыне Веспасиана и брате Домициана, и наконец, император Ульпий Траян (98—117 гг.) в количестве 300 человек посадил их на корабль и отправил в море «без руля и без ветрил» на явную гибель. Чтобы они, так сказать, не портили атмосферу. В абстрактном выражении меры против доносов существовали всегда, ибо ложное доносительство каралось, и порой довольно сурово, если донос не подтверждался в сенате либо в суде.

— То есть, с одной стороны, он поощрялся, но с другой — все же преследовался?

Г. Кнабе. Дело в том, что кроме письменно зафиксированных законов всегда есть возможность их применения или, напротив, неприменения. В первом случае власть действует судебному решению, во втором она старается всей своей мощью исклчить его или свести его результаты на нет. Искусственное, вопреки законам насаждение доносительства есть та мера, которой определяется степень отчуждения, а следовательно, и тирании власти.

История императорского Рима знает множество судебных дел по обвинению провинциальных наместников в хищениях, вымогательстве и т. д. Добрая половина этих процессов кончалась ничем, потому что те же сенаторы знали, что завтра они сами могут занять место обвиняемого, и юридическая процедура в таких процессах проводилась в силу этого, мягко говоря, не слишком последовательно. То же мы наблюдаем в отношении к доносам. Чем отчужденнее государство от граждан, чем меньше оно соответствует интересам и

традициям общества, тем больше оно основывает свои властные отправления на терроре и, соответственно, все более нуждается в доносчиках. Четвертая сатира Ювенала как раз и запечатлела картину правления Домициана — разгула доносительства и полного распада нравственности, устоев, то есть, в сущности, распада самого государства, когда «наполовину задушенный мир терзался последним Флавием».

— Но в какой мере римляне отдавали себе отчет в таком развитии их государства? Ведь последствия описанного вами процесса выходили, как я понимаю, далеко за рамки феномена доносительства.

Г. Кнабе. Как принято выражаться, «за всех римлян не скажу», но именно осознание процесса отчуждения государства Древнего Рима и всех его последствий отражает суть и смысл творчества одного из величайших политических мыслителей и писателей Рима — Корнелия Тацита.

— Как происходило это осознание?

Г. Кнабе. Здесь необходимо более подробное изложение, и если вы позволите мне время от времени ссылаться на одно очень давнее эссе, которое я когда-то посвятил Тациту, то мы попытаемся этот процесс проследить.

18 сентября 96 г. в своей спальне был убит приближенными принцепс Домициан — последний из императоров Флавиев. Верховная власть оказалась в руках римского сенатора Кокция Нервы — основателя династии Антонинов. Правление Домициана было временем роста и процветания империи. Он укрепил армию, много строил, «столичных магистратов и провинциальных наместников, — как пишет современник, — держал в узде так крепко, что никогда они не были честнее и справедливее». И в то же время Домициан был извращенным чудовищем, а большая часть его правления — временем жесточайшего террора, направленного против сенаторов и полководцев, философов и писателей, против просто порядочных людей. Государственной необходимости в таком терроре не было. Борьба за власть между сенатской оппозицией и исторически прогрессивным императорским режимом была решена за много десятилетий до того; новому строю никто всерьез не угрожал, и бесконечные пытки и казни, ссылки и убийства производили впечатление удручающей в своем однообразии кровавой вакханалии.

Вопрос о том, какую из этих двух сторон правления Домициана надо было считать более важной и истинной, возник уже при его жизни и встал особенно остро после его смерти. Вопрос отнюдь не был академическим, ибо из него с необходимостью вытекал другой, прямой и лич-

ный, — кем же были те, кто пользовался доверием Домициана, командовал его легионами и флотами, строил дороги, управлял финансами, укреплял границы — подлыми пособниками кровавого тирана или честными, молча делавшими свое дело солдатами и строителями империи? Большинство современников над этими проблемами не задумывалось. Одни смотрели в будущее и готовились выполнять приказы нового императора так же, как выполняли приказы старого. Другие смотрели не в будущее, а в прошлое — храбро поносили ненавистного тирана, безопасного вследствие смерти, рассказывали о своей привязи к замученным и казненным, на которых еще так недавно писали доносы.

Однако в Древнем Риме, как и во всякую эпоху, были люди, которым хочется во всем дойти до самой сути. Им надо было во что бы то ни стало понять характер и смысл окружающих событий, дать им по возможности объективную оценку и, исходя из нее, найти в дальнейшем нравственно удовлетворительную линию поведения. Таким и был Корнелий Тацит.

Провинциал по происхождению, представитель новой знати, не за страх, а за совесть служившей императорам Флавиам, он всей своей блестящей карьерой был обязан Домициану, его отцу и брату. Долгое время Тацит принимал эту карьеру как награду за свою любовь к Риму и службу ему; теперь он мучительно старался понять, каков же все-таки был объективный смысл его политической и государственной деятельности. Главное содержание описанного им периода состояло в переходе Рима от республики к империи. Сопоставление этих двух форм правления постоянно присутствует в его книгах. Оно ведется прежде всего по линии отношений человека с государством при республике и при империи. Республика для Тацита — это время, когда люди, образовавшие господствующий слой Римского государства, относились к нему как к кровному, непосредственно личному делу — в государственной деятельности видели смысл своего существования и оценивали человека степенью и характером его участия в общественной жизни. Но поэтому же они как свою собственную расширяли государственную казну, растрачивали силы республики в личном соперничестве, беззастенчиво грабили провинции.

В сменявшей республику империи главное для Тацита и состояло в ликвидации общественного хаоса, в организации и порядке, в обеспечении относительно мирного существования граждан. Достигалось это путем сосредоточения власти в руках одного лица — императора, конт-

ролирующего и направляющего всю жизнь империи. Наступил порядок. Государство перестало быть чьим-либо личным делом, но не поэтому ли никто теперь и не думал о ставших всем посторонним Риме, его государстве и народе? Не поэтому ли теперь каждый заботился только о себе: купец — о своих прибылях, солдат — о том, чтобы побольше награбить, сенатор — как бы угадать, угодить, урвать? Вопрос о благе и зле, который несет с собой историческое развитие, неизбежно вел к вопросу об отношении личности и государства, и именно в него, в постижение подлинного характера современного государства, упирались все поиски нравственных критериев человеческого поведения. В поздних крупных произведениях Тацита проблема прогресса постепенно перерастает в проблему отчужденной империи.

С этой проблемой мы встречаемся уже в самом начале «Истории», созданной Тацитом в первом десятилетии II в. Перед нами общее «неведение государственных дел, которые люди начали считать себе посторонними», отсутствие серьезного, государственного отношения к императорской власти, чьи сторонники выступают как «льстецы», а противники — как «хулители», враждебное безразличие большинства общества к претендентам на престол.

Внешний ход событий флавианской эпохи, изображенных Тацитом, мрачен. «История» — книга о катастрофе, о глубочайшем политическом и духовном кризисе империи. В чем же «причины, его породившие»? На этот счет не остается никаких сомнений.

...На Форуме, в центре Рима, преторианцы убивают своего императора, престарелого принцепса Гальбу. Народ, переполнившийся примыкающие к площади базилики и храмы, взирает на кровавую сцену как на цирковое представление. Все происходящее его не трогает... Горит подожженный солдатами-германцами Капитолийский храм. Граждане ходят по площади, на которой он высился, делают свои дела, молятся своим богам, не обращая никакого внимания на тлеющие развалины здания, официально признанного величайшей святыней Римского государства... Улицы города стали ареной кровавой борьбы солдат флавианской партии и войск, сохранивших верность императору Виттелию; «бушует битва, падают раненые, а рядом люди купаются в банях или пьянствуют, среди потоков крови и валяющихся мертвых тел разгуливают публичные женщины». Это расхождение повседневных интересов, лишенных всякого общественного содержа-

ния, и государственных дел, ничего не говорящих рядовым гражданам, — достояние и особенность эпохи, которой посвящена «История»: «Столкновения вооруженных войск бывали в Риме и раньше, но только теперь появилось это чудовищное равнодушие».

Причины, породившие события, описанные в книге, — здесь.

Красной нитью проходит через всю «Историю» мысль о том, что императорская власть обеспечивает относительный порядок и безопасность, но достигает этого путем полного отчуждения себя от непосредственных интересов граждан, что такое разобщение личности и государства разрушает все традиции римской общественной жизни, уничтожает чувство ответственности человека перед обществом, то есть самую основу нравственного поведения. Все политические представления древнего римлянина, все нормы его общественной и нравственной жизни, весь его духовный мир были ориентированы на традиции относительно небольшого замкнутого города-государства, где общественные интересы граждан были неотделимы от личных. Теперь, когда такой уклад стал анахронизмом, когда сложилась и переживала процесс оформления мировая империя, ограничение интересов собственно римлян выглядело прежде всего как уничтожение старых, овеянных славой и окруженных уважением жизненных начал, как затопление столицы провинциалами, приносившими свои, чуждые римской культуре обычаи и верования, как ликвидация староримских — а других в сущности и не было — моральных, культурных и художественных традиций, как деспотический произвол, как массовая ликвидация духовных ценностей. Римлянину, воспитанному в традициях своего государства, такой прогресс противостоял в виде злой абстракции, чуждой, непонятной и враждебной жизни. Ему можно было прислуживать, но вряд ли можно было сколько-нибудь долго служить.

Тацит острее своих современников ощутил эту историческую ситуацию. Жизнь как бы расщепляется. Государственное дело, требующее серьезности и ответственности, ассоциируется у правителей империи только с передвижениями легионов на границах, со сбором налогов в провинциях, с дипломатическими комбинациями при дворах союзных царей, с разбором доносов и ликвидацией «врагов Рима». Здесь ссыпаются в кладовые фиска десятки миллионов сестерциев, маршируют десятки тысяч солдат, распоряжаются — под зорким контролем сверху — командиры армий, наместники провинций, ведающие финансами прокураторы. Живых людей, делающих

свое дело искренне, ведущих себя в традициях римской неотчужденной государственности, здесь почти нет; если и есть, они тут долго не удерживаются. Каждое независимое суждение о государственных делах и интересах, любая независимость вообще, всякое проявление живой, отдельной, по-своему текущей жизни, не взятой под наблюдение и контроль, представляется принципу отпадением от безликой, регламентированной государственности и, следовательно, крамолой. Оно вызывает подозрения и должно быть немедленно подавлено. Так, по этим двум руслам течет повествование и в «Анналах», следующем и последнем сочинении Тацита, отражая в своей раздвоенности главную, по мнению историка, особенность жизни в императорском Риме I в.

Германик, племянник Тиберия и крупнейший полководец своего времени, ведет по поручению императора войну за Рейном. Он подавляет мятеж в легионах, наносит германцам поражение за другим, вызывает из плена некогда захваченных врагами римских солдат. Это все «первое русло», и Тиберий доволен, горд Германиком, присуждает ему триумфальные отличия. Но одержанные победы, знатность, скромность, простота в обращении привлекают к Германику любовь армии и народа, а всякие чувства, любовь, симпатии — это уже вне строгой регламентации и контроля, это, как все живое, таит неожиданность, это — «второе русло». Германика отдают от его легионов, переводят на восток и отравляют медленно действующим ядом. Самое важное, что здесь нет пусть жестокого, но обоснованного политического расчета — освободиться от возможного претендента на власть. Тиберий знает, что Германик до конца предан императорам и их делу, что он никогда не изменит своему долгу. Подозрителен не Германик, подозрительно живое чувство, которое он испытывает к людям и люди к нему.

Германика отравил наместник Сирии Пизон. Он беспрекословно выполнил приказ императора, и это было хорошо, это было осуществление государственных предначертаний двора, это было «первое русло». Но, уничтожая Германика, Пизон служил также собственным интересам. Отпрыск одного из знатнейших родов Рима, аристократ до мозга костей, желчный и болезненно высокомерный, он ненавидел этого баловня судьбы страстной глубоко личной ненавистью. Но палач, который действует страстно и лично, уже не просто палач, а живой человек, и это — «второе русло»: по возвращении в Рим Пизон не без посторонней помощи покончил самоубийством. И опять-таки здесь далеко не все объясня-

ется стремлением убрать слишком много знающего агента, ибо смерть Пизона вовсе не обеспечивала сохранения тайны. Здесь было стремление уничтожить живой интерес, вложенный им в это дело, так как жизнь для римского императора всегда подозрительна.

Императоры чувствуют ответственность перед конечными, самыми общими целями своей политики; но они не чувствуют никакой ответственности перед непосредственной действительностью, перед людьми, их окружающими. Римлянин старой складки привык видеть смысл своего существования в укреплении государственного могущества родного города. Когда государственная власть обращается против него самого и не за какие-нибудь преступления, а просто потому, что он римлянин старой складки, он осознает свою полную неспособность активно сопротивляться и в бездеятельном оцепенении ждет неминуемой и непонятной гибели. Сколько их, этих заживо раздавленных, смотрит на нас со страниц «Анналов»...

По мере движения рассказа атмосфера становится все более мрачной, краски сгущаются, люди окончательно теряют человеческий облик. Последние изображенные Тацитом годы правления Нерона — это уже не политика и не репрессии. Это справляет свою кровавую оргию, безразличная к своим работникам, их достоинству и убеждениям, сама императорская власть. Та, что закономерно сменила изжившую себя Римскую республику.

Проникновение в трагическую диалектику прогресса — занятие, требующее серьезности и мужества. Нам, из исторического далека, оно дается сравнительно легко. Живые люди с горячей кровью и жгучими страстями, их надежды, отчаяние, предсмертные судороги исчезают где-то за поворотами столетий, и перед глазами остается холодный параллелограмм исторических сил с пересекающей его равнодействующей. Тацит сам видел гибель Арулена Рустика и слышал смех Меттия Кара, сам жил в этой атмосфере. Но ни разу ее кровавое марево не заслонило ему глаза, ни разу не поддался он ни утешающим сожалениям о «добрых старых» временах, ни соблазну раствориться в веселом беге времени. Он смотрел, думал — и не боялся думать до конца. Он заслужил, чтобы через две тысячи лет мы вспомнили его с уважением и благодарностью.

Взгляд издалека

Сергей Булгаков

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ КАК РЕЛИГИОЗНАЯ ЗАДАЧА

Сергея Николаевича Булгакова больше знают по картине Нестерова «Философы», где он запечатлен со своим другом отцом Павлом Флоренским, но знают безымянно, ибо до последнего времени имя его не произносилось, а сочинения не публиковались. Они только-только начали появляться, и имя Булгакова зазвучало не столь, может быть, повневно и широко, как имя Флоренского, но уже достаточно внятно. Изданы знаменитые «Вехи», одним из авторов которых он был, опубликована докторская диссертация «Философия хозяйства», где Булгаков строит концепцию хозяйствования на принципах гуманистического, культурного природопользования, то есть приходит к тому, что мы называем экологическим мышлением. Вероятно, тогда эта мысль казалась идеалистическим умствованием, схоластическим и далеким от «передовых» задач времени. Вполне возможно, что даже и сейчас мысли, заложенные Булгаковым в интервью газете «Заря», опубликованном в 1914 году, тоже покажутся идеалистическими и далекими от передовых задач нашего времени. И все же постараемся вслушаться в слова одного из самых светлых, глубоких и пронизательных людей России.

Крайне непопулярны среди интеллигенции понятия личной нравственности, лично-го самоусовершенствования, выработки личности. Хотя интеллигентское мироотношение представляет собой крайнее самоутверждение личности, ее самообожествление, но в своих теориях интеллигенция нещадно гонит эту самую личность. Интеллигенция не хочет допустить, что в личности заключена живая творческая энергия, и остается глуха ко всему, что к этой проблеме приближается: глуха не только к христианскому учению, но даже к учению Толстого (в котором все же заключено здоровое зерно личного самоуглубления) и ко всем философским учениям, заставляющим считаться с нею.

Между тем в отсутствии правильного

учения о личности заключается ее главная слабость. Извращение личности, ложность самого идеала для ее развития есть коренная причина, из которой проистекают слабости и недостатки нашей интеллигенции, ее историческая несостоятельность. Интеллигенции нужно выправляться не извне, но изнутри, причем сделать это может только она сама свободным духовным подвигом, незримым, но вполне реальным.

Вследствие отсутствия идеала личности (точнее, его извращения) все, что касается религиозной культуры личности, ее выработки, дисциплины, неизбежно останется у интеллигенции в полной запущенности. У нее отсутствуют те абсолютные нормы и ценности, которые для этой культуры необходимы и даются только в религии. И прежде всего отсутствуют понятие греха и чувство греха, настолько, что слово грех звучит для интеллигентского уха так же почти дико и чуждо, как и смирение.

Она уверовала, вместе с Руссо и со всем просветительством, что естественный человек добр по природе своей и что учение о первородном грехе и коренной порче человеческой природы есть суеверный миф, который не имеет ничего соответствующего в нравственном опыте. Поэтому вообще никакой особой заботы о культуре личности (о столь презренном «самоусовершенствовании») быть не может и не должно, а вся энергия должна быть целиком расходуема на борьбу за улучшение среды.

Задача христианского подвижничества — превратить свою жизнь в незримое самоотречение, послушание, исполнять свой труд со всем напряжением, самодисциплиной, самообразованием, но видеть и в нем и в себе самом лишь орудие Промысла.

Должна родиться новая душа, новый внутренний человек, который будет расти, развиваться и укрепляться в жизненном подвиге. Речь идет не о перемене политических или партийных программ (вне чего интеллигенция и не мыслит обыкновенно обновления), вообще совсем не о программах, но о гораздо большем — о самой человеческой личности, не о деятельности, но о деятеле. Передвижение это совершается незримо в душе человека, но если невидимые агенты оказываются сильнейшими даже в физическом мире, то и в нравственном могущества их нельзя отрицать на том только основании, что оно не предусматривается особыми параграфами программ.

Для русской интеллигенции предстоит медленный и трудный путь перевоспитания личности, на котором нет скачков, нет катаклизмов, и побеждает лишь упорная

самодисциплина. Россия нуждалась в новых деятелях на всех поприщах жизни: государственной — для осуществления «реформы», экономической — для поднятия народного хозяйства, культурной — для работы на пользу русского просвещения, церковной — для поднятия сил учащей церкви, ее клира и иерархии. Новые люди, если дождется их Россия, будут, конечно, искать и новых практических путей для своего служения, и помимо существующих программ, и — я верю — они откроются их самоотверженному исключению.

Потребно самоуглубление, самоисследование, потребно накопление духовных сил, творчество культуры.

Разных сторон должно коснуться это самообновление, но если спуститься на самое дно, в глубину души, то это создание новой личности и новой жизни должно начинаться религиозным самоуглублением, новым и более сознательным религиозным самоопределением. Новый человек, новый тип общественного деятеля может родиться лишь на почве этого самоуглубления; это будет то новое русской жизни, о чем, умирая, мечтал Достоевский в последнем своем романе, то новое, чего не было в русской жизни последних лет.

Россия, за единичными исключениями, не видала еще христианской интеллигенции, которая пыл своей души, жажду своего служения людям и крестного подвига вложила бы в христианский подвиг деятельной любви и победила бы ту тяжелую атмосферу вражды и человеконенавистничества, в которой мы задыхаемся и в которой ничто, кроме разрушения, не может спориться.

В духовной опустошенности нашей эпохи, в этой ее безысходности, заключается наша величайшая надежда; духовная смерть может оказаться кануном духовного воскресения, как это было и XIX веков назад, как это неоднократно бывало потом в истории, когда христианский пламень с новой силой вспыхивал из едва тлеющего костра.

Только обновленному человеку посильна задача устройства расстроившейся жизни, но обновление это создается не пересмотром программ или тактики, или новой политической комбинации (как бы ни были важны сами по себе и эти последние). Рождение нового человека, о котором говорится в беседе с Никодимом, может произойти только в недрах человеческой души, в тайниках самоопределяющейся личности. Подвиг исторического творчества не может быть отделен от духовного подвига возрождения человеческой личности, который не совершается помимо нашей воли. Прав был Гладстон: не в парламентах или народных собраниях происходит теперь

самое решительное столкновение добра и зла, но в душах людей, и исторические судьбы России замешиваются ныне в той незримой внутренней борьбе, которая происходит в русской душе.

Публикация И. Хабарова

Наследие

АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ: ОДИН ГОД ЖИЗНИ

Тысяча девятьсот шестьдесят седьмой год — к нему относятся впервые публикуемые страницы из архива Тарковского. Год этот принято теперь называть пиком застоя — эпохи, о которой нет-нет да вспомнит с сожалением советский обыватель.

Победно отпраздновали пятидесятилетие Октябрьской революции.

В магазинах водка по умеренной цене. А специально к празднику изготовлена особая колбаса, в центре круга которой бело-розовым салом выложена большая цифра «50».

Небогатое внешними событиями время. Душные застоля и некоторое общее отупение. Даже слухи о психушках, куда стали прятать неугодных властям людей, воспринимались еще недоверчиво...

Что же Тарковский? Не время проходит, проходим мы, — говорит древняя мудрость. Как же он прошел сквозь этот год?

Позади две картины. «Иваново детство» с ярлыком «пацифизма», но картина получила «Золотого льва» в Венеции, и сделать с ней ничего было нельзя — разве что пустить маленьким тиражом на детских сеансах. И «Андрей Рублев». Фильм на фестивали не пускали. «Рублева» положили на полку с убийственной формулировкой: «идейная порочность фильма не вызывает сомнений».

Как-то надо было жить. Помогал снимать картину в Одессе. Затем в Кишиневе. Был художественным руководителем фильма «Сергей Лазо». Заодно снялся в роли белого офицера, чем вызвал оживление у недругов. Напечатал в журнале «Искусство кино» размышления о кинематографе — «Запечатленное время». Потом заметки разрастутся в книгу, но напечатана она будет уже в Париже. Читал

лекции на режиссерских курсах. И мучительно размышлял. Иногда, развлекая себя, что-то записывал: «Вы — гений, хотите Вы сказать?

Нет! Но надеюсь»...

Мы часто не замечаем, когда начинается тот единственный путь, предназначенный нам судьбой... Возможно, тогда, в шестьдесят седьмом, возникло четкое предчувствие долгих простоев, невозможности пробить то, над чем хотелось работать, и скандалов после каждого фильма. Скандалов бессмысленных и унижительных.

Именно в это время начинает складываться убеждение в необходимости изменить свою жизнь, изменить самого себя. Одеться броней. Избавиться от всего, что может мешать работе. Художник должен быть холодно спокойным, жестким до жестокости и абсолютно свободным.

И со всей последовательностью, свойственной его характеру, со всем упрямством, унаследованным от матери, образ которой всегда занимал особое место в его сознании, он следовал по этому пути безоглядно и до конца. Путь этот был трагичен, ибо сам Андрей ни холодным, ни жестоким не был. Но одеться броней до конца жизни так и не сумел.

Может быть, эта трагическая раздвоенность, которая присутствует в каждом его фильме, так будоражит зрителей, сердца которых восприимчивы к боли.

И было еще одно: попытка художника, идя по одинокому пути сновидений, познать самого себя, а через себя мир, в котором живешь, — и безнадежные поиски божественной гармонии в этом мире...

Сценарий об эвакуации. «Военрук». Это первое упоминание о фильме «Зеркало». В конце все того же шестьдесят седьмого года вместе с А. Мишариным была написана заявка. Написана она была так хитроумно, с упором на военные годы, что ее приняли. А в начале шестьдесят восьмого года Тарковский и Мишарин поехали в Репино, в Дом творчества, писать сценарий. Немногим позже на пленуме Союза кинематографистов Андрей прочтет пушкинского «Пророка». Путь все больше определялся...

Путь этот кончился на русском кладбище в Париже. Могила его недалеко от могилы Бунина, которого он так любил. Когда-то Бунин заметил: «Россия! Кто смеет учить меня любви к ней?» Эти слова с полным правом мог бы сказать и Тарковский.

«Гении — это те, без которых нельзя себе представить жизнь», — записывал Анд-

рей. Можем ли мы представить себе не только кинематограф, но и жизнь без Тарковского?

Ирма Рауш (Тарковская)

Расколотый мир Тарковского (интервью ведет Н. Гибу*)

— Что важно для вас в истории: проблематика или исторический процесс?

— Если ответить лаконично, с историей меня связывает исторический процесс, уверенность в существовании преемственности, которая не нарушает закономерности исторического развития. Проблемы всегда повторяются в разных исторических аспектах: социальных, политических. Для меня разницы нет — час прошел или столетие. Важны несколько минут. Мгновение играет основную роль в развитии исторического процесса.

— Отсюда вытекает, что обращение к истории — мостик от современности к прошлому, где раскрывается связь времен, если придерживаться принципа осмысления исторического процесса и анализа человеческой психологии?

— Да! Исторический процесс интересен в двух ракурсах: психологическом и социальном. Я сравниваю для себя этот процесс с развитием природы. И как художник обязан анализировать. Проблема управления процессом связана с наукой. В этом отношении люди, склонные анализировать, заключают в опыте то, что дает анализ того или иного явления истории, в которой отражается процесс против насилия над процессами. Это происходит потому, что процесс кроме качества связан с чем-то другим, над чем человек не имеет право властвовать, так как человек, не научившись управлять, часто управляет процессом. Есть явления, в которые человек обязан вмешиваться, важно только для себя определить, в какие процессы необходимо вмешиваться и какие еще необходимо выращивать.

— Обязательна ли для этого оценка художника?

— Нет, необязательна. Художник не пророк. В «Ивановом детстве» я не пытался анализировать сам процесс, а скорее состояние человека, на которого воздействует война. Если человек разрушается, то происходит нарушение логического развития, особенно когда это касается психики ребенка.

— В «Ивановом детстве», как мне кажется, вы приближаетесь к утверждению Ингмара Бергмана, который считает, что он не может разрешить никакие проблемы, он может их только ставить.

— Художник только ставит проблему, а зритель ее познает. Иногда художник не может ответить на вопрос, а зритель может... Дело художника — анализировать проблему, приблизить зрителя к тому, чтобы он сам дал ответ. Чем активнее отношение зрителя — тем большего добился художник. Кино — это великое искусство, которое полностью не проявило себя, что дает право художнику пытаться не только поставить проблему, но и ответить на нее.

Один художник может ответить, а другой может не ответить, а третий вообще не ставит вопроса перед зрителем, но тем самым он не унижается перед зрителем. В настоящее время зритель индивидуален, стал дробиться на отдельные группы. Художник должен исходить из индивидуальности зрителя.

— Знали ли вы о фильме «Бежин луг» Эйзенштейна? Преднамеренна схожесть героев или это случайность? Обращались ли вы к живописи, создавая своего Ивана, например к нестеровскому отроку?

— «Бежин луг» я не видел, кое-что об этом читал. Фильм этот для меня чужд... В «Ивановом детстве» меня интересовала живописная сторона, но классическая раздразжала, я терпеть не могу Нестерова. Схожести, внутренней, биологической, как хотите, никакой нет между Колей Бурляевым (исполнитель роли Ивана.— Н. Г.) и нестеровским отроком. Хотя критики усматривают между ними некоторую схожесть внешнего рисунка. Мне кажется, что Бурляев очень удачен в этой роли.

— Поэтика ваших фильмов близка поэтике Довженко по емкости символов и метафор, однако эмоциональное воздействие, выразительность «Иванова детства» сильнее, чем «фильмы» вашего учителя, поставленные Ю. Солнцевой.

— Александра Довженко я очень люблю. Лучшая его картина — «Земля». Считаю, что он сделал в десять раз меньше, чем мог бы сделать, по ряду известных причин. Что касается моих личных отношений, я не столько считаю его учителем, сколько человеком для меня близким потому, что он наиболее цепко связан с природой, с народом, с землей, но не в биологическом смысле этого слова. С этим я связываю свои планы на

* Гибу Н. Т.— молдавский кинорежиссер. На русском языке интервью публикуется впервые.

будущее. Нельзя подражать своему учителю или, скажем, считать своим учителем Пушкина, так как нельзя считать себя обязанным воде и солнцу, здесь скорее вопрос об отношении. Довженко настолько велик в своем потенциале, что он является для меня больше стимулом, чем подражанием.

Что касается Солнцево́й, то Довженко — гений, а Солнцева — плохой режиссер. Единственное, что вызывает бесспорное уважение, — это преданность ему, его творчеству. Что побудило ее поставить эти фильмы, не могу сказать, но многие не любят творения Довженко по картинам Солнцево́й.

— В чем состояла сложность переложения на экран рассказа В. Богомолова «Иван»?

— Я искал одной возможности — называться режиссером. В это понятие входит и мой стиль, гражданские идеи, форма. С «Иваном» меня связывает чистая профессиональность. Сложность в самой жизни. Кинематограф — это искусство, которое связано с жизнью. Каждый день поражает неповторимостью и поэтичностью.

— Существует ли «расколотый мир» Тарковского?

— Поскольку я все-таки марксист и считаю, что диалектика руководит процессами, которые нас окружают, то я и сейчас и в будущем могу сказать, что можно одни и те же явления обозначить разными символами, все дело в термине. Можно назвать «расколотым» и «целым» за счет контрастных явлений. Если мы разрежем одно яблоко — это уже не целое, а две половинки, не два маленьких яблока... Целое по природе — это закономерный, последующий спор внутри явления: борьба — победа. Победа одного — смерть другого. Прекрасное при наличии трагического. И если речь идет о таком расколе, который скорее охватывает взгляд художника или мировоззрение, но не метод, то это выдумка и безграмотность критики.

Целое соединено из противоречивых явлений и гармоний. Жизнь рождается из дисгармоний. Из раздробленности жизни создается нечто гармоническое, которое заключает в себе существование борющихся явлений. Если так понимать, то в каком-то аспекте я согласен с этим утверждением. Но мне кажется, что «расколотый мир» стоит рассматривать в связи не столько с проблематикой, сколько с фабулой «Иванова детства». Когда мир расколот войной, тогда появляется надежда на счастье, на изменение времени. Это мое мнение, здесь не стоит связы-

вать мои принципы с анализом «Ивана».

— Рассматриваете ли вы «поэтичность» языка, «поэтический» мир и «поэтическое» кино непосредственно через образ-иносказание, образ-метафору, образ-символ, или термин «поэтическое» одновременно выражает и конкретность событий на экране, и повествовательную прозу жизни, повседневность?

— Я считаю неудачным фильм «Иваново детство» потому, что терпеть не могу в кинематографе символа. Но если говорить об этом, то символ скорее всего может существовать в виде ложного посыла, который выражает отношение автора к миру. Вот, например, на столе много предметов. Какой-то из них нам больше нравится, и уже по этому можно судить об условности отношения. Каждый человек показывает на какой-то иной предмет, то есть символ ложный, не означающий ничего, кроме вашей любви или не любви. Этим определяется ваша индивидуальность.

Символ в кино не должен существовать. Хорошо сказал Бунюэль, когда ему приписывали множество символов. Он говорил, что создает ложный символ и тем самым воспроизводит трепетный мир, полный иллюзий, какого-то смысла. И это все заключается в самой идее, картине, а с другой стороны, в закономерности чередования образов. Когда мы анализируем в фильме частность, то этим мы делаем ошибку. Поэтому символ в классическом смысле для меня не существует. Все искусство символично, но оно является образом мира, то есть представлением художника.

История искусства складывается из многих шедевров, поэтому символику кинематографа не приемлю. В «Иване» много символов, этим он мне не нравится. Что касается других картин, я не люблю картин типа «Ивана». Поэтика заключается в том, что при помощи «образа мира» художник может сказать то, чего не может сказать другой человек.

Я рад, что видел молдавские документальные картины, которые нравятся мне больше художественных. «По осени...» интереснее и ближе, чем «Колодец», потому, что «Колодец» слишком символично выглядит, богатство взятого народного обычая народом создано, но не художником. Фильм недостаточно подработан, и если бы состоял из пяти частей, был бы менее символичен в деталях. А в картине «По осени...» есть пестрая разбросанность, ставшая кинематографическим явлением: все в нем по принципу неповторимости и доказывает, что нельзя воссоздать типические явления жизни, то есть жизнь

неповторяема. Как раз в индивидуальности заложена типичность явлений.

К картине «Человек идет за солнцем», отвечая на ваш вопрос, отношусь так же, как к своему «Ивану». Я чужд этому направлению. Моя цель — найти специфику в кинематографе, и если я это найду, то тогда я смогу найти и поэтичность в кинематографе. Мы говорим «поэтичность» по отношению к другим видам искусства: в живописи, архитектуре уже найдено, а в кино еще не найдено, поэтому мы пользуемся смежным видом искусства для того, чтобы обозначить поэтичность в кинематографе.

«Посмотрите, какой собор, — как застывшая музыка» — это ровным счетом ни о чем не говорит, а подобного рода высказывания вошли в язык нашей критики. Это совершенно несовместимо с пониманием поэтичности. Об этом можно говорить в кулуарах, но не при анализе картины.

Я высказываю свое личное мнение. Искусство не может существовать в лице только одного человека.

— Если вы заговорили о фильме «Человек идет за солнцем», что вам кажется примечательным в стилистике и направлениях молдавского кино?

— Я был рад, что успел посмотреть несколько документальных картин. Они примечательны тем, что анализируют опыт. Ваша позиция в утверждении отдельных признаков, явлений в молдавском кино существует как факт. Меня же заинтересовало другое. Анализ опыта... Опыт может существовать в самой жизни. Я имею в виду детали. Кино может существовать только в жизненном опыте, а от автора зависит то, как он сопоставляет его детали. Мне кажется примечательным и привлекательным то, что художники конкретно говорят о конкретных явлениях. В конце концов можно создать нечто условное в Москве, Ленинграде, на Украине и где угодно, важно другое, найти у себя вещи, которые очень просты и которые определяют лицо нации, национальное достоинство в искусстве. Меньше всего стремиться к всеобщности. Можно пить из одного стакана и увидеть, почувствовать, что вино не бывает плохим или хорошим, а бывают гениальные малые вина и хорошие большие вина.

— Какой вы видите современную трагедию? Обязателен ли трагический финал и «катарсис» в современной трагедии, если она существует?

— Трагедия для меня в ее классическом понимании — это невозможность,

обреченность. «Катарсис» — это то, что создала древняя трагедия в противовес обреченности. И если бы не было обреченности, не было бы необходимости и в катарсисе. Катарсис в древней трагедии заменял свет и надежду. Несмотря на идеи по форме и звучанию трагедия — абсолютно чистое искусство.

В наше время искусство давно сместилось к воспитательной роли. В конечном смысле искусство воспитывает людей своим существованием: самой атмосферой искусства. Это уже не школярская воспитательная роль, а нравственная, которую иногда невозможно оценить.

Иногда задают вопрос: какова воспитательная роль «Капитанской дочки» Пушкина?

Важен сам факт откровения жизни и действия. Этот факт нравственно воспитывает людей, заставляет их видеть мир глазами Пушкина, и, поскольку каждый человек есть художник, такая воспитательная роль искусства является самой ценной. Однако мы часто путаем искусство с публицистикой и газетной статьей и наносим вред самим идеям.

— Преднамеренна ли связь между «Апокалипсисом» Дюрера (его гравюрами) и «Ивановым детством» или это чистая случайность, не претендующая на обобщение? Есть ли связь между «Апокалипсисом» и замыслом «Андрея Рублева»?

— Никакой связи нет. В «Ивановом детстве» главное — разница (разрядка моя. — Н. Г.) в том, сколько страдает людей. В Освенциме были миллионы, но трагедия не уменьшается тем, что в фильме страдает один человек. Я как человек не могу предпочесть страдания одного человека многим. Замысел же «Андрея Рублева» связан с проблемой творчества, с требованиями, обязательными для художника: видеть и найти выход, иметь силы для создания прекрасного, несмотря на сложности в жизни, суметь выстрадать, самого себя создать.

«Апокалипсис» ничего общего не имеет с замыслом фильма о Рублеве, а как символ идея эта вообще несостоятельна. Для меня Рублев — герой. В фильме идет спор между Феофаном Греком и Андреем Рублевым и получается, что Феофан талантлив, это я знаю, но не знаю, кто талантливее из них. Что Андрей Рублев гений, мне известно, а Феофан может быть более талантливым, поэтому он непосредственно отражает ужас того времени в своих персонажах, в своих богах, то есть что он видел — то и выражал. В этом есть нечто кафкианское.

Я Феофана люблю, но он выражал уви-

денное. Рублев видел то же самое, но страдал значительно глубже, чем Феофан, и гений его в том, что он нашел возможность создать нравственный идеал, который является более необходимым в состоянии потрясения, и этим Рублев доказал диалектичность в искусстве: он почувствовал, что необходимо испытать человека, и создал образы, которые могут спасти человека.

Именно поэтому я не могу назвать его творчество трагедией, оно трагично, как эпитет. Он создал настолько светлый нравственный идеал, что меня огорчает то обстоятельство, что для многих это оказалось недоступным, непонятым.

«Апокалипсис» Дюрера более символичен, чем фильм «Иваново детство», чем замысел «Андрея Рублева».

— Какую роль вы отводите форме и содержанию фильма в целом?

— Форма и содержание. Для меня эти понятия неразрывны. Иногда может руководить форма, иногда случается обратное. Законов здесь никаких нет, и произведение целно тогда, когда нет примата одного над другим. Для воплощения мало сказать «я хочу», надо еще уметь сказать «нет» — это я себе ясно представляю. Надо добиться, чтобы в творчестве каждого художника все выразилось в единстве. Поэтому невозможно утверждать, что главное — форма или содержание: все важно, важно единство, цельность между формой и содержанием.

— Несколько слов о национальной форме в искусстве. О примате одной национальной формы над другой, если возможен этот примат.

— Искусство не может быть ненациональным, так же как нельзя искусственно создать национальную форму. Форма всегда существует, ее нужно только обогатить всем тем, что достигнуто поколениями, что нам оставлено. Разукрасить, переплести быт, культуру, характерные черты, особенности — так рождается национальная форма.

Для меня важно одно — создавать русскую картину. Она существует помимо меня, вне меня. Это естественно. Если я русский человек, я должен делать русскую картину. Мне и в голову не приходила мысль, что я могу сделать грузинскую картину. Поэтому примат одной национальной формы над другой исключается. Как можно говорить о примате хотя бы Пушкина? Позволю заметить, что преднамеренно, с целью (разрядка моя.— Н. Г.) национальное искусство также никогда не рождается. Как нельзя человека тащить за уши к добру или обратно. Искусство — это добро (разрядка моя.— Н. Г.), но

нет такого настоящего искусства, которое бы существовало вне национальной формы.

— В чем вы видите своеобразие и особенности национальной формы, молдавской, например, и русской?

— Это сложный вопрос. Достоевский всю жизнь занимался изучением русского характера.

Скорее всего, и мне предстоит отвечать на этот вопрос всю свою жизнь. Очевидно, молдаване должны заниматься молдавским искусством, русские — русским. Пока я не берусь ответить на этот вопрос.

— Нужен ли в настоящее время киносценарий?

— Я не считаю сценарий литературным произведением потому, что это полуфабрикат. Если проза оставляет конечное впечатление, то сценарий этого не может достигнуть, создать то впечатление, что и проза. Пока он не будет снят, не будет никакого впечатления, не будет произведения.

Сценарий — это описание событий и образов, которые должны быть сняты. Поэтому сценарий не является для меня литературным произведением. Что касается «манжетных» записей — это зависит от самого художника. То и другое вполне закономерно. Все зависит от индивидуальностей сценариста и режиссера.

— Что вы считаете характерным для своего стиля?

— Я стараюсь приблизиться в пластическом решении поставленной проблемы к самой жизни, то есть мыслить образами, которые можно зафиксировать на киноплёнке. Все это, естественно, связано с драматургией материала, характером и индивидуальностью героя.

Для меня современный кинематограф — это скульптура во времени.

— Ваш любимый режиссер? Что вы цените в его творчестве, какие качества, кому отдаете свои симпатии?

— У меня несколько любимых режиссеров: Довженко, Куртисава, Бергман, Бунюэль, Антониони. Вот и все. Кажется, все... фигуры классические.

Каждого из них я ценю за национальные достоинства. Каждый наделен национальной особенностью, неповторим.

В творчестве Бунюэля я ценю жесткость, смелость, противоречивость, контрастность в понимании традиций католичества, которые втискивают отношения людей в саму жизнь. В Бергмане ценю чувственную сторону, скорее, религиозность его чувств, присущую каждому персонажу. В искусстве Бергмана до жестокости выстрадан автором каждый

характер. В этом отношении он похож на Достоевского, который видел и понимал жизнь через свои переживания. Куросаву люблю за то, что он любит землю, простой народ. И смысл своего существования этот художник находит в том, чтобы рассказать о самом сокровенном, о человеке. Самые простые чувства необразованного человека — самые дорогие чувства. Его рассказ — это рассказ об интеллектуализации человека. Люблю Куросаву за его умение связывать человека с природой, за это гармоническое слияние.

Антониони уважаю за гражданское мужество. Его искусство — это рассказ о трагедии буржуазной интеллигенции. В своем искусстве он показывает социальный процесс и только процесс, происходивший в душах интеллигенции. Он вскрывает и обнажает трагедию своего класса, общества, поэтому является гражданственным художником. Он принадлежит своему классу, своим проблемам. Искренне огорчается, искренне страдает. Он последователен.

Александра Довженко люблю — за его... Даже трудно сказать конкретно за что, скорее, за все. За картину «Земля». О нем так же трудно говорить, как и о Пушкине. Он ни на кого не похож, и никто на него не похож. Он один — неповторимый и великий.

— Приемлемы в вашей работе самостоятельность и импровизация оператора, композитора, художника или прибегаете к режиссерскому диктату?

— Если бы мне удалось найти единомышленников, людей, которые думают со мной одинаково, тогда не пришлось бы об этом задумываться. Во многом здесь моя вина, я слишком мало работаю, чтобы создать такую группу. Поэтому отдаю дань диктату. Единственный человек близок мне — это оператор Вадим Юсов.

— А композитор Овчинников?

— Овчинникова нужно держать в узде, иначе он напишет не музыку для фильма, а талантливую оперу.

— Что вас привлекает — актер или типаж? Я имею в виду «типажность» не внешнего рисунка, а внутреннего. Другими словами, типаж или актер со своей гражданской темой в искусстве. Как вы работаете с актером, чтобы реализовать замысел?

— Я никогда не стоял на позиции предпочтения актера «типажу». С актером предпочитаю не работать. Сценарий ставит актера, который выбирается на роль, в определенные условия.

Я не верю в перевоплощение вообще и в кино особенно. Это очень сложная

проблема, у каждого свой взгляд. Кто знает Андрея Рублева как художника, живописца, тот создает его образ по-своему, и пренебречь этим — бестактность.

— Исходя из вышеизложенного, существует ли проблема поиска и выбора актера на определенную роль?

— В основном да. Если речь идет о герое биографическом, если речь идет о явлении, известном зрителю, тут возникает сложность: я должен считаться с его опытом, осмысливанием, с мнением тех, кто имеет свое представление о герое. Если нет этого представления, то характер сценария должен соответствовать индивидуальности актера, его органичности. Тогда с актером совершенно не приходится работать. Выбор актера должен быть точным. Актер не должен выдумать образ, чтобы он был драматичным или трагичным, он должен играть то, что свойственно его натуре. Но если актер лишен темперамента — это его смерть.

— С кем бы вы хотели работать? Кого бы вы хотели снимать в своих фильмах?

— Хотел бы работать с Майей Булгаковой, Николаем Сергеевым, с Солоницыным, с Федосовой, с итальянцем Марчелло Мastroяни, с японцем Тосиро Мифуне, со шведкой Биби Андерсон, с французенкой Жанной Моро.

Чтобы открыть актера, нужен материал.

— Какие направления нашего и зарубежного кинематографа ближе всего вашему восприятию, вашей теме в искусстве? В чем вы видите своеобразие того или иного направления? Например, Антониони с его отрешенностью, Куросавы с его неистовством, и буйством страстей, Феллини — созерцательностью и критическим реализмом.

— Отрешенность в смысле спокойствия?.. Я считаю это самым высоким качеством художника в искусстве. Антониони — классический пример. Автор не имеет права выражать в творчестве свое отношение к событиям в форме темперамента. Темперамент принадлежит актерам. Это доказал Антониони. Куросава снял фильм «Идиот» по Достоевскому, и такого Рогожина (Тосиро Мифуне), как у него, более русского, не представляю. Я не убежден, что сам Куросава не лишен спокойствия в своих фильмах. Неспokoйны качества характера и обстоятельства, которые он раскрывает.

В «Дороге» Феллини мог достичь великих ступеней, а его авторская линия в «Сладкой жизни» и в «8^{1/2}» кажется неинтересной. Слишком кокетничает с собственным характером. Ему не хватает олимпийского спокойствия.

— Что вам кажется особо Примеча-

тельным в творчестве Жалакявичюса, Параджанова, Дербенева, Михалкова-Кончаловского, Любимова?

— Они все очень разные. У Жалакявичюса преобладает интеллектуальный расчет. Его бы сравнил с Аленом Рене. У Кончаловского преобладает эмоциональный порыв. Картин Любимова не видел. Параджанова... не понимаю. Может быть, есть смысл в том, чтобы безвкусицу довести до абсурда. Если с кем-то можно еще сравнить художника Лактионова, который лишен чувства юмора, который слишком серьезно относится ко всему, то Параджанова по масштабам безвкусицы не с кем*.

Дербеневу не хватает жесткости. Он слишком сентиментален. Он ищет теплоту... без противопоставления. Надеюсь на его последнюю картину трагического характера. Мне кажется, он сможет экранизировать Грина, ему доступен этот мир — мир поэзии и грез.

— Какие проблемы вы считаете главными в своем творчестве? В чем их характерность и невозможность для другого художника?

— У меня одна проблема — преодоление. Мне трудно говорить о том, какова моя тема, но основная, которую хотел бы постоянно разрабатывать, это умение человека преодолеть самого себя, не вступая в конфликт с природой, гармонией. Человек находится в постоянной дисгармонии со средой. Преодолев эту дисгармонию, можно прийти к осмыслению жизни не через созерцательность, а через страдания.

— Считаете ли вы качеством русского характера страдание?

— Да, считаю. И не только русского: немца, японца, китайца и т. д. Это всеобъемлющее качество. Не думаю, что это только свойство русских. Гармония достигается только путем каких-то столкновений, конфликтов.

— Поделитесь вашими планами на будущее.

— Планов много, толку мало. Мне бы не хотелось говорить о своих планах потому, что они не всегда осуществляются. Я не волен реализовать свои замыслы. Это не от меня зависит. В будущем я хочу написать книгу о кино. Хотел бы поставить «Гамлета» в Лондонском мемориальном театре. В кинематографе остановиться на чем-то конкретном невозможно. О планах в кино говорить не хочется, все может измениться.

Сейчас работаю над сценарием о деревне. О русском деревенском старике.

15 августа 1967 года

Письмо В. Н. Сурина*

Уважаемый Владимир Николаевич!

Вот опять дошли до меня сведения об открытом партсобрании, на котором Вы склоняли мое имя. Грустно и обидно это слышать.

Странно, что, зная о том, что на собрании будет упоминаться «Рублев», никто не удостоился пригласить меня на него.

Мне кажется, я нашел бы что ответить на многие поставленные вопросы в мой адрес.

Вы, если я в курсе дела, говорили о моей неблагодарности в адрес студии, которая так много для меня сделала. А что, собственно говоря, сделала для меня студия? Дала возможность за 7 (!) лет снять две картины?! Не цинично ли это звучит? Студия не отстаивала интересы автора «Иванова детства», нелепо и безграмотно обвиненного в пацифизме (что и Вы повторяли в некоторых своих выступлениях). Не помогала продвижению сценария об «Андрее Рублеве». На это ушло тоже несколько лет. Зарезала смету, рассчитанную на 1400 тыс., ровно на 400 000, которых потом и не хватило. Толкнула группу на заведомый перерасход и обвинила ее в дурном хозяйствовании, намереваясь вычестить из постановочных нашей группы 20 %.

Восторженно участвовала на обсуждении «Рублева» в Комитете на Коллегии и несколько раз на студии, а затем отказалась от ранее сделанных поздравлений, не считаясь даже с приличием. (Элементарным приличием).

Сейчас я остался в одиночестве, ибо трусили и продали свою точку зрения все, кто ранее рукоплескал фильму. И Вы в том числе. Вы-то, будучи опытным руководителем, не рукоплескали, правда...

И теперь Вы толкаете меня на свидание с начальством в ЦК одного (!).

Как будто сценарий не был утвержден ни в объединении, ни в Генеральной редакции, ни в Комитете. Как будто фильм не был принят ни в объединении, ни на студии, ни в Комитете (трижды!) и не присуждена ему 1-я категория.

Все поправки Романова и главреперт-

* Высказывание относится к тому времени, когда Тарковский не был знаком с Параджановым. Позднее они были очень дружны.

* Сурин В. Н. — в 1967 году генеральный директор «Мосфильма».

кома мною выполнены с удвоенным гаком (смотрите соответствующие документы у т. Огородниковой Т. Г.).

Как будто не Вы с М. И. Воробьевой вычеркнули эпизод Куликовской битвы. Меня очень удивляет и оскорбляет позиция со стороны студии в оценке и практических выводах по поводу моего фильма. И не только моего, но и Вашего также фильма.

Ведь я понимаю, студии удобнее своей картиной называть фильм благополучный, а фильм Тарковского далеко не благополучный, поэтому Тарковский сам должен о нем заботиться, как будто Тарковский частный предприниматель.

Я до сих пор убежден: во-первых, что при оценке его одним (известным Вам человеком) произошла какая-то ошибка.

Во-вторых, что ошибка эта — результат особой подготовки этого просмотра в руководстве недоброжелательными людьми. (Вы же понимаете — кто за — пассивен, противники же активны и очень скромны!).

В-третьих, что студия и Вы недостаточно, мягко выражаясь, последовательны в оценке фильма.

Вы на собрании говорили о каких-то поправках, которые якобы со мной были согласованы, но которые я не сделал. Если это так (я повторяю, меня не было на собрании), то это абсолютная неправда.

Сейчас Вы меня бросаете и настаиваете на встрече в ЦК. Мало того, что это некрасиво в связи с вышесказанным и подтвержденным мнением собравшихся в Вашем кабинете писателей и режиссеров, и не хотите даже удовлетворить элементарную просьбу предоставить мне стенограмму обсуждения в Комитете «Рублева». Простите, это уже за гранью моего понимания. Как автор фильма, я просто требую эту стенограмму и считаю, что я должен ее иметь. Во всяком случае, голеньким в ЦК я не пойду.

Я еще раз прошу предоставить мне эту стенограмму.

Вы говорите, что существуют и отрицательные мнения начальства о «Рублеве». Ну и что же?

В свое время Толстой ругал Шекспира и Вагнера. Но ни тот, ни другой не стал от этого бездарнее, чем хотелось графу Льву Николаевичу. Примеров таких тьма.

Далее. Мне уже опять не дают возможности работать. Я не думаю, что мои хронические простои — результат заботы о Тарковском. Уж если я пойду в ЦК, то, наверное, скорее для того, чтобы

утрасти этот вопрос, связанный с конституционным понятием права на труд.

А Вы удивляетесь, почему я работаю худруком в Одессе! Поистине святая простота.

Да, для того, Владимир Николаевич, чтобы «кушать» и кормить семью. Вам почему-то непонятно. Даже если из этих семи лет я работал два года, то пять я не работал. Простая, весьма простая арифметика!

*Вы коммунист. Вы учите нас принципиальности, но мы ведь тоже не дети, и нам часто бросаются в глаза некоторые неувязки. И мы на них реагируем. И у нас складывается отношение к окружающей реальности. Обыкновенная «обратная связь».

Ведь правда же, некоторые обстоятельства выглядят несколько странно, мягко говоря.

Т. Г. Огородникова передаст Вам две заявки. Будьте добры проглядеть их и ответить на возможность их постановки. А то у меня возникает чувство, что мне специально не дают работать. А Вы говорите о какой-то заботе и помощи.

Сейчас (на днях) я ложусь в больницу с горьким чувством. С очень горьким. Если Вы говорите о заботе во время постановки, так ведь это так и должно быть, это естественно, и здесь не забота, а просто профессиональное администрирование. Мы не хвалим людей за то, что они честны. Это органическое состояние для человека. А забота в чем-то другом, я думаю.

Помните Дзурлини, разделившего со мной в 1962 г. «Золотого льва» в Венеции? За то время, пока я «пробивал» «Рублева» («пробивал» весьма специфический термин, не правда ли?) и ставил его, он снял 6 (!!!) фильмов. Мы разбазариваем себя с божьей помощью и работаем с КПД в 10%. Это ли не трагедия? А Вы о заботе...

Извините меня за прямолинейность. Но во всяком случае она продиктована искренностью. И я очень огорчен Вашим отношением к моим проблемам. (Моими они стали потому, что я остался один из-за трусости и беспринципности моих коллег).

Можно жить и так, чтобы выкланчить себе право на работу.

Я так жить не могу, не хочу и не буду. Не обессудьте.

Пополам жить нельзя. Нельзя сидеть между двумя стульями. Неудобно.

Примите уверения в совершенном уважении.

4 сентября 1967 года. Андрей Тарковский

Из записных книжек

И как у нас любят часто и восторженно повторять слово — «талант»! А в сопоставлении его с тем, о ком идет речь, то и дело возникает горькое и даже обидное чувство. Хотя и двойственное чувство по отношению к носителям этого титула не позволяет окончательно утвердиться в недвусмысленной позиции по отношению к некоторым талантам. Редко кто говорит о том, что Пушкин, Достоевский, Бах или Пикассо талантливы. Обычно талантливыми называют тех, у кого не до конца вышло, недооформилось, о том, кто ущербен, о том, кто всю жизнь подавал надежды, демонстрировал индивидуальность.

Что-то в похвале таланту: да-а! Это талантливый человек! — есть унижительное и безнадёжное.

Талант — это всего-навсего основа, трамплин, с которого художник должен совершить прыжок в будущее. Но очень часто никакого прыжка и не происходит.

В таланте есть что-то разбросанное, необязательное, даже не всегда индивидуальное. Целокупность! Вот чего никогда не бывает в таланте, ибо если это качество торжествует, действуя на нас с необычайной силой, то это уже не талант, это — гений.

Гармония, цельность, невозможность оценить детали перед лицом откровения, воплощенного в едином и неделимом образе, — все это достижимо для таланта, но когда оно достигнуто, то это уже не талант, а нечто большее, а если не достигнуто, то уже «талант» вместо комплимента превращается в свидетельство неполноценности.

Как отличить гения от простого таланта?

Два простых способа.

1. Негении — те, без которых можно представить себе жизнь, гении же, без которых нельзя себе ее представить. (Правда, это не до конца точно. Тут нужна трезвость и ясность ума). То есть: без Толстого, Пушкина, Леонардо, Чаплина, Шекспира нельзя. Без Лескова, Чернышевского, Герцена, А. Н. Островского — можно.

2. Оптимальный принцип:

— Пушкин гений?

— Гений.

— Толстой гений?

— Гений.

— Достоевский гений?

— М-м-м...

— Так гений Достоевский или не гений?

— М-м-м... да нет...

— Кафка?

— М-м-м... нет.

— Гоголь?

— Гений.

— Почему?

— А черт его знает.

По-моему, прекрасный принцип.

Гений все-таки становится над миром. Умеет оценить его со стороны, как Бог. Будто сам его создал в шесть дней. А раз так, значит, и понимает, что нельзя на свете без черного и белого. Без единства их. Без торжества духа и прекрасного.

Не гений же, а пусть даже просто талант неспособен вылезти из собственной скорлупы, отрешиться от человеческой, субъективной точки зрения на мир.

Он или страдает.

Или беспричинно острит.

Или поучает.

Или конструирует новые нравственные концепции, но со своей лишь колокольни.

Талант — морален, гений — безнравствен, ибо он служит стратегии, а не тактике, будущему в разрезе настоящего. Безнравствен, так как общество живет настоящим и, несмотря на уверения в борьбе за светлое будущее, ежеминутно сопротивляется ему. Гегель жив все-таки. И нельзя тянуть на себя лишь то из классиков-философов, что надо лишь на два-три дня. Мысль гения — озарение при виде абсолютной истины.

Талант сострадательен. Гений же холоден, олимпийски холоден.

Интересно, о чем же думает гений? О чем талант — ясно. О небе, смерти? О коньяке, о религии? О доме, женщине?

Я не верю в то, что гений умнее таланта. Беда в том, что гений глупее таланта. Талант — символ блеска, утонченности, цельности.

Талант и гений. Женщина и мужчина. Наполеон и Сталин. Смерть и страдание. Счастье и удача. Смерть и рождение.

Холодным глазом, слогом, делом наблюдать за болью, страхом, радостью, счастьем. Для того чтобы уловить их объективность — смешную и жестокую, а не оценить. Открыть, найти, увидеть. Но не сочувствовать, не сопутствовать.

Я слишком считаюсь с понятием «люблю», для того чтобы рассчитывать на честную, сегодняшнюю оценку.

— Вы гений? — хотите вы сказать.

— Нет! Но надеюсь. Если сдвинут экономику. Я для индустрии, которая все-таки вырвется из-под эгиды.

Подведение итога, наполненного единицей времени, выраженной в атаке на сознание, совесть, экономику, демокра-

тию, несправедливость.

Вот в чем гений. Баратынский+Державин+Жуковский+Фет+Тютчев = Пушкин.

Похож на всех, но иной — нов, жесток, холоден и прекрасен.

Пастернак — сосны и любовь — профессия любить. Он умеет любить. Профессия любить. Название для крит. книг.

Все меняется. Беспринципность тоже. Она перестает быть украшением. Она становится ленивым предательством. В чем спасение? Я думаю, в жутком компромиссе власти и анархии. В этом и будуще.

— Все снова. Шахматы сброшены, игра начинается скачками. Атомная катастрофа? Не знаю... Скрябин? Нет. А кто игрок? Религия? Нет, наука...

Я верю в приход высшего разума.

— Христос? Мессия? Нет, все проще...

«Андрей Рублев». Фильм о смерти, рождающейся в жизни, и о рождении в царстве смерти.

Прекрасное возможно лишь вкупе с отвратительным.

Ужасное возможно лишь как результат развития прекрасного.

Фильм об А. Р. — история о художнике, растворенном в своем народе.

Характер гения Андрея — это совокупность ощущений и Кирилла, и обоих князей, и Марфы, и Степана, и каждого персонажа в отдельности. Поэтому у фильма такая композиция. Сила Андрея — в возможности влезть в шкуру любого из своих современников.

Для разговора Андрея с Фомой найти цитату о Рублеве гр. Щербатова.

Замыслы

Солярис. Воспоминания о Хари — современны. Вообще Земля должна быть сегодняшняя.

Вместо снов — искаженная энцефалограмма. В конце — деревня.

Фильм о детстве.

Воспоминания детства (8 ч.).

Настоящее (3 части). (Истинное время равно киновремени).

Мечты и фантазии (5 ч.).

Фильм о предрассудках, поверьях и фольклорных рецидивах. Реальность поверья. Деревня. Современная. Аукалки. О том, как девушку укусила собака, и она лаяла.

«Электра» на материале 1937 г.

«Миф о Сталине».

«Протопоп Аввакум».

«Декабристы».

«Домик с башенкой»*

Сценарий об эвакуации. 1942-43 гг. «Военрук».

Найти в англ. словаре: «Русская интеллигенция».

Исповедь+cinema verité.

10 января 1967 г. Какой удивительно прекрасный своей печалью — Бунин! Последнее время я все чаще и чаще перечитываю его — и так чувствую, так люблю его...

Глубокий и страдающий — от одиночества, от потерь, от необратимости времени.

И как он любит простых людей! Вряд ли найдется другой писатель, так тонко и болезненно заинтересованно чувствующий народ.

Какой же надо быть тупицей, чтобы утверждать, что он злобен, желчен и раздразнен народом, разгромившим его дом.

А как он пишет женщин! Как умеет любить!

10 апреля 1967 г.

«Сострадание есть закон вечной гармонии, закон вечной любви». (Брамминская мудрость)

«Разъяснять — значит даром тратить время. Человек, видящий ясно, понимает с намека; человек же, неправильно мыслящий, не поймет и из целой речи». (Дж. Рескин)

«Много вреда можно нанести неосторожной похвалой и осуждением, но главный вред наносится отчуждением». (Дж. Рескин)

«Кто герой? — Превращающий в друга врага своего». (Талмуд)

Публикация И. Рауш (Тарковской)

* «Дом с башенкой» — рассказ Ф. Горенштейна.

Валерий Подорога

ЗНАКИ ВЛАСТИ (записи на полях)

Театры террора

Парики сожгли, обстригли затылки и стали здороваться судорожным кивком головы, изображая гильотинируемых. Страсть к театральности проявлялась даже на трупах обезглавленных: их размещали в живописном порядке, в позах беседы друг с другом, ухаживаний, патетических или порнографических; заигрывали с ними, пели им, танцевали, смеялись и очень потешались нелепым видом актеров, так плохо исполнявших «заванные» роли. Дамы настолько вошли во вкус представлений на шафоте, что даже стали носить серьги в виде крошечных стальных гильотинок, с рубинами вместо капелек крови.

Н. Н. Евреинов. Театр как таковой

В XVI—XVII столетиях абсолютистская власть, олицетворенная в суверене, подтверждала тайну своего происхождения не столько коронацией, придворными церемониями или предметами тронного реквизита, но главным образом ритуалом казни. Казнь — этот предельный символ абсолютистского господства — должна вновь и вновь доказывать, что нет никакой «справедливости» вне прав суверена. Верховная власть не выступает посредником в наказании преступника и не столько печется о защите прав своих подданных, сколько осуществляет месть. «Казнь не исполняет справедливости, но реактивирует власть» (М. Фуко). Всякий, кто дерзнул преступить черту закона, следовательно, обрести права, равные правам суверена, должен как можно быстрее, а лучше «мгновенно» испытать на собственном теле тотальное действие стигмы абсолютистского террора. Вся эта достаточно рафинированная техника казни, где способ казни прямо зависел от характера совершенного преступления (места, где оно произошло, кем, как, по каким причинам и против кого оно было направ-

лено), где всегда есть тот, кто приводит приговор в исполнение (мифическая фигура палача), где есть и тот, кто подвергается казни, — преступник, наконец, народ, окружающий место казни, — все это разом, в одной драматургии действия оповещает, что нет другого «вместилища» власти, кроме божественного тела монарха. Тело казненного, выставленное напоказ, — эмблема власти суверена, блистательное воскресение венценосного тела из смерти посредством смерти. В самом исполнении ритуала казни обнаруживается неравновесие между спорадическим, импульсивным действием власти и бессилием, податливостью человеческого материала, телом преступника, преобразуемого в истину преступления; со своей стороны преступник, став тотемом преступления, одновременно является знаком другой власти, противной власти суверена. Карательная техника здесь еще исполнена «поэтического чувства» и соответствует тому, что О. Фрейденберг называла семантикой метафор наказания, присущих мифическому освоению мира. Именно в ней устанавливается карательная обратимость (метафорическая) между видом преступного действия и самим телом преступника. Причем эта обратимость является универсальной для формирующихся юридических систем в древних культурах и их современных последышей.

«Открытые процессы» 30-х годов, возродившие средневековые формы признавательной практики, театриализовали пространство суда. Театрализация позволила преобразовать судебное разбирательство (с его рутинностью и поиском «кистины») в сцены публичной казни. Все эти впечатляющие моменты казни развертывались перед сталинской публикой на уровне речи и, казалось, не имели ничего общего с чисто физическими карательными эффектами. Однако я хотел бы указать на особый статус речевых взаимодействий, которые со всей откровенностью дублировали физическое уничтожение обвиняемого: слова обвинения не просто обвиняют и свидетельствуют, они совершают над обвиняемым действия, которые напоминают отдельные этапы телесного уничтожения. Речевые экстазы обвинителей получали особое измерение в аудитории зала и становились квазифизическими операциями, с чьей помощью признающееся тело «врага-жествы» переходило на другой уровень существования, уже никаким образом не связанный с вынесенным приговором. Тот, кто был обвиняемым, тот, кто признавался, надеясь на пощаду, не мог себе представить, что вся эта зоологическая риторика обвинительных речей имеет столь решающее значение для его судьбы. Я вижу в этих вербальных сценах казни

Труп есть свой собственный образ.
М. Бланшо

два этапа; первый — это подготовка слова признания. Будущая жертва должна признаться дважды: сначала под пыткой, а затем повторить то же признание публично, как бы театрализованно его, и причем так, чтобы публика в зале расценила его как естественное и совершенно спонтанное. Почти все жертвы сталинского террора недооценивали функцию признавательного слова, полагая, что умный человек поймет, что происходит. Они не заметили, что изменилась функция произносимого слова: всякое произносимое слово стало элементом признания в вине. Слово не есть то, что может произноситься свободно, в разбросе колеблющихся условных семантических потоков. Слово включается в жесткое сцепление деспотического письма: слово — признание — приговор. Иначе говоря, слово стало письмом, и оно настолько есть, насколько может быть переведено в письмо-приговор, которое, в свою очередь, полностью трансформирует тело жертвы. Поэтому так легко может быть уничтожено, изъято, стерто высказанное слово, ибо деспотическое письмо, «присваивая» его себе, делает ненужным естественную вариацию смысла, рефлексию, восстановление контекста и множества других коммуникативных условий. Жертвы судебного террора оказались слишком хорошими актерами, чтобы приговор был отменен или смягчен.

Другой этап: приговор к смерти. Приговор вместо того, чтобы «объективно» соотносить признание с количественной мерой наказания, всегда вел к смерти: вина обвиняемого представлялась настолько чудовищной, настолько несоразмерной какой-либо статье закона, что единственным выходом из этого юридического тупика была смерть. Вопрос может заключаться лишь в том, какая смерть. Не та смерть, которая ожидает обвиняемого, а другая, более реальная и наглядная, вступающая в свои права прямо на глазах публики. Смерть, которая отнимает у обвиняемого его человеческий образ, низводящая его на уровень зоосущества, по отношению к которому всякое применение закона выглядит или юридическим нонсенсом, или чрезмерной гуманностью. «Бешеные псы», «звери», «нелюди» и т. д.— вся эта зоологическая метафорика оказалась приведением приговора в исполнение тут же, на этой сцене. Обвиняемый как бы регрессировал по лестнице метаморфоз в нечеловеческое существо, по отношению к которому справедливым будет любое террористическое действие. В сущности, последующая казнь должна была быть не чем иным, как продолжением этой регрессии, устремляющей тело жертвы к своему нулю, исчезновению.

«Краткая биография И. В. Сталина» — это книга о Сталине? Это его биография? Да, что тут думать! Но это же ведь книга не о Сталине, это книга о прочеркнутом Сталине, о Сталине как Сталине. Я зачеркиваю умышленно, но не зачеркиваю это имя, напротив, пытаюсь этим прочерком обозначить предмет известного биографического очерка. Прямая линия прочерка против мягкого о-чертания. В этом зачеркивании нет ничего от отрицания, прочерк никого не оскорбляет, его не следует путать с настенными надписями или помарками черновика. Это зачеркивание позитивно, оно скорее, повторяю, представляет собой налагание черты, остановку значения имени и перевод его в естественную для него смысловую среду. Позитивно, потому что сможет освободить если не всех, то по крайней мере меня, от ложного убеждения в том, что некто существовал и даже «есть» под именем Сталина, когда я читаю всем известный «Краткий биографический очерк». Но, как мне представляется, некто, кто существовал под именем Сталина в те времена, когда еще было так много свидетелей и свидетельств его существования, не существовал вовсе. Сталин, который «жил», — почти неразрешимый парадокс современного сознания, к которому настолько привыкли, что он стал повседневной исторической очевидностью. Смерть к Сосо Джугашвили, Кобе, наконец, к Сталину пришла намного раньше, чем в 1953 году: этот некто, этот Икс нашего сознания, умер, не родившись. Его жизнь есть прочерк. Редкие фотографии юного Сосо-революционера, без матери и отца, сам по себе, уже Сталин до Сталина, уже генералиссимус, отец народов, уже самый мудрый учитель и друг, уже... мертвый. Биография Сталина невозможна, ибо для этого тому, кого называли Сталиным, пришлось бы прожить свою жизнь, а это значит снова родиться, окзаться в детстве, юности, страдать от любви и болезней, наконец, умереть, окруженным заботой близких и т. д. и т. п. Прочеркивая словечко, я оставляю -графия, чтобы затем прибавить к нему танато-, последнее слово и есть био- в прочерке. Танатография как смертеописание. Парадоксом является не «мертвый Сталин», а «Сталин живой». Вот этого-то мы иногда не замечаем.

Следует уточнить, что я выбираю танатографию не вместо биографии, а как биографию. Прочерк остается видимым, как

остается видимым и имя. Они все время меняются местами, чтобы указать на то, что невидимо в них. Игра значений: прочерк освобождает тирана от имени, но не в силах вычеркнуть его или стереть; имя «виснет» не нем со всей своей тяжестью, открывая контур семиотического потока: Сталин (Сталин). Имя для живого — имя для мертвого. Конечно, в центре танатографического описания — труп (на это указывает прочерк), но труп, живущий своим временем, — особый труп, то есть не совсем труп. Нет ничего странного и в том, что танатография старается описать то, что, казалось, не нуждается в каком-либо описании: ведь труп есть то, что есть, он сам себя описывает временем смерти. Танатография не вмешивается в это самоописание, напротив, всегда остается имманентной ему, она будет точь-в-точь повторением того, как этот поименованный труп сам себя описывает.

Как всякий деспот, Салин был обладателем двойного тела, того тела, которое Е. Канторович называл «двойным телом короля», «king's two bodies». Эта разнovidность властного тела имеет долгую традицию политических исследований. Что же это за тело? Сконструированное по христологической модели, оно составлено из двух телесных ипостасей: одна, будучи знаком божественной власти, блистающе зрима, неприкосновенна и пребывает вне человеческого времени, *tempus*, то есть движется во времени самой деспотической власти, *aevum*, которое является бесконечным, но отнюдь не вечным, не *aeternitas*; другая, посредством которой представляется сверхчеловеческая сущность деспота, — это страдающая, временная плоть, тело «божьей твари». Но поскольку тиран двуедин в своих ипостасях, то он не может распаться в мертвой плоти, «исчезнуть» в человеческом времени, так же как он не может и перейти во время божества, не знаящего ни прошлого, ни будущего, а только вечное настоящее: он обладает своим временем, протекающим в бесконечность между временем вечности и временем минутным. Это время *aevum*. Идея деспотической власти заключается в преобразовании смертной ипостаси. Чем более могущественна деспотическая воля, тем более смертная плоть становится «ясным сиянием», «блеском», «видимым»; она скрывает свою брэнность сиянием первой ипостаси. Монтень замечает: «Верховная власть — качество, которое подавляет все прочие существенные и подлинные качества. Они в ней растворяются и сами должны проявляться лишь в действиях, с ней непосредственно связанных и ей служащих в делах царствования и правления. Так велико ко-

ролевское достоинство, что облечен им только государь. Окружающее его изумление, идущее сиянием, скрывает от нас человека. Взор наш ничего не различает. Наполненный и отягощенный слишком ярким светом, он оказывается как бы отброшенным назад». Действительно, наш взор как будто не видит, ибо «отброшен назад». Проницающая сила глаза деспота такова, что он способен видеть себя нашим взором, который, в сущности, принадлежит только ему. Деспотическое тело предстает в нашем взоре не только в абстрактных сияниях «светлого будущего», но и вполне конкретно, в материальных воплощениях своей первой почти божественной природы. Глаз деспота продуктивен, он способен материализовать световой эффект в значительно более плотные образы. Первая ипостась деспотического тела, окруженного аурой бесконечной власти, обращается в мраморное тело (вспомним «Человека из мрамора» А. Вайды). Его не столько строят, сколько воздвигают на века; успокоенное в своем порыве, застывшее, где подвижность исходит лишь от сил тяжести, оно отрицает собой любое жизненное движение. Этим оно резко контрастирует с милитаристским сверхтелом третьего рейха, машинизированным телом, телом-панцирем, телом быстроты, устремленным в территориальный захват (К. Тевелайт).

Зададимся вопросом: что движет эту нескончаемую, многомиллионную вереницу людей к телу диктатора? В этом узком пространстве мавзолейного склепа пересекается множество семиотических потоков власти. Немного о каждом. Может быть, причиной этого движения является то, что я бы назвал желанием разгляда: разглядеть того, кто был всегда именем и чьи воплощения не шли дальше придворной иконографии и многих мраморных тел, кто был именем Сталина, но никогда не существовал. И вот в мавзолейном интерьере выставляется тело имени, имя впервые воплощается в трупе, который в свою очередь становится снова именем. Лики исчезнувших фараонов покоились в недрах саркофагов, их никто не мог лицезреть, ибо они были обращены к своей смерти, они, преодолевшие смерть и ставшие богами, не нуждались в лицезрении со стороны своих подданных. Мумии современных богов открыты для лицезрения. Своей новой жизнью они словно вступают в противоречие с собственными именами и теми внешними декоративными телами, которые их обрамляют: с памятниками, каналами, мавзолеями, метрополитенами, книгами, то есть с письмом власти. Каждый из входивших в торжественный склеп составляет свой образ. Сначала это образ простого же-

лания увидеть то, что было сияющим именем, что было взором, карающим всякое разглядывание. Но теперь, в течение десятка секунд, эта способность возрождается, так как то, что не было человеком, перевоплощается через мертвый прах в человеческий образ, притягивая к себе своей посюсторонностью, вочеловеченностью и даже уязвимостью, умиляющей посетителя склепа. «Он тоже был человеком, не зверем, не богом». Будто в один миг все сталинские страхи и фантазмы, которыми испытывается наше время, в этом маленьком погребальном пространстве находят свое успокоение. Взор посетителя обретает силу разгляда и без страха останавливается на слабых, беззащитных и странных существах, на этих засушенных животных-растениях, с которыми святые имена не желают вступать в союз. Редкий гербарий властных тел, редкая наука — политическая зоология, которую еще предстоит создать.

Одно отношение. А вот другое. Тело деспота не умирает, его нельзя локализовать как тело-в-смерти, оно всегда переходит в мрамор и сталь, букву-книгу, систему властных отношений, поз и жестов, и в смертной плоти оно лишь становится копией, повторяя и себя и не допуская каких-либо необратимых воплощений. Даже тогда, когда оно, наконец, застигнуто на переходе к смерти, то и здесь успевает преобразовать случайность праха в постоянство образа мумии. Семиозис не прекращается. Лишь мгновение держится этот образ, чтобы сместиться далее, к мумии, уже ставшей иконой, предметом культового почитания высшей власти. И по мере того, как мертвая маска деспота обретает в глазах адептов качества иконного лица, танатография уступает свое место жанру биографии. Подмена очевидна еще с первых лет революции, когда нарождающийся культ Ленина становился посредством насилия все более серьезным соперником религиозного переживания. Сталинский террор устранил все лишнее: одна церковь (мавзолей), одна икона (маска вождя), одна масса (новообращенные адепты). Это паломничество пролетаризованной массы к «святым мощам», если, конечно, оно не прерывается, не дает стать мертвому тем, что он есть на самом деле. Оживляющая сила культовой магии подпитывает одинокое существование покойника, снова толкает его к союзу с «божественным» именем, его ликами и воплощениями, все более отдаляя от него его собственный образ. Мертвый прах становится свидетелем истины, и, как это ни парадоксально, именно потому, что он есть прах. Ведь он подобен воскресенному Лазарю: он и здесь, но и там, он есть тот,

кто превозмог черту, отделяющую жизнь от смерти.

Фаллос и анус

Остался другой человек — огромный хам, в одних штанах на пуговице и без рубашки.

— Скидавай портки!

Перри начал снимать рубашку.

— Я тебе рассказываю — портки прочь, вор!

У палача сияли диким чувством и каким-то шумящим счастьем голубые, а теперь почерневшие глаза.

— Где ж твой топор? — спросил Перри, утратив всякое ощущение, кроме маленькой неприязни, как перед холодной водой, куда его сейчас сбросит этот человек.

— Топор! — сказал палач. — Я без топора с тобой управлюсь.

Резким рубящим лезвием вцепилась догадка в мозг Перри, чуждая и страшная его природе, как пуля живому сердцу.

А. Платонов. Епифанские шлюзы

Гитлер говорит, Сталин пишет. Голос и письмо — две системы насилия, которые по-разному локализируют свою карательную мощь на человеческом теле, отыскивая наиболее уязвимые места. Человеческое тело становится объектом непрерывной сексуальной репрессии. Поскольку террор всегда претендует на то, чтобы быть тотальным, то естественно, что он пытается захватить весь диапазон человеческих телесных реакций, включая самые интимные стороны существования, к которым относится и сексуальный опыт индивида. Во имя создания массовидных или коллективных тел как сталинская, так и гитлеровская террористические машины захватывали обширный ресурс сексуальных энергий, принадлежащих множеству индивидуальных, «частных» тел. Во многом благодаря безвозмездному потреблению этих энергий мог осуществляться сам террор. Немалое значение приобретает в этом отношении вопрос о том, как их потреблять, какой способ сексуальной репрессии наиболее эффективен. Конечно, здесь не идет речь о выборе стратегии, ибо она уже изначально встроена в ту или иную террористическую машину и определяет ее функционирование. Воздействие, специфическим образом артикулированное в глотке Гитлера, устремлено к захвату всех эrogenных слоев слушателя (речи вождя вызывают зрек-

цию); объектом и даже интимным посредником сексуального желания массы становится тело фюрера. Сталинская карательная хирургия, действующая письмом, опирается на кастрационный комплекс, который должен не только блокировать самопроизвольную возбужденность, но и стремится в конечном итоге к стиранию половых различий. Можно сказать, что каждый способ воздействия ориентирован на соответствующую мишень: в одном случае выбирается такая анатомическая карта, которая, указывая на расположение эрогенных зон, предлагает пути канализирования потоков сексуальной энергии, их интенсивность, протяженность во времени; в другом — карта, выявляющая зоны телесного поражения, изымающая сексуальную энергию террором против ее индивидуальных носителей. Благодаря таким картам создаются фантазмы новых тел власти, гитлеровский и сталинский человек: один — из стального панциря, другой из мрамора, что было бы невысказано, если бы сексуальная энергия хотя бы отчасти была в собственности отдельного субъекта. Сексуальная энергия должна распределяться в социальном пространстве в зависимости от потребностей в ней деспотического тела.

Фаллократическое письмо Сталина поддерживает достаточно высокий по интенсивности уровень сексуального насилия. Движение письма как акт тотальной кастрации, профиль деспота — нож, глаз проектирует чистоту разреза, он наслаждается ясностью, краткостью, простотой линий. В пределах именно этой общей стратегии кастрации существует сильная оппозиция, которую трудно не заметить: фаллос — анус. Или, точнее, то, что я бы назвал нигде не провозглашенным лозунгом сексуальной агрессии сталинского режима: ФАЛЛОС ПРОТИВ АНУСА. Прежде чем дать пояснение этому лозунгу, хочу сразу же оговориться, что фаллос я отличаю от детородного органа, penis'a по символической и семиотической функции, точно таким же образом и по тем же функциям я отличаю анус от фекального отверстия. Иначе говоря, и фаллос и анус есть не только органы, функционирующие в человеческом организме, но еще и органы, чье назначение заново определяется террористическими машинами. Последние функции начинают выступать в качестве первичных по отношению к своим естественным. И фаллос и анус могут быть использованы как центры определенных эрогенных зон, как символы приватного пространства личности, наконец, как знаки определенного типа сексуальной репрессии, которая осуществляется с их помощью, но сами репрессивные на-

мерения остаются при этом террористическом пространстве социально и телесно невидимыми.

Этот лозунг — фаллос против ануса — можно разнести по сериям сексуального насилия в их одновременном взаимодействии:

фаллос — глаз — письмо,
анус — рот — речь.

Для каждой серии существует свой линейный режим, но здесь нужно «читать» вертикальные взаимодействия: фаллос есть анус, глаз есть рот, письмо есть речь. По отношению к каждой фаллократической серии терминов все другие серии могут функционировать только в «снятом» виде: они существуют лишь постольку, поскольку отрицаются. Полное замещение телесных органов в границах одной телесной схемы, которая совпадает с фаллократическим образом деспота. Деспотическое тело сталинского режима движется в двух измерениях: вдоль линии, которая прямо направлена к кастрации; и поперек ей, вслед за линией, направленной против ануса, то, что я бы определил как педерастическую атаку. Специфика сталинского террора, если о таковой вообще можно говорить, заключалась в том, что была сделана попытка построить новое мужское тело. Поэтому террористическое действие прежде всего направлялось против основного очага спонтанной сексуальной рецептивности: против мужской сексуальности. В результате индивидуальные тела, лишённые собственных источников энергии, могли ее повторно заимствовать только из той энергии, которой обладает деспотическое тело, сами же они становились полыми, статуировались, покрывались мраморной крошкой, превращались в муляжи силы, сексуальной трансгрессии, которая больше им не принадлежала. Фаллократическая энергия переходит в распоряжение одного тела благодаря обеспложиванию других мужских тел как потенциальных противников в борьбе за господство.

Видимое социальное пространство подвергается стерилизации, невидимое, остающееся еще интимным и частным, слишком индивидуальным, — педерастической атаке. Чего же она в результате достигает? А вот чего: происходит как бы подтверждение фаллократической мощи деспота — разрушается интимнейшее пространство человеческой личности, которое в силу определенных культурных традиций было последним ее рубежом. Фаллос становится орудием разоблачения, унижения и смерти, анус — конечной точкой поражения личности. Вся предметность, все, что сосредоточивается вокруг ануса, — темное, отра-

тительное: «грязное белье», экскременты, отбросы, грязь и т. п.— перекодируется деспотической властью через процедуры очищения, обвинения, суда, приговора. Казнь являлась моментом экстаза социальной чистоты. Но сама казнь могла быть осуществлена двумя способами, которые, на мой взгляд, и образуют круг педерастической атаки. Первый — буквальное сексуальное насилие над сферой ануса, насилие, во-первых, несовместимое ни с его гетеросексуальной, ни с гомосексуальной функцией, насилие, которое должно окончательно разрушить личностные структуры отдельного индивида и перевести его на положение раба, социальных отбросов. Эта практика, подхваченная из сталинского лозунга, как мы сегодня знаем, широко распространена в современных криминогенных пространствах (интернаты, казармы, тюрьмы и т. п.). Фаллос, повторяющий наиболее широко распространенные образы деспотического террора, атакует анус как символ другого, еще не обобществленного мира, мира личности. Второй способ казни — это чисто карательная функция, физическая казнь. Фаллос как нож, пика, кол, наконец, как пуля. Фаллос в своей карательной функции находит вполне завершенный образ в жесте сталинской казни: выстреле в затылок. Место казни — обычно подвал, замкнутое, скрытое, полутемное и грязное помещение. Массовые расстрелы складывались из множества индивидуальных казней тет-а-тет: пуля — фаллос, затылок — анус. Педерастическая атака, уничтожающая символику ануса, повторяет себя в одиночном выстреле.

Если представить себе профильное очертание человеческой фигуры и разделить ее по оси на одну заднюю, затемненную сторону и на другую, переднюю, светлую, то мы воспроизведем первичную сцену рождения сталинского человека. На этой карте обрисовывается благодаря выявлению всех точек поражения его будущая анатомия. В зоне ануса «работают» основные инструменты террора (от символических до чисто физических); только насилием над пространством ануса, вероятно, можно подготовить почву для тотальной кастрации. Зона фаллоса, или зона кастрации, устроена совершенно иначе: здесь (с одномоментным поражением ануса) начинают доминировать оптические фантазмы в символизации власти деспота, порожденные не только внешними видами насилия, но и склонностью индивидов к автокастрации, то есть культовому переживанию деспотических форм телесности. Передняя часть сталинского человека под воздействием двойного террористического действия — кастрации и педерастической атаки — освобождается пол-

ностью от каких-либо зон поражения, уязвимости, ибо она безлична и поэтому легко преобразуется в скульптурные, живописные, фресочные или плакатные образы идеальных, чистых, линейных тел крестьян, рабочих, ученых, руководителей и т. п. Они, словно частичные объекты единого фаллократического культа, приобретают особую профильность — становятся буквами властного текста. Естественно, что человек, ставший буквой, уже не может быть ни изнасилован, ни убит пулей в затылок, он не может ни горбиться, ни желать,— все его новые позы знаменуют собой движение вперед и вверх. И чтобы стать телом-буквой, ему пришлось бы «пережить» все этапы сталинской кастрации.

Пол деспота

Возможно ли составление карты эrogenных зон деспотического тела? Это предприятие может показаться крайне сомнительным, если учитывать, что форма деспотии всегда трансцендента и поэтому является не сексуальной и не антисексуальной, а откровенно пустой, постоянно требующей своего заполнения различными видами энергий. Но если форма деспотического тела всегда пуста, то что позволяет ей не распадаться от втекающих в нее потоков энергии, что связывает эти потоки внутри, перекодирует и вновь выбрасывает наружу? Конечно, способ ее организации. Деспотическое тело никогда не выходит на свет полностью, всегда лишь в виде отдельных, разрозненных, частичных объектов, которые становятся предметами сексуального фетишизма. Смертное тело деспота, пройдя сквозь его сиятельную божественную ипостась, распадается потом на отдельные кусочки; они могут быть фотографиями, кадрами фильма, книгами, картинами, зданиями, дорогами и т. п. Это подобно самосвечению преображенной плоти. В Голосе-Гитлере как в своей полости собираются множества резонирующих друг в друге маленьких частичных гитлеров. Голос вождя жив, пока он способен «говорить» ими и через них, ибо реальный Гитлер — «вождь нации», «архитектор», «завоеватель» — становится действительно реальным только в том случае, когда его микробразами (визуальными, сонорными или тактильными) кишит все социальное пространство. Тело фюрера может быть воссоздано с помощью частичных объектов, но воссоздано не в некой срединной органической ипостаси, а с помощью того способа коммуникации, который предлагается массе адептов, ожидающих его явления во всей сверхчеловеческой целостности неза-
тухающих вибраций голоса. Оно должно

заставлять «облизываться», «вызывать слюны», оно гастрономично, пожираемо как всеобщая еда, жратва для всех. Голос — своего рода пища, куда устремляются потоки пищи и вновь выбрасываются, чтобы вновь устремиться, уже в другой вариации, в другом звучании, навстречу ожиданиям голодной массы.

В незаконченной трилогии Р. Хьюза («Лисица на чердаке», «Деревянная пастушка») можно найти примечательную реконструкцию деспотического тела Гитлера изнутри. Вот две цитаты:

«Затем он (Гитлер.— В. П.) принялся ухать, как сова, и подсвистывать сквозь зубы, так что вскоре не осталось ни одного германского, или французского, или английского орудия, звука которого он бы не воспроизвел, и хозяева так и ахнули от изумления, когда он даже попытался изобразить грохот и рев артиллерии на Западном фронте — всех этих гаубиц, семидесятипятимиллиметровых пушек и пулеметов. Звенели стекла в окнах, тряслась мебель, а удрученный Пуци думал о том, как сейчас тарашат глаза его аристократические соседи, прислушиваясь к этому грохоту, ворвавшегося в мирную рождественскую тишину. Рев, и вой, и лязгание танков, и крики раненых... Теперь Ханфштегли смеялись меньше, наверное не будучи уверенны в том, что это так уж смешно: ведь плотный невысокий человек в синем саржевом костюме подражал голосом самым разным звукам и ничего не забывал — был тут и захлебывающийся кашель отравленного газом солдата, и булькающий хрип умирающего с простреленным легким».

Эта сцена не представление рассказа о войне 1914 года, а скорее показ самого события войны с помощью поражающих воображение звуковых имитаций. Голос войны. Все эти частичные объекты — «стоны», «крики», «хрипы», «визги» и т. п. — склеиваются друг с другом единой линией голосовой модуляции, но последняя не образует некое целое из них, они добавляясь к уже воспроизведенным, подхватывая их вибрацию на другом уровне. Тело войны собирается из множества сонорных кусочков, промежуточной формой оказывается голосовая материя рассказчика, способная повторить все звуки войны, «вместить» их в себя. По мере того как голос проникает в то, что он имитирует, нарастает страх у слушателей и перед звуковым безумием рассказчика, и перед самой войной: еще немного, и они, слушатели, будут пожраны этим всемогущим горлом. Голос слышим изнутри слушающего, и его нарастающая мощь вполне способна заставить тело слушающего распасться на мельчай-

шие сонорные частицы, более ему не принадлежащие. Аналогичным образом собирается и тело деспота. Его телом может стать только тело массы, то есть не этот или другой «Гитлер», а все эти микроскопические гитлеры, «живущие» в голосе вождя как в своей естественной среде выживания. Все органы деспотического тела не принадлежат ему самому, всегда как бы вынесенные вовне, в массу тел, они «присваиваются» деспотом, поскольку он сам присваивается желанием массы. Гитлер захватывает мельчайших гитлеров, ибо они уже создали себе Гитлера и пожирают его. Самопожирание.

Вторая цитата:

«Инцест (или, по крайней мере, почти инцест) является, быть может, наилучшим лекарством в случаях бессилия, объясняемого психологическими причинами, коренящимися в чрезмерном солипсизме, каким страдал Гитлер. В жилах этой аппетитной молоденькой племянницы текла его кровь, и вполне возможно, что его солипсическому уму она представлялась как бы женским органом, выросшим у него и составившим единое целое с его гениталиями — некий гермафродит «Гитлер», двуполое существо, способное самосовокупляться подобно садовой улитке... Во всяком случае теоретически такое возможно, на практике же все оказалось не так просто, и Гели пришлось, подчиняясь дяде, заниматься весьма странными вещами. Однажды она даже сказала подруге: «Ты и представить себе не можешь, что это чудовище заставляет меня продельвать». Что бы она там ни делала, а Гитлер со временем так вошел во вкус, что не только сам начал считать эту все возраставшую в нем потребность в ее фокусах «любовью», но и посторонние вскоре приняли это за любовь, ибо Гитлер стал вести себя на людях как романтический юнец, боготворящий свою непорочную избранницу. Однако (по мнению посвященных) все эти вздохи и переживания как-то уж очень не вязались с пошлыми любовными посланиями, которые она то и дело получала от него, — всеми этими записочками, расцвеченными порнографическими рисунками, изображавшими интимные части ее тела, которые он явно рисовал с натуры!».

Хьюз выделяет здесь гитлеровскую страсть к инцесту, соразмерную солипсическому захвату мира. «Существовать — это быть воспринимаемым, *esse-percipi*). Кем? Тем, кто существует. Кто существует? Тот, кто воспринимает. Эта модель стирает половые различия в теле деспота. Гитлеровский двуполоый фантазм обладает необходимой параноидальной силой, более того — сексуальной агрессивностью для создания

тела деспота. Сдвоенные половые органы, каждый из которых повторяет себя в другом, освобождают энергию libido: теперь она свободно переливается от одного предела к другому, выплескиваясь из одной серии сексуального напряжения в другую; она теперь уже не может быть локализована в каком-то отдельном органе, мужском или женском, эрогенная зона расширяется, увлекая все органы за собою. Голос рассеивается в мужском органе, чтобы затем собраться в женском. Не это ли дает возможность диктатору завладеть телом массы на уровне голосовых воздействий, которые в свою очередь закрепляются в архитектурной мегаломании, где голос обретает необходимое ему пространство резонанса, но обретает благодаря графичности? Архитектурное безумие, которым поработщено сознание Гитлера — Шпеера, все эти проекты циклопических сооружений являются такими же частичными объектами, как и те фрагменты женского тела, которые Гитлер воспринимал как неотъемлемые части собственного тела. Однако графическое оставалось местом, где голос воплощается в своем высшем пределе: через другой собственный орган он становится способным воздействовать на все пространство, создаваемое для массы. И контролировать его. Карта мира представляет собой карту распространения голоса вождя.

Письмена и грифель

[Все, что есть, есть прочерк.]

И. В. Сталин

На изумленной крутине
Я слышу грифельные визги.
Ломаю ночь, горящий мел
Для твердой записи мгновенной...

О. Мандельштам

Представим себе в действии деспотическую машину письма по имени Сталин. Бросается в глаза ее автономия, «свобода»: машина зависима от того, кто ею пишет, и от того, на чем или на ком она пишет, поскольку все пространство письма, втягивающее в себя социум, не существует вне машинных механизмов — все оканчивается ее «рабочими частями». Сталин пишет с нажимом... Две основные операции письма: профилирование и прочеркивание. Деспотический профиль как клеймо, мера и канон. Деспотический прочерк уничтожает все то, что не может более соответствовать требованиям профилирования. Письмо Сталина-деспота как система прочерков: в любом тексте прочерк выступа-

ет как определенный вид линейной редактур, включающей в себя множество карательных микроопераций, цель которых — создать такой новый текст, который не мог быть произнесен. Текст, в котором царствует запрет на произнесение. Литература в сталинском письме достигает предельного величия: читай молча, не шевеля губами, повторяй мысленно, повторяй телом, но не прибегай ни к комментарию, ни к толкованию. Неистребимая злость, что движет машину письма Сталина, видимо, объясняется наличием текстов, еще им не отфильтрованных. Пропуск не есть прочерк. Сталинское письмо не оставляет после себя пропусков, пауз или цезур, сквозь которые могло бы пробиться на поверхность текста дыхание произносимого, оно есть тотальное прочеркивание. Там, где прочерк, должно закрепиться своей невидимой мощью имя деспота. Если, допустим, какая-либо фраза проходит фазу прочерка, то грамматический субъект должен «вести» себя так, как если бы он в каждое последующее мгновение мог быть сменен священным именем вождя. Нет и не может существовать никакой литературной фразы, в которой не было бы оставлено место для властителя. Прочерки на тексте — это устранение скрытым именем деспота всех тех языковых событий, которые не имеют в виду деспотического профиля, а свершаются спонтанно, сами по себе, случайно.

Между тем сталинское письмо не в силах уничтожить область скрытых графических экспериментов, они продолжают, хотя уже все тела, в том числе и тела поэтов, приурочены для карающей записи. Дальняя традиция, от «России в письменах» А. Ремизова и «Зангези» В. Хлебникова к «Грифельной оде» О. Мандельштама. Еще жив графизм, который питает голоса поэтов. Ремизов говорит о первом касании: «Мое "испредметное"... не только в предметах-вещах и в живых лицах, а также и в самом материале — в бумаге, и для вызова к жизни не требуется никакого внимания-всматривания, глаз совсем ни при чем, а надо только как-то коснуться». Графический контур, след, каракули детского рисунка и наших снов. Все эти бессмысленные каракули-рисунки на полях рукописей, не фигуры или лица, не прочерки или проходы твердого нажима, собираются вокруг случайных слов, вокруг голоса, который уже говорит, еще ничего не говоря. Первое касание, этот лепет непереводаемого в запись, оставляет свой вибрирующий след, каракули, словно остатки неизвестного языка. Здесь играют силы «поэтической материи», они ищут законы собственного ритма в графических росписях и знаках, но сама гра-

фичность никогда не переходит в законченный образ. Она не нависает над будущим словом, над произнесением, как его будущая скорлупа. Мандельштам увидел в пере «кусочек птичьей плоти» и обесценил значение письма: «Письмо и речь несоизмеримы. Буквы соответствуют интервалам. Старая итальянская грамматика, так же как и наша русская, все та же волнующаяся птичья стая, все та же пестрая тосканская "schiera", то есть флорентийская толпа, меняющая законы, как перчатки, и забывающая к вечеру изданные сегодня утром для общего блага указы». Сталинский прочерк — истребитель интервалов. Насаживать словно на пику букву за буквой, никаких промежутков, которые помогли бы выдохнуть или вздохнуть. Резать и склеивать, резать и склеивать: интервалы в тексте должны быть полностью вытравлены. В этом случае под интервалом в сталинском письме понимается еще не заполненное буквой расстояние между словами. Интервал — это то, что внутри самого письма, некий остаток речевого, произносимого, который должен быть уничтожен, прочеркнут, поименован, претворен в букву деспота. Совершенно иначе понимает интервал поэт. Все скопище букв, как бы ни были выстроены их порядки — в иерархиях или по линейке, кругом или решеткой, — представляет собой не более чем интервал в поэтическом материале, птичью стаю, готовую взлететь тут же при первом сигнале со стороны поэта. Интервал, невыразимое графически, уродуемое каждый раз письмом вождя есть указатель ритма. То, что деспот Сталина признает в качестве устойчивой и неизменной буквы святого текста власти, для Мандельштама лишь знак интервала, указывающий на ритм поэтической материи, которая никогда не обнаружит свое присутствие ни в каком порядке букв. Сталинская машина письма стирает интервалы, поэтическая графика Мандельштама их множит, ибо ими длится непроизносимое дыхание поэтического текста. И чем более велика сила интервалов, тем в большей степени всякое письмо, желающее стать шрифтом, окаменеть и сиять светом власти, становится случайной игрой буквенных знаков, счастливое число которых никогда не может выпасть только потому, что деспот выводит свои буквы старательно и с нажимом. Но тогда то, на чем он так настаивает — неизменность буквенного состава имен, — есть знаки другого интервала, открывающего нам ритм сталинского терра.

Ты знаешь, я нечаянно открыл принцип беспроводной передачи энергии. Но только принцип. До осуществления — далеко. Будет время — напишу статью в научный журнал.

А. Платонов. Из писем к жене

Среди пустыря стоял инженер — не старый, но седой от счета природы человек. Весь мир он представлял мертвым телом — он судил его по тем частям, какие уже были им обращены в сооружение: мир всюду поддавался его внимательному и воображающему уму, ограниченному лишь сознанием косности природы; материал всегда сдавался точности и терпению, значит, он был мертв и пустынен.

А. Платонов. Котлован

Платонов удивительный изобретатель литературных машин. Если воспользоваться здесь термином Ж. Делеза и Ф. Гаттари, то все эти машины можно было бы назвать машинами желания. Управлять, запрещать, ограничивать, останавливать, возбуждать желание до иступления — вот в чем их функция. Машинизировать желание, которым «живут» как массовые, так и индивидуальные тела. Перечислим некоторые из них: машины революционные, эфирные, электрические, фашистские, технические, землеустроительные, мозговые, машины для космических путешествий, машины не для чего, машины-поделки. Ряд далеко не полон. Почти каждая повесть, рассказ или более пространное повествование организуется вокруг определенного типа машины желания. Конечно, эти фантазматические, литературные машины невозможно сделать наглядными, то есть попытаться перевести в некоторые доступные прямому наблюдению технические устройства, ибо они сновидны, они — реализация желания. Их нельзя считать лишь средствами для достижения целей: поскольку они являются машинами желания, то их цель заключена в них самих. Литературное пространство Платонова настолько пластично и открыто для эксперимента, что способно принять в себя любую машину желания. Машина выступает не только как устройство претворения желания, но и как его предел. Существенное желание есть смерть; машины Платонова «работают» на пределах собственного воплощения, порождая желание, они ищут его границы там, где оно

встречается со смертью как высшей моделью исполненного желания.

Я полагаю, что среди множества платоновских машин господствуют только два типа; все остальные — лишь их различные модификации. Если взять в качестве нулевой отметки человеческое тело, томлящееся желанием, то оно должно сделать выбор между двумя требованиями.

Первое гласит: «Если ты хочешь приблизить будущее, ты должен изобрести машину, но не техническую или церебральную, а прежде всего коллективную, способную ввести индивидуально выраженные тела в одно единое тело общей жизни, отвергающей всякое одинокое существование!»

И второе: «Создай из своего мозга-тела машину, способную овладеть всеми силами Космоса и Земли!»

Действуют две серии машин: одна — машины смерти, превращающие все живое в мертвое, омертвляющие время мертвым трудом. Машины этой серии деструктивны, так как принуждают к распаду все, что может индивидуализировать живое, что позволяет живому иметь тело, среду, чувства, что отделяет его от другого живого существа и удостоверяет его право на существование. Другая серия — это машины жизни, они движутся снизу вверх в отличие от машин смерти, которые движутся сверху вниз. Однако по отношению друг к другу они находятся в одном и том же движении, но в разной фазе, когда одна движется вниз, другая — вверх. Машинами жизни я называю те технические устройства Платонова, в которых как бы затушевана смерть, это машины воплощения, они сверхпродуктивны. Достаточно небольшого усилия мысли (изобретение), и природное вещество одарит человека бесконечной энергией. Фантазм трансгрессии, избыточность природы. Начальный этап трансгрессивного переживания машинных образов можно найти в платоновской машине-человеке. Первый же магический контакт вызывает слияние двух тел: тела человеческого и тела механического. Органы человеческой чувственности проникают «внутрь» железных механизмов. Смена скелетов: костяк замещается железной арматурой с подвижными частями. Машина становится кентавром, а ее мощь — человеческой. Немало персонажей Платонова чувствуют «машинные механизмы с точностью собственной плоти». Вспомним о машинисте Мальцеве, человеке-паровозе из новеллы «В прекрасном и яростном мире». На втором этапе машины жизни становятся тотальными. Земля и Космос поступают в распоряжение машины-мозга, чье техническое хитроумие беспредельно.

Растет уверенность в том, что человек может полностью обновить свое тело, так как машинизация жизни переводится на уровень микроскопического строения материи, чистой игры энергий в те пределы, где возможно проектирование человеческого образа, в котором будет бессмысленно искать старые различия, как-то: человек-животное, Бог-человек, человек-машина, мужчина-женщина и сопутствующие им вариации. Человек без образа человека.

Машина-Котлован. Это машина смерти: косность, тяжесть, неподатливость земли должны быть преодолены прямым мускульным усилием, как если бы земля могла открыться к новой исторической жизни благодаря одушевляющему началу, исходящему из непомерности человеческого труда. Землекоп Платонова — фигура смерти, он готов истощать свои живые силы ради другой жизни, которая придет после его смерти и смерти всех тех, кто испытал это великое перенапряжение сил. Убить трудом в себе эту жизнь ради той, которая уже шевелится в самой смерти и требует тотальной строительной жертвы. Но что это за машина, как она «работает», что производит?

Воспользуемся термином Л. Мемфорда, который определенные виды социальных машинных устройств называл мегамашинами. Не эти ли машины создавали каналы, мавзоли, дворцы, стадионы, магистрали, башни и города? С одной стороны, их действительно можно считать древними образцами строительной техники. Но это лишь одна из функций. Другая, быть может, более значимая функция заключалась в том, что они были первыми устройствами по созданию и управлению массовидными социальными телами. Там, где они появляются, пространство преобразуется (пускай на достаточно ограниченное время) в текучее, подвижное, неустойчивое. Мегамашина захватывает социум, перекодирует его под себя. Гробницы фараонов — это застывшие мегамшины, в обратном движении времени мы можем восстановить их действие и материальный состав: эти машины превращают отдельные человеческие тела в совокупность взаимосвязанных между собой технических элементов, каждое тело сводилось к определенной трудовой функции и в ней исчезало, становясь микро-частицей общего машинного тела. Мегамшины породили феномен синхронного массовидного усилия, то, что в XX веке получило имя тотальной мобилизации. Структурно фиксированные качественные единицы социума (группы, слои, союзы, институты, различные техники индивидуации и субъективации) — короче, все то, что

накапливает силы жизни и их охраняет, все то, что определяет собой многочисленные экономии жизни, превращается почти мгновенно в социально аморфную материю, состоящую из неисчислимого множества трудовых единиц, и как всякая материя она потребляется властью, она не отличается ее от других источников природной энергии (сил ветра, огня или воды). Мегамашины поглощают громадное количество человеческого материала для того, чтобы поддерживать необходимый уровень энергетических затрат. Мегамашины антипродуктивны, не производят — вот их цель. Другими словами, подобного типа машины не создают продукт, производство которого в конечном счете восполнило бы в избытке все усилия, затраченные на него, напротив, они предназначены для изъятия наличных ресурсов человеческой жизни и природы, не заботясь об их компенсации и не ставя в этом процессе тотальной эксплуатации никаких перед собой пределов. И тем не менее они производят... Но что? Их продукт не эта монументальная архитектура, не заводы, каналы или города, они не улучшают человеческое существование и не охраняют природу (как эмпирически случайное — это возможно), их продукт — идея абсолютной власти. Производится власть, тут и там утверждается величие космократической утопии, находящее свое выражение в безмолвном оттиске властительного профиля. Все живое должно познать его мощь через собственную смерть.

Котлован Платонова — одна из таких мегамашин. Достаточно обширное углубление в земле, где может быть размещено будущее основание для великого дома-башни, и чем более оно расширяется, тем больше требуется землекопов. Котлован роется, уходя в глубину, как если бы план пролетарского дома, его воображаемая геометрия была бы реальным основанием. Геометрическая грандиозность дома-башни требует все новых и новых углублений и расширений. И чем глубже и обширнее этот разрыв в земле, эта «черная дыра» — тем более величественным будет будущее строение. Будущее присутствует дважды: как великая пустота братской могилы и как великая, неслыханная геометрия деспотического ума.

Эфирная машина. Любимая машина Платонова — машина световая, электрическая, овладевающая дешевой энергией невидимого эфира; эту машину избрывают и Дванов («Чевенгур»), и Попов с Кирпичниковым («Эфирный тракт»), и Верно («Ювенильное море»). Как не любить эту машину? По замыслу ее творцов, она должна стать реальным воплощением сверхпродуктив-

ных возможностей человека. Власть ее в использовании не живого, а мертвого вещества природы, могущественных сил Космоса, способного дать новое измерение жизни всему существующему, — удивительна. Завладеть энергией мертвой природы, дешевой энергией — вот другая великая цель. Эта машина движется вертикально, сверху вниз по глубокому, уходящему в центр земли лифтовому туннелю, с помощью которого извлекаются на поверхность продукты игры чистых сил материи. Она должна в недрах самой материи снять различия-границы между обособленными временами существования мирового вещества, а заодно уравнивать небо и землю, женщину и мужчину, старого и молодого, живого и мертвого. В описании этих странных эфирных машин Платонов часто использует биологические метафоры, которые подталкивают нас к тому, чтобы видеть в них не жесткие механизмы с ограниченной сферой действия, а скорее оргазмические пульсации. Этот тип машин, машин-фантазмов, машин сверхпродуктивных, «не знает» смерти. Однако в своей обратной проекции эфирная машина как машина жизни совпадает по своим функциям с машинами смерти. Переведенная в это измерение, она уже ничем не отличается от машин террора, насилия и истощения. Один объект приложения сил заменяется другим, человеческое тело — телом земли. Основной же принцип действия остается неизменным: вырвать энергию из пассивного природного тела и потреблять ее во все больших количествах, видя в этом потреблении преобразование человека и космоса. Обе эти машины в своем противодвижении уравниваются взаимными проекциями и конечными продуктами: истощение сил тела + истощение ресурсов земли = смерть.

В точке, где эти машины встречаются — а именно там располагается человеческое тело у Платонова, — доминирует разрушительное для них противодвижение; повторяясь, оно позволяет разрастаться катастрофическому пространству. Машины жизни исчерпывают бесконечные ресурсы природного вещества, машины смерти — возможные ресурсы отдельного человеческого тела (мыслительные и физические). Это взаимоисчерпание ресурсов жизни, питаемой верой в бесконечную трансгрессию Природы, дает на выходе, после завершающего прохода машин, пространство-пустоту, или, точнее, пустоту, которая уничтожает пространство видимой жизни. Космократическая утопия, сбываясь, получает единственно близкую ей форму существования, пустоту, запустение в смерти. В этом царстве опустошения начинают появляться дру-

гие машины. Вот Чевенгур, город, остановивший время, переходящий в состав природного вещества. Подвижные потоки энергии желая застыть на месте, исполняются, и жизненное пространство вступает на путь самоопустошения. Вот революционные машины, которые движутся по поверхности земли со скоростью «машин Интернационала». Не так ли движется «армия Копенкина», типичнейшая из серии машин смерти, в чей материальный состав входят три подвижных элемента: Копенкин — конь Пролетарская сила — Роза Люксембург (портрет и могила)? Движение беспорядочное, случайное, чокоевое, движение внутри полей смерти. Революционный порыв Копенкина в обратном движении повторяется в фашистской машине, превращающей человека в зверя. Конь Копенкин — свобода революционного выбора. Обезьяна-Лихтенберг — свобода фашистского. Вот машины любовные, некрофильские, исполняющие свое желание смерти в антимастурбационных машинах.

Все сексуальные пары в «Чевенгуре» являются по существу инцестуозными. Вокруг и через границу великого запрета культуры — запрет инцеста — движутся некрофильские тела Платонова, насыщенные любовью к близкородственным мертвым телам. Да и как возможно иное, «нормальное» половое влечение, если повсюду в пустующих пространствах платоновского ландшафта господствует экономика истощения. Сексуальное — вовсе не знак телесного избытка сил, а скорее еще один и наиболее эффективный способ отрицать жизнь в ее таинстве — там, где она зарождается. С помощью оргазма, этой «маленькой смерти», искать пути к внезапным переходам из жизни в смерть, искать в самой смерти новую жизнь без смерти. Поэтому так необходимо (во имя этой новой жизни) все то, что истощает, останавливает, ослабляет индивидуальную силу тел. Подлинное единое тело любви не образуется парно, в любовной связке всегда присутствует и «третье тело», тело мертвое, ждущее своего воскресения. Сексуальная энергия используется не для порождения, а для возрождения мертвого. Вот почему некрофилию Платонова следует понимать как своего рода попытку выработать новое понимание человеческого времени: лишь благодаря любовному чувству к мертвому мы в силах сблизиться с мертвым, забытым временем, с тем временем, которого нам постоянно недостает, ибо оно ушло от нас в мертвые тела близких. Импульс сексуальной энергии, оргазм должен во-плотить мертвую плоть во времени настоящего. И только во имя этого подвига воплощения времени он имеет право на существо-

вание.

Симптоматично сатирическое описание Платоновым в «Антисексусе» универсального мастурбационного аппарата, которое переходит в апологию позднесредневековых запретов на мастурбацию. Причем этот запрет понимается достаточно широко, как запрет на любые формы сексуальных удовольствий и их артефакты. Неумеренное и истощающее организм растрачивание жизненной энергии при мастурбации ведет к вырождению. Но даже не это главное в этом пороке. Более опасно другое: что при мастурбации достигается индивидуальное наслаждение, подкрепляющее независимость индивидуального тела от тел коммунальных и массовидных (эпизоды «Котлована»). Индивидуальное должно быть подавлено, ибо его существование — это прямой вызов смерти. Антимастурбационными машинами оказываются все машины смерти (подавление индивидуального оргазма), с другой стороны, машины жизни, эфирные, световые, выступают в качестве мастурбационных аппаратов по отношению к неуправляемой энергии оргазма природы. Индивидуальное тело способно лишь истощать свои любовные силы вплоть до исчезновения в мертвом в своем стремлении к слиянию с оргиастическим порывом природных сил.

Итак, мы видим некоторый ряд знаков, которыми власть заявляет о собственном присутствии (символика, ритуалы и т. п.): мы видим то, что не является видимым, то, что скорее относится к словесному воплощению власти, к ее натурально-моральной форме. Видим и как бы не видим. Чтобы действительно видеть, нужно найти другую позицию видения, заняв которую мы перестанем видеть слова и сможем увидеть вместо них механизмы власти. Мы должны смотреть на власть из ее собственной тьмы и не появляться на свету ее моральной формы. Из тьмы перехода. И тогда мы будем зрчими, когда сможем увидеть тот конкретный механизм власти, который продуцирует свою моральную форму как некое halo, сияние или нимб, что дает возможность власти избавиться от собственной тени. Иначе говоря, мы должны смотреть на власть ее же собственными глазами. Высшая трезвость позиции.

Деспотически-тоталитарная власть в своем режиме означивания напоминает, если прибегнуть здесь к рискованной аналогии, известный астрофизический объект, черную дыру. Подобно этой дыре-объекту, темное, невидимое тело власти всасывает в себя всю возможную энергию социума, наращивая массу насилия и террора до той

невозможной плотности, пока она не перейдет критический рубеж и станет причиной суицида деспота. Видимо и блистает лишь то, что потребляется властью, а не то, что она сама ест; видимо то, что с нами делает власть, но невидимо, и не может быть видимо, что делает власть именно такой, черной дырой социума. Власть деспота как черная дыра, сгущение минусовой социальной материи, это власть, которая потребляет... Чистое потребление. Я не откажусь от этого термина, хотя понимаю, что его невозможно представить себе. Все что угодно может быть означено этой властью, пожрано без остатка, ибо всякий внешний предел ее агрессии не является границей, но лишь порогом интенсивности, он лишь усиливает голод власти, понуждая потреблять все больше и больше. Означивать для власти дес-

пота — это вбирать в себя энергию означаемых, которые со своей стороны, но уже в качестве означающих, воспроизводят бесконечным потоком всю иконографию деспотических и тоталитарных образов. Парадоксальность социальной физики этой власти заключается в том, что она существует лишь до тех пор, пока находится в трансгрессивном состоянии, пока «накачивается» социальной энергией, переходя свой предел, именно тогда она начинает светиться, блистать во всем великолепии знаков и фигур, пространств и горизонтов. Блистать, оставаясь черной дырой.



НАШИ АВТОРЫ

АРАБОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1954 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1980 г. (мастерская Н. Фигуровского и Е. Дикова). По его сценариям режиссер А. Сокуров поставил фильмы «Одинокий голос человека» (1978 г.), «Скорбное бесчувствие» (1986 г.), «Дни затмения» (1988 г.), «Спаси и сохрани» (1989 г.), «Круг второй» (1990 г., сцен. «Круг второй» опубликован в журнале «Киносценарии» № 6, 1990 г.), режиссер О. Тепцов — «Господин оформитель» (1988 г.), «Посвященный» (1989 г., по сценарию «Ангел истребления», опубликованному в журнале «Киносценарии» № 3, 1989 г.), режиссер А. Добровольский — «Сфинкс» (1990 г.). В журнале «Киносценарии» напечатаны сценарии «Silentium» (№ 1, 1987 г.), «Вечное движение» (№ 2, 1988 г.). Автор сценариев «Две танцовщицы» (1984 г.), «Крейсер» (1984 г.), «Николай Вавилов» (1987 г., совместно с С. Дьяченко) и др.

ГОЛОВАНОВ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ (род. в 1939 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1964 г. (мастерская К. Виноградской) и Высшие режиссерские курсы в 1970 г. Автор сценариев мультипликационных фильмов «Фильм, фильм, фильм» (1966 г., реж. Ф. Хитрук), «Наваждение Родамуса Кверка» (1984 г., реж. В. Угаров), «Сказочка про Козявочку» (1985 г., реж. В. Петкевич), «Как стать человеком» (1988 г., реж. В. Петкевич), «Античная лирика» (1990 г., реж. М. Муат, сценарий опубликован в ж. «Киносценарии» № 3, 1988 г.) и др.

ИБРАГИМОВ АЖДЕР МУТАЛИМОВИЧ (род. в 1919 г.). Закончил режиссерский факультет ВГИКа в 1952 г. (мастерская М. И. Ромма и С. И. Юткевича). Режиссер-постановщик фильмов «Двое из одного квартала» (1957 г., совм. с И. Гуринным, авт. сцен. Н. Хикмет), «Ее большое сердце» (1958 г., авт. сцен. И. Касумов), «Двадцать шесть бакинских комиссаров» (1965 г., авт. сцен. А. Ибрагимов, И. Гусейнов, М. Максимов), «Звезды не гаснут» (1970 г., авт. сцен. А. Ибрагимов, И. Гусейнов), «Дела сердечные» (1973 г., авт. сцен. В. Кунин), «Любовь моя, печаль моя» (1980 г., авт. сцен. А. Ибрагимов), «Чужак» (1981 г., авт. сцен. М. Малеева, А. Ибрагимов), «Неудобный человек» (1984 г., авт. сцен. А. Делентик, А. Ибрагимов). Автор сценариев «Надо любить» (1972 г., реж. М. Союзханов), «Свекровь» (1978 г., в соавторстве с М. Малеевой, реж. Г. Сеид-заде) и др.

КНАБЕ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ (род. в 1920 г.). Закончил историко-филологический факультет МГУ в 1943 г. Профессор МГУ и ВГИКа. Автор книг «Тацит», «Древний Рим: история и повседневность», а также статей по проблемам истории культуры.

КОЗЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АНТОНИЕВИЧ — см. журнал «Киносценарии» № 3, 1991 г.

КУШНЕРОВИЧ РАДИЙ АРОНОВИЧ (род. в 1931 г.). Закончил Московский педагогический институт иностранных языков в 1954 г. Автор сценариев пятнадцати художественных фильмов, в

том числе «Цыган» (1978 г., реж. А. Бланк), «О тебе» (1981 г., реж. Р. Нахпетов) и др.

МИТЬКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1931 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1955 г. (мастерская Б. А. Альшугера) и Высшие курсы сценаристов при Госкино СССР в 1957 г. (мастерская М. Н. Смирновой и Е. И. Габриловича). По сценариям Е. Митько поставлено более 30 художественных кино- и телефильмов: «На переломе» (1957 г., реж. Н. Лебедев), «Бумбараш» (1971 г., реж. Н. Рашеев, А. Народницкий), трехсерийный телефильм «Наше призвание» (1980 г., совм. с Г. Полокой, реж. Г. Полока), «Детство Темы» (1990 г., реж. Е. Стрижевская) и др. Среди опубликованных сценариев «Предраассветный шторм» (журнал «Искусство кино» № 9, 1956 г.), «Корабль моей юности» («ИК» № 10, 1958 г.), «Гражданин в тюбетейке» («ИК» № 9, 1962 г.), «Теперь я турок, не казак» («ИК» № 12, 1989 г.) Фильм по сценарию «Зеленый чай...» ставит на киностудии «Феникс-М» режиссер Владимир Фокин.

ПЕТРУШЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВНА. Закончила факультет журналистики МГУ в 1961 г. Автор сборника рассказов «Бессмертная любовь» (1988 г.) и ряда пьес, в том числе «Уроки музыки» (1973 г.), «Чизано» (1973 г.), «Любовь» (1974 г.), «Три девушки в голубом» (1980 г.), «Московский хор» (1984 г.), «Брачная ночь, или 37-е мая» (1990 г.). Автор сценария мультипликационного фильма «Сказка сказок» (1979 г., совм. с Ю. Норштейном, реж. Ю. Норштейн, Гран-при международного союза кинорежиссеров за лучший мультфильм всех времен и народов, 1984 г., Лос-Анджелес), сценария полнометражного фильма «Серебряные ложки» (1990 г., реж. А. Илюхин).

ПОДороГА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — см. журнал «Киносценарии» № 3, 1991 г.

СУХОРЕБРЫЙ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ (род. в 1946 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1972 г. (мастерская В. Соловьева), Высшие курсы сценаристов и режиссеров в 1975 г. (мастерская Е. Григорьева). Автор тринадцати сценариев художественных фильмов. Последний из поставленных двухсерийный телефильм «Генеральная репетиция» (1989 г.). Сценарий «Каракумы. 45° в тени» опубликован в альманахе «Киносценарии» в 1982 г. (второй выпуск).

ЧИКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1950 г.). Закончил Ленинградский институт авиационного приборостроения в 1974 г. и Высшие сценарные курсы в 1982 г. (мастерская Б. Метальникова). Автор сценариев «Дамское танго» (1983 г., реж. С. Мамлюк), «Кому колдует кукушка» («Киносценарии» № 2, 1985 г.), «Кого любить — выбирай!» (1984 г.), «Пока не прилетели гуманоиды» (1985 г.), «Августовские потери» (1986 г.), «Метастазы» (1989 г., в соавторстве с И. Гамалюновым). Фильм по сценарию «Русская рулетка» снят на студии «Курьер» кинокомпания «Мосфильм» самим автором.

2р.00к.
70434

4

КИНОСЦЕНАРИИ

1991